



Содержание

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1956 года

Главный редактор
Станислав КУНЯЕВ

Общественный совет:

**Ю. В. БОНДАРЕВ,
А. В. ВОРОНЦОВ,
В. Н. ГАНИЧЕВ,
Г. Я. ГОРБОВСКИЙ,
Т. В. ДОРОНИНА,
Л. Г. ИВАШОВ,
С. Г. КАРА-МУРЗА,
В. Н. КРУПИН,
А. Н. КРУТОВ,
А. А. ЛИХАНОВ,
Ю. М. ЛОЩИЦ,
С. А. НЕБОЛЬСИН,
Д. Н. НИКОЛАЕВ,
Ю. М. ПАВЛОВ,
И. И. ПЕРЕВЕРЗИН,
В. Д. ПОПОВ,
З. ПРИЛЕПИН,
Е. С. САВЧЕНКО,
А. Ю. СЕГЕНЬ,
В. В. СОРОКИН,
А. Ю. УБОГИЙ,
В. Г. ФОКИН,
Р. М. ХАРИС,
М. А. ЧВАНОВ,
С. А. ШАРГУНОВ,
В. А. ШТЫРОВ**

Проза

Андрей УБОГИЙ
Словарь исчезнувших вещей 7

Михаил ТАРКОВСКИЙ
Не в своей шкуре.
Повесть 65

Александр ПРОХАНОВ
Певец боевых колесниц.
Роман 108

Анатолий СМИРНЫХ
Если завтра война...
Рассказ 140

Поэзия

Александр ПОШЕХОНОВ
Луч мимолётный 3

Геннадий МОРОЗОВ
На кромке жизненного круга 62

Юрий ПАВЛОВ
Времён минувших
призрачная связь 104

Григорий КАЛЮЖНЫЙ
Русская верста 136

Виктор ПЕТРОВ
Ночные разговоры 152

Очерк и публицистика

Владимир БОЛОХОВ
Футбольная элегия 155

Всеволод ТРОИЦКИЙ
Отечественное образование —
задача национального
спасения 161

Татьяна МИРОНОВА
Богатство по-русски 169

Андрей СОШЕНКО
“Русский вопрос”
Игоря Кулебякина 184

Андрей РУДАЛЁВ
Миражи катехизиса
перестройки 192

Георгий ЦАГОЛОВ
Человек тысячелетия 197

Редакция

Приемная —
(495) 621-48-71

А. И. Казинцев —
зам. главного редактора —
(495) 625-01-81

Е. В. Шишкин —
зав. отделом прозы —
(495) 625-30-47

Отдел прозы —
(495) 625-57-45

С. С. Куняев —
зав. отделом критики,
отдел поэзии —
(495) 625-02-81

С. С. Зотов —
ред. отдела публицистики —
(495) 625-30-47

Е. Н. Евдокимова —
зав. редакцией —
(495) 621-48-71,
факс (495) 625-01-71

Г. В. Мараканов —
зав. техническим центром —
(495) 621-43-59

М. А. Чуприкова —
гл. бухгалтер —
(495) 625-89-95

Критика

Дмитрий УРНОВ
Литература как жизнь 226

Сергей КУНЯЕВ
“Мы сами — музыка и боль...” 243

Сергей АГАЛЬЦОВ
Заметки читателя стихов 262

Владимир ФЁДОРОВ
В начале был поэт 273

Александр ВОДОЛАГИН
Русский бунт
и христианская совесть 277

Слово читателя

“Желаю вашему делу
бессмертия” 208

В конце номера

Василий ЧИРИКОВ
Пушкин пишет мать 287

Редакция внимательно знакомится с письмами читателей и регулярно публикует лучшие, наиболее интересные из них в обширных подборках не реже двух раз в год. Каждая рукопись внимательно рассматривается и может, по желанию автора, быть возвращена ему редакцией. Срок хранения рукописей один год. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Подписаться на журнал по минимальной цене можно в редакции (пн.-чт. с 12 до 17 ч.)

Адрес редакции: Москва, 127994, Цветной бульвар, д. 32, стр. 2.

Адрес электронной почты: n-sovrem@yandex.ru
(Рукописи по электронной почте не принимаются)
Адрес сайта в интернете: www.nash-sovremennik.ru

Компьютерная вёрстка: Г. В. Мараканов; Оператор: Н. С. Полякова;
Корректоры: С. А. Артамонова, Н. А. Павлова

При изготовлении оригинал-макета журнала использованы шрифты ООО НПП "ПараТайп".
Журнал зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 20.06.03. ПИ № 77-15675.

Подписано в печать 05.06.2018. Формат 70х108 1/16. Бумага газетная.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 25,4. Уч.-изд. л. 22,9. Заказ № 924-2018. Тираж 4500 экз.

Отпечатано в АО "Красная Звезда", 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38.

Тел.: (495) 941-21-12, (495) 941-32-09 www.redstarph.ru e-mail: kr_zvezda@mail.ru

АЛЕКСАНДР ПОШЕХОНОВ



ЛУЧ МИМОЛЁТНЫЙ

СКОЛЬКО ПОД НЕБОМ...

Сколько под небом осенним печали,
Редкая птица подаст голосок.
Луч мимолётный, почти что случайный,
И не волшебен уж, и не высок.

Поле пустынно, как после набега.
Мраморных льдинок обиженный хруст.
И в ожидании первого снега
Истово молится ивовый куст.

ПЛАЧЕТ КУЗНЕЧИК

Плачет кузнецик в пожухлой траве,
Грустные мысли в его голове:
“Дождь зачастил, да и лето прошло.
Кто бы позвал в избяное тепло...”

Шлёт телеграмму кузнецик сверчку:
“Братец родной, ты всегда начеку,
Не поскупись ты своей добротой,
На зиму только возьми на постой”.

ПОШЕХОНОВ Александр Алексеевич — автор более двадцати книг стихов и афористической прозы. Член Союза писателей России. Лауреат Всероссийской православной литературной премии имени святого благоверного великого князя Александра Невского в номинации “За верность поэтическому образу России”.

Внял этой просьбе запечный сверчок,
Отпер засовы, откинул крючок:
“Сирий бродяга осенних полей,
В сумерках зимних вдвоём веселей...”

Холодно. Убрано сено в стога.
Гложет стога ледяная пурга,
Воет, как будто стоит на краю...
Только в запечье тепло, как в раю!

ГРУСТНО И ХОЛОДНО

Кошка наелась и спит на печи.
А за окном непогода ворчит,
Ветер щенком подвывает.
Грустно и холодно даже душе,
Знать, не всегда греет “рай в шалаше” —
Всякое в жизни бывает.

Уж не всегда ровен сердца орган...
Вот вдоль деревни проехал цыган
На голубой “таратайке”.
Нынче цыган предприимчивым стал,
Нынче цыган ищет ржавый металл:
От сковородки до гайки...

Вышел соседushка — пьяный с утра,
Ножки слабее, чем у комара,
Хилое тело мотает.
Дом, огородик какой-никакой,
Изо дня в день пенсионный покой,
Только ремня не хватает.

Эх, поздновато... Ремень — ни к чему.
Светит бутылочка солнцем ему,
Счастье маячит луною.
Так бы и жить — от звезды до звезды,
Только с душою опять нелады,
И перебранка с женою.

Славно вчера погулял, сатана,
Если и утром — пьянее вина,
Но и “добавочка” — “в тему”...
Что это я всё о нём да о нём?
Надо решать этим пасмурным днём
Мне и свою “теорему”:

В доме прибраться да пол подмести,
К завтрашней баньке дровец принести,
Свежей добавить водицы.
В зеркало глянуть, усы подровнять,
Трезво хмельного соседа понять
И за него помолиться!..

ТАК ПОДУМАЮ

С одногодками негромко посижу,
До ближайшего лесочка дохожу,
Если выпадет погодка веселá,
Полюбуюсь на золотые купола:

Как церквушки — и берёзка, и кленки!..
Пёс прилудный чутко ластится у ног.
По заливку бедолагу потреплю,
Кренделёк ему в ладошке раздроблю.

Задожидло вот, мороки — через край..
В остальном, считай, почти небесный рай:
Чиста горенка, печурка, тишина,
И дорожка вдоль заборчиков видна.

Полетаю по дорожке взад-вперёд,
Поворкую, если встретится народ.
Хорошо, что стали жить не по злобё,
Реже всякий замыкается в себе.

“Русь! Расеюшка! Святая Благодать!
Эту землю не унижить, не предать!..” —
Так подумаю — возвысится душа!..
Поживу ещё немного. Не спеша.

РЕКВИЕМ

Памяти Володи Пошехонова

Приостудил Господь водицу,
Хмельна студёная вода..
Прощаться мне — и не проститься
Уже с друзьями никогда.

Уйдём... Кто — раньше, а кто — позже,
Но всё равно уйдём в тот край,
Где бродят огненные дрожжи,
Где две дороги — в ад и в рай.

Где непременно наши встречи,
Где не существенны года,
Где знойный день, прохладный вечер
И ночь забвенья — навсегда.

Старинный друг, сподвижник детства,
Навечно выбита скрижаль:
“Нам никуда уже не деться,
Нам ничего уже не жаль!”

Резвится племя молодое:
Кто разум копит, кто — “бабло”..
А нам под нашею звездою
И благодатно, и тепло!

ЗАБЫТЫ СВЯЩЕННЫЕ БЕЗДНЫ

Забыты священные бездны,
Глубины греха и вины.
И кажется — всё бесполезно,
Когда поколенья — больны.

И слева, и справа — невежды,
Ведомые страшной рукой.
И кажется — нет уж надежды,
Зацепочки нет никакой.

Всё рушится строго по плану
Недремлющих слуг сатаны:
Печатью войны и обмана
Народы навек скреплены.

Забыты Истории сказы,
Повергнуты в прах Имена,
Как свалка гнильём и заразой,
Беспамятством память полна.

Но как же?.. Но где же?.. Но что же?..
Любые дороги — не те...
И только Всевидящий Боже
Спокоен в Своей Правоте!

АНДРЕЙ УБОГИЙ



СЛОВАРЬ ИСЧЕЗНУВШИХ ВЕЩЕЙ

В наши дни срок, за который предметы выходят из употребления, сокращается стремительно и неумолимо. Предметный мир вообще начинает быть призрачным — одноразовым или виртуальным, — и это не может не сказаться на нас, людях, этот мир порождающих и от этого мира зависящих. Только представить: тысячи лет бытовая жизнь человека почти не менялась. Мир вещей, окружавший Сократа или Марка Аврелия, был примерно таким же, как мир, окружавший Шекспира, Сервантеса, Пушкина. Люди писали перьями при свечах, сражались мечами и шпагами да ездили на лошадях — и так длилось целые тысячелетия. И лишь в XIX веке — веке пара и электричества — начались перемены под названием “научно-технический прогресс”. А ныне лицо предметного мира меняется так быстро, что мы порою не успеваем запомнить ни облика, ни имён тех предметов, что мелькают пред нами. И если раньше предметы нередко переживали людей — вещи деда служили и внукам, и правнукам, — то теперь, наоборот, люди переживают предметы, которые остаются лишь разве в музеях — и в памяти. Настоящее так стремительно превращается в прошлое, что история, можно сказать, дышит нам с вами в затылок и наступает на пятки: то, чему мы были свидетелями в дни нашей юности, для нынешней молодёжи почти так же загадочно и незнакомо, как эпоха какого-нибудь палеолита. Представьте, что к нам явился бы живой неандерталец и стал бы объяснять технологию изготовления каменного топора или ловушки для мамонта. Вот, похоже, такими

УБОГИЙ Андрей Юрьевич родился в 1963 году в Калуге. Хирург. Автор нескольких книг прозы. Пишет также критические статьи. Член Союза писателей России. Член Общественного совета журнала “Наш современник”. Лауреат премии имени В. В. Кожина за 2004 год. Живёт в Калуге.

неандертальцами для молодёжи теперь являемся мы, люди прошлого века — со своей исторической памятью и ностальгией по старым предметам.

АВОСЬКА. Мы начнём наш словарь с чудесного, нежного слова “авоська”. За этой верёвочной сеткой, которую так легко было сунуть в карман, чтобы после при первой возможности наполнить её тем, что Бог послал, встаёт целая жизнь. Но вот иностранцам, да и нынешней молодёжи — для нас тоже, в сущности, иностранцам, то есть живущим в иной стране, чем жили некогда мы, — объяснить смысл авоськи не так-то и просто. Именно смысл, а не её примитивно-простое устройство, до которого мог бы додуматься даже ребёнок. Авоська — это сетка с двумя рукоятями, которые, помнится, резали пальцы, когда содержимое сетки было тяжёлым. И авоськи имелись двух видов: совсем уж простецкие, из хлопчатобумажных верёвок, которые быстро пачкались и рвались, так что такую авоську было проще выбросить, чем починить или отстирать, и побогаче, из скользких и прочных шёлковых шнуров. В шёлковой было что-то змеиное, юркое: она всё норовила выскользнуть из руки или кармана.

Разными могли быть и рукояти. Чаше они делались из того же шнура, что и вся авоська, но могли быть и из тонких кожаных ремешков. С такой авоськой не стыдно было и показаться на люди: вот, мол, умеем мы жить, и продукты таскаем не в чём попало! Но вообще-то авосек тогда не стеснялся никто: их мог достать из кармана любой, от простого рабочего до академика, потому что вера в “авось”, то есть в благоприятный и неожиданный случай, жила в сердце каждого.

Вот мы и вышли к той самой загадке авоськи — неотделимой, быть может, от загадки русской души, — которую иностранцам бывает непросто растолковать. Как им объяснить, что многие из продуктов, которыми мы кормились в советские годы, появлялись на магазинных прилавках внезапно и необъяснимо — почти как манна небесная, — и никто не мог предсказать, когда и где именно это произойдёт? Но к такому счастливому случаю готовился каждый — он верил в него, он его ждал, — и поэтому обязательно имел при себе эту самую ловчую сетку-авоську, из которой удача никак не должна была ускользнуть.

Всё же странно, что в мире тогдашней плановой экономики мы жили по принципу: “Вдруг повезёт?” Но этот же принцип — жизнь “на авось”, на удачу — является, можно сказать, отличительным признаком всякого русского, и вовсе не только советского человека. Вера в “авось” — это вера, в конце концов, в промысел Божий; и жить с авоськой в кармане — значит жить именно тем, что Бог даст. А если не даст — что ж, не баре, потерпим до завтра: будет день — авось, будет и пища.

И что ещё было трогательно в авоське — откровенность той жизни, которой служила вот эта простецкая сетка из мягких верёвок. В ней всё было настолько открыто и напоказ, что эта её откровенность сама по себе служила важнейшим демократическим — то есть равняющим всех — фактором тогдашнего существования. Вспомните, как шли тогда, лет сорок назад, люди по улице, как чуть не каждый второй помахивал сеткой-авоськой и как во всех этих сетках содержалась, в общем-то, одинаковая добыча. Ну, что там могло попадаться в наши ловчие сети? Буханка хлеба да бутылка кефира или молока, золотистая шайба каких-нибудь “Килек в томате”, кулёк с макаронами серого цвета (причём серыми были и макароны, и содержавший их бумажный кулёк); если авоська принадлежала мужчине, не редкостью был портвейн “Три семёрки” (в просторечии “Три топора”) или бутылка водки с зелёной (“Московская”) или красной (“Столичная”) этикетками. И авоська доверчиво нам говорила — как бы от лица того человека, в чьи пальцы врезалась её рукоять: “Да, нам скрывать нечего: что вы сейчас видите, тем мы и сыты...”

Но в этой же самой её откровенности и простоте содержалась и некая тайна. Была ли то тайна “загадочной русской души”, так в чём-то похожей на сетку-авоську: вот он, мол, я, весь наружу, прост и открыт, да к тому же и гол, как сокол, — приходи и бери (а попробуй-ка взять!)? Или то была

тайна той жизни, которую без авоськи так же трудно представить, как и без красного знамени или портретов вождей? Да, эта жизнь была скудной, куда скудней нынешней — иначе б не рыскали мы у магазинов и не стояли бы в очередях, теребя свои сетки-авоськи, — но в чём-то она была очень богатой и щедрой. В ней была та надежда на лучшее, та “уверенность в завтрашнем дне” — это словосочетание было, кстати, официально-газетной формулой тогдашнего существования, — которую и выражала собою любимая наша авоська.

Правда, поймать в эту ловчую сетку вот именно то, чего так ждала, по чём так томилась душа, так и не удавалось. Недаром же сказано: “Счастье наше — как вода в бредне: тянешь — надулось, а вытащил — пусто...” Вот и мы со своими авоськами-бреднями (правда ведь: есть в них что-то похожее?) бродили в поисках счастья и не теряли надежды встретиться с ним — вот-вот, казалось, увидишь, поймаешь его! — но наши авоськи так и оставались, по сути, пустыми. Ведь, по большому-то счёту, не масло и не колбаса нам были нужны, а нечто иное, невыразимое и неуловимое...

БАМБУКОВЫЕ УДИЛИЩА. Чего, казалось бы, прозаичней и проще: паратройка лёгких, узловато-суставчатых палок, которые соединялись при помощи трубок из жёлтой латуни? Удилище двухколенное стоило, помнится, два шестьдесят; трёхколенное, если не ошибаюсь, три двадцать. Но “трёхколенка” для нас, подростков, была тяжеловата — да и до столь серьёзных рыбалок, где она была необходима, мы ещё не доросли, — и поэтому главным удилищем нашего отрочества была “двухколенка”. Мы долго, придирчиво выбирали её в магазине, где и выбор-то был всего из трёх-четырёх удилищ! Мы нежно гладили пальцами её полированные колена и мотовила из проволоки, примотанные красной шёлковой нитью, затем собирали удилище, воткнув трубку в трубку, и потом глазом, словно бы целясь, выверяли его прямизну. Затем встряхивали весь гибкий хлыст, взяв его за комель, — не стучат ли соединения? И всё, что мы делали там, в магазине, было согрето мечтою о будущих — непременно удачных! — рыбалках. Уже вернувшись с покупкой домой, я всё не мог успокоиться, снова собирал удилище, которое едва помещалось в комнате и то и дело запутывалось упругой вершинкой в тюлевой занавеске окна, и, обмирая от ожидания счастья (которое и само было счастьем!), воображал, как я гибко взмахиваю этим хлыстом — и в самом деле взмахивал им, — и как мои поплавок и крючок летят точно в “окно” между лаковых листьев зелёных кувшинок. На какое-то время поплавок замирал, торча наискось в гладкой тёмной воде, над своим симметрично-косым отражением, и я замирал вместе с ним; потом на красный его оголовок садилась ярко-синяя стрекоза, и тоже удваивалась, отражаясь в зеркальной воде. А потом — о, как я ждал этой сладкой секунды! — поплавок начинал как бы втягиваться сам в себя, сближаясь с собственным отражением, пока не исчезал в воде совершенно, и удивлённая стрекоза не взлетала, дрожа, над пустой гладью затона. Я взмахивал кистью — бамбуковый хлыст повторял мой рывок, — и до напряжённой руки, через дуту пульсирующего удилища доходило самое, может, прекрасное, что есть в рыбалке: тугое сопротивление глубины...

И это были едва ли не лучшие из моих рыбалок: посреди комнаты, с бамбуковым двухколенным удилищем во вспотевшей от напряжения руке, в окружении тех ощущений и образов, что так щедро дарило подростку его юное воображение. Никогда после, в реальности, я не ловил таких же огромных язей или карпов и не рыбачил в таких же прекрасных, воистину райских, местах, как там, куда уводили меня молодые мечты. А бамбуковое удилище — оно и было проводником в этот мир грёз, оно сообщало ему достоверность и подлинность: грёзы грёзами, а удилище — вот же оно, со всеми своими узлами и трубками, с упруго дрожащей вершинкой и с блеском своих лакированных гладких колен.

Конечно, я не хочу сказать, что реальность меня непременно разочаровывала: нет, в ней случались рыбалки, если и не рекордные по количеству

или размеру пойманной рыбы, то уж, по крайней мере, такие, о которых доселе радостно вспоминать. Например, ужение голавля на кузнечика, в котором, кстати, именно бамбуковое удилище было главной деталью всей снасти. Кроме него, был ещё метр тонкой лески, да крючок номер четыре (помните, сверстники, старую нумерацию рыболовных крючков?). И вот с такой примитивнейшей снастью я, таясь, пробирался под нависавшие ветви раkit, тень которых отчётливо-резко лежала на глади речного, озарённого солнцем, глубокого омута. По этой глади порой проплывали сухие ивовые листья, пробегали, пуская круги, водомерки, похожие на миниатюрные лодки-двойки, и туда же, меж пятен лиственной тени, я опускал своего кузнечика и, не дыша, принимался легонько постукивать им о поверхность воды. Я как бы передавал телеграфный сигнал — точки, тире, снова беглые точки — вглубь омута. И, хоть не сразу, и далеко не всегда, но порой голавли отзывались на мой телеграфный призыв. Сама глубина и тьма омута словно сгущалась, медленно приближаясь к поверхности и обретая сначала размытые, но всё более внятные очертания неторопливо всплывающих рыб. Осторожные голавли могли, вздрогнув, вновь раствориться в толще воды, а могли, едва поймав хвостами, лениво приблизиться к пляшущему на поверхности кузнечику. Это был напряжённый момент — моё сердце то замирало, то вновь принималось стучать, подрагивая точь-в-точь, как этот несчастный кузнечик, — и я хотел только одного: чтобы рыба поверила мне. Голавли покрупнее — те редко клевали на мой простодушный обман; разве какой-нибудь глупый подросток (такой же наивный, как и я сам) мог сгоряча ткнуться носом в кузнечика и, не почуввав крючка, попытаться с ним скрыться в речной глубине. Тогда я подсекал — удилище гнулось, — и серебристая рыба, разбив зеркало омута, взлетала, вся в радуге брызг, под склонённые ветви раkitы!

Из пяти подсечённых так голавлей четыре срывались и превращались из прежних наивных подростков в опытных, тёртых парней: что называется, понохавших пороха. Выходит, я как бы участвовал в воспитании молодой рыбной поросли нашей речки Калужки. И в самом деле: три-четыре подобных рыбалки приводили к тому, что голавли совершенно невозмутимо проплывали мимо напрасно пляшущего кузнечика, и в небрежном движении их колыхавшихся, с темной каймою, хвостов я чувствовал как бы презренье к моим тщетным попыткам снова их обмануть. И получалось, что я ходил на Калужку уже не столько за рыбой — улов был ничтожен, — сколько ради общения с водой и нависшими ивами, с пятнами лиственной тени на глади реки и с журчанием близкого переката — общения со всем, из чего состояли те жаркие полдни. Да и сейчас, когда я воскрешаю всё это в памяти, разве я вспоминаю о рыбе? Нет, я вспоминаю о счастье, которое, как хорошо нам известно, живёт либо в будущем, либо в прошедшем, но очень редко заглядывает в настоящее.

БРЕЗЕНТОВАЯ ПАЛАТКА. Именно в брезентовой палатке я провёл свои первые походные ночи — берег Угры, жаркое лето семьдесят первого года, мне семь лет... И теперь при словах “райские кущи” я представляю себе что-то вроде палатки из бледно-зелёного, выгоревшего на солнце брезента, в скаты которой, как в тугой барабан, время от времени ударяет упавшая с дерева сосновая шишка.

А запах брезентовой старой палатки с тех самых пор стал для меня любимейшим запахом. Он менялся — и вместе с погодой, и вместе со сменой мест, где стояла палатка. В нём ощущалось то смолисто-сухое дыхание матёрого бора — того, где по рыжим иголкам снуют муравьи, по деревьям прыгают белки и где на ладони, едва обонпрёшься о ствол, остаётся помарка клейкой сосновой смолы; то запах сена, охапку которого ты выдернул из стожка на приречном лугу и бросил в палатку, чтоб мягче спалось; то горячий дымок костерка, в котором ещё, как матрёшка в матрёшке, различался то рыбный запах ухи, то сытность печёной и чуть подгоревшей картошки; а порою, когда приходилось вставать в молодом сосняке под весенним дождём, твоя голова ощутимо хмелела от спиртового острого запаха свежих сосновых побегов.

Что ярко запомнилось из тех первых ночёвок в палатке на берегу Угры, так это вечерний обряд выкуривания комаров. Перед тем, как нам всем забраться в палатку на краткую летнюю ночь, моя мама нагребала из костра в пустую консервную банку полдюжины раскалённых сосновых шишек — они были похожи на распустившиеся огненные цветы — и с этим тлеющим дымным кадилом скрывалась под брезентовым пологом. Палатка тогда наполнялась белым дымом, который валил отовсюду: из входа, из маленького сетчатого окошка, и даже сочился сквозь стены и скаты. И, разумеется, первым, кого маме удавалось выкурить из палатки, была она же сама: задыхаясь и кашляя, она на четвереньках выбиралась наружу, а отец начинал торопливо зашнуровывать вход. Да, не забыть: вход той палатки закрывался не теперешней “молнией”, а заплетался при помощи брезентовых петель и деревянных палочек, и кропотливая процедура расшнуровывания, а затем зашнуровывания палатки (выговорить, и то трудно!) длилась так долго, что выкуранные комары преспокойнейшим образом успевали в неё возвратиться. Но даже прерывистый звон комаров под брезентовым скатом был почти так же сладок, как и тот юный сон, в который ты погружался стремительно и неудержимо.

А утром тебя ожидало ещё одно чудо. Случалось, что мы пробуждались под стрёкот дождя по туго натянутым скатам и долго не могли выбраться даже не то, что из спальников, но не могли выпутаться из той лениво-блаженной дремоты, какую всегда нагоняет вкрадчивый утренний дождь. Но странное дело: зеленовато-рыжие скаты палатки светились, как будто снаружи их озаряло солнце. Это свечение было настолько заметным, что отец, потянувшись, довольным голосом произносил:

— О, вижу солнце! Я же говорил — сегодня будет погода...

— Какое солнце? — насмешливо возражала мама. — Ты что, не слышишь дождя?

— А ты что же, не видишь света? — стоял на своём отец.

Разрешить их спор было несложно: стоило расшнуровать палатку. Действительно, сыпал мелкий, задумчивый дождь — такой уж если зарядит, будет лить целый день, — и ни просвета не было видно в набрякшем и сером, как будто войлочном небе. Увидев всё это, я испытывал одновременно и разочарование — всё-таки дождь! — и недоумение: как же так? А откуда же свет? — и восхищение удивительным свойством нашей палатки, способной и пасмурный день озарить как бы солнечным светом. И, конечно, я не спешил выйти наружу, в мельтешащую серость дождя, а, сколько мог, оставался в палатке, любуясь тем загадочным светом, что даже в отсутствие солнца умудрялся напоминать нам о нём. Откуда он был, этот свет? Неужели всего лишь брезентовый выпцветший полог, напитанный влагой, производил удивительный этот эффект?

Свет брезентовой старой палатки, впитавшей так много солнца, что потом, даже в хмурые дни, оно словно светило под её пологом, — этот свет ощущался, конечно, не мною одним. Чуть не вся страна в годы, которые позже называли “застойными”, — по крайней мере, её молодёжь — стремилась к походным кострам и палаткам как к самому лучшему, чем тогдашняя жизнь могла нас одарить. О чём мечтали тысячи инженеров за кульманами своих НИИ или студенты на скучных лекциях, или, скажем, врачи на бессонных дежурствах? Да о том, как они, увязав рюкзаки и обув кеды, в свой летний отпуск махнут, куда подальше — благо, страна наша и велика, и обильна разнообразными чудесами.

И романтический этот порыв — как пелось в песне, “за туманом и за запахом тайги” — был неотделим от брезентовой старой палатки, приютившей не одних только тел, утомившихся за дневной переход, но и душ, так мечтающих о красоте и свободе. Во многих песнях, что молодёжь распевала в ту пору, — пусть даже костры и палатки в них не упоминались — содержалась мечта о далёкой дороге, о трудностях и романтическом неуют, о расставаниях, без которых не может быть встреч; словом, скучная жизнь “здесь и теперь” решительно отвергалась ради иной, лучшей жизни, что обязательно будет “там и потом”.

Помните, сверстники, ангельский голос певицы по имени Анна Герман, что пел нам о свете далёкой и незнакомой звезды? Я до сих пор удивляюсь тому, как могла быть популярна эта христианская, в сущности, песня в стране победившего атеизма? Ведь слова “светит незнакомая звезда” — это, по сути, отдалённое напоминание о звезде Вифлеема; а надежда, которая воспевается в песне, — понятие глубоко христианское.

Думаю, с нами произошло вот что: наш бедный разум, подчиняясь тому, что буквально вбивали нам в головы ещё со школьной скамьи, отвернулся от веры; но наша душа — христианка по происхождению — не хотела отречься сама от себя и продолжала любить и надеяться, верить и жить, несмотря на печальное заблуждение разума. И эта душа-христианка звала нас в походы, к манящей и незнакомой звезде, и заставляла петь песни возле костра, а потом забираться в палатки, где так сладко спалось и мечталось...

БУМАЖНЫЕ БУСЫ. Что ещё исчезает так же незаметно и неудержимо, как молодость? Причём сначала это молодость твоих родителей: и с ней расставаться едва ли не горше, чем с собственной юностью. Сам в себе долго не замечаешь старения, как и не веришь, что когда-либо умрёшь, а вот то, что происходит у тебя на глазах, чему ты ежедневный и многолетний свидетель, куда очевиднее, чем незаметное угасание собственной жизни.

А молодость моих отца с матерью — это шестидесятые годы прошлого века. Вряд ли какая ещё из эпох в обозримой русской истории оставила столько же светлых и романтических воспоминаний, как пресловутые шестидесятые. В то время страна только-только пришла в себя после великой войны и, можно сказать, расцвела на её пепелищах. Это эпоха поэтов, собиравших целые стадионы слушателей — ныне такое не под силу даже поп-звездам! — эпоха, когда портреты бородатых отцов коммунизма потеснил ещё один бородач, писатель Хемингуэй в грубом свитере; это эпоха романтики странствий и песенных фестивалей, споров “физиков” с “лириками”, эпоха побед и надежд — эпоха, озарённая светлой улыбкой Гагарина.

Но среди множества лиц, событий, предметов тех лет, достойных быть символом шестидесятых, я выбрал бумажные бусы. Знаете, как украшали себя тогдашние молодые красавицы и среди них — моя мама? Ведь большинство студентов тогда были бедны, как церковные мыши, — где уж им было раздобыть денег на настоящие бусы? И приходилось брать выдумкой, на которую голь, как известно, хитра. Самым ярким и красочным из общедоступных предметов тогда был журнал “Огонёк” — тоже, кстати, один из символов шестидесятых, — и, если нарезать из его разноцветных страниц треугольников, а потом скатать их в трубочки, покрыть лаком и нанизать на длинную нить, то получались чудесные — лёгкие, яркие! — бусы. На сохранившихся фотографиях молодой моей мамы есть и такие вот бусы; и в них (точной, в том, как я их себе представляю) для меня заключается чуть ли не главное знание об эпохе шестидесятых. Нечто детски-наивное, празднично-светлое, очень смешливое было в бумажных тех бусах из “Огонька”; такою же точно была и эпоха, которую эти бусы расцветивали своей незатейливой, яркой и трогательной красотой. Но бумага — всего лишь бумага; и сами те яркие бусы, и радость, что связана с ними, была очень непрочной, недолгой — почти эфемерной. Да что там бумажные бусы — когда и сама-то бумага, глядишь, очень скоро окажется в списке исчезнувших вещей.

Но, с другой стороны, даже металл или камень — и те, в конце концов, обращаются в прах; неким таинственным образом сохраняются только идеи вещей, их нетленные образы, надолго переживающие сами предметы как таковые. Вот и разноцветные бусы из скрученных в трубочки треугольников яркой бумаги, что украшали юные шеи красавиц шестидесятых годов, — не прочнее ль они и гранита, и бронзы, то есть всего, что так неуклобо-серьёзно пытается увековечить любую эпоху? И радость, и память о ней живут дольше, чем вещи; а уж в чём её, радости, было хоть отбавляй, так это в лукавых, нарядных — как будто всё время смеющихся! — двух нитках бус на шее моей молодой и тоже смеющейся мамы...

ВАТНИК. По-настоящему, ватник достоин памятника (как и кирпичные сапоги, о которых мы ещё поговорим) — хотя бы уже за одно то, что он был главной зимней одеждой солдат последней великой войны. Миллионы жизней были им сохранены: и от смертельного холода, и от осколков снарядов и мин, терявших убойную силу в спасительной стёганой вате.

Но ватник был главной одеждой не только солдат. И зеки за проволокой лагерей, и шофёры на разбитых дорогах, и бабы на стылых колхозных полях, и геологи в тундре, и пастухи, и строители, и работники в холодных цехах — для всех ватник был даже не просто одеждой, а словно бы частью их собственных тел, без которой нельзя было жить и работать. Пожалуй, самый дотошный историк костюма не сыскал бы одежды столь же всеобщей и столь же национальной, как серый стёганный ватник в России двадцатого века. Недаром сейчас слово “ватник” означает даже не столько одежду, сколько национальный менталитет; но те злопыхатели, что хотят этим прозвищем унижить Россию и русских, своего не добьются: нам не пристало стыдиться ни нашей одежды, ни нашей истории. Так, в Нидерландах некогда слово “гёзы” (то есть оборванцы) из оскорбления превратилось в гордое имя борцов за национальную независимость; возможно, и слово “ватник” мы научимся произносить со спокойною гордостью и с благодарностью к этой, некогда не заменимой для миллионов одежде.

Рассмотрим же его, ватник, поближе. Мне кажется, в нём есть что-то общее со среднерусским пейзажем: неярким и скромным, не бьющим на внешний эффект, порой даже унылым, но всегда задушевным и тёплым. И, как стежки, которыми ватник прострочен, не дают ему сбиться в бесформенный ком, так бывает “простёган” и русский пейзаж: то дорогой, то тропкой, то речкой, то нитками железнодорожных путей, то колокольней сельского храма — тем, что не даёт ни пейзажу, ни всей нашей жизни расплыться в аморфно-бессмысленной каше.

А серый цвет ватника — тоже цвет очень русский. Это цвет деревенского сруба, простоявшего много лет на дождях и ветрах; цвет деревянных мостков над неяркою серой рекой — тех мостков, где, бывало, в тумане слышался стук бабьих вальков; цвет внимательных глаз белобрых детей, играющих в серой дорожной пыли; это цвет, наконец, невысокого русского неба, так часто хмурого, сеющего дождём, и в этой сосредоточенной серой печали так чем-то похожего на всю русскую жизнь.

И до чего же он, ватник, душевен! Стоит вдеть руки в его рукава, застегнуть его петли, как начинает казаться, что ты, наконец, вошёл в дом: натопленный, тёплый, радужный. Больше того: лишь надев ватник, я чувствую, как вполне становлюсь сам собой. Он словно бы заполняет незримый, но ранящий душу зазор между внешним и внутренним и заглушает своей уютной ватной прослойкой тот зуд непрерывной тревоги, что обычно так свойственен мне.

Да, ватник скромн и добр, терпелив и вынослив, то есть он воплощает едва ли не лучшие русские качества. И, заметьте: при всей своей мягкости, при скромно-смирнном, совсем не воинственном, виде ватник практически несокрушим. Его даже сжечь, и то невозможно: он будет, конечно, дымиться и тлеть, но огонь никогда не охватит его целиком. А если окажешься в ватнике под осенним дождём, он, конечно, сделается тяжёлым и волглым, но всё равно защитит тебя от холодной воды, прикрыв слоем хотя и намокнушей, но всё ж согревающей ваты.

И вот я думаю: а что, если, расставшись с ватником, как с повседневной и повсеместной одеждой, Россия утратит какие-то важные национальные качества? Утешает лишь то, что, если именно в нынешней жизни нас, русских, называют “ватниками” — значит, мы с вами доселе способны к труду и терпению, к скромности и доброте, к незлобности и бескорыстию, способны ко всем тем лучшим проявлениям человеческой сути, какие собой воплощает вот этот смиренный и несокрушимый предмет: русский стёганный ватник.

ГАЗИРОВКА. А не выпить ли нам стакан газировки — точнее, не вспомнить ли, как это делалось полвека тому назад? Ведь происходящее с нами в реальности — выпей хоть целую бочку — не утоляет глубинной

жажды души; зато питьё, что подносит нам память, порою способно утешить нас — оросить, так сказать, те кремнистые пустоши жизни, что оставили мы за своею спиной.

Без стакана газировки прожить жаркий день в городе было трудно. Когда асфальт плавился, когда синий дым бензиновых выхлопов висел над перекрёстками, когда город и все его жители были близки к безумию, тогда надпись “Газированная вода” воспринималась, как весть о спасении. Но следом за вспышкой радости возникало и два опасения. Первое — есть ли в твоём кармане одно- или трёхкопеечные монеты? Их ценность в жаркие дни вырастала чуть ли не десятикратно; случалось, за неимением трёхкопеечной, бросить в щель аппарата монету в пятнадцать копеек — и весом своим, и размером тоже способную выбить из автомата порцию газировки.

Вторым опасением было — есть ли стаканы? Гранёный стакан в те принопамятные времена был вещью, необходимой не только нам, детям, для услаждения нас газировкой, но и тем мужикам, что где-нибудь неподалёку тихим благодным вечером распивали “бормотуху”. Вот они-то, случалось, и забирали стаканы, и далеко не всегда их возвращали. Кое-где для борьбы с похитителями стаканов даже пытались заковывать их в кандалы (то есть заковывали, разумеется, стаканы, а не их похитителей), в этикие железные хомуты на цепочках; правда, держали эти оковы плохо, и стаканы продолжали исчезать — особенно пятого и двадцатого числа каждого месяца, в дни получек или авансов.

Но предположим, что нам повезло, и в кармане есть трёхкопеечная монета, а в нише газировального аппарата поблёскивает гранёный стакан. Этот стакан — после множества губ, что его лобызали — желательным было ополоснуть. А устройство для ополаскивания было забавным: притонающая решётка, нажимая в которую перевёрнутым стаканом, ты выдавливал бьющие в донце струи воды. И вот стакан мокр и чист, он сияет-переливается каждой из граней, теперь его можно подставить под сосок, из которого вот-вот с шипеньем ударит струя газировки. Но чтобы эта струя зашипела, надо протолкнуть в щель монетоприёмника “трёшку” и желательным — вдогон звякнувшей и провалившейся монете — стукнуть кулаком по аппарату. Без такого удара газировка бывала какой-то невкусной; зато при удачном ударе аппарат, получивший всего лишь копейку, мог растеряться и выдать полноценную порцию воды с сиропом. А если, случалось, ты был при деньгах, то есть у тебя оказывалось целых две трёхкопеечные монеты, ты мог шикануть и позволить себе газировку удвоенной сладости. Поскольку сначала наливался сироп, а уж потом он разбавлялся шипучею газированною водой, то вовремя вынув стакан из-под струи, а потом повторив всю эту процедуру, можно было получить сладчайший напиток. Впрочем, до такого разврата мы, дети целомудренной советской эпохи, опускались нечасто. С нас было довольно и того — поразительно свежего и веселящего! — ощущения бьющего в ноздри и в голову газа, которым был так богат каждый стакан газировки. И когда много после нам пришлось познакомиться со вполне уже взрослым шампанским вином, наверное, каждый из нас испытал что-то вроде разочарования. “Да, неплохо, — рассеянно думали мы, вертя в пальцах золотистый и пенный бокал далёкого (и, скорее всего, незаконного) отпрыска рода Клико. — Но, честно сказать, газировка была всё же вкуснее...”

ДАВКА В АВТОБУСЕ. Вот ведь что делает время: то, что некогда было досадной и малоприятной частью обиденной жизни — теперь, спустя много лет, оборачивается иной стороной. И ныне я, кажется, много дал бы за то, чтобы вновь очутиться в глубоких, живительных недрах той, давней — советских времён — автобусной или троллейбусной давки.

Слова “сплочение” или “единство”, которые мы так часто слышали или читали, так и остались бы мёртвыми и ничего не значащими словами, если бы мы дважды в день и на собственной, что называется, шкуре не ощущали, что значит “сплотиться”. Ведь давка в автобусе или троллейбусе, которую мало кто из работающих горожан мог миновать — она и была совершенно конкретным и осязаемым актом сплочения. Где ещё можно

было почувствовать столь же тесное единенье с народом, в котором ты жил, как не во время транспортной давки в час пик?

Начиналась она ещё на остановке, когда все, волнуясь, готовились к предстоящему штурму дверей и, переходя с места на место, занимали позицию, с которой удобнее будет вонзиться в людскую тесную гущу, чтоб затем на всё время пути стать её неотъемлемой частью. То есть важно было предугадать: где же именно притормозит и откроет двери водитель? Допустим, ты выбирал место правильно, дверь распахивалась прямо перед тобой, и тебя просто-напросто заносила в салон волна напирających сзади людей. Был, правда, и ещё способ уехать в набитом автобусе, но он требовал и немалой физической силы, и молодой дерзости. Всё время посадки ты стоял чуть поодаль, наблюдая за судорогами осаждавшей автобус толпы. Когда же автобус, кренясь, медленно трогался, и последние неудачники осыпались с его подножек — вот тогда ты прыгал на спины людей, что теснились в дверном проёме, и крепко-накрепко ухватывался за поручень. Пассажиры возмущённо кричали; набирающий ход автобус так завывал и дрожал, словно хотел тебя сбросить с подножек. Но ничто не могло разжечь твою хватку. И мало-помалу все те, кто кричал-возмущался, смирялись: ну, не сбрасывать же парня на полном ходу? Все как-то дружно посовывались, выдыхали, втягивали животы — и дверь-гармошка, наконец, закрывалась за твоей спиной.

И вот это был миг настоящего счастья! Не просто автобус, а люди, что ехали в нём, тебя, наконец, принимали... С этой минуты ты был вместе с ними, ты был как бы их неотъемлемой частью, и на тебя, несмотря на всю тесноту-духоту, на то, что ты еле стоял на одной ноге (да и эту-то ногу сейчас беспощадно давил чей-то острый каблук), на тебя нисходил глубочайший покой. Ты почти засыпал, убаюканный качкой автобуса и надсадным гуденьем мотора, успокоенный именно той теснотой, той автобусной давкой, в недрах которой ты так хотел быть и вот, наконец, оказался. И было, по правде сказать, не так уж и важно, куда и как долго вы будете ехать; хотелось, чтоб длилось и длилось твоё пребывание в гуще людей, в тесных недрах народа, который тебя, наконец, допустил до себя и позволил тебе разделить его участь и путь.

Не ты один — все успокаивались и смирялись по мере того, как автобус, гудя и кренясь (и ещё плотней утрамбовывая пассажиров), одолевал ухабы дороги. Теснота ли, сознание ль общей судьбы, или жалость к себе и другим, столь жестоко измятым, но что-то будило во всех и участливость, и доброту, и желание помочь тем несчастным, кому в этой давке приходилось совсем уже худо. И вот, глядишь, уступали сидячее место старушке, вот отодвигали створку окна перед лицом побледневшей и задыхавшейся девушки — да ещё и участливо осведомлялись: “А ты, милая, не беременна ли?” — вот дружно смеялись чьей-либо шутке, — словом, толпа так недавно ещё враждовавших, кричавших, толкавших друг друга людей превращалась в большую семью.

Да что говорить! Когда приближалась твоя остановка, и гармошки дверей раскрывались за твоею спиной (а для этого надо было кому-то толкнуть их снаружи), тогда ты отрывался от тёплой, сплотившейся массы людей с неожиданным сожалением. И, прыгнув с подножек, ты почти что с тоскою смотрел вслед удаляющемуся автобусу. Тебя в этот миг утешало лишь то, что ты твёрдо знал: очень скоро ты снова окажешься в недрах животворящей автобусной давки.

ДВОРОВЫЕ ИГРЫ. Что ещё исчезло, так это стайки пацанов, увлечённо играющие во дворах, как и истошные крики мамаш, безуспешно зовущих своих чад к ужину. Ну, конечно: большинство подростков ныне увязло в теньках всемирной Сети — где уж им вспомнить дворовые игры! А ведь когда-то они были важнейшей частью жизни: мальчишка просто-напросто не мог вырасти, совершенно их миновав.

Попробую вспомнить, как мы играли. И первое, что приходит на ум, — это швырянье друг в друга различных предметов, от репёв или горсти песка

до увесистых и довольно опасных камней. Вот уж, действительно, протоигра, уходящая в столь архаичную древность, что начало её теряется в дебрях антропогенеза. И с тех незапамятно-давних времён смысл этой первичной игры остаётся двойственно-противоречив. С одной стороны, бросить в другого чем-либо — это значит стараться его прогнать: пошёл, дескать, вон! Но, с другой стороны, попадание в другого каким-то предметом — копьём, камнем, палкой — означает его приближение и присвоение себе: этот другой становится как бы твоею добычей. И если это игра, то игра в её полном, всегда зыбко-двойственном смысле, когда, с одной стороны, я швыряюсь в тебя и тем самым гоню тебя прочь, но с другой стороны, хочу, чтобы ты стал мне ближе.

Кому не случалось кидать репы в девочек и зло хохотать, когда эти колечные цепкие шарики попадали им в волосы, путали пряди, а девочки, визжа, или гнались за вами, грозя кулаками, или, плача, бежали домой, чтобы мать привела им в порядок причёску? Но в душе-то хотели мы вовсе не этого визга и слёз, а того, чтоб девочки всего лишь обратили на нас внимание. Или вспомним уже их, девчачье, швыряние в нас чем ни попадя — щепкой, веткой, игрушкой, да ещё с воплем: “Уйди, противный!” — которое часто бывало, на самом-то деле, призывом: “Останься!”

Правда, больше кидались мы всё же друг в друга, чем в девочек, порой устраивая целые дворовые войны. И, помнится, лучшим снарядом для этих сражений были комки сухой глины. Даже попав тебе в лоб, они рассыпались в пыль и не наносили серьёзных увечий; зато если такой комок разбивался о стену, о землю или ствол дерева, то получался настоящий маленький взрыв, с пыльным облачком, медленно — как в военном кино! — отплывающим в сторону.

Но покидай-ка вот так час-другой — хоть комки глины, хоть копья из длинных побегов полыни (чернобыльник рос всюду), хоть камни, — какой ты ни будь здоровяк, рука твоя скоро устанет. И, естественно, приходили мысли о том, как бы эти швырянья-метанья усовершенствовать — как, скорее всего, приходили они и каким-нибудь низколобым, сутулым и страшным обитателям палеолита. Луки и самострелы — вот что было следующим уровнем наших дворовых игр (как и уровнем развития человечества: здесь наш дворовый онтогенез повторял общечеловеческий филогенез). Из чего и как делать луки — или, тем более, разнообразные самострелы — это, конечно, предмет не короткой статьи словаря, а большого и обстоятельного исследования. Скажу лишь несколько слов о метательных устройствах моего дворового детства: почему-то их я запомнил гораздо отчётливей — чем, скажем, девочек, рядом с которыми рос.

Итак, самодельные луки. Чаще всего и сам лук, и стрелы к нему мы делали из ровных побегов орешника — благо, в ближайших к нашей окраине перелесках лещины росло хоть отбавляй. Изготовить лук было несложно. Берёшь ножик “Белка” (см. “Нож “Белка””), срезаешь подходящий ореховый прут — из него, кроме лука, выйдет ещё пара стрел — и, сделав ножом насечки для тетивы, привязываешь верёвку к одному, а затем к другому рогу лука, сгибая при этом ореховую дугу. Со стрелами — точнее, с их наконечниками — возни было больше. Кто-то, особо усердный, делал наконечники из жестяных конусов; кто-то набивал на ореховый прут остроносую пулю, предварительно выплавив из неё свинец (который шёл на грузила) — а уж пульт, и немецких тупоконечных, и русских остроконечных, на нашей окраине мы находили сколько угодно: война наследила здесь на полвека вперед. Но проще всего было взять гвоздь и примотать его к ореховому пруту медной проволокой: этого добра — и проволоки, и гвоздей — тогда много валялось повсюду. Стрела получалась — одно загляденье. Приставишь, бывало, её к тетиве, вскинешь лук, туго натянешь — аж побелеют дрожащие пальцы, с трудом удерживающие стрелу, — и в момент выстрела что-то так и оборвётся в груди, словно мощный, со свистом, вылет стрелы ненароком задел твоё сердце...

Мощь наших луков мы проверяли не столько стрельбой по мишеням или на дальность (поди-ка потом разыщи невесть куда канувшую стрелу!), а, чаще всего, выстрелом в небо. Это было и красиво, и, прямо скажем, опасно.

Натянешь лук, нацелив гвоздь-наконечник в зенит, выстрелишь и с замиранием сердца следишь, как стремительный штрих улетающей в небо стрелы уменьшается, тает, становится точкой и совершенно теряется в солнечной сини. Но вдруг из слепящей глаза синевы опять появляется чёрная точка — уже и не точка, а чёрный стремительный штрих! — и он угрожающе-быстро растёт, и несётся обратно на ваши поднятые к небу и враз побледневшие, лица...

— Атас! — раздаётся пронзительный крик, и вы все бросаетесь врассыпную: хотя кто может знать, в какую именно точку двора вонзится свиреполетящая с неба стрела?

Самая ходовая модель самострела представляла собой деревянное ложе с желобком и с тугой резинкой, выбрасывавшей стрелу. Если лень было мастерить настоящий спусковой крючок, можно было обойтись и собственным пальцем, которым просто-напросто приподнималась стрела с бородкой-упором на хвостовой её части: упор соскакивал, и стрела вылетала. Били те самострелы достаточно сильно и точно: курицу или даже собаку вполне можно было сразить. Но в собак-то, понятное дело, мы не стреляли — мы их любили, — а стреляли по разным мишеням.

Были ещё духовые ружья из металлических лыжных палок. В эту длинную полую трубку вкладывалась заострённая вязальная спица с примотанным к ней куском поролона — и получалось нешуточное оружие. Прицелишься, коротко дунешь — словно кашлянёшь — в трубку, и острейшая спица бесшумно и сильно летит так далеко, что лишь по цветному куску поролона её потом можно найти. Если б у нас, как у американских индейцев, был ещё яд кураре, так те наши спицы вообще могли быть смертельны.

А рогатки? Они были различны: от совсем несерьёзной, сделанной из алюминиевой проволоки, с тонкой резинкой (она называлась “венгеркой”), стрелявшей проволочными “гнутиками”, — до толстой деревянной развилки, к рогам которой приматывалась резина, вырезанная из медицинской грелки. Убойная сила такой рогатки была страшной, особенно если “пулей” служил стальной шарик подшипника.

Словом, игрушки-“стрелялки”, сопровождавшие наши дворовые игры, всё более тяготели к оружию и, по сути, в него превращались, как и мы сами из подростков мало-помалу превращались во взрослых парней. И кто кого вёл за собой в этом совместном взрослении, сказать трудно: то ли мы сами, постепенно мужая, мастерили всё более серьёзные орудия, то ли наши игрушки, взрослея, как бы подтягивали нас за собой? А скорее всего, процесс был обоюдный: то, что мы сделали своими руками, начинало влиять и на нас, и вот мальчишка, который только вчера мастерил детский лук, сегодня с сопением забивает заряд в пистолет-“поджигу”, с которым вполне уже можно идти на серьёзное дело. Так что свой курс молодого бойца прошли мы все — те, кто рос в настоящих дворах, с увлечением играя в дворовые игры.

ЕЗДА “ЗАЙЦЕМ”. Продолжим транспортную тему. Ныне, когда и в автобусах, и в маршрутных такси платят, что называется, чистоганом — с трудом вспоминается, как когда-то мы отрывали билеты или пробивали проездные талоны. Причём, начиная с детства и до времён поздней юности, я пережил несколько поколений кассовых аппаратов. Когда-то автобусная касса являла собою коробку с прозрачною верхнею крышкою и с колесом на боку. Бросишь в прорезь пятикопеечную монету, повернёшь колесо — и касса высунет язык автобусного билета. Можно было, конечно, крутить колесо и безо всяких монет, и отрывать билеты бесплатно; но в те наивные годы предполагалось, что совесть — лучший контролёр: на эту тему вещали и многочисленные развешанные по автобусам плакаты.

Но с совестью, видимо, пошло что-то не так — и со временем кассовые аппараты стали куда недоверчивей. Теперь надо было толкнуть в щель монеты, затем нажать лязгающую клавишу, и только в обмен на монеты аппарат мог тебе выбросить бумажный билет.

Дальше — больше. Вместо кассовых аппаратов появились компостеры — иначе говоря, дыроколы, которыми ты, войдя в автобус или троллейбус,

должен был продырявить заранее купленный талон на проезд. Получалось, что, продавая проездные талоны заранее, государство брало у нас, своих граждан, взаймы, а тому, кто начинает брать в долг, да ещё по такой мелочёвке, ни доверия, ни уважения ждать не приходится. Переход на талоны уже был симптомом упадка, но мы, молодёжь, о таких вещах особо не думали. Мы, знай, просовывали талоны в щели компостеров, с хрустом нажимали рычаг или клавишу (модели компостеров тоже менялись), и видели, как из-под дырок сыплются крошечные кружочки бумаги. И это всё было чем-то вроде общей игры, в которую прилежно играли все пассажиры, от школьников до стариков.

Но была и ещё игра: ездить “зайцем”. Почему безбилетников называли именно так, для меня до сих пор загадка. Не дед же Мазай Некрасова — тот, кто бесплатно перевозил зайцев в лодке, — припечатал всем будущим безбилетникам это потешное прозвище?

“Зайцы” в советское время не переводились. Больше того, думаю, что любой гражданин страны, хотя бы раз в жизни, но побывал в “заячьей” шкуре. Для нас же, детей, езда “зайцем” была одной из любимых игр. Причём она была именно игрой, то есть тем, для чего не было никакой очевидной причины или необходимости: уж что-то, а пятак на проезд был в кармане у каждого. Но эта игра щекотала нам нервы, пугая и забавляя одновременно. Это было похоже на воровство яблок в соседских садах; уж конечно, не голод заставлял нас перелезать в сумерках через заборы и торопливо набивать яблоками карманы, а скорее желание перейти грань дозволенного, чтобы в этот момент испытать, насколько же прочен я сам и весь окружающий мир? И когда, уже после набега, оказывалось, что в мире ничего коренным образом не изменилось и что твой проступок не сокрушил его, мира, основ, вот именно это, а вовсе не кислые яблоки было главной наградой за твой дерзкий порыв.

Что-то подобное было и в езде “зайцем”. Риск оказаться уличённым и пойманным был хоть и невелик — грозные контролёры с сумками на боку появлялись нечасто, — но он всё же был и наполнял наши “заячьи” души ожиданием и восторгом опасности. Каждый думал: “Ух, каков я!” — и одновременно боялся быть пойманным; и вот эта смесь страха и дерзости, так щекотавшая юные души, нас и привлекала.

Но сейчас, с расстоянья в полвека, я вижу ещё один смысл в той игре. Ведь мы, норотившие ездить бесплатно, как бы боролись за лучшую, чистую жизнь, против тех товарно-денежных отношений, что возвращали нас в мир, где царят чистоган и нажива. Мы, дети-“зайцы”, бессознательно выражали как раз ту бескорыстную формулу светлого будущего — “каждому по потребностям”, — которая была заявлена в качестве государственной идеологии.

Не потому ли и те контролёры, что грозно вставали над нами, — а это обычно бывали утомлённые толстые тётки, с одышкой протискивавшиеся меж пассажирами, — оказывались на поверку не такими и страшными? Тем более, мы, уличённые детки, начинали жалобно ныть и канючить, вызывая к их состраданию. И что было делать им, тёткам, со своей неистребимою добротой? Конечно, для виду они ругались, но часто, махнув рукой, разрешали нам ехать дальше. И мы, прощённые “зайцы”, тогда сознавали, до чего же добр и надёжен тот мир, в котором мы жили вот уже десять или двенадцать лет! Да, этот мир замечает все наши проказы, но он достаточно мудр и силен для того, чтобы не унижаться до наказания.

ЖЕНСКАЯ НАГОТА. Возможно, на этой странице вы засмеётесь: эх куда, мол, хватил! Да нагота сегодня не только не исчезла, но назойливо нас окружает. И уж если где ей, наготе, и место, то в словаре не исчезнувших, а обрётённых вещей.

Но не спешите потешаться над наивностью и близорукостью автора. Я не слепой, и уж что-то, а женскую наготу замечая. Зато я сознаю и другое: когда чего-то избыток, когда это “что-то” назойливо лезет в глаза и превращается в нечто обыденное и вездесущее, тогда оно вовсе перестаёт для нас существовать. Посетите ради эксперимента нудистский пляж — ручаюсь, что

очень скоро вы перестанете замечать вокруг себя голых людей. Это не говоря уж о том, что нагота, как она есть, — в голом, так сказать, виде, без прикрытий и украшений — чаще всего неприглядна.

Так что новейшее время, обрушив на нас в изобилии женскую наготу, её у нас словно отняло. Можно подумать, что кто-то, заботящийся о нашей нравственности, применил такой неожиданный воспитательный ход — и достиг своего: он почти отбил у нас вкус, интерес и азарт к восприятию обнажённого женского тела.

А так ли — в этом месте я воздымаю руки и закатываю глаза — так ли было когда-то?! Подростками, а затем юношами мы и жили-то, можно сказать, лишь надеждой увидеть кусочек запретного и недоступного женского тела. Взмётнётся ли чья-либо юбка выше коленей — коленей, вид которых и сам по себе уже заставлял наши сердца биться чаще, — и мы, как внезапною вспышкой, бывали ослеплены белизной, гладкостью и бесконечностью (именно бесконечностью!) женских сходящихся бёдер, которые продолжались всё выше и выше, в пространства, совсем уже непредставимые и недоступные нашим незрелым умам... Потянется ли стройная одноклассница стереть тряпкой мел со школьной доски, и при этом движении её блузка немного поднимется, приоткрыв бледный впалый живот, — так этот живот потом тебе будет мерещиться ночью. Или, когда молодая учительница наклонялась над партой, показывая, где ты сделал ошибку в тетради, близость выреза женского платья с душистым и нежным началом груди так тебя оглушала, что учительнице лучше было тебя ни о чём не спрашивать: на эти секунды ты терял способность к членораздельной речи. То есть каждая из мимолётных встреч с женским телом (и даже не всем целиком, а всего лишь частицей его) была одновременно и праздником, и потрясением.

Но раз жизнь в те пуританские годы была так чопорно-сдержанна и так скупно отмеривала нам женскую наготу, так, может, хотя бы кинематограф утолял нашу юную жажду? Как бы не так! Это уже много после экраны оказались завалены “обнажёшкой”; а тогда, за всю кино-юность, я запомнил лишь два эротических эпизода, но зато уж таких, что уверенно вызывали эрекцию у всей мужской части страны. Один фильм был про индейцев: там гибкая юная “скво” ныряла в озеро с береговой скалы. В мелькнувшем пролёте её над водой ничего было толком не разглядеть; но само осознание того, что мы видим, хотя бы издалека и на киноэкране, совершенно голую женщину нас потрясало. А другой фильм был про войну: девушки мылись там в бане, и одна из них — редкостная красавица! — на целую секунду оборачивалась с экрана, во всей своей голой красе, к миллионам ошеломлённых мужчин. Думаю, если б с экрана по нам, зрителям, реально застрекотал пулемёт, мы и то были бы меньше поражены.

Так что нагота была редкостью и, стало быть, настоящей ценностью, которую, как всякую ценность, следовало оберегать от назойливых глаз или рук. И вот как раз к её защите и было призвано женское нижнее бельё советской эпохи. Это были, по сути, рыцарские доспехи: не всякому из мужчин (и, тем более, неопытных юношей) удавалось с ходу преодолеть его, белья, героическое сопротивление. И оно не подчёркивало и не выявляло, как ныне, всех пленительных прелестей женского тела, а, напротив, настолько скрывало их, что только очень красивая женщина могла позволить себе, без угрозы для собственной привлекательности, надеть, скажем, “трусы с начёсом” или бюстгальтер отечественного производства. И только действительно мужественный мужчина, в чьей крови не то, что горел, а пылал гормональный огонь, мог не смутиться и не растеряться при виде того, что должно было отбить у него всяческое желание. Ибо, конечно, один вид женщины в том “бронезилете”, который являл из себя бюстгальтер на пуговках, должен был вызвать у коварного соблазнителя или половое бессилие, или приступ раскаяния.

А каково было этот бюстгальтер расстёгивать — где-нибудь в темноте летней ночи, на укромной скамье, — да ещё одной левой рукой, потому что правая безуспешно пыталась отвести руки девушки, упорно защищавшие грудь (которая, впрочем, и так была надёжно защищена этим треклятым

бюстгальтером)? Круглые скользкие пуговицы выворачивались из пальцев и не пролезали в тугие петли, да и девушка непрерывно вертелась, дышала, смеялась, и поэтому твои пальцы то и дело срывались с застёжек, как солдаты с крепостной стены, которую они долго и отчаянно штурмовали. Каждая расстёгнутая пуговица была очередной удачей — вот, взят ещё, и ещё один бастион! — но упорство и силы штурмующих были всё-таки не бесконечны. Порой приходилось и заключить перемирие, и отступить, отложив штурм до другого удобного случая.

Но бывали порой и победы. Наконец, отлетела последняя из неподдававшихся пуговиц, напряжение тугого бюстгальтера сразу слабело, он куда-то сбивался, и тот неприступный, упорно сопротивлявшийся город, который ты штурмовал, — горячая, мягкая женская грудь — наконец-то сдавался на милость и на торжество победителя...

ЗЕМЛЯНЫЕ ПОЛЫ. Конечно, большая часть предметов или явлений, о которых я вспоминаю, относится к той советской эпохе, в которой я вырос. Но в памяти сохранилось и нечто такое, что уходит корнями в совсем уже давние времена. Так, я хорошо помню земляные полы курских хат, а это нас отсылает не только к началу двадцатого века, ко временам бунинской “Деревни”, но и ещё дальше, куда-то в бездонную глубину чуть ли не домонгольских времён. В сущности, земляные полы служат символом вечной скудности русского деревенского быта. Где земляные полы, там и мазанки под картофельной бурой ботвой, и печки, топившиеся соломой, и окошки размером в четыре ладони, и сугробы до крыши, и телёнок, зимующий вместе с людьми. А ещё земляные полы — это засухи, глады и моры, революции, войны, пожары, это всё то, что веками терзало русскую жизнь и заставляло искать защиты и помощи в том неизменном и главном, что оставалось всегда. Земля для крестьянина, как окоп для солдата, была и защитой, и домом — испокон веку погорельцы селились в землянках, — и местом последнего успокоения. Не оттого ли деревенские жители степного русского Юга долго не отгораживались от земли никакими полами-настилами, а, напротив, старались быть к ней, Земле-матери, как можно ближе?

Я земляные полы не просто отчётливо помню, но, кажется, и до сих пор ощущаю босыми ногами их прохладную гладкость. В соседнюю хатку, где одиноко жила наша дальняя родственница, которую все звали Нинкой, я, бывало, нырял, словно в прорубь: до того был резок контраст между знойным, сияющим блеском огромного летнего дня и прохладой, что вдруг окружала меня в тесных сумерках хаты. В первый миг после яркого света я не видел почти ничего, поэтому шаг-другой через сени делал наощупь, словно слепой, и только внутри самой хаты начинал различать какие-то смутные контуры и очертания. Но всё равно зрение мало чем помогало — печь, стол, лавку и крошечное оконце я скорее угадывал, нежели мог разглядеть, — больше работали прочие органы чувств. Так, босыми ногами я ощущал прохладные, твёрдые, гладкие земляные полы, с наслаждением чувствуя, как в них уходит избыток полднего зноя, так изнурявший меня, пятилетнего, в тот давнишний, почти незапамятный, день. Мой слух был наполнен гудением мух, сложно выющихся вкруг липкой ленты, свисающей с низкого потолка. Те из мух, что уже были пойманы за крыло или лапку, брызжали особо надрывно, а мои ноздри наполнял вездесущий картофельный запах. Им здесь было пропитано всё: и скаты крыши, заваленные курчавой ботвой, и чуток с поросычей похлёбкой в углу, и кастрюля с варёными клубнями, стоявшая на загнетке печи. Казалось, вынь из хаты картофельный запах — и она тут же рухнет, потому что вся здешняя жизнь держалась одною картошкой.

Что делал ты в низких сумерках хаты? Скорее всего, просил у хозяйки напиться — ведро с водой стояло у двери на лавке — и, пока жадно пил, держа кружку в дрожащих руках, вода текла по груди, животу, проливалась на пол, и ты чувствовал, как земля под ногами становится словно намыленной.

— Смотри, не поскользись, — звучал голос Нинки, хозяйки, которую я сейчас, как ни напрягаюсь, никак не могу разглядеть. Не знаю, виноваты ли в этом сумерки хаты или слабость моей неизбежно тускнеющей памяти?

Надо же: саму Нинку не помню, а полы в её хате помню так явственно, словно и в эту минуту стопы моих босых ног ощущают прохладу и твёрдую гладкость утоптанной, чисто выметенной земли. И, какие б жилища я ни посещал с тех пор, для меня неизменной точкой отсчёта, домом как таковым всегда была именно Нинкина хатка с её теснотой, прохладой и сумраком, с вездесущим картофельным запахом и земляными полами, на которых веками держалась русская жизнь.

ИМПЕРИЯ. Написал сейчас слово “империя” и подумал: а разве она исчезла, и разве ей место в моём словаре? Наша Россия даже сейчас — и по территории, и по населению, и по охвату различных народов, входящих в неё, — страна, несомненно, имперская. Но с другой стороны, тот, кто знал империю прежнюю, которая называлась “Советский Союз”, кто ощущал её именно как свою Родину (была даже песня: “Мой адрес не дом и не улица, мой адрес — Советский Союз”), тот не может не сравнивать прошлого с нынешним и не может не чувствовать, что теперешняя Россия — всего лишь громадный имперский обломок.

Нет, я не стану кадить фимиам на имперских руинах. Я знаю и помню, что в империи по имени “СССР” было много тяжёлого, тёмного, бесчеловечного, начиная с её уродливого названия, об которое с непривычки можно сломать язык. Я знаю, что все империи, в том числе наша, почившая, стоят на костях и крови, держатся насилием и принуждением. Но я чту старинное правило — *“De mortuis aut bene, aut nihil”* — и хочу вспоминать лишь хорошее.

И вот тут моя память — интересно, моя ли одна? — ведёт себя странно. Нет, чтобы вспомнить имперскую мощь — все эти марши, парады, монументы и грандиозные стройки, — но она, моя память, прежде всего воскрешает наивность империи. Или это мы сами, люди советской эпохи — те, кто как раз и несли в своих душах и судьбах черты всей огромной, из нас состоявшей, страны — это мы были такими, и наши тогдашние свойства образуют, в своей совокупности, портрет государства “Советский Союз”?

В чём проявлялась тогдашняя наша наивность? Например, в том, что мы верили: мир, окружающий нас, неизменен и вечен. Само время, несущее перемены, было как бы вынесено за скобки нашего тогдашнего сознания и существования; “сегодня” до неразличимости напоминало “вчера”, а “завтра” могло быть лишь лишь только таким, как “сегодня”. Какие-то мелкие перемены, конечно, случались, но это всё было на уровне изменений погоды или новостей с футбольного чемпионата; основной же массив нашей жизни лежал, как мамонт в вечной мерзлоте, и время, казалось, обходило его стороной. Что ни вспомнить — пивную ли в дымном угаре, портреты ль вождей на стене, отчёты ль с очередного партийного съезда, которые до неотличимости, из года в год, повторяли друг друга, облик ли наших тогдашних городов, дворов, улиц, квартал — всё будто оцепенело. Засыпая, мы твёрдо знали, какой мир встретит нас завтра: да тот же самый, привычный до скуки, но и до боли родной и знакомый.

И все черты, свойства, качества этого мира казались извечны и неизменны; они, как мы были уверены, существовали так же давно, как законы природы, и их, как законы природы, было невозможно утратить или отменить. Разве могло быть, скажем, образование или здравоохранение каким-либо, кроме бесплатного и общедоступного? Нет, конечно, мы слышали или читали в газетах, что где-то там, в ином мире — где-то у антиподов — всё было не так, но на то они и антиподы, чтоб выворачивать всё наизнанку.

Или разве могло быть такое, чтобы живой человек вдруг остался без куска хлеба и без крыши над головой? Да сама мысль об этом была бы крамольной и дикой: бездомные и голодные люди жили только на страницах классической — или зарубежной — литературы.

А преступность? Мой отец, выросший в небольшом посёлке Тим, что на Курщине, рассказывал: на весь Тимской район был один-единственный (!) участковый милиционер по фамилии Помарока — и тому, за нехваткой серьёзных преступников, приходилось порою гоняться и за пацанами, похитителями чужих яблок в поселковых садах.

А дружба народов? Сейчас можно сколько угодно иронизировать над этим — да, во многом наивным — сочетанием слов; но я, живший в те годы и бывавший в тех странах, что ныне от нас отделились, не замечал ничего, хотя б отдалённо напоминавшего национальную рознь. Искренней дружбы, быть может, и не было; но сила и мудрость империи, не допускавшей выплеска тёмной (по сути, звериной) вражды меж народами — эти мудрость и сила держали страну в рамках мирного сосуществования.

Ещё можно вспомнить искусство империи — те, образно выражаясь, цветы, что распускались на её многоствольном, раскидистом дереве. Ведь даже и ныне, спустя много лет после развала Союза, мы смотрим фильмы и слушаем песни, которые создавались тогда, потому что теперешних фильмов и песен, сравнимых с имперскими, создать не способны. Я уж молчу о литературе. Стоит только назвать десяток самых известных сегодня российских писателей и сравнить их с десятком крупнейших писателей советской эпохи, как это вызовет у людей, хоть что-либо смыслящих в литературе, гомерический хохот: это всё равно, что поставить рядом карликов и великанов.

И всё это жило и процветало в империи, под её защитой и кровом, словно под крышей громадной оранжереи, защищавшей нас от сквозняков и морозов внешнего мира. Но мы-то, советские люди, во-первых, почти не замечали и не ценили того, что тогдашняя жизнь нам так щедро дарила и что мы принимали как должное; а во-вторых, были твёрдо уверены в том, что благоденствия и дары этой жизни неисчерпаемы и бесконечны.

Откуда только взялась в нас такая наивность, доходящая чуть ли не до слабоумия? Как могли мы поверить, что всё, чем мы пользуемся, среди чего мы живём, нам дано даром и навсегда? И только нашей предельной наивностью, доходящей до глупости, можно объяснить то, как мы бессильно, бездарно расстались со всем, что имели. Когда всё, чем мы жили, чем так беззаботно, капризно и беззастенчиво пользовались, стало ускользать из рук, у нас неостало ни сил, ни решимости просто-напросто сжать кулаки, чтоб удержать хоть немного из ускользавших имперских даров.

Да что теперь говорить! После драки кулаками не машут, тем более что никакой драки и не было. Остаётся лишь помянуть “империю СССР” добрым словом — она того, право, заслуживает. И потом, ведь этой империей были мы сами... Да, наивные, да, избалованные, как дети, и неспособные сами себя защитить и ценить. Но ведь и мы, и страна, что из нас изо всех состояла, мы всё же были, мы действительно существовали, а это уже есть великое счастье, заслуга и благо.

ИСЧЕЗНУВШИЕ ВЕЩИ. Пожалуй, стоит немного поговорить об исчезнувших вещах, как таковых, о том, как они умудряются, даже уйдя из обихода, всё-таки жить где-то в памяти и оттуда согревать настоящее пусть и слабым, но всё же ощутимым теплом.

Затеяв писать этот словарь и думая, что он будет звучать в печально-прощальной тональности — как расставание с миром, в котором я некогда жил, — я с удивлением вижу и чувствую, что происходит вовсе не расставание, а новая встреча. Лишь после разлуки я обретаю способность увидеть предметы или явления прошлого в их полном объёме и в их настоящем значении. Когда я, ещё юношей, жил среди них, я и думать не думал об их глубине или смысле. Теперь же, отодвинувшись от минувшего на несколько десятилетий, я вижу его как бы в полный рост, то есть, по сути, впервые встречаюсь с прошлым по-настоящему.

Не забудем, что память, к которой мы все прибегаем так часто, и без которой просто-напросто неспособны существовать, есть процесс созидательно-творческий. Неправильно думать, что наша память — это нечто вроде кладовой, на полках которой, в порядке или беспорядке, хранятся воспоминания; и неправильно думать, что вспомнить что-либо — это значит всего лишь отыскать нужную полку, а на ней найти нужную банку или коробку. Вовсе нет. Вспоминая о чём-то, мы это “что-то” заново воссоздаём. Поэтому об одном и том же событии разные люди нередко вспоминают по-разному. Кому не случалось приходиться в изумление от несовпадения собственных

и чьих-либо воспоминаний? И поэтому даже один человек, в разное время вспоминая о чём-то из своего прошлого, получит, возможно, разные воспоминания.

И это не мой личный вымысел, а то, что говорят нам учёные. Память есть именно творчество; а настоящее творчество — это всегда сотворение того, чего ещё не было. Но тогда резонно будет спросить: а не грош ли цена всему тому, что мы вспоминаем? Например, моему словарю? Было ли то, о чём я пишу, в самом деле или это лишь плод моего обращённого в прошлое воображения?

Вопрос очень сложен, и ответ на него не может быть прост. Да, отчасти я как бы творю своё прошлое заново, как и любой человек создаёт себе собственный, зыбкий и переменчивый, образ минувшего. Но с другой стороны, разве не было в нашем прошлом такого, что одинаково сильно волнует всех, кто причастен к нему? И вот именно старые вещи — те, среди которых мы все с вами жили, — создают нам единый, устойчивый и несомненный фундамент наших воспоминаний. Попробуйте посидеть с кем-либо из сверстников за рюмкою, что называется, чаю и повспоминать, ну, скажем, о телефонных будках или магазинных прилавках тех лет, о том, сколько стоили ливерная колбаса или килька в томате, об автобусной давке в час пик или молочных бутылках с крышками из серебристой фольги, об аппаратах газированной воды, вокруг которых в жару вились осы, о мини-юбках, кримпленовых платьях или туфлях на платформе, о грампластинках, которыми торговали с рук в подворотнях, о проигрывателях или печатных машинках, о писчих перьях, чернильницах и пресс-папье — кто сейчас помнит, что это такое? — о пионерских галстуках и комсомольских значках, о том, что такое “сообразить на троих”, об авоськах и ременных креплениях лыж, о деревянных спичечных коробках — обо всём, словом, том, из чего ваша жизнь состояла и чем была окружена. И вы увидите, как ваше общее прошлое оживает и приближается к вам; оно уж не будет казаться чем-то вымышленным и недостоверным — нет, оно как бы усядется с вами за стол, сам-третей, и вы будете уж не печалиться о разлуке с ним, а праздновать долгожданную встречу.

КАТУШКА НИТОК. Что-то давно я не видел простой деревянной катушки для ниток — вещи такой повседневно необходимой, что её изображение встречало нас, помнится, уже в “Букваре”. Неужели и ей пришло время исчезнуть и быть заменённой скучными пластиковыми бобинами?

А вот катушка — особенно послужившая, с выбоинной-щербиной на деревянном бортике — она никогда не бывала скучна. Даже просто взять её в руку и повертеть в пальцах, и то было приятно. Сухая шершавость её боковин и ребристость намотанных ниток так ласкали кожу руки, что на лице человека с такою катушкой в руках почти всегда появлялась улыбка, как появляется она и у меня, когда я всего лишь вспоминаю о ней.

Может, эта улыбка — память о том, что катушка нередко бывала одною из первых игрушек младенца? И сама по себе, и образующая, вместе с подругами, нанизанными на шнурок, ожерелье или погремушку, она встречала младенца уже в первые дни его жизни, когда он начинал знакомиться с тем, из чего состоит окружающий мир.

Спустя некое время он обязательно видел такую катушку в руках своей матери или, может быть, бабки, которая, сидя возле кровати, под внимательным взглядом ребёнка чинила одежду, возможно, и напевая при этом колыбельную песню. И разве же не испытывал каждый младенец в такие минуты глубокий, блаженный покой, который потом, уже в будущей суетной жизни, он вряд ли когда-либо мог испытать?

А спустя ещё время подросший ребёнок — особенно девочка — уже и сам пробовал заниматься рукоделием. И опять было не обойтись без катушки ниток, без её тёплой шершавости, без слюнявого кончика нити, который ты, сопя от усердия, просовывал в ушко иглы, и порой без котёнка, который, сбив лапой катушку с твоих колен, загонял её, словно мышь, под диван, где уже пылились две-три таких же похищенных резвым котёнком катушки.

Словом, катушка ниток была постоянным и обязательным спутником жизни. И она обозначала совершенно особое отношение к миру вещей — то, которое современность стремится изгнать. Катушка была символом целого, уходящего в прошлое, мировоззрения, материальной основой того, что социологи называют “обществом ремонта”. А ведь мы с вами в этом обществе некогда жили и даже не представляли себе, как это старую или негодную вещь можно просто-напросто выбросить, не постаравшись её починить или хотя бы найти ей новое полезное применение. “Общество ремонта” настолько отличалось по фундаментальным взглядам на жизнь от современного “общества потребления”, что порой кажется, что это две различные цивилизации. Сегодня вещи принципиально не ремонтируются. То, что испортилось, надоело владельцу или просто-напросто вышло из моды, тут же заменяется новым предметом, который при первой замеченной в нём неисправности тоже будет безжалостно выброшен в мусорный бак.

Апофеоз же “философии потребления” — это одноразовые предметы, список которых растёт с каждым годом. Я уже не говорю об одноразовых сумках-пакетах или пищевых контейнерах, об одноразовых тарелках или стаканах, носовых платках или полотенцах; в разряд одноразовых давно уж попали зажигалки и шариковые авторучки, медицинские халаты и хирургические скальпели, мангалы для пикников или пляжные тапочки. Да и прочие вещи, которые нас окружают, — одежда, мебель, автомобили — тоже изо всех сил стараются стать одноразовыми, срок их службы стремительно сокращается. Одежда и обувь нам служат сезон или два, мебель или автомобили — в лучшем случае, несколько лет. Кто-то, может быть, скажет, что это удобно и современно — не занимать своё время, руки и голову проблемой ремонта негодных вещей. Но я чувствую, что, попадая в зависимость от одноразово-эфемерных предметов, мы с вами и сами становимся какими-то “одноразовыми”. Мы начинаем скользить по поверхности жизни, как тень или призрак, а её, жизни, трудная для достижения и постижения глубина остаётся нам, “одноразовым”, недоступна.

А вот если я, скажем, достаю из шкатулки катушку ниток, цепляю на нос очки и сажусь ближе к лампе, чтобы заштопать прореху на брюках или пришить пуговицу, я же не просто занимаюсь починкой одежды. Нет, всё гораздо серьёзнее, глубже. Той нитью, которую я сейчас смытываю с катушки и вдеваю в ушко иглы, я укрепляю саму свою жизнь, соединяю свою, так сказать, субъективность с лежащей вовне объективной реальностью мира. В эти минуты ремонта я чувствую, что я по-настоящему жив, что я действую и существую, раз мои пальцы кладут стежок за стежком, и в итоге ко мне возвращается мой старинный, изрядно потрёпанный жизнью, товарищ — вот эти штаны или эта рубаша. И даже боль в пальце от неожиданного укола иглой меня как-то подбадривает и освежает: в такие моменты я ощущаю, что не просто живу, но ещё нахожусь с окружающим миром в живых, обоюдных (и по-настоящему чувственных!) отношениях.

А всего-то, казалось бы — простая катушка ниток... Нет, мне действительно жаль, что её больше нет рядом с нами, что она укатилась от нас во тьму прошлого, в ту глубокую, тёплую и настоящую жизнь, где нас окружали реальные, а не виртуальные вещи, и мы с этим миром вещей находились в живой и волнующей связи.

КИРЗОВЫЕ САПОГИ. Представьте кирзовый сапог — запylённый, морщинистый, серый, чем-то напоминающий лицо измождённого работника. И только подумаешь, что же они, сапоги былых лет, в совокупности выдержали, сколько дорог прошагали, сколько всего перенесли на своих подмётках, как хочется ставить кирзовым сапогам памятник. Для великой победы “кирзачи” сделали чуть ли не больше, чем тысячи танков, самолётов и пушек. Они в буквальном смысле на себе вынесли беды, тяготы, вёрсты войны: именно “кирзачи” отступали до Волги и дошагали затем до Берлина.

Но и помимо войны труд кирзовых сапог был громаден. Они грохотали по подмостьям всех — знаменитых и незаметных —строек страны, они исходили все деревенские тропы, поля и просёлки, истоптали все улицы

и тротуары, все заводские цеха и казармы — всё, над чем денно и ночью трудился народ, совершалось вот именно в этой, достойной почёта и памяти обуви. Поэтому воображаемый памятник “кирзачам” был бы одновременно и памятником всем труженикам страны.

Но, как ни грустно, вместе с кирзовыми сапогами, похоже, уходит в прошлое и само понятие “труженик” (столь похожее на монастырское “трудник”), то есть тот, кто работает не ради денег, а в силу естественной склонности и привычки к труду. Уж какие там деньги платили колхозникам? Можно сказать, никакие. А палочки “трудодней” были просто издёвкой, как и те почётные грамоты, что так охотно давали трактористам, телятницам или дояркам, которые были годны лишь на то, чтоб оклеивать ими стены в избе. Заводские рабочие или строители получали, конечно, побольше; но всё равно, при тогдашней всеобщей скудности жизни, главной наградой за трудовой день, проведённый возле станка или на подмостках стройки, были пресловутые “сто пятьдесят с прицепом” — чарка водки с кружкой пива — да с разговором “за жизнь”, под который они выпивались.

Теперь таких тружеников, как раньше, становится всё меньше и меньше. Люди старой закалки, если и живы, давно на покое; а ныне, если кто и проявит редкостное трудолюбие, то его называют не “труженик”, а “трудоголик”, то есть больной человек, которого надо лечить, словно какого-нибудь алкоголика. Да и сам труд из “владыки мира” превратился в товар, который надо продать подороже, постаравшись при этом ещё и надуть покупателя.

Многие ли сейчас будут работать, если им вообще перестанут платить? Вопрос, скорей, риторический; а когда-то таких людей были миллионы и миллионы — из них состояла и ими держалась страна. Но согласитесь, что между стремлением непременно продать, и возможно дороже, свой собственный труд (то есть продать своё время, умение, силы — свою, словом, жизнь) и желанием делать то, что умеешь и хочешь, вполне бескорыстно, по зову души — разница примерно такая же, как между продажной или свободной любовью.

Но не вернуться ли нам к кирзачам? Недавно мне повезло: мой хороший знакомый подарил мне свои сапоги, с которыми он вернулся из армии лет сорок назад и которые сохранились целёхоньки. Я был страшно рад! Мне захотелось прижать их к сердцу, словно старинного друга. Встреча с этими “кирзачами” была словно и встречей с молодостью (работая в студенческих стройотрядах, я только в “кирзе” и ходил), и встречей с собою самим. Надевая подарок, подтянув голенища и щеголевато пристукивая то носком, то каблуком, я не просто почувствовал себя и бодрей, и моложе, но мне показалось, что я в “кирзачах” становлюсь хоть немного, да лучше, чем в каких-нибудь модных ботинках. Я в них делаюсь сразу естественней, проще, доверчивей и веселее. И мне — ну, не странно ли? — тут же хочется сделать какое-то доброе дело. Ну, скажем, перевести через дорогу старушку и заодно поднести ей тяжёлую сумку, помочь соседу подправить забор, сколотить песочницу для детей или хотя бы накормить вон ту бездомную собачонку, что смотрит слезящимися и укоряющими глазами. Жаль, что я надеваю любимую обувь так редко — как-то всё недосуг или лень — и так много хорошего, что я мог бы в ней сделать, остаётся, увы, лишь мечтой...

КОРОБОК СПИЧЕК. Скоро не то, что спичечные коробки, но и сами спички выйдут из обихода: теперь на просьбу “дать огоньку” обычно достают из кармана одноразовую газовую зажигалку. А уж те деревянные спичечные коробки, о которых я хочу вспомнить, — они исчезли с лица земли, как мамонты или динозавры.

Удивительно, до чего коробок был мал, да удал, как много функций умел совмещать и какой неотъемлемой частью жизни являлся! Без него — никуда; даже в кармане у некурящего человека нередко можно было найти эту сухо гремющую и такую приятную на глаз и на ощупь коробочку. Да что там! Ведь спичечный коробок, если помните, порою играл роль денег, то есть всеобщего товарного эквивалента: он стоил копейку и, когда у продавщицы недоставало мелочи, она давала сдачу именно спичечными коробками.

А измеренье длины, когда под рукой не оказывалось линейки? Коробок-то, как собственная ладонь, был всегда рядом, и его длинная грань, длиной ровно в пять сантиметров, отлично справлялась с поставленной измерительной задачей. Выходит, что спичечный коробок некогда был своего рода мерой вещей или, можно сказать, он был кирпичиком — лёгким, хрупким, изящным — в том мироздании, частью которого некогда были и мы.

Впрочем, нынешняя молодёжь и в глаза не видела деревянного спичечного коробка, и потому надо ей объяснить, как он был устроен. Хоть он и стоил со всем своим содержимым — полусотней спичек — всего лишь копейку, но он был не так прост. Он состоял из двух, склеенных из тончайшей фанеры коробочек, из которых одна с нежным шелестом входила в другую, а при нажатии пальцем с торца — наоборот, выходила, открывая глазам россыпь спичек с коричневыми головками.

Фанера спичечного коробка была оклеена синей бумагой; по длинным граням наружной коробочки были приклеены “тёрки”, при трении о которые и воспламенялась спичечная головка. Как, каким образом зажечь спичку — движением “к себе” или “от себя”, зажав спичку двумя пальцами или щепотью, шаркая спичкой о коробок или, напротив, коробком о недвижную спичку — способов было немало, и каждый из них отражал и характер, и род занятий, и даже социальное положение человека. Шофёр-дальнобойщик, деревенская бабка у печки, литературная дама в московском кафе, рабочий у фрезерного станка, интеллигент в очках, отмотавший срок зек, пацаны в подворотне, солдат в увольнении — все они зажигали спички по-своему, и то, как они добывали огонь, очень много и точно о них говорило.

Но продолжим рассматривать сам коробок. Государство, выпуская спички и спичечные коробки, не забывало использовать даже их — в назидательных целях. Что мы видели на бумажной цветной этикетке, наклеенной на верхнюю грань коробка? То корабль или самолёт, то вдохновляющий индустриальный пейзаж, то трудовой поучительный лозунг, то напоминание о безопасности (“Не играй с огнём!” или “Не выходи на пути перед поездом!”). Поэтому каждый коробок со спичками, помимо своего прямого назначения — быть источником огня — являлся ещё и объектом соц-арта.

Чем ещё был хорош коробок? Опустев, он служил замечательной тарой для разных сыпучих и мелких предметов. Отправляясь в дорогу — в поход, на рыбалку или по грибы, — куда насыпали мы соль? Конечно, в пустой коробок из-под спичек. А в чём рыболов хранил мотыля — такого рубиново-красного и аппетитного, что хотелось самому его съесть? Опять-таки, в спичечном коробке. Радиолобитель — была и такая порода людей — хранил в коробках из-под спичек свою радиомелочь, всякие там диоды-транзисторы. А для школьников любимейшим развлечением в конце учебного года было принести в класс спичечные коробки, в которых шуршали-царапались пойманные накануне майские жуки. Чуть приоткроешь такой коробок — жук тут же лезет в узкую щель всеми своими усам и лапками, всем жёстким, упорным хитиновым тельцем, — и вот он уж взмыл-загудел над головами весело загомонившего класса...

А походы, особенно в сыровость и дождь, когда именно от спичечного коробка зависело, будет ли нынче костёр, чай и ужин и удастся ли нам обсушиться и обогреться? А разные игры, в которых тоже участвовал коробок? Одна из простейших: по очереди подбрасывать коробок щелчком пальца на подоконнике или столе, и смотреть, на какую грань он упал. Лучшее всего, если он устоял на торце, — игрок тогда побеждал. И вообще, чем игра была примитивней, тем она была увлекательней: тогда уже не умение играть, а сама судьба решала, кто победит.

Да, не забыть: именно спичечный коробок порой оказывался единственным предметом, на котором ты мог записать телефон приглянувшейся девушки. Где-нибудь на автобусной остановке, в библиотеке или в фойе кинотеатра ты лихорадочно охлопывал себя по карманам, пока девушка чуть насмешливо и выжидающе улыбалась, и, наконец, доставал коробок. Карандаш у тебя, к счастью, был, и ты, спеша, нацарапывал на его грани заветные цифры. Коробок дрожал в твоих пальцах, спички в нём сухо гремели,

и ты вдруг вспоминал о майском жуке, который вот так же когда-то шуршал в коробке, и почему-то его, жука, судорожные попытки вырваться на свободу напоминали твои теперешние усилия преодолеть ту преграду смущения, что сейчас отделяла тебя вот от этой красавицы...

КУЛЁК. Вот пришли времена: уже надо объяснять молодёжи, что такое кулёк! А полвека назад редко какой покупатель выходил из продуктового магазина без кулька в руке либо в сетке-авоське.

Кулёк — то есть конус из серой, шершавой, приятной на ощупь бумаги, — был тогда универсальной упаковкой. В кульках несли всё: сахар и яйца, конфеты и пряники, муку и крупу, макароны и семечки. Даже селедку бросали в кулёк, и сквозь бумагу тогда проступало солёное пятно. Или, скажем, подсолнечная халва — она тоже пропитывала бумагу, и кулёк становился пахучим и сладким.

Всегда правилось наблюдать, как продавщица сворачивает кулёк. Она берёт лист бумаги из стопки, встряхивает его с лёгким хлопком, затем стремительно оборачивает вокруг собственной полной руки, ловко заламывает вершинку — и вот перед ней ровный конус, в который скоро с шуршаньем начнут сыпаться сахар или крупа.

Удивительно, до чего проста была тогда жизнь, особенно сельская; и эта жизнь — во что сейчас даже трудно поверить — была практически безотходной. Ни мусора, ни, тем более, мусорных свалок в деревне тогда просто-напросто не существовало. Все съестные остатки доставались курам или поросятам; всё, что могло гореть, оказывалось в печи; верёвочкам, крышечкам или коробочкам обязательно находилось место в хозяйстве. Это я всё к тому, что нынешние времена по сравнению с аркадской идиллией моего детства буквально выбросили нас на свалку: упаковочного мусора вокруг столько, что мы рискуем быть заживо похоронены в его горах. Наша цивилизация превратилась в прямом смысле в цивилизацию упаковок. Полюбуйтесь какой-нибудь компанией горожан, выехавших на пикник. Да, посидят они у костерка или мангала, подурчатся, выпьют-закусят, пожарят свои шашлыки, но упаковок, бутылок, пакетов оставят после себя целую гору! И ведь это всё вечный мусор: пластик, которым отдыхающие осквернили природу, переживёт их самих, их детей, внуков и правнуков.

А кроме того, цивилизация упаковок — это мир видимостей и обманов. Никакая вещь, спрятанная в ярко-призывную оболочку, не может быть так хороша, так вкусна и полезна, как об этом кричат картинки и надписи на упаковке. Скорее, наоборот: чем ярче форма, тем скуднее (порой и опаснее) содержимое.

Поневоле со вздохом и нежностью вспомнишь о старом добром кульке из обёрточной серой бумаги. Он был скромненький, да честный: лишнего не сулил, а уж если что нёс в себе, так добротное и настоящее. И финал кулька всегда был достойным. Какое-то время он хранил те продукты, что были завернуты в нём; потом бумага кулька могла стать обёрткой, к примеру, куриных яиц, уложенных в старой плетёной корзине. Но, в конце концов, любой из бумажных кульков становился печною растопкой. Бумага комкалась; этот комок подсовывался под щепки, лежащие в топке печи, и скоро бумага смутлела от зыбкого пламени спички. Кулёк служил людям последнюю службу: он становился огнём, а потом улетал в виде сажки и жара в печную трубу.

ЛАЗАНЬ ПО ЧЕРДАКАМ И ПОДВАЛАМ. Иногда возникая как продолжение игры в прятки, наше детское лазанье по чердакам и подвалам само по себе превращалось в игру. Теперь-то ни на какой чердак или в подвал не залезешь: всюду всё на замках. А в наше время всегда можно было найти лазейку в подвал — или из подъезда, или снаружи дома, через техническое окно, иногда для виду прикрытое ржавой, легко сдвигающейся решёткой. Уже одно то, что в подвалах царил полумрак, а то и кромешная тьма, и поэтому там было не обойтись без фонариков либо свечей, делало мир подполья таким притягательным, что мало кто из подростков мог устоять перед зовом подвального лаза.

И память, когда я прошу её снова спуститься со мною в подвал, ведёт меня по холодным глинистым кучам, усыпанным ключьями стекловаты, вдоль сочащихся влагою труб. Эти трубы как будто мохнаты — опять-таки, от стекловаты, примотанной к ним витками стальной пружинистой проволоки, усы которой так часто ловили нас, проползающих, за воротник. В пятне фонарного света, рыскающего по отвалам глины, оказывался то ржавый вентиль трубы, то старый кирзовый сапог или драная телогрейка, то вдруг жутковатою зеленью вспыхивала пара кошачьих глаз. Если же мы выключали фонарик или гасили свечу, то подвальная тьма расширялась до пугающей бесконечности. В ней что-то всё время капало и шуршало, не одни только кошки, но и крысы разглядывали нас из темноты, и долго выносить тьму подвала никому не удавалось. Мы поскорей вновь включали фонарик или зажигали свечу и с облегчением, как старых знакомых, снова видели ржавые вентили и мокрые трубы в клоках стекловаты.

Для чего вообще мы спускались в подвалы? Что искали в их тесной, сырой темноте? Что за тайна влекла нас во тьму подземелий — тайна, которую можно было почувствовать, только проникнув туда, где шуршат крысы, сочится вода и где даже робкий свечной огонёк не разгоняет, а множит тени и страхи? Или мы залезали в подвалы ради той радости и облегчения, с какими потом возвращались обратно, в привычный и солнечный мир? И впрямь, погруженье во тьму всегда обостряло в нас чувство радости жизни — и двор был милей, и трава на нём зеленей, и небесная синь была ярче после того, как мы ненадолго со всем этим расстались.

Чердаки я любил больше подвалов и забирался на них куда чаще. Вот туда меня словно что-то тянуло: то ли стремление подняться повыше и посмотреть на привычный мир сверху, то ли чувство особенного, гулко-ветренного пространства, какое всегда возникало меж косых стропил чердака. Да, здесь было не то, что в подвале, — здесь было сухо, просторно, свежо. Под ногами шуршал керамзит, от слуховых окон тянул непрерывный сквозняк, и сизые голуби суматошно вспархивали от твоих шагов, взметая чердачную пыль и свой собственный, долго реющий в воздухе пух.

Мне чердак представлялся всегда кораблём, особенно в ветреную погоду. Весь его деревянный каркас — стропила и поперечины-ригели, брусья подпорок и тёс обрешётки — тогда стонал, напрягался, скрипел под ударами ветра, а серые волны шифера, лежавшие над головой, вызывали в воображении настоящие волны, бегущие вдаль. К тому же, чердак соседнего дома, куда мы лазили чаще всего, жильцы использовали для сушки белья, и переплетенья верёвок с белевшими полотнищами простыней, так похожими на корабельные снасти и паруса, делали сходство чердака с парусником столь очевидным, что, пробираясь между стропил и верёвок, всегда хотелось выкрикивать бравые морские команды, вроде: “Полундра! Свистать всех наверх!” — или: “Ставь бом-брамсели, сто чертей в глотку!”

А сизые голуби нам вполне заменяли крикливых, назойливых морских чаек. Их воркованье почти непрерывно доносилось из дальних углов; когда же целая стая, кормившаяся где-то на ближних полях или мусорных свалках, влетала в слуховое окно, на чердаке мгновенно смеркалось, и весь пыльный сумрак вибрировал от десятков поспешно хлопавших крыльев.

Но годы шли, мы росли, жизнь менялась; и на переломе эпох уже вовсе не дети искали на чердаках и в подвалах приюта. Те несчастные люди, кому судьба не оставила даже крыши над головой, снова, как они делали это в детстве, искали лазейки в подвалы или карабкались на чердаки. И, по горькой иронии жизни, этот подвально-чердачный мир был бомжам хорошо знаком, только кто из них думал, ребёнком играя в прятки в подвалах или на чердаках, что им снова придётся вернуться сюда? И вернуться уже не в шутейной игре, а в самой что ни на есть беспощадной борьбе за выживание? И что те же голуби, те же кошки и крысы, точнее, прямые потомки тех самых крыс, кошек и голубей встретят их здесь?

Правда, не очень-то долго продлилось чердачно-подвальное существование бомжей. Жильцам досаждали незваные гости, — а то ведь и хладные трупы

приходилось вытаскивать через подвальные лазы, — поэтому и чердаки, и подвалы вскоре повсюду позакрывали. Но хочется думать, что бродягам, чья жизнь завершилась в подвалах или на чердаках, судьба подарила хотя бы последнюю милость. Кончаясь среди влажных пластов стекловаты или зарывшись в холодный сухой керамзит, кто-то, может быть, и представлял, что он снова ребёнок и снова играет в пиратов или разбойников. И совсем уже скоро — вот только чуть-чуть потерпеть! — он выберется из этой холодной сырой темноты на свет Божий, снова увидит зелёную траву двора и небесную синь наверху, а когда он вернётся домой, то мать попеняет ему, но голосом вовсе не строгим, а ласковым: “Что, опять лазил в подвал? Вон как изгваздался — смотри, все штаны в глине...”

МЕЛОЧЬ. Я имею в виду монеты — те, что побрякивали в кармане почти у каждого. Само ощущение позвякивающих в ладони или в глубине кармана монет было очень приятным. И вовсе не потому, что оно означало какую-то там состоятельность — мелочь, она и есть мелочь! — а потому, что монеты ласкали и руку, и глаз. Мне особенно нравились крупные медяки — монеты достоинством в три и пять копеек. И они, если помните, были настолько привычны и вездесущи, что служили мерилом для разного рода сравнений. Скажешь, бывало, описывая человека: “У него на щеке родинка размером с пятак”, — и каждому ясно, о чём идёт речь. А если стукнешься лбом о какой-нибудь угол — тут же лезешь в карман за пятаком и прикладываешь к ушибу его охлаждающий кружок.

То есть монеты — особенно медные (уж не знаю, сколько в них было меди, но так их все называли) — были нужны нам не только как товарные эквиваленты, но и как предметы сами по себе, повседневные и необходимые. Конечно, и о покупательной способности мелочи мы не забывали. На эту тему, пожалуй, я напишу отдельную статью и назову её, скажем: “Цены советской эпохи”. Пока же давайте рассмотрим сами монеты: их аверс и реверс, те цифры, что были на них отчеканены, и государственный герб, что имелся на каждой. Не удивительно ли, что тогда, когда мы эти монеты ежедневно использовали, мы как-то не снисходили до того, чтоб их рассмотреть повнимательней — подумаешь, мелочь! — и вот только теперь мы относимся к ним, как какие-нибудь археологи, воскрешающие былое по немногим его уцелевшим остаткам...

Археологам будущего достанется, кстати, неплохой урожай уцелевших советских монет. Уж если мы, пацаны, находили немало обронённых пятаков да гривенников буквально у себя под ногами, так, наверное, специалистов, оснащённых какими-нибудь металлоискателями, ждёт улов куда больший. К тому же, тогда бытовал обычай бросать монеты в тех местах, что пришили тебе по душе и куда ты хотел бы вернуться. Вот и летели монеты, сверкая, в пену прибоя где-нибудь в Коктебеле или Юрмале, в струи фонтанов Львова или Ташкента, в реки с мостов или просто куда-нибудь, лишь бы подальше — в белый, что называется, свет. Жаль, что я тогда, когда мог это сделать, не разбрасывал мелочь повсюду... Может, это мне помогло бы сейчас возвратиться в былое?

Ведь те археологи будущего, которых мы только что вообразили, разве смогут они, найдя даже целую грудку монет, так представить прошедшее, как это сделаем мы, его живые свидетели? Скажем, пятак для них всего лишь монета, со своими размерами, весом, символикой — что там ещё имеет значение для археолога и нумизмата? А для нас-то пятак — это целая жизнь. Это и надувной воздушный шарик — помните, сколько их, разноцветных, реяло над головами в дни праздничных демонстраций? — и упоительно пахнущий бублик, посыпанный маком, и стакан чая с лимоном, и поджаристый пирожок с повидлом, который весёлая толстая продавщица в замасленных нарукавниках подавала, прихватив его через обрывок серой кассовой ленты. А автобусный билет, и та животворящая давка в час пик, в которую ты — всего за пятак! — мог быть погружён? А помните, как среди автобусных билетов попадались “счастливые” — те, в которых сумма первых цифр

равнялась сумме последних? И как их непременно полагалось съедать? Язык до сих пор помнит вкус разжёванного автобусного билета — этот обманчивый, пресный вкус счастья...

Так что мелочь — вовсе не мелочь, если дело касается воспоминаний. Впрочем, оставлю читателям место для их собственных игр с Мнемозиной. Сам же продолжу писать свой “Словарь”, уповая на то, что из описи тех случайных предметов или явлений, на которые время от времени набредает моя ненадёжная память, получится нечто похожее на портрет миновавшей эпохи.

НОЖ “БЕЛКА”. Был такой популярный среди подростков складной нож “Белка” — и белка действительно была отштампована на его пластмассовой рукояти. Не иметь своей “Белки” в кармане считалось вроде бы и неприличным. И как мы, тогдашние пацаны, представляли собою переходную ступень между детским и взрослым возрастом, так и наши любимые “Белки” были ножами-подростками, чем-то средним между игрушкой и настоящим оружием. И в тех играх, которым мы предавались с таким увлечением — разнообразных метательных упражнениях с ножами — был уже привкус чего-то серьёзного, взрослого, порой даже опасного; недаром матери то и дело с тревогою предупреждали нас: “Нож — не игрушка!”

Но играть с ножами мы, разумеется, не прекращали. Вариантов тех игр было три: “земля”, “ножички” и метанье ножей в деревянный забор. Для “земли” нужно было найти ровную вытоптанную площадку и начертить на ней круг, а затем поделить его посередине. Каждый из играющих становился на свою половину, и тот, кому выпало метать нож первым, начинал завоёвывать землю противника. Нож брался за лезвие, с силой швырялся и, если вонзался удачно, то по направлению лезвия проводилась новая граница, прибавлявшая территории “завоевателю”. Самое интересное начиналось тогда, когда своей земли у жертвы “агрессора” оставалось так мало, что “завоеватель” промахивался — и наступал черёд отвоевывать то, что было захвачено. Главное — лишь бы встать на клочок-клинышек своей территории, хоть пяткою, хоть носком, хоть как угодно! — и, пусть в падении, но успеть вонзить нож в землю противника. Если это удавалось, то маятник “геополитики” начинал мах в другую сторону. Теперь уже ты, торопясь-задыхаясь от радости и от азарта, начинал контрнаступление. Помните влажный, земляной холодок лезвия “Белки”, замах и бросок, и то невыразимо приятное чувство, с каким ты видел и слышал, как кувыркнувшийся ножик вонзается в землю?

Другой игрой были “ножички”. Суть её состояла в бросании ножей самими разнообразными способами и с опорой на разные части тела — на пальцы, колени и локти, на лоб, подбородок и нос, опять-таки с тем расчётом, чтобы вонзить нож в землю. Каких только вычурных поз ни придумывалось нами и каких только замысловатых бросков ни производилось, лишь бы продемонстрировать свою ловкость и чувство ножа. А уж если в нашей компании оказывались девчонки — чаще в роли зрительниц, чем полноценных участниц игр, — то мы доходили в своей ножевой акробатике чуть ли не до экстаза. Ведь для них, девчонок, это всё, в сущности, и исполнялось — все эти ритуальные игры с ножами, которые должны были демонстрировать наши способности воинов или охотников.

Следующей игрой — к ней мы пришли, уже чуть повзрослев, — было метанье ножей в заборы или деревья. Это было вполне мужским упражнением и, по сути, военной игрой. Немало “Белок” было погублено в этих забавах — раскалывались их черенки, гнулись лезвия, разбалтывались заклёпки, — но это не останавливало нас, монотонно и иступлённо час за часом швырявших ножи в заборы, деревья или дощатые стены сараев, и всё для того, чтоб услышать короткий, тугой звук втыкания в дерево и увидеть вибрирование рукояти. Представляли ли мы, что вместо досок забора нож вонзается в грудь человека? Кто-то, может быть, и представлял; во всяком случае, разговоры о том, куда именно нужно попасть, и какой длины должно быть лезвие, чтобы сразить наповал, — такие разговоры и споры велись постоянно. Считалось, чтобы достать до сердца, лезвие должно быть не менее четырёх поперечных пальцев в длину. И мы, делая озабоченно-строгие лица,

мерили лезвия наших ножей. Выходило, что “Белка” — зверь настоящий, серьёзный, до сердца достанет.

И вот я сейчас думаю: а не эти ли игры с ножами оказали влияние, пусть и косвенное, на мой позднейший выбор профессии? Ведь, как ни крути, а я стал хирургом — человеком с ножом в руке. И вообще, кто знает, как, каким образом прошлое влияет на настоящее или будущее? И как предметы, уже исчезнувшие из обихода, словно продолжают где-то незримо существовать и незримо влиять на текущую жизнь? Они влияют на настоящее хотя бы уже потому, что, не будь тех исчезнувших в прошлом вещей и явлений, мы сами были бы в чём-то другими, то есть нас, нынешних, вовсе б не существовало.

ОБЩЕПИТ. И что же хорошего было в той придорожной столовой? Там было шумно, накурено, тесно; по стёклам сёк дождь; шоферня материлась, ругая погоду, дорогу, начальство. В ногах чавкала жижа и катались, гремя, пустые бутылки: принесённую водку, таясь от буфетчицы, разливали под столиками, там же и оставляя порожнюю стеклотару. Так уж здесь было принято, такая здесь шла игра под названием “со своими спиртными напитками — запрещено”.

Конечно, мир той “стекляшки” в посёлке Стодолище, где мы пережидали дождь по пути в стройотряд, мог бы кому-то казаться ужасен и груб, неопрятен, почти первобытен. Но мне он казался воистину раем. Я хмелел там не столько от пива, сколько от самой атмосферы густой, герметической жизни, кипевшей вокруг. Я дышал уж не воздухом, а крепчайшим настоем из дыма и пота, шофёрского мата, перегара, бензина, сапожной кирзы, из звона стаканов и звяканья ложек, из грубого смеха над чьей-нибудь грубою шуткой, из крика-призыва: “Танюша, ещё гуляша!” — да из гула машин, проносившихся по шоссе мимо мутных, забрызганных стёкол дорожной столовки. И я испытывал там глубочайшее чувство покоя. Даже шум ссоры, которая вдруг разгоралась в углу и вполне могла кончиться пьяною дракой, не только не разрушал это чувство покоя, но как бы ещё укреплял ощущение слитности общей жизни, которая окружала тебя, словно дымное, тёплое облако...

И чем более шумным, угарным и грубым был мир придорожной столовой, тем более я ощущал его нежность, его доброту и свою с этим миром сроднённость. Уж меня-то никак не могло обмануть ни хрипенье прокуренных глоток, ни оскалы зубов, меж которых торчал “Беломор” или “Прима”, ни хруст кулаков, на которых синева вздутых вен была смешана с синевой татуировок. Это был мой, родной мир, и я верил, что уж он-то меня не предаст и не выдаст, не выгонит вон, не оставит меня замерзать на ветру одинокой судьбы. Пока я жил там, в недрах общей и слитно клубящейся жизни, я словно был защищён от возможных невзгод и напастей, лишений и бед. Потому что какая беда отыскала б меня в том густом и прокуренном мире, где и сам-то себя я не мог отыскать?

Это был герметический мир — закрытый, словно парник или оранжерея, — и все его обитатели были равны меж собою и жили по правилам, общим для всех. И блюда, которыми нас там кормили, тоже были едины для всей необъятной страны: “Общепит” он и есть “Общепит”. Усреднённым и общим там было всё: от заветренных образцов блюд на витринах, от тарелок с синим овальным клеймом “Общепит” и гранёных стаканов, от солонок с намокшею солью и банок засохшей горчицы до имён подавальщиц или буфетчиц, которые могли быть только Зинками, Клавками или, на крайний случай, Татьянами. В каком городе или посёлке ни зайди вот в такое кафе, всюду встретишь и толстую Клавку-буфетчицу, и фикус в углу (его кадка всегда была полной окурков), и васнецовских “Богатырей” на стене, и всюду почувствуешь: ты здесь свой, ты — на родине.

И ещё, — может, это и было важнее всего, — этот привычный, знакомый до скуки, уныло-родной мир советского “Общепита” казался так же незбылем и вечен, как какие-нибудь Гималаи. На что время могло покуситься в том мире, где нет никаких перемен, где всё так однообразно-едино, где всё словно спит в густом, тёплом сумраке?

До сих пор непонятно, куда же всё это девалось? Где тот гуляш и тот огненный борщ, где Клавка-буфетчица с её необъятною грудью, где фикус в кадке, где варёные яйца с синим клеймом на боку, где водка “Столичная” за пять двадцать пять, где гул разговоров в табачном дыму? Где вся та грубая и нежная мощь общей жизни, что клубилась, дышала, жила меж прокуренных стёкол в те баснословные годы, когда я был так ещё молод, а страна, что меня воспитала-вскормила, уже незаметно, но неудержимо рушилась в пропасть?

ОТКРЫТКИ. Нередко в названиях и именах теряется первоначальный смысл слов. Так, произнося “Пушкин”, мы не думаем об артиллерии; так и с “открыткой”. Часто ли мы вспоминаем, что речь идёт об открытом, доступном любому послании? И в этом смысле открытка советской эпохи была предметом символическим. Считалось, что настоящему советскому человеку скрывать нечего: все его чувства и мысли вполне могли быть доверены цветному листку картона, который мог разглядывать всякий, от почтальона до соседа по общежитию.

Открыток, кто помнит, было два основных типа: поздравительные и открытки с мест отдыха. Тем людям, с которыми вы были в разлуке, но хотели поддерживать связь, — родителям, детям, друзьям — уж, по крайней-то мере, два раза в год полагалось посылать поздравительные открытки: в их день рождения и в новогодние праздники. Открытки на день рождения всегда были с цветами, и надписи на них особым разнообразием не отличались. Что ещё можно было желать, кроме “здоровья и долгих лет жизни”, когда обо всём остальном заботилось государство?

Вот новогодние — те были разнообразнее и поживее. Тут тебе и какой-нибудь милый зайчик или медвежонок, и Дед Мороз со Снегурочкой, и ёлка в пушистых снегах, и детвора, катающаяся с горки на санках, и сияющий блёстками ёлочный шар, и кремлёвская Спасская башня с курантами — весь набор праздничных образов был представлен на новогодних открытках. И по этим открыткам, — если, конечно, они у кого-то ещё сохранились, — память легко воскрешает один из чудеснейших праздников детства. С его ожиданием и с приготовлениями к нему — чего стоит одно наряжание ёлки! — с добыванием и сооружением блюд к новогоднему праздничному столу — о, мандарины и шпроты! о, салат “оливье”! о, селедка под шубой! — со всем, словом, тем, что нас согревает каким-то блаженным томленьем по будущей, непременно счастливой и радостной жизни.

А открытки с мест отдыха — это были короткие репортажи из рая. Уезжал ли муж-пролетарий в какой-нибудь санаторий по профсоюзной путёвке, везла ли заботливая мамаша своих деток в Москву, чтобы показать им Кремль и Красную площадь, отправлялся ли отрок-отличник в пионерский “Артек” — отовсюду к родне, остающейся дома, приходили открытки с изображением разнообразных красот и чудес. И пусть в реальности всё было не совсем так, как на этих открытках и бодрых подписях к ним, — то есть муж в санатории больше пил, чем лечился, Москва провинциальную бабу измучивала до одури, а отрок в “Артеке” скучал и мечтал о своём деревенском пруде с карасями, — но всё равно образ рая вставал перед теми, кто получал эти открытки, с умилением любовался и видами, и словами, выведенными родною рукой, а потом заботливо складывал в стопку, перетянутую резинкой, и клал в буфет или за настенное зеркало, чтобы после, в минуту печали, опять прикоснуться к той радости, что содержали в себе эти цветные картонные прямоугольники.

Да и авторы этих посланий, когда возвращались домой и зимними вечерами, перебирая открытки, вспоминали свой летний отдых, представляли не столько реальность, сколько сказочный и приукрашенный образ её, тот образ, что так убедительно рисовали ими же самими надписанные и посланные открытки.

А помните, как популярны были сувенирные наборы открыток, которые прямо-таки полагалось покупать каждому путешественнику? И, если б собрать все открытки с видами тогдашней страны — видами, запечатлевшими

её города и веси, моря и горы, мосты и реки, вокзалы и памятники, — то получилась бы своего рода имперская энциклопедия. Но собрать её вряд ли возможно, как вряд ли возможно и воплотить ту мечту о безоблачной жизни в счастливой стране, про которую так настойчиво и убедительно продолжают твердить нам наборы старинных, уже пожелтевших открыток.

“ОХОТНИК” НА ТЕАТРАЛЬНОЙ. Почему-то особенно жаль вот именно этого исчезнувшего магазина и всего, что с ним связано. Располагался он на улице Театральной, в низком одноэтажном домишке, имевшем три небольшие окна по-старинному, в облупившейся штукатурке фасаду; шагнув за порог, ты оказывался в особенном мире рыболовно-охотничьего магазина.

Начиная лет с десяти тебя неудержимо тянуло в тот мир. Сейчас даже трудно понять, что же именно так привлекало тебя в том уютном и тесном от посетителей магазине? Сам его сумрачный воздух, сами крепкие запахи табака, кожи, дерева и кисловатый запах зернистого пороха, который тут насыпали совочком в кульки из бумаги, словно крупу или сахар? Или икряной, мелкий блеск разнокалиберной дробы, лежавшей по ящикам? Или тебя привлекали витрины, под заляпанным и тускловатым стеклом которых были разложены рыболовецкие принадлежности?

Ты разглядывал эти витрины, как зачарованный, хотя давным-давно наизусть знал весь их нехитрый ассортимент. Но странное, восхищённое оцепенение охватывало тебя, когда ты перебирал глазами поплавки, мотки лесок, крючки и грузила, рядами лежавшие под витринным стеклом, обрамлённым коричневой деревянной рамкой. Тебя могли толкать, даже грубо отодвигать покупатели — “Эй, малец, подвинься — мешаешь!” — но ты упорно, из-за чьего-то плеча или из-под локтя продолжал ловить взглядом витрину, словно даже короткая с нею разлука была для тебя мучительна. Ты разглядывал и поплавки из гусиных перьев — верх был красный, низ белый, а стоил каждый по пять копеек, — рассматривал и катушки, и просто бухты капроновой лески из города Клин, и крючки номерами от двух с половиной до десяти или даже двенадцати*. Первые, самые мелкие, назывались “заглотыши” и очень ценились; размер же той рыбы, которую нужно было ловить на двенадцатый номер крючка, даже не умещался в нашем детском воображении. А вот грузила: наполовину разрезанные свинцовые дробины, которые надо было обжимать зубами на леске. А вот набор “Юный рыболов”, пользовались которым только совсем уж зелёные новички. Он представлял собой мотовило — иногда в виде рыбки — с тремя метрами лески, крючком номер пять, грузилом и пузатым пластмассовым поплавком. Дело даже не в том, что эта снасть была очень груба, и разве какой-нибудь глупый, непутаный, жадный карась мог быть ею пойман; дело в том, что едва ли не половину рыбацкого наслаждения составляет подгонка, наладка, а то и собственноручное изготовление снастей, а готовый набор эту радость у нас отнимал.

Но чуть ли не большею радостью, чем самому изготавливать снасть, а потом ловить на неё рыбу, было именно созерцанье витрины в том магазине “Охотник”, где я провёл столько блаженных часов. У Пруста есть знаменитое место о вкусе пирожных “Мадлен” — вкусе, оживляющем память; так вот моими “пирожными” были предметы с витрины магазина “Охотник”. Причём то, что они оживляли, было и памятью, и воображением вместе: медитируя над поплавками и лесками, ты как бы и смотрел в своё прошлое и в будущее одновременно.

Покупал я что-либо редко — да почти нечего было там и покупать, — но я погружался в то состояние между явью и грёзой, когда те предметы, что ты видел под витринным стеклом — все эти поплавки, лески, грузила — были именно “кнопками”, включающими воображение. Смотришь на перьевой поплавок и представляешь его же, но уже не на витрине, а на воде прудового затона, подёрнутой гусиным пухом, — воде, по которой вдруг пробежала цепочка змеящихся пузырей от кормящейся где-то там, в глубине, донной рыбы. Вот поплавок чуть привстал, потом медленно завалился

* Ныне в ходу иная — обратная — нумерация рыболовных крючков.

на воду — и твоя рука так непроизвольно дёрнулась, изображая воображаемую подсечку, что небритый мужик в телогрейке, которого ты случайно толкнул, с изумленьем посмотрел на тебя. И так было почти с каждым предметом, на котором ты останавливал взгляд. Видел леску в мотке — и уже представлял, как она, натянувшись, полукружьями режет тёмную воду; смотрел на крючок номер четыре — он был самый у нас “ходовой”, — и твои пальцы уже как бы чувствовали тот хруст, с каким ты выдираешь крючок из хрящеватого, склизкого рта только что пойманной рыбы...

ОЧЕРЕДЬ. Теперешние очереди, если кое-где и возникают, не идут ни в какое сравнение с теми, давнишними, в которых мы не просто долго и терпеливо стояли, а именно жили. Вот попробуйте-ка отстоять, приближаясь со скоростью часовой стрелки на циферблате, к кассе или прилавку, хотя бы один только час. А тогда очередь длиной в час была совершенно обыденным делом.

В них был особый уют и покой. Стоило преодолеть первоначальное нетерпение и смириться с неспешным, почти незаметным движением очереди, как ты чуть ли не засыпал, убаюканный мерным качанием спин и затылков, сдержанным говором сзади и спереди, шарканьем ног и шуршаньем одежды. Глубокий покой медленно подвигавшейся очереди нарушался разве что звяканьем чашек весов — там, далеко впереди, у прилавка, — да короткими перебранками, возникавшими меж продавщицей и бестолково-растерянными покупателями. А как тут не стать бестолковым, отстояв битый час и запомнив до мелких деталей аж десять затылков перед собой, но при этом забыв (а такое случалось), что же именно нужно тебе попросить у продавщицы и зачем вообще ты стоишь в очереди монотонно и медленно подвигающихся людей? Иногда начинало казаться, что тебе ничего из вещей или продуктов не нужно, что очередь — цель сама по себе и что ты, отстояв в ней час-полтора, выйдешь снова на улицу вовсе не тем человеком, что некогда спрашивал: “Кто здесь последний? Я буду за вами...”

Очереди учили нас не только терпению, но и справедливости. Ведь для каждого возникал соблазн: не попробовать ли как-нибудь протолкаться к прилавку, опередив остальных? Это называлось “пролезть без очереди”; и находились такие, кто готов был разбиться в лепёшку, но хоть одного человека, да обойти. Видно, иного способа самоутвердиться для них не было, и они были готовы на крики, на ругань и чуть не на драку, лишь бы протолкаться вперёд прочих и затем отойти от прилавка с выражением оскорблённой невинности (хотя на самом-то деле это они оскорбили других), прижимая к груди, как награду, какой-нибудь жалкий кулёк.

И нравственный выбор предлагался каждому, кто видел перед собой длинную, загибающуюся до дверей магазина очередь из терпеливо стоявших людей и решал: потерять ли час-полтора времени, но сохранить совесть чистой или, махнув на неё рукой, пробиваться к прилавку?

Но ведь и для тех, кто стоял позади лезущего без очереди нахала, тоже был выбор: бороться ли за справедливость? Стерпеть ли и пропустить нахрапом лезущего наглеца или схватить его за руку? И ладно ещё, если без очереди лезла какая-нибудь старушонка — её бы и так пропустили, — а если расталкивал всех здоровенный бугай? Тогда для того, кто решился его останавливать, дело легко могло кончиться дракой. Так что очередь была местом вовсе не сонного полусуществования, а своего рода полигоном, где каждый из нас проходил ежедневное и непростое нравственное испытание.

Но очередь могла быть и милосердной. Вот, скажем, где-нибудь у прилавка винного магазина к одиннадцати часам (время, с которого по всей стране начинали торговлю спиртным) выстраивалась нетерпеливая очередь из суровых, мягко говоря, мужиков — и думать о том, чтобы нахрапом пролезть вперёд всех к прилавку, мог разве что самоубийца. Но вдруг в дверях магазина появлялся кто-либо с выраженьем страдания на небритом, опухшем лице и, обращаясь ко всей очереди сразу, сильным голосом говорил:

— Мужики, разрешите... Ждать не могу: котлы горят...

И все расступались, пропуская беднягу вперёд. Вспоминал ли каждый о том, как он и сам бывал вот в таком же мучительном состоянии, или слова “котлы горят” вызывали у всех представление об извечно грозящих всем нам котлах преисподней? Но, как бы то ни было, таких бедолаг почти всегда пропускали, порою сочувственно приборматывая при этом: “Что же мы, звери какие?..”

ПИСЧЕЕ ПЕРО. Правда, классические для русской литературы гусиные перья мы застали лишь в качестве поплавков: прекрасных, надо сказать, поплавков, без которых ужение, например, карася теряет едва ли не половину прелести. Но если я сейчас начну вспоминать о рыбалках детства, память меня заведёт далеко, и я уже не вернусь к писчим перьям. А ведь перья в течение многих веков служили одной из опор человеческой жизни — своего рода осью, на которой вращалась цивилизация.

Пусть перьев гусиных моё поколение уже не застало, но вот перья стальные держать в руках приходилось. Долгие всего они сохранились на почтах, где на столах рядом с бланками для посылок и телеграмм непременно стояла чернильница, из двух глазков-углублений которой обычно один был пустым, и высохшие чернила на его дне отливали зеленовато-металлическим блеском, а в желобке лежала перьевая ручка старого образца. Она не писала сама по себе, а её нужно было часто макать в чернила — ведь того, что перо “зачерпнуло” из чашки чернильницы, хватало лишь на три-четыре влажные синие буквы. Но зато этот ритм — обмакнул, написал, снова быстро макнул и опять закришел по бумаге — совпадал с чем-то важным: то ли с ритмом дыхания, то ли с движением мыслей? Во всяком случае, то, что перо тормозилось, ныряя в чернила, позволяло твоей мысли не отставать от руки, и то, что из-под неё выходило, несло след хоть какого-то, но размышления.

Но с другой стороны, писать такими перьями было всё же неудобно — чего стоили одни кляксы! — и появление ручек, хранивших запас чернил в своём корпусе, стало настоящим прорывом в писарском деле. Кто учился в те годы, тот помнит, как различались механизмы накачки чернил. То это был резиновый колпачок — как у медицинской пипетки, — то поршень, надавливая и отпуская который, ты накачивал чернила в резервуар, то, наконец, винтовой насос, при вращении которого твоя авторучка наполнялась чернилами.

Писать такой ручкой было, конечно, гораздо удобнее; но вот перепачканность наших рук, парт, тетрадок, одежды чернилами доходила, особенно в младших классах, до комической степени. То протекала сама авторучка, то опрокидывалась чернильница, из которой ты её заправлял, то, случайно нажав колпачок или винт, ты изливал целую лужу чернил на тетрадь или парту — и трагикомедия под названием “школьник в чернилах” ставилась ежедневно и многократно в каждом классе страны.

Оттого-то таким нужным предметом была “промокашка” — лист мягкой, пористой розовой или голубоватой бумаги, который вкладывался в каждую тетрадь и служил как раз для борьбы с последствиями чернильных аварий. Впрочем, “промокашки” могли служить и для другого. И для того, чтоб нарисовать на ней карикатуру на соседа по парте — в самой-то тетради особо не порисуешь, — и для того, чтоб написать на “промокашке” подсказку какой-нибудь глупенькой, но хорошенькой девочке, что так умоляюще смотрит во время контрольной, и, наконец, для того, чтобы из пережёванной “промокашки” сделать мокрую “пулю” для сражения на перемене. Прижмёшь, бывало, её к упругой линейке, прицелишься, выстрелишь — и удачно залепишь в чей-либо лоб сочной розовой кляксой!

Ещё промокашками чистили перья, хоть были для этого и специальные “перочистки”: тряпично-кожаные диски, о которые мы вытирали перья своих авторучек. А если перо долго не вытирать, то на него обязательно налипали какие-то волокна, производившие забавный эффект на бумаге: за каждой написанной буквой тянулась размытая тень.

Казалось бы, при таких неудобствах, связанных с перьевыми чернильными ручками, отчего бы не радоваться, когда появились ручки шариковые,

куда более удобные в употреблении? И пишут они много легче и чище — о кляксах вообще можно забыть! — и запаса пасты-чернил в них хватает надолго. Но вот поди ж ты: прежние учителя очень долго противились введению шариковых авторучек, а в младших классах вообще их запрещали. Считалось, что шариковая ручка портит почерк ребёнка, а значит, “разбалтывает” и его характер. И теперь, спустя жизнь, я вижу, до чего же наши учителя были правы. Человек, пишущий ручкой классической, перьевой, и думает, и живёт как бы в тоне и ритме, задаваемом основательной, неторопливой чернильною прописью; он сознаёт и себя самого, и весь окружающий мир как нечто весомое, ценное и достойное существования. Тот же, кто легковесно скользит по бумаге нетвёрдой побежкой шарикового пера, и сам делается не уверен в себе, как плохой танцор на скользком паркете. А зыбкий почерк и зыбкие мысли — они и весь мир вокруг делают как-то и легковесней, и призрачней. В самом деле, ведь мир, отражённый неуверенным и неосновательным шариковым пером, будет неизбежно отличаться от мира, скажем, классической русской литературы, описанного обстоятельными гусиными перьями золотых времён письменной цивилизации.

Вы, может быть, спросите: а каким же пером я пишу эти строки? Увы — развожу я руками, — конечно же, шариковым. Несколько раз я пытался вернуться к классическим перьевым ручкам, но, видно, уже оказался испорчен настолько, что не способен жить в ритме неторопливо поскрипывающего писчего пера. Я сам сделался слишком зыбок, нетвёрд, тороплив, и поэтому уж не могу писать так, как, бывало, писали: “Сударыня!” или “Милостивый государь!” — а потом завершить эпистолу щеголеватым (но при этом полным достоинства) росчерком подписи. А жаль, жаль, ибо насколько веселей и глубже получились бы строки о писчих перьях, будь эти строки написаны именно писчими перьями.

ПИСЬМА. Трудно даже представить, как много мы потеряли, расставшись с эпистолярной культурой. Человек, регулярно пишущий письма, и тот, кто живёт в мире SMS-сообщений, — это люди не просто разных поколений, но разного как бы состава души, разных групп крови, всё меньше, увы, совместимых друг с другом.

Что такое написать сообщение, мы теперь хорошо знаем. Это значит достать из кармана мобильник, пошлёпать пальцами по клавиатуре и за пятьдесят секунд выдать послание, в котором ошибок будет, скорее всего, больше, чем слов; впрочем, грамматические ошибки сейчас признаются за некий как бы узаконенный телефонный жаргон.

А что такое сесть и написать обстоятельное письмо? Пусть даже и не любовное — помните, как писала Татьяна к Онегину? — нет, хотя бы письмо старинному другу, в котором ты делишься с ним новостями и мыслями. Даже если оставить в стороне совсем уж романтические атрибуты эпистолярной культуры — потрескивание свечи и поскрипывание гусиного пера, а затем прижатие к расплавленному сургучу перстня-печати, — но и вполне прозаическое и современное нам письмо всё же требует совершенно особого состояния души и ума. Склоняясь над бумажным листом и обдумывая фразы, ты неизбежно обращаешь свой внутренний взор на себя самого, чтоб увидеть, кто ты таков, как живёшь и что можешь сказать человеку, с которым долго не виделся? Сам чистый лист, над которым ты замер в напряжённой задумчивости, как бы задаёт тебе эти вопросы; и если ты начнёшь отвечать на них честно, то из тех строчек, что будут ложиться на поле бумаги, мало-помалу начнёт складываться твой же собственный автопортрет, увидеть который подчас важнее даже не адресату письма, а тебе самому. Больше того, в то время, когда ты собственноручно и вдумчиво пишешь письмо, ты пытаешься не столько изобразить себя как такового — вот он, мол, я, уж каков есть, таков есть! — сколько хочешь представить улучшенный и облагороженный собственный образ. Согласитесь: то, как мы выглядим в строчках письма, и то, каковы мы на самом деле, — персонажи различные. Но это же значит, что в каждом серьёзном письме мы создаём самих себя, пытаемся возвести свою личность к некоему, нами же сотворённому идеалу. И такое

усилие само-творения не может не сказываться на том, кто его совершает. В каком-то смысле завершает письмо уж не тот человек, что его начинал; после письма — в результате письма! — он станет лучше, добрее, умнее и глубже, чем был до минуты, когда взял в руки перо и склонился над чистым бумажным листом.

Я уж не говорю о том чуде, что представляет собою живой человеческий почерк. От первых, беспомощных и умильных детских каракулей до шедевров, созданных кистью и тушью каких-нибудь каллиграфов Китая, от вавилонских глиняных писем до новгородских берестяных грамот — какое великое разнообразие почерков помнит письменная история человечества! Ведь каждый, кто жил и был к этой истории мало-мальски причастен — то есть был обучен письму, — оставил после себя хоть какой-то, но письменный автопортрет. Недаром графологи уверяют нас, что в целом мире нет двух одинаковых почерков и что почерк способен рассказать о человеке едва ли не больше, чем его фотография. Да что там разные люди с их разными почерками, когда и у тебя самого в разные годы и дни почерк менялся настолько, что ты сам себя в нём порою не узнавал. Перебирая старые письма и рукописи, видишь то какие-то спотыкающиеся загогулины — ох, и худо же, думаешь, было тому, кто это писал! — то почерк поспешен и смазан настолько, что ты сам не способен его разобрать (куда ты спешил? за каким ускользающим призраком гнался?); то, в редкие дни равновесия между тобою и миром твой почерк, наконец, обретал уверенность, силу и твёрдость, как взгляд и походка того, кто твёрдо идёт к ясно видимой цели.

То, что от всей человеческой жизни порой остаются лишь только слова, — и хорошо, если это слова на бумаге, которая где-то хранится, — ясно чувствуешь, если встречаешься с письмами с фронта. И кощунственной кажется мысль: а что, если б эти самые письма были написаны не живою рукою бойца, а набраны на экране компьютера или мобильного телефона? Разве можно представить себе, что за полчаса до последней атаки солдат, привалившись плечом к оплывающей глине окопа, не пишет озябшей рукой на обрывке бумаги — у меня, дескать, всё хорошо, война скоро кончится, и я к вам, родные, вернусь, — а шлёт в эфир сообщения, которые тонут в нём, как в пустоте? И если даже сообщения эти дойдут до адресата, разве будет в них столько боли и правды, сколько в этом истрёпанном, мятом бумажном клочке, сохранившем в себе жизнь и душу того, кто давным-давно рухнул мёртвым на землю, которую он защищал? И может ли быть для семьи и для целого рода что-либо дороже, чем такое письмо отца, деда, прадеда с фронта?

А поскольку все мы, без исключения, тоже воюем — каждый из нас ведёт собственный бой длиной в жизнь, — и все мы, кто раньше, кто позже, окажемся павшими, то и всё, что мы пишем по ходу жизненного сражения, можно тоже считать своего рода письмами с фронта. И хорошо, если это будут именно письма — то, что написано собственной нашей рукой, нашим почерком, что в себе сохранит нашу душу и жизнь куда дольше, чем её может хранить наше бренное тело.

ПИШУЩАЯ МАШИНКА. В нашей семье было целых две пишущие машинки: родная “Москва” и немецкая “Эрика”. И уж в чём талант немецкого народа неоспорим — так это в технике: куда было нашей громоздкой “Москве” до изящной и лёгкой германской машинки! Отец как маститый писатель работал на “Эрике” (точнее сказать, больше работала на ней моя матушка, перепечатавшая многие тысячи страниц отцовских рукописей); я же как начинающий свои первые строки выколачивал из тяжёлой “Москвы”.

Именно “выколачивал”, потому что печатание на машинке, помимо немалого нервного напряжения, требовало и физического усилия. После часа-другого работы начинали ныть плечи, шея, спина, не говоря уж о пальцах, расколоченных о клавиатуру. Но зато с самых первых литературных шагов — первых строк и страниц, отвоёванных в схватке с машинкой, — я понял, что появление на свет новых слов требует немалых усилий всего твоего существа, в том числе и напряжения мускулатуры.

Впрочем, не только тебе, но и машинке, ты чувствовал, было непросто. От ударов, которые ты ей наносил, она вся поскрипывала и хрустела, в ней лязгали тяги, звенели пружины, мелькали сверкающие, раскинутые веером, рычаги, а каретка порой разгонялась так, что её грубый толчок сотрясал корпус машинки. Иногда, торопясь поспевать за твоими пальцами, которые, в свой черёд, торопились поспеть за ускользавшею мыслью, машинка вскидывала несколько своих рычагов-лапок одновременно, и они прилипали друг к другу, замирая в трогательной беспомощности парализованного насекомого. В такие моменты машинка тебе представлялась несчастным живым существом, и ты торопился помочь ей, разделяя пальцами слипшиеся рычаги и чувствуя, как буквы на них разогреты поспешной работой.

Случались неисправности и посерьёзнее. То отлетала заклёпка, соединявшая рычаги клавиш с рычагами, несущими буквы; то срывался стопор каретки, и она, лязгая, как оружейный затвор, отъезжала вправо и замирала в неестественно-выпяченном положении. Но поработав с машинкой достаточно долго и изучив её норы, ты уже знал, чего от неё можно ждать, и поломки, случавшиеся чуть ли не ежедневно, уже не приводили тебя в отчаяние. “Москва” становилась как бы твоей боевою подругой; и, как ты сам, не садясь к ней достаточно долго, уже начинал скучать по её ворчливому скрипу и лязгу, так и она, похоже, томилась в бездеятельности и была рада, когда, наконец, в её барабан заправлялась очередная порция бумаги.

Главным, что происходило во время работы с машинкой, было отчуждение от тебя твоего собственного сочинения — того, что покуда лежало в виде черканной-перечерканной рукописи, которую не мог прочитать никто, кроме тебя, и которая существовала поэтому пока лишь для тебя одного. Но вот ты усаживался к столу, снимал крышку с “Москвы”, затем брал из стопки три чистых белых листа и перекладывал их невесомой полупрозрачной “копиркой” (которая напоминала тебе крыло бабочки — и сухим шелестом, и ещё тем, что на пальцах от прикосновения к ней оставались следы), а затем, подровняв лист к листу, вставлял бумагу в проём позади барабана каретки. Тот приглушенный хруст, что ты слышал и чувствовал пальцами, когда проворачивал барабан, и край бумаги показывался перед тобой, — этот хруст возвещал о начале работы, и ты всегда, слыша его, внутренне собирался.

И начиналась сама печать как таковая. Твой взгляд, в основном, был скошен влево, он словно выпутывал из неопрятного, перерытого вставками и исправлениями поля рукописной страницы нити более-менее связанных и вразумительных фраз, а твои губы шептали эти самые фразы, стараясь не дать им оборваться и рухнуть обратно, в то грязное и перерытое правкою рукописное поле, где их снова придётся отыскивать. А пальцы твои в это самое время ударяли по клавишам с буквами — самые частые, то есть “к”, “н” и “а”, были уже полустёрты, — торопливо пытаясь перевести то, что видят глаза, и то, что шепчут губы, в ровный ряд бисерных оттисков, чернеющих на белом поле печатной страницы.

Сейчас, представляя эту работу со стороны, я поражаюсь тому, до чего она была сложной. Одновременно работали твои руки, глаза, мозг, губы, уши — и всё это ради того, чтоб невнятная рукопись стала разборчивым текстом. Зато когда рукопись была всего лишь перепечатана на машинке, казалось, она уже вышла в свет, стала существовать независимо от породившего её автора. Я испытывал в эти минуты и облегчение, и одновременно печаль — ведь теперь то, что некогда было только моим, стало как бы и общим, — испытывал то, что, наверное, чувствует женщина, долго носившая ребёнка в себе, но затем разрешившаяся от бремени и выпустившая дитя в жизнь.

А машинка служила при этом рождении как бы повивальной бабкой. Она напряжением всего своего механизма как бы сопровождала все эти долгие роды и помогала тому, что когда-то существовало только в зародыше, в замысле, стать отпечатанным словом, фразой, страницей.

Как же не быть благодарным печатной машинке? Ведь она помогала мне стать самим собою, помогала ни много ни мало вторично родиться на свет, воплотить и назвать то неназванно-зыбкое, что бродило когда-то в туманных

потёмках души. Без печатной машинки, долгие годы служившей мне верной спутницей, меня, теперешнего, и вовсе бы не было, как не было бы и этих строк, в которых я пытаюсь признаться в любви своей давней, навеки почившей подруге.

ПОЧТА. В главе о писчих перьях я написал, что их последним прибежищем была почта, где они тихо лежали в своих желобках рядом с высохшими чернильницами. Но ведь и сама почта — та, какую запомнил и я, и мои современники, — она тоже исчезла. Теперь почты иные, с иными картинками, звуками, надписями и содержимым, и, когда заходишь на них, то не испытываешь и десятой доли того, что, бывало, испытывал я, заходя за посылкой от бабушки.

Сам запах той почты уже был особенным. Он сложно смешивался из запахов растопленного на электроплитке сургуча, запаха фанерных посылочных ящиков и обёрточной грубой бумаги, и ещё запаха ворсистого верёвочного шпагата, мотки которого лежали на упаковочных столах. Сразу припомнилось, как приёмщица обвязывала посылки. Я всё мечтал повторить те узлы, что она так сноровисто набрасывала на перекрестья верёвок, но не успел перенять секрета, некогда так меня занимавшего.

А запечатывание посылки сургучом? Это было серьёзное дело, ведь ни много ни мало — почтовая государственная печать налагалась на частный предмет, и само государство принимало его под своё покровительство. Сначала разогревался на плитке сургуч (который доселе лежал в жестяной круглой баночке в виде крошащегося коричневого комка), и его шоколадная масса становилась пахучей и мягкой, затем этот вязкий нагретый сургуч наматывался на специальную палочку, и упаковщица быстро — пока он не капнул! — переносила сургучную каплю к посылке. Медленно, словно нехотя сургуч перетекал на фанерный посылочный бок, как раз туда, где торчали хвосты обвязочного шпагата. Теперь надо было успеть, пока сургуч не застыл, схватить столбик с печатью и прижать его так, чтобы из-под него расплзлась ещё мягкая, но быстро твердевшая клякса. Когда же печать отнимали, на сургуче оставался тот самый оттиск с эмблемой почты, который и обеспечивал посылке высокое государственное покровительство.

И вот наконец заколоченную, обвязанную, надписанную и запечатанную посылку приёмщица забрасывала куда-то в угол почтовой кладовой. Для меня до сих пор остаётся таинственным фокусом то, как всего через несколько дней этот фанерный ящик (пахнущий, скажем, антоновкой или свежесоленным салом) оказывался на другом конце страны, в такой же почтовой кладовой, откуда его извлекала, сверяясь с квитанцией, другая (но чем-то неуловимо напоминавшая первую) работница почты. Нет, я, конечно, замечал на улицах и синие грузовые фургоны с надписью “Почта”, и много раз видел, как на железнодорожных станциях к составу цепляли почтовый вагон, но всё равно перемещение посылок в пространстве (да и во времени) для меня остаётся чем-то загадочным. Как будто в той комнате, где исчезала посылка, был некий таинственный ход сквозь пространство и время, что-то вроде кротовьей норы, и не только посылка, но и живой человек, шагнув в эту комнату, мог телепортироваться из какого-нибудь Магадана в какой-нибудь Калининград.

Вообще, главным моим ощущением почты тех лет была сложная связь между бытовым и конкретным уютом почтового отделения — всеми этими баночками сургуча, конвертами, писчими перьями, открытками, бланками и чернильницами — с необъятным, знобяще-огромным простором страны, по которой во все её сторон разлетались посылки, письма и бандероли. По надписям на конвертах и крышках посылок можно было учить географию: *от финских*, как говорится, скал и *до пламенной Колхиды* — от этой вот почты на тихой калужской окраине тянулись незримые, но совершенно реальные связи.

Так и вся жизнь в советские годы, когда всё пространство громадной империи под названием СССР было доступным для всех её жителей (и человек, оказавшись в её удалённом конце, мог себя чувствовать почти так же дома,

как и в соседнем райцентре)... Так и вся жизнь сознавалась и ощущалась в единстве домашнего, камерного покоя, какой-то оцепенелой неподвижности существования с размахом огромных пространств и времён, в которых жил каждый из нас.

Посылки, которые мы получали на почте, преодолевали не только пространство, но проходили и сквозь времена, проникали из прошлого в будущее. Вот, к примеру, те яблоки или конфеты, которые моя бабушка собирала и упаковывала, скажем, неделю назад в своём тихом посёлке под названием Тим, настигали меня, её внука, уже в некоем будущем и перебрасывали для меня, извлекающего пахучие и светящиеся, как фонари, шары антоновских яблок, некий мост между моим теперешним настоящим и удалившимся прошлым бабушки Марии Павловны, которое — прошлое — так ощутимо ко мне приближалось, что мерещилось, будто сама бабушка вот сейчас стоит рядом со мной.

Но ведь и любая посылка, письмо, бандероль посылаются даже не столько в пространстве, сколько во времени. Любое так называемое “почтовое отправление” путешествует из настоящего в будущее, чтобы там, где оно найдёт адресата, обратить его мысли и чувства к тому, кто ещё в прошлом послал ему эти слова или эти предметы, будучи совершенно уверенным в том, что связь между разными временами не только возможна, но и совершенно реальна.

Вот и сейчас, когда я вспоминаю почту времён моей юности, разве память не шлёт мне посылку из прошлого, чтобы сделать его настоящим? И разве то, что я, может быть, напишу вот на этой бумаге, не будет ли тоже посылкой, но уже в будущее, к тем вероятным читателям, что, возможно, получают послание от человека, уже давным-давно ничего не пишущего, не посылающего посылки, да и вообще не существующего на земле?

ПРИМУС. Оказывается, я живу на свете так долго, что многие вещи, среди которых я рос, теперь можно встретить только в музее. Это и грампластинки, и плёночные магнитофоны, и ламповые телевизоры, и арифмометры — кто сейчас знает, что это такое? — и перьевые ручки с чернильницами, и деревянные лыжи с ремёнными креплениями и палками из коленчатого бамбука. Да что там! Я застал ещё керосиновые лампы “летучая мышь” и земляные полы в курских хатах, крытых картофельною ботвой! А если держаться кухонной темы, то я современник примусов и керогазов. Вот поди растолкуй молодёжи, что это за звери и в чём их различие, хотя это различие полвека назад было столь очевидным, что не нуждалось ни в каких разъяснениях.

Например, примус. Соответствуя громкому имени (“примус”, кто помнит латынь, значит “первый”), это устройство действительно громко гудело — в отличие от почти безголосого керогаза. Когда мы приезжали гостить к моей бабушке по отцу, Марии Павловне Панюковой (в посёлке Тим её называли короче: Марь-Пална), примус на её крохотной кухне пел-гудел чуть не круглые сутки. Раньше, чем начинали орать соседские петухи и ворковать голуби на улицах Тима, начинал гудеть бабушкин примус; под его тугой посвист мы нередко и просыпались. Так и вижу: бабушка двигает поршнем насоса, потом, напряжённо морщась, подносит спичку к горелке — и вспыхивает тугое, гудящее пламя, которое, кажется, хочет порвать на клочки самое себя.

Стряпня на кухне Марь-Палны шла с утра и до позднего вечера; руки бабушки, а порой даже щёки были то припорошены белой мукой, то блестели серебром чешуи (каких карасей, нами же пойманных, она нам нажаривала!), то краснели от фарша котлет — тех незабвенных котлет, вкуснее которых мне ничего, никогда и нигде не доводилось пробовать. А лапша, янтарные блёстки которой как будто светились? А кисло-сладкие блинчики, тонко-ажурные, словно брабантские кружева? А вареники с вишнями, от алого сока которых густая сметана, накрывшая их, приобретала цвет нежно-розового заката?

Несравненное кулинарное мастерство моей бабушки было признано всеми в посёлке. Доходило до эпизодов комических. Однажды тимские пьяницы

проникли в погреб Марь-Палны, чтобы похитить полдюжины банок компотов — вишнёвых, грушевых и яблочных, — готовить которые бабушка так же была мастерица. Она, помню, рассказывала об этой краже хоть, конечно, и с возмущением, но и с тайною гордостью — как о высшем признании своего кулинарного мастерства.

Секрет же — точнее, один из секретов — её кулинарных успехов был в том, что Марь-Пална относилась с доверием и уважением к рецептуре, то есть готовила блюда именно так, как это было предписано в книгах, журналах или, скажем, на листках отрывного настенного календаря. Она всё выполняла с буквально аптекарской точностью, не допуская никакой отсебятины, и результат выходил потрясающе вкусным.

Слова “с аптекарской точностью” — не просто речевая фигура. Бабушка всю жизнь работала провизором поселковой аптеки, то есть человеком, составляющим лекарственные смеси. Поэтому и привычка к аптекарской педантичности, — согласитесь, диковинная для русского человека! — и уверенность в том, что мир в целом устроен разумно и правильно, — это жило в бабушке неистребимо.

Вот и бабушкин примус — он тоже доказывал всей своей эстетикой и технической статью, всем разумным удобством устройства, что всё можно сделать правильно, аккуратно и точно, и беда лишь в нашем собственном безрассудстве и разгильдяйстве. В этом смысле примус нам демонстрировал целое мировоззрение: веру в технику и в прогресс, в порядочность и в порядок, веру, в конце концов, в “человека разумного”.

Жаль, что ныне от этой веры, уютной и старомодной, почти не осталось следов. Во разве что примус напоминает о ней — точнее, не сам даже примус, а моё детское воспоминание о нём. Как-то очень отрадно представлять блеск латунных боков, тугой ход поршня-насоса, шипение керосина, распыляемого форсункой, и, наконец, тот волнующий посвист, с которым под днищем кастрюли дрожало упругое синее пламя. Этот свист замолкал, только если форсунка засорилась. И тогда бабушка звала на подмогу внука. Чтобы прочистить форсунку, требовались мои молодые глаза — это и было моим скромным вкладом в тимские пиры. Имелся особый предмет — “прочищалка” — жестяная пластинка с тонким, припаянным к ней, стальным волоском. Этим волоском надо было попасть в засорившееся отверстие, чтобы наш примус опять загудел, и вновь закипела кастрюля с борщом или зашкворчала сковорода с картофельными оладьями.

Где ж ты теперь, наш тимской примус? Неужели ты жив только в памяти да вот на этих страницах, где я пытаюсь тебя воскресить? Но слава Богу уже и за то, что всё это было: и гудение примуса в утренних сумерках, и бабушка в тёмно-вишнёвом халате, и стук её скалки о стол, припорошенный белой мукой, и упоительный запах оладий, и весь тот уют тимской кухни, который, как нам казалось тогда, будет вечен и который, быть может, доселе хранится в ином, лучшем мире. Почему, в конце концов, кто-то решил, что рай — это какие-то там неперменные кущи с амброзией, арфами и фимиамом? Рай — это место, исполненное любви; а мало кто был настолько же полон любовью, как бабушка Мария Павловна, без устали хлопотавшая ради нас в тесном сумраке кухни, под нежный и чуть шепелявый свист примуса.

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ. Чтобы отец меня в детстве специально воспитывал или вообще как-либо мной занимался, я что-то не помню, — возможно, это и есть наилучшая педагогическая система, — но зато помню, как мы с ним вечерами слушали Баха. Мне было лет семь или восемь; отцу — чуть за тридцать (даже не верится, что он был таким молодым и что я теперь по сравнению с ним, тогдашним, — старик); и вот мы после ужина, пока мама ещё гремела посудой на кухне, запускали проигрыватель, называвшийся, если не ошибаюсь, “Аккорд”, и оба укладывались на тахту в тёмной комнате. Света мы не зажигали нарочно: я и сейчас думаю, что музыку слушать лучше всего в темноте, чтобы всегда отвлекающий нас мир форм и цвета не мешал погружаться в мир звуков.

Но сначала мы слышали вовсе не музыку, а одышку и треск, с которыми вращался диск проигрывателя. Правда, отец называл это повторяющееся поскрипывание куда романтичнее, чем я сейчас: “Слышишь, — говорил он мне, — словно костерок потрескивает, правда?”

Потом вдруг звучала густая, тягучая нота органа. Она пробивалась, тянулась к нам из темноты сквозь шумы и трески, которые производил задыхающийся “Аккорд”. Преодолеть помехи было непросто, и музыкальная фраза словно бы мучилась в поисках выхода из первоначальной глухой немоты. Но голос органа становился всё внятнее, громче, настойчивей; он так сложно-затейливо и в то же время однообразно клубился, что я отчего-то представлял себе пасаку прадеда в полдень, где пчёлы гудели вот так же сложно и вместе с тем однообразно.

“Аккорд” всё скрипел и шипел, а органная fuga звучала во тьме; и эта борьба шума с музыкой длилась всё время, пока мы слушали хриплый проигрыватель. Одолевал то Бах, то проигрыватель “Аккорд”; то победный, гудящий и торжествующий рёв органа вытеснял собой всё, что было в комнате, в доме и в целом мире, то, когда fuga слабела и затихала, она почти пропадала за плотной завесой из треска и шелеста, в котором был различим и шорох иглы по бороздкам пластинки, и трение диска о корпус, и даже поскрипывание приводного ремня.

И я сейчас думаю: как же прекрасно, что наш “Аккорд” был так чудовищно плох! Ведь именно благодаря этой сложной борьбе шума с музыкой, которую я наблюдал, — точнее, наслушивал — чуть ли не ежевечерне, в меня вошло важное знание о соотношении изначального хаоса и сотворённой позднее гармонии. Передо мной в темноте комнаты разворачивалась целая космогония, я словно присутствовал при зарождении космоса. И хаос — то есть все те шумы, что в таком изобилии производил наш “Аккорд”, — был музыкальному космосу Баха необходим, он был той изначальной средой, из которой, враждуя и споря, страдая и мучась, рождались прекрасные и гармоничные звуки. Но хаос — он тоже по-своему тосковал в ожидании музыки; и когда на скрипучий, сухой механизм изливались обильные воды органа, всем измученным сочлененьям “Аккорда” делалось словно бы легче.

Но знание о том, как сосуществуют хаос и космос, было не единственным знанием, что мне подарили наши органные “пятиминутки” (именно так называл их отец, хотя на самом-то деле они длились дольше). Я понимал ещё нечто, лежащее глубже изложенной только что — согласитесь, весьма примитивной — космогонической схемы. Когда я не одним только слухом, но и всем существом ощущал, что музыка появляется и приближается, как бы выливает к нам из самых глубинных и недоступных сознанию недр темноты — вот именно, что “*de profundis*”, из бездны! — то я начинал понимать, что там, в глубине существует гармония. “Ночь не страшна, она полна красоты” — вот краткая формула, выражавшая то, чем меня одарили органные “пятиминутки”. По сути, те вечера, когда мы с отцом лежали впотьмах на тахте, а клубящийся ветер органа то завывал, то стихал, то снова подхватывал нас, были для меня доказательством существования той благой силы, из которой рождается вообще всё, что есть в мире: и ночь, и органные fugи, и мы с отцом, и даже тот старый, хрипящий проигрыватель “Аккорд”, который вроде бы и сопротивлялся музыке, но на самом-то деле служил её верным проводником.

ПРЯТКИ. Вот тоже одна из древнейших игр человечества, ведь люди всюду во все времена делились на тех, кто как-либо хоронится, и на тех, кто их ищет. И хоть роли в игре обычно распределял жребий или считалка (ещё одна интересная тема — этакая игра в игре), но всегда было видно, кто любит “водить”, а кто — прятаться. Думаю, большинство начальников вырастало из первых, а большинство вольных художников — из вторых.

Я любил прятаться. И пока водящий, припав лицом к стволу дерева, размеренно-громко считал — обычно до десяти, — все остальные, врассыпную и сломя голову, кидались искать места, где бы им схорониться. Прыгнуть в канаву или кусты, забраться на дерево, юркнуть в двери подъезда,

просто припасть к земле там, где трава гуще, — всё годилось для нас, беглецов. Но вот водящий заканчивал счёт, скороговоркой выкрикивал: “Раз, два, три, четыре, пять — я иду искать!” — и обязательно добавлял: “Кто не спрятался — я не виноват!”

Пока он бродил взад-вперёд, пока старался разглядеть в кустах чью-либо спину или затылок, чтобы, злорадно захохотав, тут же метнуться обратно к “водильному” дереву, шлёпнуть ладонью о ствол и закричать: “Стуки-палочки — вижу-вижу!” — всё это время ты лежал, вжавшись в землю, в какой-нибудь затравеневшей канаве. Когда шаги и голос водящего приближались, ты переставал даже дышать и боялся, что тебя выдаст торопливо и громко стучащее сердце. Когда же водящий начинал отдаляться, ты переводил дыхание и осторожно приподнимал голову, чтоб сквозь траву посмотреть: что творится у дерева? Там скучали те, кто уже был найден, — как мы выражались, “застукан”, — и кто-то из них, не то из врождённой угодливости, не то из желания приблизить конец игры, начинал помогать водящему и тоже высматривать тех, кто ещё не обнаружен. Таких “стукачей” никто не любил, да и они, похоже, в глубине души сами себя презирали, но почему-то они никогда не переводились ни в играх, ни в жизни.

А игра продолжалась. Почти все уже выбрались из своих укрытий — кого-то водящий “застукал”, кто-то успел его опередить, подбежал и коснулся заветного дерева первым, торжествующе крикнув: “Стуки-палочки, выручалочки!” — и найти, как ни странно, не удавалось тебя одного. И вот пока ты лежал, так удачно укрывшись в канаве, — а игра всем, похоже, наскучила, про тебя как бы забыли и уже были готовы заняться чем-то ещё, — вот тогда тебя посещало то редкое состояние, которое я называю “мир без меня”. Ты так здорово спрятался, что словно вовсе исчез — тебя больше не было в мире. Это было и жутковато — аж холодок пронзал грудь: как же, мол, так — все есть, а меня нет? — но было и чем-то отраднo. В эти секунды с тебя словно снимался весь груз и долг бытия, это был как бы опыт собственной смерти, но только не той, когда ты совсем уже канул в небытие, а такой, когда в мире ещё остаётся твой взгляд. Этот взгляд был направлен как будто “оттуда”, из-за черты, разделяющей “жизнь” и “не-жизнь”, и он видел всё, что встречалось ему, с особенной, всё замечавшею зоркостью. Трава, паутинные нити на ней, жук-бронзовка на гибко согнувшемся стебле, рыжий котёнок на дереве или пёстрая курица, что копошится в пыли, — всё, что ты видел, было наполнено столь пронзительным смыслом, что ни ума, ни души не хватало, чтобы всё это выразить и осознать. Ты теперь знал: мир прекрасен и полон, и то, что ты как бы исчез из него, нисколько не повредило его полноте. Но раз ты был в этом увере, то, даже исчезнув из мира, какую-то частью ты в нём сохранялся...

Эта догадка была столь велика и важна, что ты дольше не мог оставаться лежать в этой мелкой канаве. И пусть водящий был много ближе тебя от “водильного” дерева, но ты вскакивал и бежал к нему с той решительной и безоглядной силой, с какой вырываются лишь из лап смерти. Удивлённый водящий успевал только увидеть тебя, повернуться и сделать пару шагов под свист и улюлюканье зрителей вашего с ним поединка, как ты уже был возле дерева, и припадал к нему всем задыхавшимся телом.

— Стуки... палочки! — выкрикивал ты, сознавая в прекрасную эту секунду, что ты жив, что ты есть в этом мире и не собираешься из него исчезать.

“РВАННЫЙ”. Так называли бумажную ассигнацию достоинством один рубль. А “рваным” называли рубль потому, что, во-первых, именно такие бумажки были самыми распространёнными и проходили поэтому через множество рук, кошельков и карманов; а во-вторых, жизнь была так стабильна, что печатный станок запускали редко, и захватанная, затрёпанная, часто и впрямь надорванная рублёвка доходила до состояния, когда её, кажется, можно было и съесть, положив на кусок хлеба, словно ломтик мягкого желтого сала. Вообще держать в руках новые денежные купюры — жёсткие и шелестящие в пальцах, словно змеиная кожа, — мне всегда было как-то противно. Но эта тактильная неприязнь совершенно не относилась

к потрёпанному рублю, такому приятно-мягкому, что он казался тряпичным.

И хоть “рванный” был самой мелкой бумажной купорой, но каждый, владеющий им, ощущал себя пусть и не богачом, но человеком вполне состоятельным, особенно если он был студентом, и крупных денег у него отроду и не водилось. Помните, что можно было сделать, имея в кармане рубль? Может, сходить в кино с девушкой, да ещё и купить там в буфете мороженого или лимонада? Да запросто. Или, скажем, от души попариться в бане, а потом выпить пива в ближайшей “стекляшке”? Рубля не только хватало на это, но на сдачу с него — оставалась горсть мелочи — можно было вкушать ещё множество радостей жизни. В столовой на рубль можно было хорошо пообедать, и даже не одному, а вдвоём. А койка в гостинице? Она стоила именно рубль, о чём даже пелось в одной популярной в те годы песне: “Живёт он третий день в гостинице районной, где койка у окна всего лишь по рублю...”

Так что рубль — он же “рванный” — был, с одной стороны, чем-то простым и общедоступным (чуть не любой забулдыга, порывшись в карманах, мог извлечь на свет Божий этот жёлтый, истрёпанный, мятый лоскут); а с другой стороны, рубль обеспечивал человеку некое положение в обществе. И на вопрос, есть ли деньги, тот, у кого за душою был рубль, мог честно ответить: “Да, кое-что есть...”

Если же на какие-либо удовольствия — например, на бутылку — рубля не хватало, то происходил тот самый процесс слияния капиталов, о котором рассказывалось в учебнике политэкономии. Только в народе экономический этот процесс назывался иначе: “скидываться на троих”. Но опять-таки основной единицей такого слияния капиталов был именно наш друг “рванный”. В сущности, рубль был финансовым стержнем и символом целой эпохи. Действительно, если рубли, обращавшиеся в стране, доходили до состояния “рванных”, значит, жизнь в ней была так неизменна, какой она может быть только в раю. Мы и жили, по сути, в социальном раю, но узнали об этом потом, когда его потеряли. Нельзя не признать, что в трагической русской истории было мало эпох, сравнимых по благополучию с дремотной эпохой “застоя”.

Помню, уже в институте один из остроумных преподавателей судебной медицины объяснял нам, как можно примерно определить давность подкожного кровоподтёка. “Представьте, — говорил он, — что вы размениваете красный червонец на всё более мелкие деньги: на пятёрки, трёшки и, наконец, рубли. Так вот, точно так, как меняется цвет этих купюр, каждые двое суток будет меняться и цвет кровоподтёка. Сначала из красного он станет синим, как пятёрка, затем позеленеет, как трёшка, и, наконец, пожелтеет, как рубль”. Вот мне порою и кажется, что тот желтоватый рубль-“рванный” и был своего рода остаточным кровоподтёком — тем, что сохранилось от “красных”, кровавых, по-настоящему страшных времён, от эпох революций и войн, но со временем всё это выцвело и пожелтело, и уже мало что говорило о своём изначальном происхождении. Мы жили, почти позабыв и о прошлых трагедиях (тем более, нашего поколения напрямую они не коснулись) и мало волнуясь о том, что ждёт нас в грядущем; а “рванный” служил своего рода пропуском в наш сонный рай.

РЕМЕННЫЕ КРЕПЛЕНИЯ. Чем-то те ременные крепления лыж напоминали конскую упряжь, а валенок, обхваченный ими, — добрую конскую морду. Да, и ещё запах кожи, кисловатый, живой и особенно сильный тогда, когда заледенелые лыжи оттаивали в тепле. Он тоже напоминал о былой жизни, которая сохранилась в памяти запахов — самой, может быть, цепкой и неугасающей памяти.

Конечно, те лыжи теперь — деревянные лыжи с креплениями из кожаных или брезентовых ремешков — сделались давним прошлым, как и составчатые бамбуковые палки, кольца которых держались на лентах из той же грубой и пахнущей конской упряжкой кожи. И сейчас только ради забавы можно заставить кого-то нацепить лыжи с ременными креплениями — да и где их найдёшь? — и взять в руки вместо невесомых карбоновых толстые

и неудобные палки из коленчатого бамбука. А уж думать о том, чтобы в них побежать или съехать с горы — это надо совсем уж впасть в детство.

Но с другой стороны, отчего б и не впасть, если в том детстве было много такого, чего дети нынешние не могут себе даже представить? Вот я только что вспомнил о запахе кожаных лыжных креплений, и тут же припомнился запах лыжной смолы, один из чудеснейших зимних запахов детства. Смолили лыжи затем, чтоб они дольше держали мазь; и всю зиму, пока лыжи стояли в углу коридора, наша квартира была наполнена тонким, порою едва уловимым дыханьем соснового леса. Запах смолы становился сильнее, когда ты растирал мазь пробкой, когда по нагретой от трения поверхности ложилась маслянистая плёнка, тоже пахнущая так вкусно, что лыжу хотелось порою укусить.

Но хватит о запахах. Они своё дело сделали — память проснулась, — и теперь можно, мысленно нацепив свои детские лыжи и взяв в руки палки, отправляться в овраг, любимое место наших зимних катаний. Вот ведь странно: город приблизился к нам и к оврагу вплотную, да что там приблизился — он нас окружил, но сейчас (то есть в зимы тех лет, когда я пишу эти воспоминания) на девственно-чистых склонах оврага не найти ни единой лыжни или рытвины, оставленной тем, кто, не устояв на ногах, покатился по снегу.

В дни нашего детства всё было наоборот: трудно было найти снежный склон, не избитый, не изъезженный и прямо-таки перепаханный азартно катавшимися детьми. И хоть я сам был не мастер катания с горок, но ни одного свободного зимнего дня не мог представить без лыж, без того, чтобы не попытаться, напрямую или наискось, съехать по склону к ручью, а потом вновь поспешно карабкаться “ёлочкой”, “лесенкой” или как придётся на занесённые снегом склоны оврага.

Были на нашей Бушмановке (так называется пригород, где я живу) и настоящие виртуозы катания с гор. Особенным шиком считалось кататься на лыжах настолько коротких, обрубленных сзади по самую пятку валенка, что они напоминали скорее коньки. И вот на таких куцых лыжах бушмановские акробаты показывали то, что позднее назовут “фристайлом” — свободным стилем: пируэты, зигзаги, скольженья, прыжки и даже настоящие сальто-мортале или “смертельные кувырки”.

Не забуду губастого, с виду нескладного парня (ему было лет пятнадцать-шестнадцать, и мы, двенадцатилетние, смотрели на него буквально с открытыми — несмотря на мороз — ртами): он-то как раз и показывал эти самые сальто-мортале. Одет он был в задрипанное пальтишко без пуговиц и в рыжую шапку-ушанку, которая то и дело слетала с лохматой его головы. И вот этот парень на куцых лыжах, немногим длинней его валенок, перетянутых ремёнными креплениями, взбирался на насыпь железной дороги, откуда был самый крутой и стремительный спуск, и, низко присев, начинал съезжать вниз. Скорость его разгона мало чем отличалась от ускорения свободного падения, и только разлетавшиеся полы пальто немного притормаживали полёт храбреца.

А внизу, у ручья, был устроен трамплин, на который наш лыжник даже не то, что въезжал, а почти ударялся об его заледенелый изгиб. И этот трамплин с силой подбрасывал парня вверх! Тот раскидывал руки, рыжая шапка-ушанка отделялась от его запрокинутой головы, и на какой-то кратчайший, но навсегда сохранившийся в моей памяти миг лыжник оказывался словно печатанным в небо: руки в стороны, куцые лыжи вверх, а рыжая шапка ещё в полуметре от снега...

Как ни странно, но лыжнику после такого сальто-мортале почти всегда удавалось устоять на ногах, да ещё, сделав лихой разворот, подхватить со снега упавшую шапку и нахлобучить её на голову. И теперь никакой из тех невероятно сложных прыжков, которые я порою вижу по телевизору, — а уж что только не вытворяют виртуозы фристайла! — не вызывает во мне такого же изумления и восхищения, что оставил губастый тот парень, взлетавший в кургузом своём пальтеце и лыжах-обрубках с ремёнными креплениями. Думаю, жизнь его была непроста, наверное, он очень скоро куда-нибудь из неё “улетел”, потому что не может спокойно и счастливо жить человек,

уже с ранней юности вытворяющий непостижимые и невозможные сальто-мортале.

СЕЛЬПО. Как я понимаю, “сельпо” — это было сокращённое наименование магазинов сельской потребительской кооперации; но этимология этого слова тогда мало кого интересовала. Достаточно было того, что оно, сельпо, существовало, и там можно было купить всё, что нужно для жизни, от кулька пряников до косы, топора или пары сапог.

“В сельпо”, “из сельпо”, “у сельпо”, “до сельпо” — звучало, как привычный рефрен моего деревенского раннего детства. И оно же, сельпо, было истинным центром нашего Выгорного: где ещё, кроме как разве по вечерам, встречая бредущее с выгона стадо, могли видаться и общаться односельчане?

Мне лавка сельпо вспоминается отчего-то в жару, в то полдненное пекло, когда доски его крыльца были горячими, а внутрь, в полумрак магазина, ты нырял, как в спасительный омут прохлады. Брунзжание мух слышалось прежде всего, оно раздавалось с тех липких лент, что свисали там и сям с потолка и были усеяны двукрылыми жертвами, безуспешно пытавшимися оторваться от клея. Впрочем, в сельпо было так хорошо, так дремотно-спокойно, что прилипшие мухи сопротивлялись судьбе не особенно долго и скоро стихали, смиренные и неподвижные.

Ты подходил к прилавку — твоя пятилетняя голова едва приподнималась над ним — и начинал рассматривать вещи, часть из которых ты уже видел в работе, а о назначении прочих мог только догадываться. Из инструментов ты знал топор, молоток, лопату и тяпку — то, чем часто пользовались прадед и бабушка, а вот разные там гвоздодёры, лучковые пилы, зубила или рубанки были тебе пока незнакомы и вызывали поэтому особый, почтительный интерес. Вообще та давнишняя лавка сельпо, которую я вижу в памяти, была настоящим музеем ныне исчезнувших из повседневного обихода вещей. Ряды керосиновых ламп и рядом, в углу, бидон остро пахнущего керосина, керогазы и примусы, детали печей — чугунные кольца и дверцы, заслонки, колосники, — потом ещё разнокалиберные чугуны, мучные решёта, пчеловодческие сетки и дымари, деревянные грабли — и эти, и ещё множество разнообразных предметов лежало на полках и стояло за прилавком сельпо, создавая вокруг себя ауру самодостаточной и устойчивой жизни. Всё, что человеку необходимо в быту, от продуктов питания до инструментов, одежды и обуви, продавалось в единственной лавке сельпо.

Самым людным отделом сельпо, где почти непрерывно толклись покупатели, был продуктовый. И, насмотревшись на инструменты, ты потихоньку перемещался туда. Здесь пахло селёдкой, подсолнечным маслом и хлебом, буханки которого, чернея подгорелыми корками, были сложены позади продавщицы. А отмерялось всё на весах — я застал ещё чашечные, с блестящими разнокалиберными гирьками, — и то, как продавщица отпускала товар, наблюдать тоже было до крайности интересно. У каждой из двух колыхавшихся чашек весов торчал как бы клювик, и продавщица всё время пыталась привести эти клювики в равновесие. И мне её было искренне жаль, потому что клювам весов очень редко и ненадолго удавалось сравняться. А уж что продавщица только не делала: и кидала на чашки весов какие-нибудь слипшиеся пряники или конфеты, и подсыпала в кульки из большого совка крупу или сахар-песок, и бросала на чаши блестящие гирьки, но клювы весов как качались, так и продолжали качаться, и сойтись-замереть друг около друга — как бы поцеловаться — им никак не удавалось.

Но зато с той поры, как я наблюдал за весами в сельпо, я понял, что всякое равновесие в жизни так мимолётно и неуловимо, что лучше говорить даже не об устойчивом равновесии — кто и когда его достигал? — а о нашем стремлении к нему. Правда, той продавщице (как я осознал много позже), стабильное равновесие чашек весов было, скорее всего, ни к чему: весь её интерес и состоял в приблизительной зыбкости мер и весов, в том зазоре, что возникал меж наличным и должным.

Но ведь точно в таком же зазоре — как бы в промежутке между наличной реальностью и идеалом — протекает жизнь и любого из нас; и мы точно

так же, как та продавщица в сельпо, внешне вроде бы и стремимся к тому, чтобы чаши весов нашей жизни наконец-то сравнялись и замерли в равновесии, но на самом-то деле хотим лишь того, чтоб они продолжали и продолжали качаться...

СТАРЫЕ СКАМЬИ. Может, где-то они и остались, те старые парковые скамьи, представлявшие собой как бы две деревянные волны, плавно перетекавшие друг в друга. Одна волна служила спинкой, другая — сиденьем, и на них не то, что присесть, но даже и просто смотреть было очень приятно.

Существует легенда, что их проект утвердил лично Сталин для того, чтобы во всех санаториях, парках и на бульварах страны граждане могли, присев, отдохнуть от трудов по строительству светлого будущего. Так ли это, теперь сказать трудно; но мне кажется, что именно эти скамьи являлись не просто одной из характерных деталей той жизни, но были предметом, без которого и судьба, и весь облик страны оказались бы в чём-то важном иными. Дело в том, что той жёстко, а часто и прямо жестокой эпохе не доставало чего-то уютного и человеческого, как раз вот того, что собой выражали плавные, женственные изгибы скамьи. Кто знает, возможно, многие люди сломались бы раньше — суровая жизнь сокрушила бы их, — не будь у них редкой возможности посидеть на такой вот удобнейшей, прямо-таки обнимающей тело скамье.

Эти скамьи были излюбленным местом любовных свиданий, и чуть ли не третьим участником их, но только не лишним, а, напротив, всегда помогавшим сближению. Свободная скамья всегда была целью поисков пары, гуляющей где-нибудь в парке, и служила ей верным пристанищем. Невинное вроде бы предложение, исходящее от кавалера: “Присядем?” — с уклончивым дамским ответом: “Ну, если хочешь, давай...” — нередко являлись началом большого романа. И в самом деле, не стоя же и не на ходу начинать нести тот сумбурный и сбивчивый вздор, на который парню бывает непросто решиться, но которого так ждёт девушка? А вот устроившись на удобной скамье, которая всей своею конструкцией как бы пододвигала сидящих друг к другу, чего только не скажешь и чего не услышишь в ответ!

А как легко и естественно, словно сами собою, случались на этой скамье и объятия, и поцелуи? Разве можно, присев рядом с девушкой, не забросить одну свою руку на спинку скамьи, откуда она вскоре как бы невзначай соскальзывала на девичьи плечи? Или вот поцелуй. Да сама геометрия той скамьи — её высота, глубина и радиусы изгибов — делала ваш поцелуй почти неизбежным. Девушка, как ей и положено, вначале застенчиво отклоняла голову, но спинка скамьи (твой союзник!) останавливала её, и твои губы, как пишут в старинных романах, срывали мёд поцелуя...

Я мог бы продолжить любовную тему — чего только не видели старые эти скамьи! — но стоит, пожалуй, вовремя остановиться, оставив простор воображению молодых читателей и место воспоминаниям пожилых. Тем более, что парковые скамьи принадлежали не только влюблённым. С утра на них высаживались пенсионеры; затем приходили молодые мамы с детьми, и, пока дамы щебетали друг с другом, их детки превращали скамью в полигон увлекательных игр; случалось, что сбежавшие с уроков школьники, бросив портфели и ранцы, коротали здесь время до начала киносеанса; или, скажем, закончив рабочую смену, на этой скамье могли оказаться два-три заводских мужика, после которых за спинкой скамьи оставалась пустая бутылка из-под “Столичной” или “Аромата садов”. То есть скамья служила истинным центром городской жизни: на ней сидели студенты и инвалиды, влюблённые и алкоголики, генералы в отставке и дембеля, слесари высших разрядов и заслуженные артисты — сидел, словом, народ, для которого эта скамья была хоть и временной, но такою желанной и верной поддержкой в их жизни.

СТЕКЛОТАРА. Стеклотара тех лет обладала особенным свойством: это были своего рода параллельные деньги, существовавшие наряду с пятаками, полтинниками или рублями. И даже оставшись без гроша в кармане, ты мог

особо не переживать, потому что и в городских подворотнях, и в уличных урнах, и на стадионных трибунах, и в кустах парка или сквера ты мог обнаружить призывный блеск порожних бутылок, которые в результате несложных манипуляций легко превращались в дензнаки. И эти стеклянные “деньги” валялись буквально у нас под ногами. То есть жизнь была устроена так, что она никому не давала совсем уж пропасть: если даже почему-либо не срабатывали институты социальной поддержки (хоть они и работали, сколько я помню, исправно), то уж институт под названием “сдать стеклотару” не подводил никого, никогда и нигде.

Но, может статься, нынешняя молодёжь и в глаза-то не видывала стеклотары прошлого века? Тогда я спешу дать короткие, но необходимые пояснения. Стеклотара была двух основных разновидностей: молочная и пивная. Но звания стеклотары удостоивалась не каждая пустая бутылка. Она должна быть чиста, свободна от этикеток и, разумеется, не иметь сколов на горлышках. Да, ещё интересный момент: если стать стеклотарой претендовала бутылка из-под вина (за неё давали 17 копеек), но в ней болталась пробка, то такая бутылка приёмщицей решительно отвергалась. А поскольку открывание винных бутылок методом “продавить пробку внутрь” было очень распространённым, то и проблема извлечения пробок становилась насущной задачей.

И до чего же мы ловко решали её! Это было похоже на фокус, секретом которого мне давно пора поделиться: не уносить же его, в самом деле, с собой? Итак, берёшь обувной шнурок, складываешь вдвое и опускаешь петлю внутрь бутылки. Потом, потрясая тяжёлым бутылочным телом, надо поймать пробку в петлю, причём то, как она в неё ляжет, не имело никакого значения для результата. И вот — внимание, почтеннейшая публика! — ты с силою тянешь шнурок — и пробка, сначала туго пища, а потом хлопнув, вылетает вместе с мокрой верёвкой наружу! Возле жестяных бudoк с надписью “Приём стеклотары” порою лежали целые россыпи пробок, извлечённых вышеописанным способом; их, понятное дело, не принимали, и они годились разве что на поплавки. А на ветках ближайших деревьев были заботливо развешаны шнурки — те самые, без которых пробочный фокус был невозможен.

Может, вам интересен курс тогдашней стеклянной валюты, то есть сколько мы выручали за каждую из отмытых, очищенных от этикеток и успешно сданных бутылок? Этот курс оставался неизменен — стеклянные деньги, во всех смыслах слова, были самыми твёрдыми — и его безошибочно, разбуди хоть среди ночи, мог назвать каждый житель страны. Зелёная пивная бутылка стоила двенадцать копеек*, а молочная широкогорлая — пятнадцать. И это были совсем не пустяшные деньги: на выручку от пивной бутылки ты мог купить сливочное мороженое, а молочная стоила почти столько же, сколько буханка хлеба.

Однажды, учась на втором курсе мединститута, мы с приятелем решили пропустить скучнейшую лекцию по политэкономии и заняться политэкономией прикладной: сдать бутылки, что накопились за целый семестр в нашей комнате. На тогдашнем жаргоне это называлось “сдачей пушнины”. И вот чуть не полдня мы таскали гремящие сумки по коридору общаги в туалет и обратно — бутылки сначала следовало отмыть, — а потом с гроыхающею ношей ехали на трамвае через весь город, туда, где работал единственный в этот день пункт приёмки. Зато, когда мы всё это сдали, — а разнообразных бутылок у нас оказалось чуть больше полутора сотен, — то сделались по студенческим меркам настоящими богачами: мы выручили что-то около двадцати рублей. И, разумеется, тут же начали тратить их на новую стеклотару, но уже полную пивом “Ячменный колос”.

Такой вот происходил в той жизни “тарооборот”: мы покупали бутылки полные, а сдавали пустые, чтобы вновь взять бутылки с вином, молоком или пивом, и была во всём этом какая-то трогательная и доверительная простота. Ведь за годы такого всеобщего “тарооборота” могло получиться, что из одних и тех же — буквально! — бутылок пили шофёры и генералы, колхозники

* Правда, к середине восьмидесятых их цена поднялась до 20 копеек.

и студенты, заводские рабочие и пастухи, институтские преподаватели и пенсионеры. Бутылки ходили по кругу, в каком-то всеобщем и равном застолье, и, кстати, сдавать стеклотару, возможно, ещё и поэтому ничуть не считалось зазорным. Попользовался бутылкой — так скорее верни её в магазин или пункт приёма; может, её ждёт не дожждётся какой-нибудь страдающий от похмелья народный артист или академик? Так что единство и равенство граждан Союза крепилось ещё и таким неожиданным способом, как приём стеклотары: он обеспечивал некий всеобщий, десятилетия длившийся пир из общей посуды в единой стране.

СТУДЕНЧЕСКИЕ СТРОЙОТРЯДЫ. Говорят, их пытаются возродить... Не знаю, возможно ли это? Конечно, сколотить из студентов бригаду и послать её что-либо строить, наверное, можно, но это несколько не будет напоминать того стройотрядовского движения, что когда-то охватывало всю страну. Чтобы возродить советские стройотряды прошлого века, надо, как минимум, возродить СССР, а такое, как вы понимаете, вряд ли произойдёт.

Я, к счастью, застал стройотряды, и целых пять лет в летний каникулярный сезон отработал на стройках Смоленщины. Может, лучшего времени в моей жизни и не было: ни того азарта работы, — а работали мы от темна до темна, часов по двенадцать-четыре в сутки, — ни такого запаса физических сил, ни такой мышечной радости, ни, наконец, того чувства свободы, какое бывает лишь в юности, когда жизнь, что раскинулась перед тобою, кажется и доступной, и бесконечной одновременно. И всё, чем мы там занимались, казалось игрой, как бы только приготовлением к жизни; а уж если игра была так хороша, то как же должна быть прекрасна сама ожидавшая нас настоящая жизнь...

Столь мертвецким сном, как тогда, в стройотрядах, — я не спал никогда. Едва касался щекою подушки и закрывал глаза, как словно в ту же секунду я слышал неумолимый жестяной стрёкот будильника и понимал, что пора подниматься. Куда подевались шесть часов сна, оставалось тайной. Как сомнамбула, в сонном недоумении ты выходил во двор — рассветный туман такой, что в десяти шагах ничего не разглядеть! — и нажимал на холодный мокрый рычаг водоразборной колонки. Она урчала, гудела, тряслась, и в твой склонённый затылок и спину вонзалась твёрдая и как будто сухая от твёрдости ледяная струя. Вот только от её холода ты, наконец, просыпался и начинал что-либо соображать, например, узнавать лица тех, кто, пошатываясь и толком ещё не проснувшись, выходил умываться вслед за тобою.

А дальше — долгий, почти бесконечный, наполненный зноем, усилием и наслаждением день. Чаще всего я работал на каменной кладке; и навсегда моя левая кисть запомнила шероховатую тяжесть красного кирпича, а правая — трение рукояти строительного мастерка, который вминается в сочную мякоть раствора. А то глухое постукивание рукоятки кельмы, каким ты осаживаешь кирпич? А дрожанье шпателя-шнура меж двух “маяков” — этой струны, по которой равняется словно не одна только кладка, но выстраивается и весь распорядок рабочего дня? А быстрое шарканье мастерка, каким ты подбираешь “сопли” раствора с наружной версты, чтоб затем смачно швырнуть их в торец кирпича? Всё, что ты делал, — все ощущения, звуки, движения, запахи кладки (чего стоил один запах подмостей, то кисло-то-осиновый, то смолисто-сосновый!) — всё вызывало в тебе восхищение и наслаждение. Да что говорить! Наслаждение даже помочиться с подмостей на горячую кирпичную стену, высыхающую быстрее, чем ты её орошал...

А купание в коровьем пруду по пути на обед? Этот пруд был наполнен не столько водой, сколько илистой жижей, в которую стадо коров забредало, чтоб хоть немного остыть и укрыться от оводов. И вот сонные эти коровы, печально и шумно вздыхая, удивлённо глядели на то, как мы прыгаем в пруд, и как загорелые наши тела начинают лосниться от мутной воды, раскачанной нашим купанием меж берегами в засохших копытных следах. И наша тогдашняя юная радость от жизни была столь велика, что ничто — ни коровьи лепёхи, ни гул оводов, ударявших по нам, словно жгучие пули, ни чавканье илистой жижи под ногами, ни жара, ни усталость, ни жажда —

ничто не могло омрачить этой радости, не иссякающей, как поток того зноя, что лился на наши затылки и спины.

Обильный обед неизменно нас всех оглушал, и мы возвращались на стройку, как будто в бреду. Сразу вставать на кладку не было сил — да это было и небезопасно: а ну, как заснёшь, да и грохнешься с подмостей? Поэтому хоть на полчаса, но мы ложились вздремнуть в тени возводимой нами стены. Сейчас в это трудно поверить, но тогда, в двадцать лет, я мог заснуть не то, что на голой земле, но даже на куче битого кирпича. Упадёшь на неё, бывало, ничком, чуть поёрзаешь, чтоб углы кирпичей не слишком давили в лицо, и погружаешься в сон, почти столь же сладкий, как если б ты спал на пуховой перине. В том глубоком и кратком, как обморок, послеобеденном сне я сливался с кирпичною грудой, углы и грани которой как бы разрывали меня на десятки частей, но никак не могли разорвать окончательно. Сливался так же гармонично и полно, как и потом, ведя кладку, я душою и телом сливался с кирпичной стеной, на которую попеременно падал то раствор с мастерка, то пот с моего лица...

Сигналом, что пора завершать дневной цикл работ и собираться на ужин, служил гул компрессора дойки, который и возвещал всей деревне о наступлении вечера. Этот басовый звук был протяжен, печален, и мне, когда я слышал его, всегда становилось чего-то томительно жаль: то ли этой деревни, которая медленно погружается в сумерки, то ли стройки и возводимой нами стены, с которой мы расставались до завтра? Или мне было жаль себя самого, своей юности, которая в эти минуты достигала своей высшей точки, а значит, в каком-то уже скором будущем должна неизбежно пойти на убыль?

На ужин мы шли вдоль того же пруда, где купались сегодняшним полднем, но только коровы в нём уже не стояли (все были на дойке), и его зеркало было нежно-розовым от заката, всё ярче горевшего в небе. Столбы мошкары толклись в остывающем воздухе; пыль дороги становилась ощутимо теплей, чем трава на обочинах — на неё уже пала роса, — и было радостно думать, что всё предвещает назавтра такой же безоблачный день, как сегодня, и что все вообще наши дни так похожи один на другой, как это бывает лишь в райской, забывшей о времени вечности.

После ужина сил оставалось только на то, чтоб облиться водой — всё у той же гудящей, дрожащей водоразборной колонки — и рухнуть на койки. И снова в ту же секунду, как ухо касалось подушки и закрывались глаза, в серых утренних сумерках слышался стрёкот будильника, и ты понимал, что пора подниматься.

А сейчас, когда я в бессонницу смотрю в мутно-серый прямоугольник ночного окна и слушаю мерную поступь часов, то иногда начинает казаться: ко мне возвратились те ночи, что были пропущены мной в стройотрядах. Тогда их, ночей, как бы не было вовсе; зато все они ныне настигли меня, и теперь восстановлено справедливое равновесие жизни...

СЧЁТЫ. Это был, в сущности, первый компьютер. Только, в отличие от невидимого кристалла кремния, на котором записываются невероятные объёмы информации, счёты могли сохранить в своей памяти очень немного. Да и память-то эта была лишь на краткое время, пока рука бухгалтера не встряхнёт громыхающие счёты, “обнуляя” их показания.

Но зато до чего ж осязаемым, зримым было на счётах любое число, состоявшее из округлых костяшек, с бодрым щёлканьем перебежавших по стержням справа налево и слева направо! Эти костяшки могли быть разными — и собственно костяными, и деревянными, и, позднее, пластмассовыми, — но они всегда были настолько приятны на ощупь, а щёлканье их настолько приятным на слух, что рука сама к ним тянулась, чтобы, пусть даже бесцельно-бессмысленно, погонять их туда-сюда.

В созерцанье костяшек, бодро скользящих по стальным прутьям внутри деревянной рамы, мне порой чудилось нечто, что можно назвать “счастьем ограниченного существования”. Ведь этим костяшкам никогда не отклониться ни на миллиметр от предназначенной им траектории и не выскочить из

прямоугольной рамы; отчего же так весел бодрый их перестук, отчего он и нас заражает своим жизнелюбием и оптимизмом?

Почему-то припомнились вдруг индийские парии — те, кого я наблюдал, бродя по дорогам Индостана. Никогда и нигде, ни на чьих больше лицах я не встречал выражения столь же безмятежного счастья, как на лицах этих отверженных, чья земная судьба была так беспощадно очерчена рамками их “неприкасаемой” касты. Мало того, что они были голы и босы, — лишь какие-то тряпицы прикрывали их чресла, — так они ещё исполняли самые отвратительные работы, например, прочищали зловонные стоки канализаций. Но ничто — ни жалкая социальная роль, ни глубокая и непредставимая нам нищета, ни вонь и грязь, окружавшая их, — ничто не могло омрачить их блаженные лица и души.

Может, всё дело в том, что наше стремление к счастью всегда есть стремление к тому, чего мы лишены и чего, скорее всего, никогда не достигнем, поэтому само это наше стремление есть самый глубокий и постоянный источник несчастья? А вот если принять свою долю как нечто непоправимое и неизбежное, то не будет ли это хотя бы заменой и некой иллюзией счастья?

Подобные мысли не чужды и европейцам. Известное выражение Шатобриана (которое так любил Пушкин) гласит: “Если бы я ещё имел неосторожность верить в счастье, я искал бы его в неизменности житейских привычек”. Но что есть привычка, как не стремление к неизменности жизни, к тому, чтобы наше существование происходило в очерченных рамках и двигалось как бы по рельсам? И мы с вами, когда становимся счастливыми рабами привычек, не есть ли, по сути, костяшки бухгалтерских счётов, скользящие по неизменным стержням-направляющим жизни? Так что “счастье” и “счёты” не так уж и далеки друг от друга — даром, что ли, и в словаре они стоят почти рядом?

Мир, в котором отрывисто-бодрое щёлканье счётов было таким же обыденным звуком, как чириканье воробьёв во дворе, — этот мир был особо уютен. Заходишь, бывало, по какой-либо надобности в бухгалтерию и видишь там столы, стопки папок, разнообразные канцелярские приспособления — всякие там пресс-папье, дыроколы и скоросшиватели, — видишь затылки и спины склонённых над цифрами женщин и обязательно слышишь сухое и беглое щёлканье, напоминающее треск кастаньет. Так звучат счёты и числа, которые они отбивают. Порою одна из бухгалтеров встанет и скажет соседке: “Ты мои счёты не трогай — я там отложила...” — и выйдет за дверь. А ты будешь ждать какую-нибудь справку, всё более проникаясь сознанием и ощущением правильной жизни — тем, что можно почувствовать лишь в бухгалтерии. То есть в жизни реальной могло происходить всяко-разное, в том числе и очень неправильное; но здесь, под сухое щёлканье счётов, эта неправильность как бы просчитывалась и исправлялась. Дебет был слева, а кредит справа, и вся бесполовая путаность жизни незаметно смирялась, стихала под их костяной перестук. То, что всё — ну, почти всё — можно было пересчитать, разложить в строки сметы и вывести сальдо-остаток, само осознание этого сильно тебя утешало. Думалось: как бы сложен ни был окружающий мир, но покуда вот здесь, в бухгалтерии, щёлкают счёты, пока числа сходятся — жизнь течёт в правильном русле.

И не вместе ль со счётами вдруг куда-то исчезло то ощущение правильной жизни — которая, как нам казалось, столь же неизбежна и неизменна, как и костяшки бухгалтерских счётов, без устали подбивавших её, этой жизни, остаток?

ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА. Эта застеклённая будка была непременно частью городского пейзажа. Иногда — с дверцей, иногда — без неё, иногда — с телефонною чёрною трубкой, а иногда — с одним лишь обрывком шнура, сиротливо свисавшим с аппарата.

Нынешним, тотально “мобилизованным” (оснащённым “мобильниками”) поколениям трудно даже представить, что такое был телефонный разговор каких-нибудь тридцать лет тому назад. Особенно если переговоры были междугородними, и для них требовался специальный, телеграммой доставленный

вызов. Только вообразите: какая-нибудь старушка едет из своей деревни в райцентр, чтобы послать телеграмму сыну или внуку, вызывающую того через день или два на телефонные переговоры. А тот, получив телеграмму и кое-как выкроив время, в назначенный день добирается через весь город на переговорный пункт и ждёт там — вместе с десятками других ожидающих, — пока озабоченно-хмурая телефонистка (отчего, интересно, почти все они были тогда озабоченно-хмурыми?) крикнет в зал ожидания: “Конотоп, вторая кабина! Соединяю!” Тогда он подскочит, словно ужаленный, и, обмирая от нехороших предчувствий (“Господи, что же там с матушкой?”), кинется в эту вторую кабину и торопливо сорвёт с рычага телефонную чёрную трубку. И не забудем, что где-то на другом конце огромной страны мать-старушка (которой пришлось по хлябям и рытвинам родины вторично тащиться в райцентр) тоже взволнованно дышит в такую же чёрную трубку и ждёт не дожждётся, когда сквозь шум и трески к ней прорвётся невнятный, далёкий, словно уменьшенный и расстоянием, и помехами, и собственной глухотой, родной голос сына. И ещё хорошо, если повод для разговора не слишком серьёзен, если всё обойдётся поздравлением с днём рождения или обменом обыденными новостями. А ведь может быть, что старушечий голос, закашлявшись, скажет: “Сынок, тут врачи меня давеча просветили и чего-то там в лёгких нашли... Говорят, нехорошее... Ты бы, что ли, приехал, сынок?”

Звонок из уличного телефона-автомата, конечно, не требовал таких усилий и затрат времени, как междугородный. Но были и в нём свои тонкости, сложности, хитрости — чего стоил один поиск “двушки”! Телефон позволял говорить лишь тогда, когда в щель монетоприёмника брошена двухкопеечная монета. А где найти “двушку” глухой, скажем, ночью, когда позвонить нужно, что называется, “до зарезу”? Так вот находились умельцы, которые двухкопеечную монету дырявили, привязывали её к тонкой леске и получали, таким образом, “вечную двушку”, которую можно вытаскивать из автомата и звонить, сколько душе угодно. Экономия, может, и не так велика — на двухкопеечных монетах не разбогатеешь, — но само осознание того, что человеку удалось перехитрить машину, конечно, приятно.

Правда, случалось, что и телефон-автомат оставлял нас в дураках, быть может, в отместку за хитрости, что мы иногда себе позволяли. Бывало, скормишь ему последнюю “двушку”, услышишь длинный гудок, наберёшь номер дрожащей от волнения рукой, услышишь тот единственный голос, который ты так желал слышать, и только-только начнёшь договариваться о свидании, как неожиданно с треском рвётся нить разговора, и ты остаёшься с безмолвной, глухой, бесполезной трубкой в руке. Но чаще, конечно, телефон-автомат помогал, чем мешал, и не будь телефонов, любовных свиданий в нашей юности было бы значительно меньше.

Не забудем и то, что телефонная будка представляла собой самый маленький дом, какой только возможен. Пускай его площадь и не достигала площади квадратного метра, но в нём были и стены, и окна, и крыша, и дверь, и переждать, скажем, дождь, забежав (лучше с девушкой) в телефонную будку, приходилось едва ли не каждому. Так что большое спасибо тебе, телефонная будка, и за разговоры, и за свидания, и за краткий приют под июльским дождём, когда мутные стёкла в потоках воды скрывали прохожих от нас, а нас, целовавшихся в будке, — от взглядов спешащих по улице мокрых прохожих...

УБОРКА УРОЖАЯ. Бытовало ещё выражение: “битва за урожай”. И в ней каждую осень участвовала чуть ли не вся страна. Рабочие оставляли заводские цеха, студенты и школьники — учебные классы и лекционные аудитории, сотрудники разнообразных проектных или исследовательских институтов оставляли свои кульманы и лаборатории и всем народом выезжали в поля. И урожай-то — те, за которые бились, — получались, как правило, скромные; но даже их колхозники сами собрать не могли, и потому кличем: “Все — на помощь селу!” — каждую осень пестрели газетные полосы. Но когда в стране, исконно аграрно-крестьянской, из года в год происходит такое, ни о чём хорошем это не говорит. По сути, все эти бодрые лозунги,

и всё это ежеосеннее перемещение горожан в обезлюдевшие и спивающиеся деревни являлось судорогами советской империи, доживавшей последние годы.

Но мы-то, тогдашние студенты, — мы жили свои, далеко не последние годы; и вот это сложение нашей собственной юности с обветшанием и упадком страны, которая нас родила и взрастила, производило особое к ней, стране, отношение. Мы в глубине наших душ и стыдились её, и жалели её, и боялись расстаться с её чрезмерной — так нам досаждавшей! — опекой. Мы были словно детьми старой матери: уже некрасивой, одышливой, грузной, порой бестолковой, такой, с какой и по улице рядом стыдно бывает пройти, особенно если ты сам ещё грубый, нечуткий подросток.

Вот мы и ездили убирать урожай, словно к той старой матери в гости. И всё, что нас там окружало, выглядело таким обветшалым, заброшенным, сырым, что сердце болело при виде всех этих коровников, по самые крыши утонувших в навозе, покосившихся изб и заборов, колхозных контор и машинно-тракторных станций, которые выглядели так, словно только что пережили жестокий артиллерийский обстрел. И слова “битва за урожай”, которыми нас вдохновляли, отправляя в колхозы, при виде всей этой разрухи получали ещё дополнительный смысл. Казалось, здесь и вправду недавно кипела какая-то битва — кого с кем и во имя чего, понять трудно, — но мы поспели только к её завершению. И сейчас, вспоминая, как старший, разбитый вдрызг “Беларусь” (колёсный трактор, незаменимый в той непролазной грязи) тащил нас, студентов, в бортовой тележке на уборку картофеля, я отчего-то всех нас представляю почти похоронной командой, которая вышла на поле, где только что отгремело сражение. Когда, растянувшись цепочкой, мы медленно двигались вдоль его рытвин — сапоги вязли в грязи, руки зябли, а звон пустых ведёр печально разносился по полю, — когда мы, нагибаясь, подбирали картошку из вывернутых наизнанку пластов, потом ссыпали её в мешки и оттаскивали их на край поля, то эти мешки грязно-серого, как шинельное сукно, цвета и впрямь можно было принять за убитых солдат.

А окопы, которых так много встречалось по перелескам? А воронки от бомб, превратившиеся в озёра торфяной воды? А осколки, которые до сих пор там и сям всплывали из вязкой земли, корёжа барабаны картофелекопалок? А, наконец, те бесчисленные погосты Смоленщины — погосты, где жестяные звёзды перемежались покосившимися крестами, где ограды иobelisks ржавели и где процветала одна лишь рябина — да стаи дроздов, что слетались клевать её горькие гроздья? Разве не было это следом войны — следом, ещё кровоточащим и не зажившим? Так что сравнение нас, медицинских студентов, с армейскою похоронной командой не выглядит слишком надуманным. А то, что мы были веселы и беззаботны, — так что же? Как известно, и Шекспир изобразил гробовщика весельчаком, что ничуть не мешало печальному его ремеслу.

Вообще те колхозы Смоленщины, куда мы, студенты, ездили убирать урожай, были местом, где всё изнашивалось, состарилось и обветшало настолько, что этот мир просто не мог не исчезнуть. Там изнашивались дома и ограды, поля и сады, изнашивались машины и люди — изнашивалось, кажется, и само время, которое больше уже не текло из прошлого в будущее, а сонно крутилось в каком-то застойном бреду безвременья. Больше того, почти всё, что я там видел, было не просто отмечено печатью износа или вырождения, а всё уже как бы исчезло и лишь по инерции и по привычке продолжало поддерживать иллюзию собственного существования. И люди, и флаги, и лозунги, и дома, и портреты вождей, и вообще все предметы, которые нас тогда окружали, — всё это давно существовало в прошлом, но только пока не догадывалось, что его уже как бы нет, и его место — разве что в этом вот словаре, который я начну писать тридцать пять лет спустя.

ФЛАГ СССР. В самых разных местах можно было увидеть этот красный трепещущий стяг с золотыми серпом и молотом в верхнем углу. Он развевался над крышами госучреждений и на флагштоках военных частей, ветер трепал его на корабельных мачтах, плеск его полотнища слышался над трибунами стадионов; а уж в дни демонстраций — ноябрьских или майских —

над шагающими колоннами было просто не счесть алых флажков, транспарантов, знамён, от которых центральные улицы всех городов и посёлков казались охваченными пожаром. Даже карта тогдашней страны под названием “СССР” — и та походила на красное знамя, вольготно раскинувшееся по евразийскому континенту.

А пионерские галстуки? Ведь это символические лоскутки всё того же красного знамени, которыми были повязаны шеи всех без исключения тогдашних подростков от десяти до четырнадцати лет. Гладкий и холодящий пальцы шёлк пионерского галстука полагалось завязывать строго определённым узлом. Один конец галстука всегда получался примерно на треть длиннее другого. Так вот, нам объясняли, что длинный конец означал комсомольскую организацию, короткий конец — пионерскую, а широкий угол, лежавший на подростковой спине (и от которого как бы произрастали концы пионерского галстука), символизировал ни много ни мало Коммунистическую партию Советского Союза. Конечно, сейчас-то любой, хоть немного знакомый с историей знаков и символов, легко разглядит в алом треугольнике пионерского галстука след тайных лож вольных каменщиков (как, кстати, и во вездесущей тогда пентаграмме, пятиконечной звезде); но мы-то, подростки, об этом и слыхом не слыхивали. Мы знай носили, изо дня в день пионерские алые галстуки и тем неосознанно приобщались к сакральным глубинам, энергиям, тайнам страны, чьим символом являлось именно красное знамя.

А энергия этого знамени была в самом деле магической. Казалось, что с ним и под ним не страшна сама смерть. Пойти в бой под красным, как бы уже обогранным геройскою кровью знаменем считалось не просто возможным — желанным. И та кровь, что будет тобою пролита в бою, да и сама твоя жизнь будет совсем не заметна на фоне алого стяга, этого как бы потока огня, что струился, не иссякая и не тускнея, над любимой твоею страной.

Но в “застойные” годы эпоха героических порывов уже миновала, и разве только у киноэкрана, во время просмотра “Чапаева” или “Неуловимых мстителей”, наши сердца могли биться чаще при виде красного знамени. И роль вездесущего красного флага сводилась, скорее, к тому, чтоб огнём, символически в нём заключённым, обогревать и подбадривать города и веси ветшающей, стынувшей и печальной страны. Без этого красного стяга — как бы костерка, трепещущего на ветру где-нибудь над сельсоветом или колхозной конторой — совсем бы уж было тоскливо в полях и на фермах, машинных дворах или на деревенских околицах. Но это был огонёк не занимавшегося, а уже догорающего костра — те последние головёшки, что дотлевали после революционного мирового пожара. И вот именно в деревенской глуши было видно, что страна красного знамени доживает последние годы, месяцы, дни и что наступают холодные новые времена...

ФОТОПЛЁНКА. То, что современное цифровое фото получается так легко — шёлк, и готово! Любуясь на самого же себя на фоне каких-нибудь пирамид или Колизея, — отняло возможность той кропотливой работы над снимком, которая превращала и сами съёмки, и все дальнейшие фотохимические манипуляции во что-то почти колдовское.

Прежде всего, число кадров на фотоплёнке было ограничено двумя-тремя дюжинами, и поэтому никто не позволял себе роскоши щёлкать затвором фотоаппарата по любому пустяшному поводу. Нет, к каждому снимку фотограф готовился и каждый кадр старался выстраивать почти как охотник, выпцеивающий добычу. Уже одно это повышало и качество снимков, и, как казалось порою, качество самой жизни — той жизни, за которой охотился человек с фотоаппаратом в руках. Почему бы и нет? Ведь отражение в зеркале, несомненно, влияет и на человека, что отражается в нём (проанализируйте, если хотите, свои встречи с зеркалом в собственной ванной или прихожей). Так и жизнь, отражённая умным, внимательным взглядом фотохудожника, будет иной, чем та же самая жизнь, отражённая пустыми глазами (или пустым цифровым аппаратом) бездарности.

А то, что долгое время мы знали лишь чёрно-белые фотографии, тоже имело большое значение. Ведь такое фото состоит из света и тьмы. А что

может быть глубже, чем сочетание того, что появилось и отделилось одно от другого уже в первый день творения? Конфликт — он же союз — тьмы и света является самым древним союзом-конфликтом на свете, поэтому так благородно и выглядят чёрно-белые снимки. Недаром настоящие мастера фотододела чтут именно чёрно-белые изображения, несмотря на возможности, что так изобильно и пёстро (как хитрован-коробейник на ярмарке) рассыпает перед нами цветной цифровой фотомир.

Но “отщёлкать” те двадцать четыре кадра, что содержались в пластмассовом чёрном цилиндре, оберегавшем фотоплёнку от света (помните, как мы боялись её засветить?) — это было поддела. Едва ли не главной частью работы настоящего фотолюбителя были занятия в красных сумерках фотолаборатории: проявление плёнки, а затем печать самих снимков. Впрочем, “фотолаборатория” — сказано слишком громко. Чаще всего всё происходило в обыкновенной ванной комнате обыкновенной квартиры, где на верёвках вперемишку висели и детские пелёнки или ползунки, и сохнущие фотоснимки, прихваченные за углы бельевыми прищепками.

Проявлять фотоплёнку самому мне не приходилось — я лишь присутствовал, как наблюдатель, при этом процессе, — но тем живее было во мне изумление от появления негатива, изображения, передразнивающего реальность. Чёрное становилось там белым, а белое — чёрным, светлые нимбы волос светились над непроницаемо-чёрными лицами с белыми точками глаз, и эта почти непристойная “вывернутость” реальности наизнанку была и забавна, и неприятна одновременно. Думалось: значит, и у всего вообще, что существует на свете, — у дерева, птицы, кота и собаки, у отца с матерью, у меня самого — есть теневой негатив?

Но, слава Богу, следующим этапом фотопревращений была печать снимков, при которой негатив обращался в свою противоположность, и мир, отражённый фотографом, обретал свой привычный — то есть позитивный — характер и облик. И загадочный этот процесс зачаровывал. Свет красной лампы превращал ванную комнату в какую-то сказочную пещеру волшебника; массивный фотоувеличитель отбрасывал жутковатую тень; а наши глаза неотрывно следили за прямоугольниками фотобумаги, что устилали дно плоской ванночки, где был налит проявитель. Довольно долго эти прямоугольники оставались невыразительно бледными (точней, красноватыми — всё вокруг было в красных тонах); но вот на них начинали проступать нечёткие тёмные пятна, сначала бесформенные и ни на что не похожие. Но с каждой секундой изображение словно всплывало к поверхности фотобумаги — точнее, как из глубины к нам всплывает какой-либо предмет, сначала неразличимый и смазанно-смутный, но обретающий всё более чёткий и узнаваемый облик. И вот уж мы видели то, что так ждали и жаждали видеть: самих себя, наших близких и наших друзей в декорациях мира, так хорошо и давно нам знакомого, но ставшего как-то и ближе и лучше после того, как этот мир вошёл вместе с потоком лучей отражённого солнца в объектив аппарата, коснулся фотоплёнки, а затем лёг на волшебный лист фотобумаги. На наших глазах возникал целый мир; и он был не только похож, как две капли воды, на тот мир, который он отражал, но он был богаче и лучше него, ведь к реальности как таковой добавлялась душа и работа фотохудожника — и магия фотографической плёнки.

ЦЕНЫ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ. Бывает, как соберёмся мы, сверстники, так начинаем играть в ностальгическую игру, вспоминая, сколько что стоило в дни нашей юности. И дело, конечно, не просто в гимнастике памяти. Сама миновавшая жизнь воскресает в то время, когда кто-то, к примеру, мечтательно скажет: “А помните кильку в томате?” И ему тут же ответят: “Ну, как же, тридцать три копейки банка...” И перед каждым незримо вновь появляется та незабвенная килька и всё, что с ней связано: вечеринка в общежитии, вино за рубль две, компания шумных студентов и запах “Красной Москвы”, окружающий девушку, что сидит рядом...

Игра начиналась с копейки; и каждый уверенно помнил, что за копейку в те годы можно было купить коробок спичек, стакан газировки без сиропа,

или кусок хлеба в столовой. Это надо же: за мельчайшую из монет ты получал одну из жизненно необходимых вещей: хлеб, воду, огонь. Само ли собой так оно получалось, или в этом сказалась мудрость властей, но то, что было всего нужнее — оно же и стоило меньше всего. Я уж не говорю о том, что самое важное — образование, медицина, жильё — было и вовсе бесплатным.

Согревшись, слегка подкрепившись и утолив жажду, — и заплатив за каждую из базовых ценностей всего по копейке, — чего мог желать человек? Правильно, приобщиться к духовному, например, к слову. И опять удивительный факт: возможность писать, читать и общаться стоила тоже очень немного. Имея в ладони двухкопеечную монету, ты мог за неё получить школьную тетрадь толщиной в двенадцать листов, простой карандаш (кстати, ластик, то есть резинка для подтирания ошибок, стоил тоже всего две копейки), почти любую газету из тех, что продавались в киосках “Союзпечати” и, наконец, две копейки стоил телефонный звонок из уличного автомата.

А три копейки — это была цена одного слова телеграммы тех лет. Я вот даже не знаю, а есть ли сейчас телеграммы? Наверное, мобильные телефоны и электронная почта уже совершенно их заменили и упразднили. А сколько всего было связано с телеграммами и телеграфом! В сущности, настоящее покорение человеком пространства и надежды на всеобщее счастье и благоденствие, связанные с прогрессом науки и техники, — всё это началось с изобретения беспроводного телеграфа, охватившего нашу планету невидимой сетью. Так что “телеграмма” — это тема отдельной статьи “Словаря”; не забыть бы в ней упомянуть о наклеенных на телеграфный бланк лентах, о смешных сокращениях — “зпт”, “тчк”, — о выпавших из-за экономии денег предложениях (“Приеду пятницу Вася”) и об угрожающем голосе почтальона, стучащего в дверь: “Вам телеграмма — откройте!”

Что можно было купить за четыре копейки? Правильно, троллейбусный билет. Но мы предпочитали проехать “зайцем” и сберечь эти четыре копейки на что-нибудь более нужное, например, на пресловутое “изделие номер два” — сиречь, презервативы. В упаковке их было две штуки; сложность заключалась лишь в том, что в те пуританские времена произнести в аптеке фразу: “Мне эти... ну, эти самые... презервативы...” — было почти так же трудно, как и предложить интим девушке.

А можно было потратить четыре копейки и на предмет вовсе невинный, скажем, на деревянную школьную линейку. Помните, как её верхний край всегда пачкался карандашным графитом, а делений шкалы часто было не разглядеть из-за многочисленных надписей или синих чернильных рисунков? Такою линейкой девочки нередко били мальчишек (особенно тех, кто им нравился), а мальчишки, в свою очередь, старались привлечь внимание девочек, швыряясь в них с конца деревянной линейки комочками мокрой нажёванной “промокашки”.

Теперь у нас пять копеек. Что взять: стакан чая с лимоном, вкуснейший и упоительно пахнущий бублик — дырка от бублика прилагалась бесплатно — или не менее вкусный, поджаристый пирожок с повидлом? Или, за тот же пятак, проехать в битком набитом автобусе, где тебе сделают освежающий массаж (см. “Давка в автобусе”)? А если добавить к пятаку копейку, то можно стать обладателем большой кружки холодного кваса, без которого было так же трудно представить городское жаркое лето, как и без женских коленей под мини-юбками. Помните, как тополиный пух был скатан в жгуты возле сохнущих луж, как над жёлтою бочкою кваса всегда вились осы и как в мокрых гранях бокала отражалось твоё вытянутое лицо?

Каждая следующая копейка, прибавляясь к воображаемой сумме в нашей игре, приводит новые воспоминания. Ну вот, например, вспоминаю навскидку: семь копеек стоила порция фруктового мороженого (это был кусок сладкого льда в промокающем и начинающем капать бумажном стаканчике) или стрижка “под ноль” в парикмахерской, где запах зелёного одеколона “Шипр” неизменно бодрил посетителей. Восемь копеек стоил блокнот с откидными страницами или стержень для шариковой авторучки. Десять копеек — цена билета на утренний киносеанс. И ещё за десять копеек в любом “Гастрономе” можно было купить один из трёх видов сока — яблочный, сливовый или

томатный, — что наполняли высокие разноцветные конусы и лились в подставленные стаканы с мягким, пенящимся шипением.

И это мы с вами поднялись только до гривенника — сколько же воспоминаний оживут в нас, пока мы подберёмся к рублю! Но, справедливости ради, надо сказать, что самые яркие и живые воспоминания связаны именно с ценами мизерными: что оставалось дешевле, то чаще и покупалось, и прочней отпечаталось в памяти. Самым же главным, всеобщим и неизменным в те годы было чувство, что всё в окружающем мире доступно, что меж тобой и предметами (как и другими людьми) нет той преграды, что так болезненно ощущается ныне. И цены советской эпохи — условные, в сущности, цены, нисколько не отражавшие ни истинной ценности, ни себестоимости многих услуг и товаров, — они-то как раз и стирали границы меж нами и миром вещей, и делали весь этот мир таким своим, уютным, родным.

А то, что так называемый “ассортимент” был тогда много скуднее, чем ныне, — так разве же дело в ассортименте? Человеку, чтоб жить, нужно очень немного: простая еда и одежда, да крыша над головою и койка, где он может спать. А всё остальное — вот именно, что от лукавого! Ведь за то, чтоб иметь доступ к теперешним разнообразным витринам, мы платим в прямом смысле слова собственной жизнью, единственной и неповторимой. А эта цена, согласитесь, значительно выше, чем те пятаки или гривенники, что мы платили когда-то за хлеб и зрелища.

ЧИТАЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК. Когда-то само собою подразумевалось, что человек — это и есть тот, кто читает. Мало того, что давно наступила эпоха всеобщей грамотности, но к чтению ещё и относились как к естественному состоянию, чуть ли не видовому признаку человека разумного. Слова “он много читает” были важнейшей положительной характеристикой; слова же “он не читает совсем” означали едва ли не умышленную деградацию.

Я не буду расписывать то, что мы видим вокруг себя ныне — вот эту именно что деградацию... Я лучше припомню те времена, когда книги любили, ценили, за ними охотились (а за иные даже сажали в тюрьму), где было обычным делом дать кому-то редкую книгу “почитать на одну ночь”... Только вдумайтесь: разве такое возможно сегодня? В те времена, где царил всеобщий и неутоляемый книжный голод — оттого, что на всех желающих книг не хватало.

Этот голод, вызванный, помимо огромного спроса на книги, ещё и действием цензурных ограничений, приводил к интересным явлениям. Например, в начале восьмидесятых годов прошлого века были распространены “талоны за макулатуру”. Сдав на пункте приёмки десятков-другой килограммов макулатуры — старых газет и журналов, картонных коробок, исписанных школьных тетрадей, — ты получал вместо денег талоны, которые можно было потом обменять на дефицитные книги. Так вот, этих самых талонов на руках у людей в скором времени оказалось так много, что нужных книг всё равно не хватало, и книголюбы могли отстаивать в очереди за каким-нибудь романом Александра Дюма или Мориса Дрюона много часов на морозе, с чернильной отметкой номера на замёрзшей ладони, ревниво следя, чтобы кто-нибудь не просунулся вперёд них и не похитил бы вожделенное право овладеть редкой книгой.

А старики-букинисты? Это была особая, исчезающе-редкая каста людей, торговавших с рук книгами (это считалось тогда незаконным) и ведущих по-этому как бы полуподпольную жизнь. Попасть к ним в квартиру можно было лишь по рекомендации верного человека — тоже, разумеется, страстного книголюбца, — но даже тогда, когда ты проникал в жильё букиниста и жадно рассматривал книгу за книгой, ты всё время чувствовал на себе недоверчиво-мрачный взгляд старика. Он откровенно тебя ревновал к тем сокровищам, что дремали на полках его библиотеки. Этот старик существовал будто в ином измерении времени и параллельном пространстве, где жизнь соотносят не с общепринятым календарём, а с тою шкалой, где отметками служат названия книг, имена авторов, годы издания, — старик жил в мире, где само время двигалось не от года к году, а от одной книги к другой.

А “самиздат”? Так называлось распространение текстов в обход официальных каналов. Это было и вовсе запрещено — такое буквально грозило тюрьмой. Но всё равно “самиздат” жил и здравствовал; так, я познакомился с “Лолитой” Набокова именно по самиздатовской бледной копии, отпечатанной на копировальной машинке “Эра”. И это была даже не полноценная книга, а всего лишь пачка потрёпанных, серых бумажных листов. Но сочетание запретности копии с запретностью предосудительной темы, так виртуозно развёрнутой автором, делали эту пачку бумаги предметом таким же желанным, каким, наверное, было для Евы эдемское яблоко.

Впрочем, не одни лишь запретные, но и разрешённые книги неотразимо влекли нас к себе. Оказавшись в гостях у малоизвестного человека, ты первым делом бросал взгляд на его книжные полки: подбор книг говорил о хозяине едва ли не больше, чем его речь и одежда. А книжные магазины — место особого притяжения: иногда ноги сами несли тебя в них, в нарушение всех твоих прежних планов, и ты надолго задерживался возле книжных рядов, перебирая, листая, читая и чуть ли не пробуя книги на вкус. Особенно привлекательны были книжные магазины в небольших городах и посёлках: там спрос на книги был всё-таки меньше, и имелись хорошие шансы найти что-либо стоящее. Не забуду книжного магазина в посёлке Тим — это родные места моих отца с матерью, — куда я приходил, едва он открывался, и потом проводил там целые часы, набирая тяжёлые стопки интересных мне книг (они, как почти и всё остальное в той жизни, были недороги). Мир тимского книжного магазина стал мне настолько родным, что я, кажется, целую вечность мог бы провести у его полок, глазами внимательно перебирая названия книг, а руками бережно листая страницы. Людей там было мало, а часто и не было вовсе, и ничто не мешало моим одиноким заплывам по книжному морю. И хотя это море было огромным, в глубине души жило чувство, что я обязательно его переплыву, то есть непременно прочту все те книги, которые ждутся, пока я прикоснусь к ним, сниму с полки, поверчу так и эдак и начну перекладывать их страницы справа налево, чувствуя, как в моей голове — и моей левой руке — прибавляется тяжести от прочитанной книги.

Убеждение в том, что мир без книг и без чтения есть неполноценный, ущербный, неправильный мир, вошло в нас, что называется, с молоком матери. Да никто б из нас и не поверил, что такой мир возможен; представить, что книги исчезли из повседневногo обихода, почти то же самое, что представить, как из воздуха исчез кислород: в такой атмосфере нельзя существовать. И даже короткое расставание с книгами переживалось мучительно. Например, в туристических наших походах — а уж походил-то я, слава Богу, немало! — едва ли не самым тяжёлым для меня был не холод и не дожди, не усталость и мошкара, а отсутствие книг. За две недели твои глаза, мозг, душа начинали так голодать и томиться без чтения, что, стоило оказаться где-либо близ человеческого жилища, ты жадно накидывался на любое печатное слово, которое подвернулось глазам, точь-в-точь как гоголевский Петрушка. Ты читал вывески магазинов и расписания поездов, обрывки газет, случайно попавших в руки, правила поведения в общественном транспорте, листки “Их разыскивает милиция” (с которых угрюмо смотрели похмельные глаза фотороботов) и даже рукописные объявления на фонарных столбах: “Продаётся полдома с участком” или “Пропаала хромая собака без левого уха, отзывается на кличку “Дружок””...

Отчего же теперь я не только не вижу, не чувствую прежнего книжного голода и всё реже встречаю читающего человека? Экраны разнообразных гаджетов, как вы понимаете, в счёт не идут, там всё больше картинки или неграмотно-куцые SMS-сообщения. Настоящее чтение — вдумчиво-неторопливое, не скользящее по поверхности мозга, а проникающее в глубину души, — так быстро уходит из нашей жизни, что я начинаю бояться: а не уйдёт ли с ним вместе и сам человек? Неужели мы, люди, веками учились читать и писать, чтобы теперь разучиться?

И если такое всё же произойдёт, что ждёт и нас, и всю нашу планету? Вздохнёт ли она облегчённо, вторично впад в дикость, оставшись без докучавших ей — очень уж беспокойных! — учёных людей? Или, напротив,

одичавшая и бессловесная наша Земля — и мы вместе с ней, одичавшие и позабывшие грамоту люди, — будем томиться и тосковать по забытым словам и по надписям, сделанным человеком? Но кто, в таком случае, снова научит нас читать и писать, кто выведет — на песке, на доске, бересте или камне — “аз, буки, вежи...”?

ШКОЛЬНАЯ ПАРТА. Таких парт, как раньше, в школах больше не встретишь, разве что в самой-самой глубинке. Называлась она “парта Эрисмана” (был такой врач-гигиенист, который её придумал) и была идеальной школьной партой.

Попробую описать её — с виду простое, но до мелочей продуманное устройство. Эрисмановская парта была рассчитана на двух учеников и являла собою наклонный стол и скамью, неподвижно соединённую с ним. Чтобы удобнее было садиться — скамью ведь не отодвинешь! — в наклонной столешнице были сделаны откидные крышки, дружный грохот которых оглашал класс дважды за урок: в начале, когда все вставали при появлении учителя, и в конце, когда школьники радостно рвались на перемену. Для портфелей и ранцев под верхнею крышкой были сделаны полки, а для беспокойных ног учеников имелись упоры. Чтобы тетради или учебники не соскальзывали с наклонной поверхности (а её уклон был вызван заботой о детских глазах), специальные бортики подпирали тетрадь снизу. Что ещё? Да, для карандашей или ручек поверху парты шёл желобок, а для чернилниц имелись крутые выемки, их дно и стенки всегда были синими от пролитых чернил.

Парты были трёх разных размеров. Те, что поменьше, ставились в младших классах или в первых рядах, где за ними обычно сидели, поблёскивая очками, отличники; а большие задние парты предназначались для двоечников-второгодников, они назывались “Камчаткой”, что ещё раз напоминало о необходимости той огромной страны, в которой мы жили.

Главным качеством школьной парты была её несокрушимость. Что только не делали с ней! И резали перочинными ножиками (как было не нацарапать на крышке соседа: “Петя дурак” или “Вася + Маша = любовь”?), и пинали ногами, и двигали туда-сюда, и вскакивали на парты, и пробегали по ним, грохоча и визжа, и роняли на них всё, что только возможно, от портфелей до собственных тел — эрисмановской парте было всё нипочём. Ряды парт несокрушимо стояли посреди бушующей, плещущей через край юной жизни, как береговые утёсы над бурным морем, и его волны, как бы они ни ярились и ни пенились, но всегда, в конце концов, успокаивались около них. Стоило трели звонка огласить коридоры, каждый бежал к своей парте, словно матрос, занимающий место на вантах и реях по свистку боцмана. И раз уж мы с вами прибегли к морским метафорам, то не сравнить ли нам парту и с кораблём, на котором мы, школьники, отправлялись в плавание к самому неизвестному из неизвестных морей — к нашей будущей жизни?

Но будущего тогда никто не боялся, и все ожидали от него только хорошего. А может быть, в том юном бесстрашии, в той беззаботности и доверии к жизни, с какими мы начинали наш путь, была заслуга и школьной парты? Сама её несокрушимость, сама её честная простота и добротность устройства, её откровенность, надёжность и сила — всё это, вместе взятое, словно нам говорило: ребята, не бойтесь! Ну, что может с нами случиться, когда мы плывём на таком абсолютно непотопляемом корабле? И будущее, в которое мы отправлялись, казалось нам чем-то простым и надёжным, понятным, удобным и добрым, чем-то похожим на школьную парту.

Но воспоминание о парте, сравни её хоть с кораблём, хоть с утёсом, хоть с чем угодно, будет неполным без самого, может быть, главного — без воспоминаний о той девочке с бантиками, что сидела рядом с тобой. Тогда было принято рассаживать учеников именно так — мальчик с девочкой, — что, конечно, имело глубокий воспитательный смысл. Ещё с первого класса мы твёрдо усвоили: рядом с мужчиной должна быть женщина. Правильно, именно так; может быть, как раз это начальное знание, отражающее метафизику половых отношений, и позволило нам, сидевшим когда-то за правильной

школьной партой, воспринимать все позднейшие и новомодные извращения пола именно как извращения, как нарушение завета, который был некогда дан.

Вы, может, спросите: а помню ли я свою первую девочку — ту, с которой делил нашу первую парту? Ну, ещё бы! Её звали Надя Пилькова. Живые карие глаза, пальцы в синих чернилах, и она была очень смешлива. И вот эти смешливость и живость, бесконечное верчение и ёрзание, быстрый шёпот, хихиканье — даже во время урока — это всё бесконечно меня восхищало. Я словно видел и чувствовал рядом с собою (конечно, пока этого не сознавая) саму ту живую и непостоянную женскую сущность, к которой потом, всю дальнейшую жизнь, я буду испытывать неугасающий интерес и влечение. И хоть Наде Пильковой было всего только семь лет, честно скажу, что я мало встречал в своей жизни настолько же милых и женственных женщин. До сих пор моё сердце ноет, когда я вспоминаю её живой взгляд и быстрые тонкие пальцы в синих пятнах чернил...

Как и положено первой любви, Надя Пилькова исчезла из моей жизни так же стремительно и необъяснимо, как она в ней и появилась. Кажется, её отец был военным, его куда-то перевели, и уже через несколько месяцев место рядом со мной пустовало, а сердце мучилось горечью первой любовной разлуки. Конечно, потом за моей партией сидели другие девочки, и очень даже хорошие, но куда им всем было до первой соседки!

И вот теперь, постаревший, тяжёлый, уставший от жизни, я мысленно восклицаю: “Где же ты, Надя Пилькова?” Смеёшься ли ты так же быстро, легко, беспричинно, как прежде, отмылись ли синие пятна чернил с твоих пальцев, и вспоминаешь ли ты иногда — если, конечно, ты ещё в этом мире — и школу, и первую парту, и мальчика, что восхищённо смотрел на тебя?..

ЮНОСТЬ. Была ли она вообще? Иногда кажется, что я встречаюсь с ней только теперь, когда её вспоминаю; тогда же, когда я и в самом деле был молодым, я словно с ней разминуся — и не заметил её.

В юности некая словно печать озабоченности и тревоги лежала на мне, мешая той непосредственной и беззаботной радости жизни, которая, как мне кажется, есть неотъемлемый признак молодости. Может, так проявлялась родовая особенность личности: я в этом похож на свою хлопотливо-тревожную мать, а она — на свою. Видно, наш род с давних времён несёт этот груз тревоги о жизни, передавая его из поколения в поколение. А может, забота, которая не отпускала меня даже в юности, была проявлением той самой “заботы”, которую Хайдеггер считал самым важным, экзистенциальным признаком человека вообще — тем изначальным проклятием, с каким он явился в сей мир?

Но, как бы то ни было, моя молодость, когда она воспринималась мной изнутри, из неё же самой, была уже зрелостью, если не старостью. Я слишком часто бывал и задумчив, и грустен, и почти всегда одинок. Нет, конечно, общение-то было, и разные люди крутились вокруг постоянно — ведь я жил в общежитии, в комнате на семерых: какое уж тут одиночество! — но это поверхностное общение напоминало мелкую рябь на поверхности моря, ничуть не волновавшую тёмной его глубины.

О чём же я так тревожился, чем был озабочен? Честно сказать, я не знаю ответа. Глядя со стороны на свою тогдашнюю жизнь, как я гляжу на неё, завершая этот словарь, я вижу, что заботиться или тревожиться мне было, в сущности, не о чём. Учился я хорошо и легко, был неплохим бегуном — одно время даже возглавлял институтскую сборную, — денег на жизнь хватало с избытком — и стипендия, и то, что мы зарабатывали в стройотрядах, обеспечивало нам безбедное существование, — девушки относились ко мне в целом неплохо и не всегда отвергали попытки добиться их благосклонности. Так какого ж рожна мне ещё было нужно, отчего я так часто грустил, и вся жизнь представлялась мне полной неясных угроз?

Зато после — вот странное дело! — по мере того, как я погружался во вполне уже взрослую жизнь, до предела наполненную заботами и трудами, когда я начал работать врачом и изучал хирургию уже не по книгам и атласам, а ночами в приёмном покое и в операционной, потом обзавёлся семьёй,

которую надо было кормить и неустанно о ней заботиться, потом начались те тяжёлые смутные годы, когда по целым месяцам нам не платили зарплату, и выживали мы тем, что выращивали картошку в овраге, неподалёку от дома, тогда, когда это всё на меня навалилось, и от бесчисленных этих забот и тревог могла, что называется, “съехать крыша”, вот тогда-то я стал понемногу учиться бывать беззаботным и радостным.

А уж когда на меня навалился ещё и мой собственный возраст, и одряхлевшее тело из многолетнего друга-помощника превратилось, ну, если и не во врага, то в обузу, которую надо тащить, как тяжёлую ношу, тогда-то и во все мне стало легко. Я сказал себе: ну, слава Богу, жизнь почти прожита — о чём же теперь волноваться?

И я, как ни странно, но ощутил помолодел. Не внешне, конечно, — стоя у зеркала, я порой не понимаю, что это за седобородый и лысый старик так внимательно вглядывается в меня? — но внутренне я порой ощущаю свободу, лёгкость и радость, которых мне так не хватало когда-то и которые, как я понимаю, и есть настоящие признаки юности. Недаром пословица нам говорит, что молодость приходит с годами; вот, похоже, она и пришла, вернее, старость сама привела её за руку, чтобы ей, старости, не было так одиноко...

ГЕННАДИЙ МОРОЗОВ



НА КРОМКЕ ЖИЗНЕННОГО КРУГА

НОЧНЫЕ ТЕНИ

Я вышел на улицу... Воздух
Ударил порывом сырым.
То было в Касимове... Звёзды,
Мерцаая, роились над ним.
У жёрдочной, шаткой ограды
Той зябкой апрельской порой
То влагой тянуло из сада,
То горькой вишнёвой корой.
А там, со своей верхотуры,
В сарайной глухой темноте
Клохтали и токали куры
О том, как тепло в тесноте!
И все эти запахи, звуки
Таились, но лишь... до поры.
Я помню, как дрогнули руки,
Коснувшись древесной коры,
Шершавой, прожилистой, клейкой,
Припахивающей медком...
Чернела сырая скамейка,

МОРОЗОВ Геннадий Сергеевич родился в 1941 году в г. Касимове Рязанской области. Окончил Касимовский индустриальный техникум и Литературный институт в Москве. Работал в геологических экспедициях в Карелии и Якутии. Был редактором в издательстве "Лениздат". Автор более десятка книжек поэзии и прозы. Член Союза писателей России. Живёт в г. Касимове Рязанской области.

С краёв пообросшая мхом.
Лиловые гроздья сирени,
Клонясь, припадали к стене.
И двигались трепетно тени
От мокрой сирени ко мне.
— Эй, тени, я видел вас где-то! —
Метнулись они... и ушли.
И полосы лунного света
Меж ними и мной пролегли.
Казалось, что тени — нетленны...
И я замирал в тишине
В тот миг, когда эхо Вселенной,
Как обруч, катилось ко мне.

ЗЕЛЁНЫЙ ЛУЧ

Когда прольются с небосвода
Луны холодные лучи,
Светясь, речные вспыхнут воды,
Искрясь, блеснёт роса в ночи.
И лунный свет зеленоватый,
Заоблачный и неземной,
От нас относит прочь куда-то
Вселенной отзвук потайной.
А тот, кто видел в свете этом
Рекú, луга, поля и лес,
Тот хоть на миг, но был... поэтом,
Счастливец дива и чудес.
Я тоже был им! Падал косо
Зелёный луч... Была видна
Не только зыбь речного плёса,
Но рябь ракушечного дна.
И майской ночью серебристой,
Отбросив сетчатую тень,
Мягка и млечно-шелковиста,
К нам льнула белая сирень.
Её пахучестью объятый,
Я клялся сдуру, сгоряча
В любви, конечно... Спешны клятвы
При свете лунного луча.
Зелёный луч, в оконце брызни!
И озари моё жильё,
Являя мне и прелесть жизни
И как бы... призрачность её.

ТЕЧЁТ ОКА...

Михаилу Аникину

Течёт Ока... Вода сверкает
И пенится у берегов...
А свет небесный озаряет
Гряды лиловых облаков.
Как я люблю воды сверканье
В апрельских сумерках, когда
Небес вечернее мерцанье
Ещё сквозит в кристаллах льда!
Крутясь, толкаясь, блещут льдины,

Плывут, цепляя берега...
Влажны овражные ложбины.
Шагнёшь — и вязнет в них нога.
Но я — стою! Куда идти мне?!
Кругом сплошная непролазь.
Ах, то ли дело месяц зимний —
Февраль! Ему, ему дивясь,
Я шёл к реке... Она искрилась,
Замёрзшая... И вся в снегу.
Пыльца метельная светилась
На том и этом берегу.
И несмотря на лютый холод,
На затяжную в теле дрожь,
Я счастлив был! К тому же — молод!
Читатель, ты меня поймёшь,
Когда узнаешь, что родиться
Мне довелось на Оке...
Её вода, лучась, стремится
Отдать себя... другой реке,
Она вольётся в русло Волги,
Прильнёт, ласкаясь, к берегам,
Над коими легко и вольно
Парит крикливых чаек гам.
И, зыбкому внимая звуку
И ощущая дрожь ветвей,
Настроен я не на разлуку
С рекой... Прохладую овей,
Живая окская водица!
Тобой, плескучей, осветлится
Береговой песчаный свей...*
Ока, ответь мне поскорей:
Зачем река к реке струится,
Пытаясь слиться и сдружиться...
...Зачем не так всё у людей?!

* Свей — песчаные отмели, намывы песка причудливой формы рельефного вида.
У Есенина: “И меня по ветряному свею, // По тому ль песку, // Поведут с верёвкой
на шее // Полюбить тоску...”

МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ



НЕ В СВОЕЙ ШКУРЕ

ПОВЕСТЬ

1. ПЯТЬ КЕДРОВ

Жили-были пять братьев. Пять братьев — пять пальцев. Пять братьев — пять кедров. У кедра стать крупная, мясистая: и иголки, и ветки, и шишки — налитые, с запасом и щедростью слаженные. Но если кедр хрупковат и уступает по гибкости и крепости ёлке и лиственни, то братовьев не сломать, не угнуть. Не зря и фамилия у них старинная — Долговы, и идут они от Аввакумовского смоляного корня. Самый младший Фёдор, но о нём напослед.

За Фёдором по старшинству Нефёд. Вроде как не-Фёдор, почему — потом поймёте. В Нефёде кедровая стать самая сильная, он хоть и не столь рослый, как Федя, но крепко и крупно нарублен. Густой замес. У волос, бороды двухвостой, усищ нависающих — ость толстая, обильная, масть темно-каштановая в рыжину. Глаза карие и веки особенно крупны и в карих точечках — будто йод со смолой навели и кедровой кистью покропили для верности. Для подтверждения плодородия его глинно-чернозёмной стати. Всё подходит для сравнения — и смола, и чернозём... Или конский ряд: как

ТАРКОВСКИЙ Михаил Александрович родился в 1958 году в Москве. Закончил Московский педагогический институт им. В. И. Ленина по специальности география/биология. В 1981 году уехал в Туруханский район Красноярского края, где работал сначала полевым зоологом, затем охотником. В 1991 году закончил Литературный институт им. А. М. Горького. Автор книг "Стихотворения", "За пять лет до счастья", "Замороженное время", "Енисей, отпусти!", "Тойота-креста", "Избранное", "Сказка о Коте и Саше". Главный редактор альманаха "Енисей". Лауреат премий журналов "Наш современник", "Роман-газета", "Новая юность", Литературной газеты имени Антона Дельвига, а также премии "Ясная поляна". Член Союза писателей России. Живет в с. Бахта Красноярского края.

у коня — грива темней тулова, борода темней волос. Постав глаз широкий, и сам Нефёд квадратный, коротконогий, кормастый. Но дело скорее в стати душевной — Нефёд полняком помешанный на корабельном деле. Живёт на боковой речке, и там у него верфишка своя. Заказывает листовое железо, сам режет, кроит, сам варит тридцатитонные баржонки, на которые ставит дизеля, всё рассчитывает, водомёт ли, винт, редуктор. Устройство одно: головастая рубка спереди, а за ней грузовой отсек длиннющий до самой кормы. Забран жестяным в волну навесом, сдвижным, в виде “П” в разрезе. Навес ниже рубки, но выше палубы — тоже участвует в силуэте. Нефёд делает на заказ, на продажу. В рубке малиновые диван и обшивка, японские сиденья и руль — хоть кожа. И мотор любой. Как карман позволяет. Железо берёт с завода. Раньше староверы везли почему-то железо гофрированное, как шифер, видимо, какой-то канал подешевле был. И шли баржонки с грубо сваренным шиферным носом, который угловато стыковался с шиферными же бортами, и корпус был в ломаную линию. Теперь металл путный, гладкий, загнут породисто в скулах и отделка под самый роаль-салон.

У Нефёда баржа, и он на ней возит по Енисею горючее, а зимой ещё и на бензовозе по зимнику работает. Дорожная душа.

Следующий брат Гурьян — тот промысловик. Ни о чём не может говорить — только о тайге и о промысле: “Это моё. Мне как осень — уже в тайгу на-а... Оно в крови”. *Завод* у него доскональнейший, и кулёмник (а был и плащик), и капканы на земле, на жерди. И обязательно очепы — жердь наподобие журавля, которая вздёргивает капкан с добычей, чтоб росомаха с лисой не схрюкали. Но если у капкана на полу очеп не редкость, то очеп на жердешках, прибитых к дереву, — только у Гурьяна. Спросите, как на такой высоте очеп ладил? Не поверите — таскал по путикам лесенку. В тайгу задолго до снега попадал.

На вид Гурьян — с того же лекала, что и Нефёд, но поровней, посветлей, и настой смолы пожизе, попривычней. Поначалу не знающие близко — путают братовой. Но даже, когда разберёшься, странно. Бывает, увидит человек впервой Гурьяна, а потом где-нибудь встретит и вздрогнет: идёт вроде Гурьян, да только какой-то густой, набрякший, дико расширившийся, потемневший, и недоумение: то ли сам плохо запомнил — невнимательный, то ли с Гурьяном что-то стряслось — пчёлы покусали или отелся и в дёте измалзас. Дивисься, вроде уже видел черты, а тут они выперли, стугились, укрупнились. Будто два живописца один образ писали — каждый по-своему, один поскупился, другой пощёдрился. “Здорово, Гурьян!” Молчит. Оказывається — Нефёд.

Промышляет Гурьян с сыновьями. Те тоже, Гурьян да не Гурьян, пачка копий. Вроде отец, только поуже, и лица посвежей-порозовей, и бородки помшистей. А вообще по портрету Гурьян самый канонический, знакомый: прямое скуластое лицо, брови белые, борода русая, ость витая, крепкая, верхний слой светлей. Глаза серые.

Следующий брат — Иван. Тому к шестидесяти, черты Долговские, но только подсушенный, подсутуленный, зубы с проредью, борода поклочковатей, серо-русская с сединой. Иван — крестьянин. Живёт по реке к югу, где заливные дуга. Взял землю, держит скот — коров, бычков, ставит сена горы и поставляет дельцам и частникам молоко, сметану, творог, мясо. Пчёл держит. В движениях порывистый по-мальчишески. Исушенный покосным солнцем, прокопчённый дымокурами, измождённый страдой, переживаниями... (То пресс-подборщик верёвку рвёт, то завидущее бичё нетель отравили, то ещё что-то...) Но влюблённый в землю, как и положено русскому крестьянину. Он хоть и как пол-Нефёда повдоль, а зато сыновей у него семеро. Все помощники. Осенью на луговине стынь, свинцовое небо с запада, ветер с каплями... И вдруг солнышко боковое... И тюки, ярко освещённые — как рулеты лежат. И Иван в белой почти энцефалитке щурится от солнца и кричит сыну, который на тракторе на гребь едет: “На кули-и-гу езжай! На кулигу! Там сперва вороши!”

Дальше брат Григорий идёт. Тому к семидесяти, белый, неспешный, и лет восемь живёт в старообрядческом монастыре за Дубчесом. Как зачарованно

говорят про него в деревнях не сильно сведущие в вере: “На чистую вышел”. Человек уважаемый, в монастыре “наставничат”.

Для усвоения материала можно запомнить так: по светлению масти и сходу кряжеватости — Нефёд-корабельщик, Гурьян-охотник, Иван-крестьянин, Григорий-наставник. С Григория, правда, снова на крепость идёт.

Четырёх братьев назвал, а пятого не только не забыл, а на самый рассказ и оставил. Фёдор. Самый молодой, самый статный. Широкое розовое лицо, так же фамильная бородаща, только совсем уже лопатой широченной двукрылой, усы старинно-армейские, в сторону торчат остроконечно, как проклеенные. Глаза синие. Бровь тёмная.

По виду должен вобрать самое могучее и лучшее Долговское. А на самом деле настолько другой, что семью смело можно поделить на две кости: Братовья и Фёдор. Помимо верности вере братовьёв объединяет страсть к любимому делу. А Фёдору не дал Бог кровного ремесла, либо давал, да тот не взял. И вроде работающий мужик, но ничего ему не интересно, кроме денег: будет соболь в цене — на тайгу все силы бросит, рыба подлетит — в рыбалку уйдёт, скажут: извоз в цене — груза возить будет, а сварочные работы — в сварщики подастся. И главное какое ни будь дело, а видно разницу меж Фёдором и тем, для кого дело — единственное. Вроде и впрягается Фёдор — а всё не с головой. Не безоглядно.

Соберутся Братовья, о работе говорят, кто какой корабль сварил, зимовьё срубил, грабли освоил. А у Фёдора оно: “А сколь стоит? Сколь заработал? Сколь платят?” Жёны уже смеются. У автора сих строк даже раз спросил: “По сколь нынче рассказы отходят?” И ещё удивлённо и строго покосился, по-беркутячи — брови тёмные... Мол, мало чо-то, врешь поди: “Да ну-у-у... Не поверю... Прибедняшься”. И с таким видом, что сам бы занялся, если чо. А Иванова жена, язва: “Слышь, Федя. В городе нынче комара сушёного принимают: по пять тыш за кילו. Вон Ульян Угренинов на машину насадал, “крузера”.

Нахмурится, наклонит голову, глянет из-под брови орлино и допросит: как звать “приёмшыка”, какой номер телефона, на чём ездит. Потом и сам засмеётся, но так, в пол-улыбки, и о своём нахмурится. Ехали с ним на автобусе в город — все заправки изгладел: здесь девяносто второй столько-то стоит, здесь меньше, солярка столько-то, там столько-то.

Братовья и быются за заработок, но не так как-то. К примеру, понятно, что ловушками охват больше, и собаки от насторожки отвлекают, но Гурьян скажет: “Да я себе не представляю, как вот с собачкой не побегать по осени!”

Федя норовил ввязаться в дело, пусть и скользковатое, но сулящее барыш. Узнал, что на одной речке лежит ёмкость пятнадцатикубовая от солярки на берегу — наследство от экспедиции. Нефёду железо нужно, Федя и говорит:

— Железо тебе устрою недорого, ты подъедь на своей “лайбе” на такую-то речку к такому-то месту, загрузим тебе железа.

— Отколь? Как?

— Да так — ёмкость.

— Дак это ж Степана Густомесова участок, он поди на неё виды имет.

— Да не, я договорился с ним.

Помощников нанял парней. Взяли болгарки, генератор, поехали, распилили ёмкость, загрузили на Нефёда. А потом столько позора было! И Степан, и все мужики с той речки — видеть не хотели никого из Долговских, “росомах этих”. Густомесовы и Большаковы с тех пор, завидя любую похожую посудину, выскакивали на берег и орали лихоматом, жажа кулаки. Степан эту ёмкость собирался утащить вездеходом и оборудовать под избу, утеплив спутри и врезав дверь на болтах от медведя.

История с ёмкостью не остудила Фёдора. По складу он был рыскающий, как соболь, напористо заводил знакомства, и к людям относился с точки поэживы. Тянулся к успевающим, состоятельным, аккурратно записывал телефоны. Первым из братьев карманный телефон завёл. Всё совал в карман энцефалитки, нагнётся к лодке за верёвкой — и тот бульк из кармана в воду.

“Два штуки утопил”, пока не научился с “имя обращаться”. Звонил. Поддерживал знакомства, снабжал рыбой, не спрашивая. Как по разнарядке.

Эффектный. Приезжие, особенно журналисты или москвичи, рыщущие смысла, на него клевали, и он в отличие от остальных собратьев-старообрядцев не сторонился, а в гости приглашал и проявлял “угостительность”. Водка не разрешалась, поэтому угощал брагой и резчайшим домашним пивом, подымая кружку с богатырским: “Держите!” Не “давайте!” непонятное, а именно “Держите!” Это “держите” особо нравилось заезжим, они его потом сами повторяли, оно было как слоёное: и кружку, и удар держи — не хмелей. Журналистка “с Москвы”: “А вы слышали, что новозыбовцы ведут переговоры с часовенными?” Фёдор: “Не слышали. Держите! Как бражка?” — “Хороша!” — “Вот и отец наш говорил: хороша бражка да мала чашка!” Конечно, и фотографировался с гостями. И даже одна его фотография висела в городе на щите на Металлургов с надписью “Сибирь — территория силы”. Орлино глядя вдаль, Фёдор ехал на моторе на фоне скал, и ветер развеивал, забрасывал набок огромную его бороду. Авторы плаката повернули фотографию наизнанку для пушей композиции с окрутой, и выходило, что Фёдор левша и “под ево” специальный мотор собрали: рукоять газа торчала не с той стороны. Наподобие как излаживают под левшу гитару или скрипку.

Федя, в отличие от братовёв, к вере предков относился расслабленно, за что и имел серьёзные с ними беседы. Дошло, что когда те собирались, за свой стол не садили, а ставили гостевой буквой “Т” к ихнему. Там Федя и сидел вместе с гостями. Как мирской. А упрекали за излишнюю рыскливость: “Из-за таких, как ты, нас “мохнорыльми” зовут, — возмущённо выговаривал промысловый Гурьян, — ты маленько за ум-то берись. А то по тебе и о нас судят”.

Хотя при городских Федя, наоборот, форсил, и подыгрывал, и про “нашу веру старинную” вещал именно то, что хотели слышать. И сам в свои слова верил, и бывало мог расчувствоваться, особенно если много “держать” доводилось.

Но больше было будней.

Слышал Федя о растаскивании буровых “апосля пучи” в конце века. Сам однажды осенью в тайге замороженно глядел, как пёр “ми-двадцать шестой” огромную запчасть от буровой, двигатель вроде, и как неделю гремели с востока, ещё что-то тащили воздухом, штанги какие-то, и как накатывало возмущение и как обсуждал с мужиками по рации. Потом разговор надолго затих, и вдруг кто-то из дельцов заговорил про брошенные в тайге буровые, мол, заплачу за разведку огромно, и Фёдор взялся разузнать. Нашёл экспедишника, бурового мастера Трошу, обурившего пол-Эвенкии и знавшего все точки.

Буровые находились далеко на северо-востоке. Поехали весной по большой воде на здоровенной резинке с водомётом, взяв в долю и её хозяина, поселкового коммерсанта. Пришлось припрячь Нефёда — чтобы на барже завёз горючку и их самих по большому притоку до устья речушки, по которой уже карабкались на резинке с водомётом. По берегам чахлый листвячок. Река горная, течёт меж тундряков и сопок, и то совсем узко и ровно, то вдруг голый скальный бутор подденет русло округлым сливищем, так что забрались с третьего раза, а двоим пришлось вылезти и пройти по берегу. Ехали долго, останавливались на каждом “вроде том” с Тронькиных слов месте, и поднимались на берег, где тянулась голая чавкающая тундра с чахлыми листвячками. Всё нежно-зелёное. Жёлто-светящееся. За тундрой вставали голые квадратные горы, лилово-синие с плешинами снега.

Находили остатки балков. Полусгнивший барак, истончившиеся пепельные доски в лишайнике, изъеденный чуть не в порошок алюминиевый умывальник. Всё нещадно пережёванное тайгой... Что-то трупное было в этих тонущих в сырости останках, будто они не рассыпались постепенно, а разово были захвачены каким-то слепящим ударом.

Зеленые развалившиеся батареи, ящик с огромным количеством Ш-образных металлических пластин, каких-то конденсаторов будто, вроде бы и ценных на вид, а бесполезных. Сгнившие ящики с кернами. Куча снега,

студёно и роскошно фونهاщее стужей на фоне яркого и тёплого солнца. Бродили, им моримые, в привычной уже полусонности среди останков того, что когда-то было сегодняшним, бодро-трудовым и важным, а теперь неумолимой сырью, как кислотой, съедалось и поглощалось тайгой. Дерево, и железо, и даже пластик — всё уходило, кренясь, рушась и растворяясь.

Пнув ржавую бочку на утоптанной моховой площадке, навек пропитанной солярой, Троня говорил: “Не, эт не то — это от шнадцатой остатки. Надо выше (или ниже) искать”.

Возвращались на реку, поднимались с Нефёдом до следующего притока, какой-нибудь Эмбенчи́ или Дёлингды, и начинали всё сначала. Понимали, что хотя буровые и ничьи вроде, но никто не лезет с такими затеями, и чуяли скользкость. И будто для скраса каждый взял водки, и даже Фёдор, хотя по ему как старообрядцу по закону разрешалась только брага и домашнее пиво. И вот ленки здоровенные на пенистом устье Эмбенчей, жгучая водка, сплющенный накось кирпич хлеба, который Пронька отрезал на себя, прижав к груди, толсто и неровно. Луковица, малосольный ленок. Студёная вода из кружки. Белая ночь, такая холодная, что аж колотун берёт. Красные баллоны лодки в густой испарине, дрожь в теле. Густейший туман в повороте. Нежная хвоя лиственниц. И снова подъём по речке, и вот уже паркое солнце свозь бус тумана, и усталость, и “поспать бы”, но времени нет. И снова по стопке и вроде чуть пододрели, и снова восторженные возгласы. Эх, какая речка! Какая красота! И снова брождения по чавкающим тундряками, по пружинистому ернику. И снова мчание по порогам. И Тронькино: “Давай здесь!”

В росистой ярко-зелёной утренней стихии туман сеется, птички поют родниково и первозданно в кустах. Крупный первый комар пропищал. Высокий крутой берег и в густых тальниках ползаросшая тропинка, только ноги чуют. Литры росы на штанах, и подъём по тропинке, которая уже и не тропинка, а ржавый ручеёк, проложивший руслице. И вот — плоская вершина яра — разлётная даль с тундряком и синими горами — если смотреть за реку, на восток. А если от речки: огромная страшная ржавая буровая, забранная понизу выгнутыми пепельными досками. И будто одушевлённая и в грозной обиде за свою ржавость. И словно инопланетная.

И зачасти — врастающие в напитанную влагой землю, в мерзлоту, на которой в ямках стоит вода, и угол балка, и фуфайка растерзанная со светлым нутром, бутылка, сапог. Разбросанные, углами уходящие в грунт двушківники, какие-то фланцы, кожуха, ржавые с остатками краски — какой-то тёмно-розовой. Огромные, похожие на раковины половинки блоков со шпильками и круговыми отверстиями. Двигатель, ржавый до горячей красноты.

Коммерсант, хозяин лодки, давно уже никуда не поднимался, рыбачил себе вдоль берега. Писали список, фотографировали, припили остатки водки. Шарились потные. Считали роторы, насосы. Троня всё бубнил про двушківники — лебёдки. Говорил:

— Пиши! Насос эскабэ-четыре — два штуки. Колодки. Кернорватели. Огловник штанг. Коронки. Баба забивная. Должна быть. Её нет. Нет, пиши, бабы. Промывочный насос эмбэвэ-сто двадцать. Так, шпindelь где? Пиши: нет шпинделя. Ну чо, всё? Наливай.

Наслушался буровых словечек и Федя:

— Держи, Троха. За ход шпинделя.

— Давай! А я смотрю, ты хоть и старовер, а водку глыкаешь. Смотри, твои узнают — быстро тебя на шпindelь возьмут, хе-хе. Держи...

В минуты передыха за бутылкой Тронька целыми главами рассказывал экспедиционную жизнь, анекдоты про разных чудаков, а всё больше страсти вокруг поварихи, у которой Троня был в особом почёте (следовали подробности). И как на него набросился пьяный помбура и пёр не остановить. Опешивший Троня “размесил” ему губу, но тот продолжал переть, а Троня, когда “хватанул крови”, озверел и “убуцкал” бузотёра. Об этом “хватанул крови” он сказал с особой силой, как о проявлении какого-то закона, почти с восхищением, как зачарованно говорят о чём-то таинственном, неведомом, природном. Выходило, что и человечье, и звериное поровну царили в мире, и что

даже красота была в таком пейзаже и обе стороны завораживала. Коммерсант одобрительно усмехался. Троня рассказал, как помбур в итоге женился на поварихе и дошли слухи, что лупит её, а коммерсант подтвердил, что за просто такое, и что “всё теперь”, он это дело “раскусил”, и все засмеялись, потому что он сказал, как про медведя, который повадился драть скота и его теперь не отвадишь.

У Фёдора родовая память о благочестии сидела внутри, не спрашивая разрешения, и при таких разговорах всё внутри противилось, но он поддлыблялся и терпел. А куда деваться? Бывало и брат Гурьян, живший в отдельной староверской деревне, приезжал к ним в посёлок и тоже сталкивался с мирским. Шёл договариваться насчёт трактора вывезти муку на берег. И вот у склада на саях-волокуше сидят трактористы и грузчики — молодые ребята. Грязища дождевая, дрызг вокруг. Все курящие, и полторашка пива идёт по кругу. А обложной привычный мат с такой силой стоит, будто сквернословие, парализовавшее Русь, стало обязательным и настойчивым условием жизни, и требовалось уже и от матерей, и от девушек, и от малышей. И строгий Гурьян тоже пробросил средней силы словечко, да так, что и не сгрубить совсем, но и обозначить, что мол, тоже свой, не чистоплюй какой-нибудь.

Троня привычно бросал окурки. Вокруг стояла весна в самой первой, нежнейшей зелени листвяжных иголок, салатových стрел чемерицы по серой полёгшей траве, учёсанной течением. Синих и белых первоцветов, вешающих под светлую полночь мохнатые подзакрытые бошки. Воды, с каждым днём всё более прозрачной и проседающей в каменные берега. И лежали среди моха и льда ржавые карданы, электромоторы и догнивающие фуфайки, и Троня был одной плоти с этим раззором и, курия, сквернословил с особым смаком, словно ему доставляло особое удовольствие пытаться Фёдора на староверскую твёрдость.

Нашли ещё две буровые и вернулись к заспанному Нефёду, который ворчал, что вода “падат”, и что сталкивать “пароход” пришлось “два раз”.

Фёдор отослал фотографии и списки знакомцу-дельцу, но то ли состояниие “шпинделей” не устроило, то ли ещё что-то, но так ничем и не кончилась затея.

Федя, хоть и удалялся от веры, но как часто бывает у нехристиан, склад имел чуткий к мистике. К своим ощущениям прислушивался, любил рассказывать сны и относился к ним внимательно. И то ли добавился хмельной загул после неудачи с продажей буровой, тяжкое и беспричинное чувство вины, то ли дело и впрямь было несправедное — но стала во сне являться ржавая буровая, оживающая в грозной своей страхе и скрежетно ломающаяся в погоню за ним, катящимся с сырой горы по ржавому в синий отлив ручейку.

Стала кошмарным видением, а он не мог понять, отчего, и, ругая дельца, жалел потраченных сил. Бывало, буровая догоняет, бьётся как в неводе сердце Фёдора, и от трепета и сон будто отпустит хватку, и Фёдор закричит в просвет: “Это же сон! Это не по правде!” И всплываая, освобождаясь, продолжает поражаться магии приснившегося: “Ну не может это всё быть “просто так”, ведь что-то за этим же есть!” Больно подробно, убедительно, а главное, сильно всё построено. Понятно, кроме буровой были и другие картины, которые Фёдор всю жизнь помнил. Ещё юному приснилась весной в тайге в избушке девушка с длинным лицом и светлыми волосами. Была она в изумрудно-зеленой майке, какую он никогда не видел. Сильнейшее впечатление, осязаемое, материальное, оно многократно превосходило по силе воздействия виденное наяву. Проснулся замороженный. И всю жизнь вспоминал. Гурьян говорил, что это бесишко искушает.

Но сны Фёдора привлекали, он оказывался в них умнее и тоньше, чем в жизни. Являлись какие-то подробности чьей-то речи, меткие соображения в областях, которых он не касался, и даже фамилии приходили, которых не слыхивал. Будто расписывал роли и писал диалоги кто-то более сведущий, чем он сам. Однажды приснилась фамилия Ачимчилов. Тогда ещё не убрали радио с длинных волн, и лесные мужики были при музыке и известях. Так вот спустя месяц после сна он услышал по радио: “Руслан Ачимчилов одержал победу в тяжёлом весе”...

2. СЛАБОВАСТЕНЬКО

Фёдор и рад был заработать хоть на чём, но верным оставались лишь рыбалка и охота. Участок его лежал к востоку от брата Гурьяна, ещё дальше от посёлка, но если Гурьян заезжал чуть не в августе, то Фёдор тянул до последнего, сидел в деревне, рыбачил омуля, а потом пробирался в тайгу на снегоходе — дождавшись, когда “подбелит тундры”. Снега много и не требовалось, и едва подсыпало — трогался по профилям, таща груз.

Брат Гурьян пешком пробегал участок, подлаживал ловушки, проверял дальние избы на предмет медвежьей диверсии, а потом с удовольствием осеивал на базе, бороздя на лодке по красавице-речке, добывая рыбу и птицу, и в зиму уходил довольным и подготовленным. И даже вот что отмачивал: до снега пройдёт капкашки и взведёт их, чтоб потом только приваду осталось “повешать”. Избушки, особенно речные, у Гурьяна были сделаны с особой любовью, основательно, аккуратно, чтоб самому приятно. И вокруг чистота — ни бумажки, ни банки.

Фёдор же приезжал по снегу и уезжал, понятно, по снегу. По воде заезжал наскоро дров подпилить до комара и особо не прибирался. Летом вокрут всё так и валялось — банки, которые собаки растаскивали, соболины тушки. Могла и крыша подтечь. Вся надежда у таких, как Фёдор, на снег да холод — снег присыплет, проложит, холод скует, и всё наладит, заштукатурит, как клей могучий. Мудро знать такую спасительную силу зимы — никаких тебе дождей, только крепость и строй. И зачем навес перед избушкой доской внахлест крыть? Жердей накидал, а снег щели присыпал, залатал — и после хоть завали, на полу ни снежинки. Остальные братья за что ни возьмутся — всё равно дотошно делают, а этот взвешивает затраты, на сорта делит. Что-то обязательно надо, а что-то так, малым дефектом можно пустить.

Этой осенью Фёдор заехал по обыкновению по первой пороше — главное было из деревни выбраться по шевякам — комьям и гребням грязи, в тепло размешанной тракторами и бетонно проколевшей на морозе. По тайге же одолеть требовалось первые километров шестьдесят — дальше шёл подъём в плоскогорье, на лбу которого садились снеговые заряды, летящие с юго-запада, и снега было — хоть боком катись.

Поначалу сезоншко неплохо пошёл. Фёдор приехал в первую избушку вусмерть уханьканным. Лесин нападало по его дороге, пропиленной в ширину снегохода. Брат-то Гурьян свою паданку с осени пропилил. А Фёдор с грузом, с деревни — ещё не втянувшийся в таёжную лямку, упрел. То и дело слезал, бродил с пилой, раскидывал кряжики. А главное, снега-то немного и прошлогодние пеньки торчат и сильно брыкаются в снегоходную гусеницу. Пружина натяжная мощная стоит, и снегоход переворачивается, выбрасывая седока. И крути его вагой, отцепляй сани, отвязывай выюк на багажнике — а тот широкий, перевешивает.

В общем, приехал в первую избушку. Дверь открыта, как и оставлял, чтоб изба не прела. По воду сходил в бочажину, раздолбил — вода жёлтая, как заварка. Собака Пестря рядом, у входа лижется. Печка щёлкает, из поддувала ответ рыжий дрожит. Чайник бурлит. Фёдор напился до семи потов и лежит на нарах. Вдруг слышит — кто-то “шебарчит” под нарами, а потом и заворачал: будто через равные промежутки времени сипло выдыхают — такая одышка пунктирная.

Соболь залез в избушку и даже пожил в ней какое-то время, видать мышей много в ней. А выбежать не отважился — собака за дверью. Фёдор добыл соболя, обрадовался, увидел знак. В тайге кругом знаки видятся.

Соболёк оказался не совсем выходной, *подпаль*, мездра на хвосте синяя. (Мездра — это подкожная плёнка, а в обиходе — шкурная кожа с изнанки. У выходного зверька мездра пергаментно белая). И по рации бубнёт: соболю вроде пошёл, но невыходной. И обсуждение: “Останется — не останется”. Выходной — значит сменивший мех на зимний, ценный.

У Фёдора на участке соболя не остался. С собакой Федя поохотился, кое-сколько добыл, но не густо, теперь надежда на ловушки. В ловушки соболя

не идёт, корма полно: шиповник, рябина обливная, мышь задавной. (Хоть в фактуру заноси: “Мышь задавной, среднеупитанный”.) “Погоде-е-е, — умудрённо-угрожающе говорил Фёдор обычные в таких случаях слова: — Снег оглубет, морозяки прижмут. Как миленький полезешь”.

Но не лезет. А Фёдор и так не любитель таёжного затвора, когда сам с собой на беседе, а тут и вовсе захандрил. Представлял поселковую жизнь, в миг ставшую желанной. Но не к жене, к сыну прижаться, — он этого не заслужил, а просто — в обстановку, когда не надо один на один с собой быть.

Хотя действительно, обидно, когда столь сил на насторожку. А он и капканов доставил. Как раз морозцы поджали, Фёдор жердушки в зимовьё готовил — палку размером с полешко выстрогает, цепочку прикрутит, капкан. Даже гвоздь наживит. Пробьёт, чтоб показался. Потом в багажник снегохода — и по путику. Остановился у дерева. Затесал плоскость. Древесина мёрзлая. Затёска рыжая, со слоями, как на стерляжьей тушке грань, от которой пласт строганины отвалили. Только как стекло твёрдая. Топор не цепляется, норовит скользом, со звоном пройти. Ещё и боковиной лезвия шлёпнуть досадно. Но затесал, и аккуратно, точным ударом топорика прибил жердушку. Бывает гвоздь загнётся, по витым окаменевшим слоям косо пойдёт. Сопя, выправит и снова забьёт.

А не ловится соболь, да и мало его. Обычно Федя не особо к молитве обращался, а тут зачистил, идёт по путику и перед каждым капканом “Отче наш”. Приближается к капкану — шорк-шорк на камусных лыжах, — и сердце колотится: вот бы из-за залеplенных снегом стволов появился висящий соболь с рыжим горлом, бурый с переливом по краю — такого заповедного цвета, что аж до нутра прострелит. Похожий на бутылку — лапа, за которую попал и на которой висит — как горлышко. меховая бутылка. Так вот “Отче наш” — и пусто. “Отче наш” и пусто. А бывает выворотень чёрный горелый вертикальным отростком корня обманет. Прошьёт неуправляемо, хоть и знаешь, что здесь нет капкана. И снова шорк-шорк. “Отче наш”. Жердушка прибитая. На стесанном конце стоит капкан прозраченько, напросвет плоско. И привада висит. Чуть качается. Хоть и ветра нет. Зато как радостно, когда помолился, и тут же выплыл из-за заснеженных стволов висящий соболь! Выходит, радовался тайге, только когда ловилось. Тогда и даль озарялась — и контраст между голой омертвевшей тайгой без добычи и далью, кричащей от радости, — был огромен. До ненависти.

У других: у кого слабо, у кого неплохо. Эфир напряжённый, аж звенит. Речь у всех до предела взвешена, годами отточена. Тех, у кого сносно, аж распирает, но сдерживаются, чтобы не слишком самодовольно выглядеть. А у кого плохо, особенно матёрые, стараются, не теряя престижу, сказать так, чтоб всё равно в свою пользу повернуть. Опыт, настой перелить в способность оценить картину. Или того лучше — предсказать. Так, с прохладцей говорят, будто не о себе лично, а вообще: “Слабая нынче охота”. Мол, лучше сам оценю и своей манерой, тоном — гордости не уроню.

Для Фёдора сиденье на рации превращалось в муку. Изводясь, ждёт, кто что скажет, даже “Отче наш” читает, чтоб “Перевальный” крикнул “Скальному”: “Да вообще пусто!” или “Да хрен забил он на капканы! Подбежит, покрутится, ещё и кучу навалит, хе-хе. Не-е-е, мужики с такой охотой я не знаю... С тем же успехом в деревне на диване лежал бы. Да там хоть баба под боком”.

— Перевальный Стариковой Курье!

— На связи, Скальный!

— Ну чо там у тебя? Есть подвижки?

— Да чо-то вроде зашевелилось. Но. — Перевальный сыто причавкнул чем-то вкусным. — Не знаю, как дальше, конечно. Но чо-то есть. Чавк.

— Ну сколь снял?

Тот, помолчав, солидно:

— Ну с двух путиков семь штук. Чавк-чавк.

— Кудряво живёшь. Для этого года это даже... я тебе скажу. Я-то вообще со ста двадцати ловушек два штуки. Главное, обе самочки седьмой цвет.

— А где там Ерачимо? Ерачимо! Чавк! Ты чо там — примёрз что ли?

Отзываться неохота. Рассказывать нечего.

— Да на связи. На связи я, Перевальный, — постно-бесцветно отвечает Фёдор.

— Чо, как там у тебя на пушном фронте?

— Да глухо, восьмой день пошёл, я уж забыл как соболя обдирать. — Федя отвечал тоном, не то что обиженным, но каким говорят, когда несправедливость. Мол, не трогайте, не бередите. Не хочу. Но без жалкой ноты, а наоборот — в своей правоте. Смотрите, как чувствую, вижу наскрозь план этот подлый. Главное, не уронить достоинства, сохранить, перенести в область прозорливости, и в ней утвердиться, взять своё, невозмутимое. Показать способность не удивляться, словно главный промысел — добыть эту жизненную жёсткую правду, упредить, слившись с ней, раньше, чем она заест, погубит. Хотя всё равно заедала, но хоть не на людях.

Пестря вдруг стал раздражать. Побежал тут по следу соболя, и спустя час раздался лай, да такой громкий, с заливом, что Фёдор побежал как мальчишка и обнаружил картину: склон увала, спускающийся к тундрочке, на открытом месте (отсюда и доносившийся лай) сидит под кривой наклонной кедрой Пестря и лает на глухаря. Называется, “скололся” со следа на менее ценную добычу. Такая досада, что пнул с ненавистью кобеля.

— Да нет никово. Бесполезно. Глухаря, правда, добыл. Аж синий, старый...

Начал на всё грешить. Спрашивают, как птица. Ответает: “Да есть птица, есть. Только худая”. Спросят, как техника: “Да так-то тыфу-тыфу, только жрёт, как слон”.

Пушины нет — занятия нет. Вечер. Ни сна, ни дрёмы. Эфир только гудел, но вот все незаметно поутихли, перепрощались, сонно и успокоенно. Тишина, только фон идёт, тикает мерной капелью. Было наладится сон — но чуток не добрал слоя, одна мыслишка проскочила, и тут весь рой ожил, какой тут сон! А спать надо — невыспатым не работа. Сколь там до подъёма? Четыре часа, три с половиной, уже три... Катастрофически на убыль идёт время отдыха, и чем больше думаешь, как уснуть, тем громче бодрость и нервы как лесины на ветру гудят. И книг как назло на базе мало. Божественного не брал с собой, и был всего один журнал “Охота и охотничье хозяйство”. Он его раз двадцать прочитал, особенно литературные страницы, и уже наизусть выучил, хоть и сказками отдавали многие заметки.

Так и лежал. Мысли разные приходили, и Фёдор, бывало, держась на грани сна, направлял, натравливал их на интересное, развлекательное, и они подхватывали, увлекали и он худо-бедно засыпал. Какой охотник не представлял, как обращался в собаку, взявшую след?! И объединив в одном существе и знания, и собачьи нюх и способность нестись по тайге без усталости, в минуты одолев версту, не оказывался у добычи?! Оставалось только выбраться из собачьей шкуры с оружием и добыть соболя.

“Мне бы, да с моими мозгами, — развивал по рации знаменитый балагур “Сопка 66” по кличке “Топоришше”, — такой бы нюх и ноги, я бы пять планов бы делал!” И Федя, лёжа в тревожной полудрёме, представлял, как превратился бы в Пестрю, и всю науськивал воображение, чтоб взяло след и увело в самую чащобу сна. Интересней всего, когда нить уже подхвачена кем-то таинственным, а он земным краем сознания ещё отдаёт отчёт в происходящем! Момент потери управления начинался сонной бредятиной, голосами, будто кто-то переговаривался, но если слишком в упор это отметить, то всё срывалось, и Федя шёл на новый заход. Чем больше было таких погружений-всплываний, тем насыщенней казалось пребывание на нарах и тем сильнее была их сила, которая росла, казалось, чем хуже шла добыча.

Обращение в Пестрю не всегда сулило награду — раз соболинный след вывел на прогалину, где громоздилось страшное заснеженное сооружение. Это была мёртвая буровая. Примерно на половине вышки на перекладине сидел здоровенный тёмный соболина. Фёдор выстрелил в него из “тозовки”, и в этот момент, стрясая снег, заскрежетала промёрзшая громадина, и постепенно набирая ход — железу нагреться надо — ломанулась за Фёдором. Он вроде бы начал уходить, и разрыв был хорошим, но лишь страшней

становилось далёкая лязгающая поступь, потому что точно знал, что догонит. Перед ней и деревья расступались. Просыпался медленно, сам себя вытаскивая — так же раздваиваясь, как при погружении в сон, и убеждая, что всё неправда, мол, не оглядывайся, и всплывай, всплывай. Но даже и такие кошмары не отваживали от нар и лишь укрепляли привязку, набивали дорогу, и она крепла, ужала, берясь пережитым, как стужей.

Фёдор вставал поздно. Пестря, слышав завозившегося хозяина, нетерпеливо топтал лапами на убитой площадке перед избушкой. Пошевелится Федя — и Пестря затопает крепкими лапами. Задрёт — и слушает — что хозяин? Обувается. Пошевелился — и снова дробь лап нетерпеливая. И топоток, и подскуливание. И то, что кобель полностью прав, работы ждёт — только раздражало. Пестря вообще раздражал — своей простодырьностью, слепой верностью. Тупостью: сидит и лает соболя, а где хозяин, плевать — добредёт ли, нет. По сравнению с псом образ соболя был Фёдору ближе: неутомимый рыскун, без глупостей живёт, лишнего не делает, как собака не привередничает, морду не воротит, всё метёт — и рябину, и шиповник, и мыша, и белку, и на рыбу даже идёт, а летом и козявку замесит, тут к бабке не ходи. Так что ещё подумать надо, ха-хе, в чьей шкуре-то грамотней...

Так и жил не в радость. Мнительность появилась: в другую избушку пойдёт, и начинает казаться, что забыл воду вылить из ведра. Или что уголёк выпадет из поддувала печки и спалит зимовьё. Ворочается. Лопату в руки и снегом засыпает вокруг печки. На другой день пойдёт — и не помнит, присыпал или нет. И конечно кажется, не присыпал. “Опять не ладно”. Понятно, что можно без конца подозревать себя в забывчивости и дойти до сумасшествия.

Стал даже будто болеть, недомогать, и пуще стремился из тайги на нары, которые всё больше манили. Он их *належал*. Однажды сильно приболел в избушке деревенский хворый их мужик. Мужика родственники вывезли, а Фёдора попросили: поедешь мимо — заberi радиостанцию. Заехал. Избушка маленькая и тесная, в половину нары. На стене ковёр с оленями. А на нарах — спальный мешок, фуфайка, тряпки, обёртки от таблеток, которыми завален и стол. Всё на нарах до такой степени спрессовано, налѐжено, что напоминало звериное логово. Вот что-то подобное, только без обёрток, и у Фёдора належалось.

Фёдор ещё нашёл лёжку соболя — в листвении прикорневое дупло. Разрубил и увидел постель: гнилушки, травка, мышинные шкурки. И всё перепрелое и до такой степени потусторонне-звериное и тоже налѐженное, что как в чужую тайну заглянул.

Вообще в тайге много тайн вылезало. В деревнях и особенно городах семейное, личное скрыто наглухо от глаз и ушей. Кто и чем живёт рядом, как звать кого? Одному Богу известно. А на охоте есть радиостанция, и огромная местность так говорит голосами, что у каждого в голове целая карта характеров с подложкой из рек и гор. На топоснове люди-голоса — каждый со своей манерой, повадкой, особенностью — словечками, откашливанием. Из каждого голоса, высокого ли низкого, напористого или варѐного, целый портрет многолетний. Кто-то, ни разу не виданный, с женой заговорил, и тайное, семейное, зазвучало на весь свет. “Слышь, мужики, вы помолчите маленько, щас Старикова Курья с домом разговаривать будет”. Притихают, а сами на подслухе. Старикова Курья, басовитый мужик, который всегда на связи и общепризнанно “на под-вид диспетчера”, всегда знает погоду и всё всем передаст. Если дело днём, и почти все мужики на путиках, Курья всё равно ощущает зал и говорит с поправкой. В таких разговорах никакой лирики, и даже наоборот — и показное бывает. Жена высоким, певучим голосом старается тёплое избяное пролить на всю округу, и голос как распада тянется по стуже: “Слушай, а Алѐнка сегодня как заплачет, папа, папа”. А папа на ветру на вершине сопки, и не хочет, чтоб слова эти простыли, и только отвечает басовито и всё-таки с улыбкой: “Ну понятно, понятно”, мол, ладно, ладно, не выстужай избу, закрой двери-то.

Считается, что семья помогает в невзгодах, но Фёдора, когда *лежал* — неудачи только отделяли. В тайге его будоражило единственное: вокруг

столько дармового, неучтённого, волшебного живого, что можно пустить в свою пользу, продать или обратить в закуску и раздарить нужным людям. И что он — без свидетелей с этими драгоценностями, и в этом особая тайна, личная, притворная и ничуть не менее интересная, чем семейная. И свои счёты-расчёты, что можно превратить столько-то оленей, соболей или рыбин в снегоход или лодку. Или машину. И довершалось это умением не только добыть, а ещё и пристроить. Это и давало азарт, и становилось целью, и нарастало самолюбием, что поди руки-то из места растут, и добыть умеем, и договориться, и отношения выстроить с миром, пусть грешным, но нужным. И вообще мы мужики крепкие, у нас и дома всё крепко, так что перед людьми не стыдно. И жена — тоже часть крепости, хозяйства, завода. Со своими конечно бабьими немощами-странными, но тут уж “чо поделаешь”. Вон Шектамакан вроде лучший охотник, а бывает, так “евонная” выведет из себя, что фыркает потом неделю, что “никово баба не понимает”.

Фёдору в голову не приходило, что Шектамакан только на людях хорохорился, и целая жизнь шла у него в семействе. Что когда дома, то с женой ездит неразлучно и по сети, по черемшину, по ягоду и не потому, что считает жену куском завода, а потому что она значит не меньше, чем вся тайга вместе взятая. А если и порывивал на неё из избушки, то вовсе по другим причинам. Чтоб не сбивала с колеи, с круга, с таким трудом выстроенного. Потому, что если о жене будешь думать, то с ума сойдёшь и прощай промысел. Поэтому проще подморозить чувство, на лабазок вытащить из зимовья, и понадежней прибрать, чтоб мыши не испортили. Правда, в нелёгкий миг не выдержит охотник, занесёт узелок, оттаит — и такое навалится, хоть, правда, “домой бежи”.

У Фёдора было как? Претило большие чувства вкладывать в семью, и всё домашне-тёплое, сонно-молочное, где он расслаблялся и терял хватку, казалось враждебным работё, чем-то стыдным, говорящим о слабости. Другие-то мужики млели от тепло-молочного, и только на людях гонор разводили, а Фёдор всё принимал за чистую монету и за признак силы, которой самому не хватало. И когда окунался в молочное тайное — стыдно было и жену предавал, будто вечный Шектамакан или Перевальный стоял над ним и следил — настоящий он мужик или нет. А если вдруг жена напортачила в хозяйстве или по связи несуразность вывезла — то краснел от стыда: опозорила.

Анфиса спросила по связи совета, мол, не знаю, что с нетелью делать. Спросила, не умело, стесняясь всех тех, кто слышит, и от этого хуже сбиваясь. И не к месту повторяя: “Как понял, приём”. А Фёдор отрезал: “Ты давай, это, хозяйка, сама решай с нетелью”. А она тогда про Деюшку что-то пролепетала, что он избушку и собачку нарисовал, а Фёдор закруглил, оборвал почти, мол, ну ладно, ладно, хватит тут нежности разводить. “Всё, до связи”.

Им ребёночка только одного Бог дал, сына Дея Фёдоровича. Хороший мальчишка, маме помогает. Со школы придёт, с дровами поможет, по воду съездит на “буране”, правда, ульёт крыльцо всё, да сам и расшибётся. И так изо дня в день. А дни у хозяйки на один похожи, событий-то нет, и вот уже ноябрь и радуйся — если б не постоянное чувство одиночества и забирающего хозяйственного круга, когда одна мысль — не поскользнуться, не вередиться, не заболеть, тем более на вертолёт грипп злостный привезли. Сначала ноги ломит, а потом температура сорок.

Середина ноября... В тайге у охотников целые эпохи сменились, и каждый день, как деревенский месяц по впечатлениям. Влёты и спуски. Сопка на сопке. А тут равнина. И вот выйдет хозяйка поздним вечером на угор — чёрно. Только огромный пятнистый провал до неба — Енисей шугует ледяными полями, грохочет раскатисто и отстранённо. Деревня за спиной, и кажется, ты одна на берегу океана. И даже есть ли дом — неизвестно. Может, привиделся? Может, обернешься, а там ни огонька и одна тайга ледяная? И так жутко, одиноко станет, что хоть плачь. Только молитва и спасает.

Фёдор и в полусонных своих мытарствах по тайге плутал, а не домой возвращался, считая, что незадача с соболями выставит его худым добытчиком.

А что на любовь смелость нужна, тайно понимал, но за это ещё больше в себе улёживался. Недолюбленное так и копилось: и жена, и сын, и тайга зимняя серебряная — уже в союзе состояли, как всё брошенное. И раз о любви-разлуке зашло: не все охотники ширь имели, как Шектамакан, но управлялись и жили, и любовь хоть какая, но теплым шаром перекачывалась из семьи в тайгу и обратно без ущерба для близких и дальних.

А соболя всё не ловились. Однажды Фёдор пошёл на путик особенно поздно и вдобавок в ручей провалился — промыло полынью чуть дальше, чем он думал, и припорошило снежком, а тот не успел позеленеть-пропитаться. В общем, подмочил лыжи: камус сложно очистить от ледяного чехла. Ножом стараешься скоблить. И надо чтоб вода замёрзла — чтоб морозец. А то будешь у лыжи сидеть ждать, пока льдом схватит. Фёдор и ноги подмочил и вернулся в зимовьё. Переделся. Лыжи, чтоб не повело, засунул в жомы, парные палочки, заткнул за специально прибитые брусочки. Включил рацию, и его позвал Лабаз, брат Перевального, которого Перевальный посадил у границы участка “форпошшыком”, ну и чтоб сети ставил. Перевальный — деятельный мужик, не старовёр, но уважаемый всеми, независимо от конфессий, в голове трудового мужика соседи-работники по сортам распределены, и Перевальный у всех в первых. Лабаз был молодой и чудаковатый, к тому же не таёжник — работал в школьной кочегарке. Он никак не мог размочить счёт по соболю. Виноват, правда, сам, сначала тянул, взялся баню рубить, потом бросил... и начал настораживать с опозданием... И вот сегодня у него попал первый соболя.

— Ерачимо! — кричал он, срываясь на фальцет. — Ерачимо Ла́базу! Ерачимо!

“Чо кричать, — раздражённо подумал Фёдор, — видишь не отвечают, и нечего орать”. И ответил негромко и умудрённо-нехотя, будто занят был чем-то важным и особенным:

— Да, Лабаз.

— Ерачимо, слушай... — Лабаза прямо распирало, — слушай, хе-хе... такое дело... Мне твоя помощь нужна... Я тут соболя добыл! Да главное котяра такой. Слушай, прямо не знай, хе-хе. Слушай, а это... в общем... я хрен его знат, как его обдирать! Помоги, слушай. Я честно чо-то это... Хе-хе.

“О-о-о, — подумал Фёдор, — час от часу не легче”.

— Ерачимо-о-о! — проблеял Лабаз. — Ты где потерялся? Слушай, я не думал, что он такой здоровый бывает! Лапти такие! Может, это росомага, хе-хе?!

— Цвет какой? — неестественно равнодушно и с надеждой спросил Фёдор, надеясь, что скажет: семёрка, жёлтый, хоть не так обидно...

— Да слушай! Чо-о-рный! Чо-о-рный, веришь ли, как головешка! И ишшо сседа! Аж с искрой! Вот ведь! И горло, слушай! Горло аж оранжевое, аж горит, знашь, как этот, как апельсин! А я ишшо ворчу. Думаю, не ловится и не ловится! Дак я согласен — пусть сначала не ловится, зато потом такого великана прикутать! Тем более я-то так тут у братухи... Для мебели... А и к доброму охотнику не ко всякому такой запорется! Экземпляр!

— Ну понятно. Мыши-то не постригли?

— Да нет, он в жердушке был! Ещё иду — смотрю чо-то чёрное, аж вздрогнул! Ещё тащил в рюкзаке, лапа за ветки цепляется, думаю не сломать бы!

“Какого же он размера?” — изъедал себя Фёдор.

— Ну ты мне помоги, ага? Прямо говори, чо да как? А то я сижу как дурачок, неохота испортить такого... верзилу!

“Сам ты... верзила!” — подумал Федя и сказал:

— Лабаз, у тебя тряпка есть? И чулок?

— Какой чулок?

— Капроновый чулок. Женский. Или от колготков опорок.

— А чулок зачем?

— А обезжиривать чем будешь?

— Обожди, пошарюся на полке.

Пауза.

— Ерачимо! Нашёл! Степан тут всего назапасал. Братан у меня молодец, ничо не скажешь. А то уж я думаю, сейчас “буран” раздёргаю, и в деревню, ха-ха... в клуб! Там какую-нибудь марамуху из колготок вытрясу, едри её за ногу, хе-хе... А колготки в карман и обратно...

В общем, заставил он Федю, подробно с уточнениями и переспрашиваниями, ободрать по рации соболя, да еще при каждом действии в красках комментировал свой восторг по всем поводам: какая у него мездра, “сколь жира в пахах — аж гирлянды, хоть на ёлку вешай”, и какие у него красивые лапы, подушки, хвост, спинка, уши и всё остальное. Чуть не усы: лучшие в крае. После обдирки соболя он так изнервничал, что решил “пружануть бражонки”, причём с полной серьёзностью спросил Федю, “будет” ли он. И разочарованно-облегченно сказал: “Ну а я пригублю”.

— Ты соболя-то напаль хотя бы.

На что тот сказал:

— Обожди, мне напряжение надо снять.

“Ведь сейчас надрызгается, забудет и спарит соболя”.

Эфир наполнялся гомоном, постепенно заглушая голос Лабаза, который уже кому-то другому втирал восторженно про “экземпляр”, про такого “котяру, что загляденье!” и про его неимоверные стати, согласно которым он должен был давно превратиться в Золотого соболя из сказки. И про свои резкие планы расширения промысла. Он то замолкал, то вступал всё более восторженно и путано. Паузы увеличивались, а перед тем как окончательно заглохнуть, он прокричал, какой “басявый” у него денёк сегодня, что грех не отпраздновать, и что завтра встанет “в шесть, нет в пять” и пойдёт “дуплинчек подпилит”.

“Сам ты дуплинчик! Чтوب тебя в дуплю засунуло. Экземпляр!” — только и подумал Федя, выключил лампу и в который раз взялся за “литературные страницы”.

3. ЖЕРДУШКА

Проснулся он в темноте от двух голосов. Говорили очень громко и будто бы рядом или неподалёку. Голоса были высокие, как детские.

— Тихо ты! Проснулся, кажется.

— Да ты чо!

— Ну вот ворочается.

— Чо он сюда припёрся опять? Жили же спокойно.

Подул ветерок, и очень отчётливо скрипнула кедрá о наклонную сухую ёлку. Фёдор пробно пошевелил передними лапами, вытянул их, чувствуя силу и необыкновенную, мягкую их натяжку. Не хрустнул ни суставчик. Потянулся, ощутив отдохнувшее тело, зуднувшее накопленными силами:

— Крупный кот. Ничего не скажешь. — подумал он так же уверенно, так же невозмутимо, как про соболей, не желающих ловиться. Мол, кого-кого, а его-то на мякине не проведёшь, он такой наторелый, что чуть не заранее всё видит. И такое предвидел. Сытое это чувство в нём необыкновенно усилилось и обострилось.

— Потянулся! — пискнули снаружи мыши, точнее полёвки (охотники зовут мышевидных скопом “мышом”, без различия по толкам). Мыши сидели в соседнем кедровом дупле — почти половина кедрин понизу дупловатые.

— Ничо так утречко! — крэкнула кедровка. Федя теперь очень хорошо всё слышал, причём не столько громко, сколько обильно, остро и так, что каждый звук был как утренний месяц — отдельным и тонковрезанным.

— Ну чо нажидать? Лежи не лежи, а на путик-то надо.

И он аккуратно выбрался из дула. Осязание, обоняние, слух, зрение, вкус — всё усилилось и заострилось, как лезвие. Добавилась какая-то новая острота участия и стремительность, единство решения и действия, помысла и движения. Позыв прыгнуть, повернуть голову приходил сразу по всему телу, а не как раньше. Сначала мысль: “А пойду-ка я спёрва простучу лёд топориком”, а потом уже решение: “А теперь ступлю. Ногой”. Нет — теперь

всё шло быстро и ладно. Но была и важная разница. Раньше Федя, о чём-то думая, хватал краем ещё десяток соображений, и было ощущение обзора запаса, хранящегося в голове. А теперь мысли-то оставались прежние, но в его небольшой остроморденькой головёнке помещалась одновременно всегда только одна мысль. Среднего калибра. Остальные были будто в запасе: не то в лапы залиты, не то в дупле лежали, не то рядом ли бежали. Непонятно.

Меняться они могли быстро, но не входили в спор, и была исключена возможность обсуждать с самим собой этот случившийся замес человеческого и звериного. Царящая мысль была в монолит слита со стремительным, красивым и здоровенным котярой, тёмным с сединой и со светящимся оранжевым горлом.

Выскочив из дупла и услышав, как ширкнули в корни мыши, он, мгновенно внедряясь в обстановку, трепещущую звуками и запахами, побежал к своему путику. За ночь округу засыпало свежим снегом, будто в подтверждение, что новая книга открыта.

По дороге он попытался подбежать к рябчиной лунке, но рябчик ракетно вылетел, и тотчас с полянки оглушительно поднялся весь выводок и расселся по ёлкам. Запах он чувствовал, но рябчики исчезли. Они были как короткие мысли, которых не надо додумывать — затаилась и ладно. У Федя и раньше случалось, подлетит соображение, и то одним боком повернётся, то другим, и думается: ты бы не вертелось, не путало. А оно пуще вертится, перья топырит, хохолок, и на него ещё всякие подлетают, спорят, морочат. Беспокойство одно. Лучше бы тихо сидели.

Федя выбежал на путик, протоптанный снегоходом. Прямоугольная канавка была плавно обведена свежим пухляком. Федя оказывался теперь в её низу и края канавы видел из-под низу. Снег был настолько пухлым, настолько свежесозданным, и такого крупного помола, точнее поморозки — что состоял из синеватых игл, перекрещенных необыкновенно просторно и воздушно. Иглы были то мохнатые, то гранёные.

— Так... Крючок, крючок... — Федя подбежал к капкану, посмотрел по сторонам. — Надо сухой, хотя неизвестно ещё, как лучше... Таскать этот дырн по путику? Ещё и кедровки просмеют. А с другой стороны, каждый раз палку искать...

Запусканьем капканов называется их рассторожка, *захлапывание*, как иные говорят. Фёдор-охотник запускал специальным железным крючком, похожим на плоский костыль. Костыль был вделан в расселину на черенке деревянной лопатки. Такая лопатка имеет длинный черен и используется как посох. Лопасть её изогнута, как ложка, чтоб удерживать снег.

Теперь предстояло приспособить подобие. Федя нашёл сухонькую пепельно-серую еловую палочку, взял в зубы, и подойдя к капкану, стоящему в дуплянке, аккуратно тыкнул палочкой в тарелку. Капкан сработал так оглушительно и резко, что Федя подпрыгнул. Но потом спокойно, мордочкой к лесу, съел приваду — кусок рябчиной спинки. Потом пробежал к следующей дуплянке, подобрал еловую палочку и снова запустил капкан, и съел отличную глухариную шейку с чёрным перышком. Пробежал дальше, обойдя кулёмку: безопасность прежде всего — только капканы на земле и в дуплянке, никаких кулёмок и жердушек: слишком сложны в запуске. Четвёртой ловушкой был капкан на земле в основании кедра. В загородке из жердей и с пихтовой крышей. В глубине за капканом лежал объеденный до косточки кусок глухарятины в точках мышиного помёта. В корнях жили мыши. Федя уже сбил первый голод и брезгливо пропустил ловушку. Зато в следующей дуплянке ждал кусок глухариной грудины с отличным пластом белого мяса.

Федя потрусил дальше, слыша переговоры синиц по поводу его занятия и пуская мимо: всех слушать — уши опухнут. А они нам пригодятся. Вдруг... на дорогу выбежал соболиный след. Федя как вкопанный замер. “А ты ещё кто такой?!” След был ночной, небольшой. Самочка. Он попрыгал по следу — изгибаясь по-соболиному — складываясь как варежка. Раздражение и возмущение сменилось расположением: пах след чудно, очень милой и аккуратной показалась сама побежечка... Федя встрепенулся и напряжился —

впереди раздавалось позвякивание капкана, живое биение, сухая поскрёбка коготков по дереву. Он побежал и увидел в жердушке, прибитой к рыжей зарубке на кедре, соболюшку. С капканом на передней лапке она сидела на кончике жерди.

— Соболя, миленький, выпусти! Пожа-луй-ст-а-а-а! — залилась плачем соболюшка. — Придумай что-нибудь, пропадаю! — и Федя, настроившийся ревниво и поучительно, аж мордочкой дёрнул от досады: “Вот угораздило!”

— Да погоди, не верещи, тихо сиди, не хватало ещё, Пестря учует. Тогда уж точно пропадешь. — заворчал Федя, не представляя, как разжать пружину, плоский ласточкин хвост. — И как тебя угораздило?! Не видишь — железо! Лапка ты...

“Хуже некуда. И жалко, смотри какая приглядная. Ну как сделать-то? Как? Кедрина если б упала на пружину... Да куда там! Если б ещё на полу капкан был. А тут на весу. Упереть некуда”.

— Ой пропаду, моя! Мороз даванёт и прощай! — не унималась Лапка. — Ты же такой большой, красивый, ну придумай что-нибудь-у-у-удь! Пусть я тебе на поругу, но и в воле твоей!

И она, дёрнувшись, сорвалась с жердушки и, брэнча цепочкой, забилась на весу, закручиваясь, складываясь и пытаясь сама по себе залезть.

— Да успокойся ты, вздохни! Сиди тихо, а то уйду. Тихо сиди! Не рыпайся.

— Всё-всё-всё, моя. Сижу. Сижу. Только не убегай.

— Вот и сиди. И так полтайги взбаламутила.

Неподалёку стояла пихтовая сушина, квадратно по волокнам издырявленная. На ней сидели два трёхпалых дятла. И, видно на суматоху, шёлково-шумно подлетел и подлип к пихтё Желна. Здоровенный чёрный дятел с красной головой.

“Доверещалась. И без твоего цокота тошно. Чо делать, ума не приложу. Совсем уж глупость... А и глупость придумаешь, когда выхода нет. Какого-нибудь волка выпепить, чтоб капкан зубами разжал... Да н-но. Тот в жизни не притронется к железу! Чо смеяться? И вообще тип мутный. Связываться с такими...”

— Ну, что? Что? Ты придумал? Может, волка? — пискнула Лапка.

— Да какого волка?! — раздражённо прищипнул Федя. — Я вот думаю... — он задумчиво оглядывал тайгу: — Я вот думаю... вот если вот олень... Они и ребята нормальные, ну и найти проще, где-нибудь на тундре шарятся. А главное, тут хоть понятно, как действовать.

— Но, — сказал Первый трёхпалый дятел. — Так-то... можно попробовать.

Все три дятла уже подлетели поближе и сели на обломыш ещё одной сушины. Феде даже показалось, будто они воткнули свои клювы в деревину, как ломы или лопаты, и те остались словно насадки какие-то. А сами чуть не облокотясь на них, судачат:

— Да ково пробовать? Где олень однёрку одавит?! — фыркнул Второй Трёхпал. — Чо собирать-то?

Лапка попала в капкан первого номера. Вкруг этого зашёл и спор.

— Смотри какой олень, — парировал Первый Трёхпал, понимая, что прокосячился.

— Да хоть какой — бесполезно.

— Ну коне-е-ечно, — передразнил Первый, поёживаясь, и забил — как клювом: — Спокойно одавит однёрку.

— Да в жись не одавит. — Второй даже хрюкнул и весело оглядел присутствующих, качая головой, мол, видали упёртого.

— Ну двух тогда ставь! — гневно крикнул Первый. — От промблема-то, едрим-ть.

— Да ково двух? Будут задами толкаться. Ещё и соболя стопчут.

Тут Желна, очень веско и медленно, откашлялся и с паузами отмерял:

— Олень никогда не одавит однёрку. Нолёвку куда ни шло. Ещё какая пружина. А однёрку... ни в жись. — И презрительно замолк.

— Да я чо и говорю, — сказал Второй Трёхпал. — Нолёвку да, согласен. А всё что больше — только сохатый.

— Мужики, — снова вступил Желна, будто не слыша и не признавая, что про лося застолбил Второй Трёхпал. — Не пойму я вас, чо вы хреновиной занимаетесь. Сюда на-а сохатого, бычару сытого. Тот одавит. А так бесполезно. Ладно, я полетел.

— Да погоди, полетел, — возмутился Федя. — Там вот край тундры след был вроде свежий. Слетай глянь — может, там он.

— А мне это на-а? — презрительно сказал Желна. — Сопли с вами морозить.

— Слышь ты, долбень, — вышел из себя Федя, — ты языком своим липучим можешь хоть сколь молотить, а я те дело говорю: будь другом, слетай. А я тебе помогу, глядишь.

— Да чем ты мне таким поможешь? — кобенясь, затанул Желна.

— Ой, невозможно, мужики! — закричала Соболюшка. — С вами точно заколеешь, пока договоритесь! Ой, пропадаю! Спасите-помогите-замерзание!

— Она дело говорит. Совесть-то поймите. Я тебе расска... — он снова обратился к Желне, но Второй не выдержал:

— Да давай я сгоняю. Этот вечно... — кивнул на Желну, — только языком...

— Мурашей стращать, — поддакнул Первый.

— Сгоняй, а я тебя научу, как, например, в ловушки не попадать. А то я знаю, вашего брата сильно много в кулёмках гибнет.

— Да лан, разберёмся, — крикнул Второй и улетел.

Миновал через десять он вернулся и сказал, что в осиннике стоит сохатый, “здоровенный бычара, рога, как лопаты, ещё и фырчит”.

— Сиди, — сказал Федя Лапке. — Щас всё сделаем. Главное, не дрыгайся — лапу загубишь. — и побежал, слыша удаляющийся разговор:

— Олень никогда не возьмёт “однёрку”...

— Да ба-рость ты. От у нас в запрошлом году...

Желна никуда и не двинулся.

А Федя увидел картину. Здоровенный сохатый стоял и, несмотря на мороз, лызгал упавшую осину. Аккуратные свежие бороздки украшали оливковый бок. Рога Сохатого были великолены, в пупырышках, жёлтые в лопате и буро опалённые с боков на отростках.

— День добрый, хозяин! — солидно сказал Фёдор совсем из-под низу.

— Смотри как обрабатываю, — не поворачивая головы, ответил Сохатый откуда-то сверху. Потом отошёл и посмотрел на расстоянии. Тёмно-коричневый, он весь колыхался, ходя ходуном, поднимая длиннющие белые ноги, словно они были на верёвках — штанги какие-то, враз и не переставишь.

— Нормально. Слушай, помоги тут, а я тебе расскажу, где соль взять.

— Я все-гда го-во-рю, х-хэ, — очень неторопливо и веско говорил Лосяра с придыханием. — Что всё дело в инструменте, х-хэ. Если путный инструмент — и он снова полоснул кору, — то что мороз, что не мороз. Один леший.

“С таким мастером она точно загнётся”, — подумал Федя:

— Помоги, а? Здесь рядом. И делов на пять минут. А я тебя научу, как под пулю не попасть. Капитально научу.

— И как? — сказал Сохатый с воспитывающей интонацией. С придыханием, с рабочим кряхтением он перебрёл через ствол, не спуская с него глаз: — Под пулю не попасть?

— Да расскажу всё. Слово. Только сначала надо освободить соболюшку одну.

— Откуда освободить?

— Из капкана.

— О-о-о-о! — затанул вдруг Сохатый неожиданно категорично и зачас-тил очень нудно: — Не-не-не! Не-не-не! Даже-даже...

— Да чо ты испугался?

— Да к чему мне неприятности эти?! Капканы чужие тем более... Не-не. — И он отвернулся, помолчал и, продолжая сопеть, сказал прежним тоном: — Ты давай-ка стрельни оттудова... Ровно ли бороздка легла?

— Да мои капканы! — выпалил Федя. — Мои! Погнали!

— Той-той-той... — вдруг с невыносимой уже основательностью остановил Федю Сохатый. — Какие такие твои? — допросно попер, не отрываясь от осинового бока: — Ты кто такой?

— Я Фёдор... — “И зачем я ему рассказываю!” — в отчаянии думал Федя. Но чутьё говорило, что тянуть нельзя.

— Той-той. Той... — замер Сохатый, вперяся в осину.

— От те и “той”. Хотя голодный, хоть сытой. Я — Фёдор. Да! Я превратился в соболя, — выпалил он, краем глаза и ушами исследуя, слышит ли кто его слова. Наверняка какая-нибудь кедровка притихла и замирает от восторга и предвкушения...

— Той-той-той, — еще раз обойдя осину и ещё внимательнее вперяся ей в бок, сказал Сохатый. — Смэ как ровненько. Лыска должна быть ровно восемь миллиметров. Тогда такую осину хоть куда... Ну-ка стрельни. Давай-ка отскачи туда... Я вообще люблю, когда всё по пути.

— Да какие миллиметры, там Чёрная Лапка гибнет! — крикнул Федя (“Отскачи ещё!”) и добавил отчётливо: — Ты можешь туда подойти и на эту пружину наступить? Я с тобой рассчитаюсь.

— Той-той-той... Значит, как под пулю не попасть. Да? — совсем замедлил речь Лосяра. — А мне на кой, если Хвёдора-то нет теперь! Ну? Мне чо его пули-то? — И вдруг посмотрел на соболя и зычнейше фыркнул: — А?! — да так, что Федя подскочил. Лось был огромен и нависал, как буровая, на бесконечных своих ногах.

— Я тебе расскажу, как мой брат Гурьян ходит, как его собака работает, и где стоять лучше — куда он вообще не ходит. Вообще! И про Перевального. И скажу даже, когда он весной на участок ездит.

— Той-той-той. Давай так. Превратился в соболя, да? А он где тогда? Соболя? Где он есть? А? — снова рывкнул Сохатый. — Соболя был? Был. А теперь ты вместо него. Ты его что — из шкуры выжил? Х-хе... Я чо — не понимаю? Значит, он где-то бегать должен? Без шубы. Так? Или, может, его спецом под тебя сделали? Соболя? — и успокоенно подытожил, пристально пялясь в новую риску, — ...вот это меня волнует. Я люблю, чтоб всё идеально было. Смотри, какой бок!

— Да леший его разберёт! С шубой, без шубы! — кричал уже Федя. — Давай потом. Давай ты освободишь Чёрную Лапку. А там поговорим.

— Да не вопрос. — сказал Лось, и Федя с облегчением вздохнул, а Лось добавил:

— Только сейчас мне с осиной разобраться надо. Давай после обеда. Завтра.

— Какой после обеда!!! Она погибнет же!

— Той-той-той, — снова затянул Лосяра отсутствующе и совсем приблизившись к осине.

— Кстати, у тебя рога отличные, — уже от безысходности бросил закидушку Федя.

Лось самодовольно хмыкнул. Мол, ясно-понятно. А Федя спросил честнейше:

— А ты пробовал ими жердушки отрывать?

— Жердушки? — вдруг неожиданно быстро сказал Сохатый и впервые взглянул на Федю.

— Жердушки. Там же капкан на жердушке, его же на пол надо спустить. Лосяра застыл.

— Надо попробовать, ты же не пробовал. Там, кстати, осины вкусней.

Вдруг Сохатый очень медленно зашевелился и, постепенно наращивая скорость шевеления и перестановки своих ходулин, побрёл в сторону Лапки.

Когда пришли, Лапка сидела комочком, онемев от отчаяния. Первый Трёхпал подлетел к Феде и сказал:

— Мы тут скумекали: ведь ещё и жердушку отдирать надо.

“Вот дятел и есть дятел”, — подумал Федя:

— Давай, работаем! Лося, смотри Лапку не прищими. А то знаем тебя... Щас, Лап.

А про себя подумал: “Орясина осиновая”.

Дятлы снова подлетели:

— Интересно, возьмёт с первого раза? — вякнул Первый.

— Бесполезно, — сказал Желна. — А если и возьмёт, то гвоздь останется...

— А те чо гвоздь? — бросил Второй.

Сохатый замедленно перетёк к жердущке, некоторое время подлаживался рогом, искал угол, упор, и потом как-то неожиданно и быстро рванул так, что она мгновенно отлетела, — только гвоздь скрипнул отрывисто и заскоружло-морозно.

— О, нормально! — обрадовался Лось и мотнул головой: — Ещё скрипит ково-то!

— Ну всё! Вставай сюда! — крикнул Федя, но Лось уже говорил:

— Теперь крышу, обожди.

Над жердущкой была прибита на тонкий гвоздь рогулька. На ней лежала берестина, завившаяся и обхватившая с двух сторон отростки рогульки. Крыша защищала капкан от снега.

— Да какую крышу? — вкричал Федя.

— Не-е-е, — говорил мечтательно Лось, — хороший инструмент это полдела. — мастерство, конечно, тоже... Ну. Какая рогулька крепче? — отрывисто сказал Лось (намекая на свои рога) и, оглядев присутствующих, сломал пополам рогульку. Одна половинка, одинарная, осталась на гвозде.

Дятлы прыснули со смеху. Лось стал её отковыривать. Соболюшка сидела комочком, засыпая и клонясь набок. Лось отколупнул остаток рогульки и сказал:

— Не ребят, не знаю, как вы без рог живёте... — и вдруг бодро спросил: — Следующая далёко? — и сделал движение по путику.

— Той-той-той! — закричал Федя. — Какая следующая?! Сюда иди!

Еле уговорили, можно сказать подвели, установили, будто это была сложнейшая конструкция, буровая какая-то...

— Так, а ты тут откуда? — вдруг заметил он Лапку. — Не знал, что они в сборе идут...

— Дэвэй, дэвэй! — раздражённо частил Федя. — Вставай сюда!

Лось наконец встал, куда надо, но его морда оказалась напротив небольшой рябинки, и он принялся её заламывать зубами:

— Конечно, не осина, но смотри, как надо....

— Убийство! Можешь сюда наступить?

— А?

Требовалось стать задним правым копытом на пружину. Сохатый вроде и понимал, но то соскальзывал копытом с пружины, то наступал на неё не по центру и с такой нелепой силой, что капкан выворачивался, падал набок, и бедную соболюшку буквально как плеть бросало о снег, и она вскрикивала.

— Ты его подстучи сзади по ноге. У копыта, — крикнул Федя Второму Дятлу. — Там щикотное место. Осторожно. Смотри, дёрнет — убьёт её. Так. Давай! Ещё. Ещё!

— Ты не забудь соли пару мешков, — вдруг вывез Лосяра.

— Будет соль! Всё будет! Дятя, смотри, чтоб он Лапку не стоптал! Теперь подними ногу! Да не эту!!! Наказанье! Да! Ставь! Да. Так, сначала на шарь, нащупай! Да не дави! Нашупай! (Тюкни его!) Во! Всё, — крикнул Федя, — дома! Теперь весом! Весом! Есть — на морде шерсть!

Лапку Федя отправил в своё гнездо, туда же унёс запас привады. Лапка ничего не говорила, только прижималась головой к его плечу и плакала.

— Живи у меня, кором есть, — сказал Федя.

— Нет, нет! — твердила Соболюшка. — На что я тебе *такая*! Вот лапку залечу — вернусь! У меня лёжка у Нюрингде.

На следующий день Лапка убежала, и как-то сразу отдалилось, ушло поле обаяния. Всё-таки гон у соболя позже, да и поважней дела были. Лапка ушла, но тоска и беспокойство остались, хотя не мыслями, а ощущением проникали в головёнку, в которой всегда одна мысль лежала. Давила, как

каменная плита. Видимо, звериное настолько усилилось, что человечье под гнётом засочилось, зашевелилось, как бывает, когда совсем выживают, а места в обрез и за каждый кубик бой. И вопрос — или совсем уйти, или отстоять пространство. Трудное дело.

4. В НЕБЕ НАД ЛЕСОМ

Федя заметил, что чем больше чистит капканы, тем сильнее входит во вкус. Иногда, конечно, он и перехватывал мышку для разнообразия и сугрева, но больше паса на путиках — нравилась лёгкость, да и азарт в работе с дармовщинкой пришёл. Принаглел соболёк. Прижирел. Ещё и сенаставкам наказал:

— Вы мне, эта, сена притащите в дупло. Хвоща помягче. Ясно излагаю?

— Ясно.

— Ну вот. Работайте.

В тайге всюю обсуждалось происходящее. Кедровки, кукушки, белки, летяги, не говоря о мышах — все подкармливались привадкой, а тут, видя такое дело, забеспокоились. “От ить полобрюхий! Он чем больше путики чистит, тем больше ись хочет. Затравился. Этак он всю приваду прикончит”, — переживали они за приваду, будто она ихняя.

А соседние мыши нарочито громко заговорили:

— А интересно, он сразу побежит посмотреть, что там у него дома творится? Или ещё жиру доберёт? Нда... Говорят, жена-то его... того... хе-хе...

Только ворон, пролетая, сказал:

— Дурью не майтесь. Так он при деле и вас не трогает. А приваду кончит — за вас возмётся. Маленько дальше носа глядите!

Федя всё слышал и вздрогнул... Его как лесной огрело. Шарахнуло. И стало будто размораживать, забирать открытием: оказывается, с самого момента пробуждения в дупле ему больше всего на свете хотелось поглядеть, что творится дома. Словно раньше его и близких только тайга разделяла, а теперь что-то гораздо большее, огромное, сильное и неизбываемое — целая стена вставшая. Желание будто специально тайлось, чтобы теперь с головой и брюхом забрать. Даже представить себя без него было дико. Хотя он и не представлял, а только чувал.

Желание это состояло из двух желаний: из тоски по близким, обострившейся после пробуждения в дупле, и ещё очень важного ощущения. При всем своём упрощённом устройстве, соболиной мироподаче, не отпускало одно чувство: что где-то там, в избушках существует настоящий Фёдор. И желание взглянуть одним глазком на дом было именно с этим и связано: мол, все-то знают, что Фёдор-охотник в тайге, а он-то, Федя-соболёк, и *подглядит*. Обманет расстояние. Но это одно. А вот тоска по близким была сильней и безотчётней, и нарастала из подспудного, из той области, как птицы румбы чувят и рыба на нерест идёт в единственную реку. Словно то глубинное, чему он не давал ходу, само за него решало.

“Кстати, у брата Гурьяна... через которого идти... У брата Гурьяна... там богато должно быть. Брат и приваду обновляет чаще, и куски не жалеет. Да и разнообразье — я тебе дам. Всё пробует, и рыбу даже, и ондатру. Кстати, рыбки чо-то охота. Да и в дорогу отъесться надо. Мало чо дальше”. Федя прекрасно понимал, что у брата и собак больше, и народу — Гурьян охотится с сыновьями. Всё исхожено, изъезжено и избегано. “Хороший огород нагородил. В общем так: в дупла и корни не улезать — выкурят. Можно в сопки уходить в камни. Прятаться на деревья, лучше в ёлку, и сидеть тихо у ствола, следить за охотником. Смотреть в оба. И всегда! Всегда быть с противоположной стороны ствола. Да! И на фонарь не смотреть! Ни под каким видом. Чтoб меж глаз не получить. Скорей всего брат пойдёт сюда искать меня, я на связь не выходил, а обещал. Это, конечно, нам на руку. Да и вообще — на таком участке именно *меня* найти, самого ушлого — это как иголку в стогу сена. Ну вот так как-то. В общем, чёткость, взвешенность и скрытность. Всё. Вперёд”.

У брата Гурьяна стояло около двадцати избушек, и по-хорошему надо было его участок обойти. Но Федя не хотел бежать лишнего, да и обильные путики манили, какой-то даже зуд был на брата. Федя всегда завидовал его любви к промыслу, чуя в ней силу, от него укрытую.

Федя, видимо, чересчур уверовал в своё знание повадок охотника, и не ожидал, что братнин огород будет столь плотным. На участке охотились трое, у каждого по три собаки, всего девять. Сначала шло гладко. За два дня отработал два путика, а потом вдруг именно в это место приехал Гурьян. Оказалось, осенью с сыновьями срубили здесь новую избушку, а ему не сказали зачем-то. В общем, Федю погнали Гурьяновы собаки, и он залез на толстую и густую ёлку, которую специально выбирал, рискуя промешкать. Схоронился в самую середину высоты, где ещё густо, но далеко от полу. Брат никак не мог его добыть: соболь очень тихо перебирался, переползал змеино вокруг ствола по веткам, буквально обтекая его и вжимаясь в шершавую смолёвую чешую, так что капли смолы влипали в ворс — но уж тут не до шубы. Гурьян и выглядывал — всю шею вывернул, и выстрелить зверька пытался — бесполезно. Один раз пулька прошла вплотную и оторвала коготок на правой лапе, и лапу ожгло-контузило — но всё не в счёт и только собрало. Собаки охрипли. Гурьян серьёзней. Движения становились отрывистей, как-то резче.

Один раз Федя видел, как тот остановился и помолвился. Даже шапку снял. Открылись потные волосы, подлипшие вокруг головы, и из-за этого особенно широкая борода. И крестился, споро, размашисто и особенно кверху, с захлёстом до края плеча закидывая двуперстие и словно сгоняя кого-то. И потом снова медленно-медленно шёл по кругу, высматривая в ёлке. Глаза слезились, оттого что не моргал и не вытирал. Натоптал целую площадку, кольцо с веером лыжных отпечатков. Подходил несколько раз к ёлке — стучал топориком. Потом запалил костёр и пил чай из консервной банки от горошка. С галетами. Продолжалось это полдня. Так и брёл по кругу, заворачивая носками лыж, переступая носками. Заломя голову. Был с “тозовкой” и истрелял патронташ пулек, и ещё запасную пачку почти кончал — оставил пулек десять на крайний случай.

Под вечер тихо подтархтел на новом четырёхтактном снегоходе Гурьянов сын и Федин племянник Мефодий. Розовое лицо горело даже в сумерках, не набравшая силу моховая борода белела куржаком:

— Тятя, ниччо не пойму, — говорил он с жаром, — до базы доехал, вроде как оттуда следдев нет. Кобель там сидит. Снегоход там. Карабин и “тозовка” — там! Он куда ухорониться мог?

— На лыжах ушёл?

— Да ты понимаешь, тятя, он за день до снега в ручей оборвался — дак лыжи так и висят в жомах. А голицы старенькие под крышей. Я тоже думал по воду пошёл и в полыню оборвался. Нет вроде. Да и ведро с водой стоит.

— Разморозило?

— Но. Конец ведру.

Через полчаса прибежали собаки, с ними Пестря, который, как показалось Феде, особенно рьяно залаял на ёлку.

— Ты, Нефодь, поди, не углядел чо-то. Мне самому надо. Вместе поедем. Только разберемся с этим, — он кивнул на ёлку. И сказал со значением: — Ты путик видел?

— Но.

— И чо думаешь?

Мефодий пожал плечами.

— Главное, здоровенный котяра. Два путика обчистил, — тревожно, собранно и немного отрывисто говорил Гурьян. — Причём жердушки не трогают, только капканы на полу. Только на полу! И где приваду взял, там капкан запущенный. Где взял — там запущенный. Ничо понять не могу. Это чо такое за специалист-то? Какой-то хитровыдуманный. Привады-то подходя взял.

“Подходя” — было излюбленное выражение староверов, в смысле — в подходящем количестве, на подходе к завершению плана.

— И оправляется-то так, видно наесть. Я ещё пойму, если голодный, как грится, страх потерял. А этот сытёй. Ты понимаешь — сытой! Сильно грамотный... И вот, — он вдруг невольно заговорил тише, и снова кивнул на ёлку — это... он, по-моему... заговорённый какой ли. Мы его загнали сюда, дак он будто понимает: я как ни иду — он всё с той стороны елки. Как ни иду — всё с той. Переползает, гад. Я уж думаю, не бес ли тут морочит?

— А возможно, тятя.

Гурьян помолчал, потом решительно и громко спросил:

— Дак чо говоришь, нет дяди? Добром смотрел?

— Да в том-то и дело, что нет! Вот ты вспомни, тятя, он на связь выходил, как раз середя была, а ночью снег упал, пухляк-то. И вот следдев-то больше нету! Нет следдев! Всё. Чисто. Если бы он после снега ушёл, я чо — не слепой, увидел бы!

— Да поди, — сосредоточенно ответил Гурьян. Помолчал и возразил:

— Однако это вторник был.

— Ково вторник? Середя. Ещё этот баламут, Ла́баз-то, соболя по рации обдирал, всех извёл, дядя ему помогал ишпо. Это середя была, я с домом разговаривал. У них как раз вертолёт рейсовый садился, мать рассказывала.

— Ну да, — так же сосредоточенно, в уме подсчитывая, отвечал Гурьян, — середя выходит. Точно. Мы же вечером собрались на Центральной, а в четверг мясо вывозили до обеда. Уже четверг был. Я ещё утром Перевальному сказал, что на двух техниках поедом. Ладно, Мефодь. Сегодня Лёва придёт, завтра мы его втроём-то прижучим. Далёко не убежит.

— Бать, — сказал медленно Мефодий, будто не слыша, — а ты про Соболиного Хозяина слыхал?

— Да слыхал. Дед рассказывал чо-то...

У Мефодия был с собой карабин, он попытался высветить фонариком ёлку, пару раз выстрелил наугад. Потом даже крикнул бодро: “Тятя, давай я залезу!” Но Гурьян его укоротил: “Заводи”.

Мефодий завёл похожий на насекомое снегоход, с пластмассовой, набранной из жёлтых угловатых плоскостей мордой, со стрекозиным выражением узких фар, из которых полился яркий свет, совершенно не шедший таёжной обстановке — нежный, какой-то нетрудовой, из другой жизни. Снегоход тархтел по-мотоблочному. Гурьян долго притыкал, прилаживал лыжи — потом сел, и они утархтели. Только едко дымил костёр, частью провалившись в снег и вытопив дыру до подстилки, а частью обугленных палок вися на снежных плечах. Пахло аптечно палёным мохом. Собаки, их было семь штук с Пестрей, так и лаiali, то затихая, то вдруг, объятые одним им понятным порывом, заходились с новою силой. Было ясно, что ни они, ни Гурьян с сыновьями не отступятся и наутро с трёх точек выстрелят его, изрешета ёлку. И если даже попытаться в темноте верхом (с дерево на дерево), то далеко не уйти.

Гурьян с Мефодием в это время подъезжали к избушке. Там горел свет, вовсю ревела печка и орудовал Левонтий, самый молодой, по-мальчишески худощавый и с ещё более похожей на мох бородой, лепящийся неровно по уже узнаваемым отцовским скулам. Пока мужики рассуновивались, опыляли льдом с усов и бород, он горячился:

— Тятя, у меня фонарь мощнецкий, давай щас поедом, мы его махом высветим, пулек наберём!

— Ну, тятя, — подхватывал Мефодий, — ты сам говоришь, он хитро-выдуманный. Он собак надуриет и уйдёт.

Дымилась на большой глубокой сковороде каша с рыбой, капуста домашняя стояла в банке.

— Фодя, Лёва, давайте. Молимся, — сказал отец и строго глянул на Левонтия, который, по его мнению, недостаточно вьсоко крестился: — Левонтий, сколь раз тебе говорил, ты ково так крестишься? Креститься так надо! — и он показал, касаясь двуперстем самого приверха плеча. — У нас у дядьки Тимофея было: всё то болел, то с работой не ладилось. А ему потом наш дед сказал: до самого края надо! Он так зачал креститься и всё — как отрезало. Хе-ге, — Гурьян рассмеялся с прохладцей. —

А у его, оказывается, один-над-цать лет бес на плече высидел. Одиннадцать лет! О как! Дьявола́ они креста боятся! Так от...

После трапезы ребята снова завели:

— Тятя, с ним разбираться надо. Он спокою не даст.

— Тятя, он попробовал. Его теперь не отвадишь.

— Не, сыны. Чо мельтусить. Не зря считалось, утро вечера мудренее, — говорил своим чуть рубленным баском Гурьян. — Тут надо всё вкрут понять. Охота охотой... А мы хоть люди охотчие, но с братом не дело.

— Ну тя-я-ять... — тянули Мефодий с Левонтием.

— Закончили, сказано, — поставил точку Гурьян. — Завтра как обутрят — с этим хунхузом разберёмся, а послезавтра — до Фёдора.

В это время в Фединой небольшой головке стояла одна напряжённая мысль: как быть? Вероятность маленькая, что собаки его бросят, убегут в зимовьё, но подождать стоит, глядишь, что и наждётся. Уже перевалило далеко за полночь, а собаки и не думали уходить. То успокаивались, то взлаивали с новым азартом.

В ёлке копошились поползни, ползали по стволу головой вниз, пищали. Федя поймал, придавил одного:

— Слушай меня внимательно. Если не будешь рыпаться — не трону ни тебя, ни твою родоу. Не будешь верещать, сделаешь всё, что скажу — ещё и отблагодарю. Ну что? — и даванул поползня так, что тот захрипел:

— Что делать надо?

— Собак отвлечь.

— Ты бы попросил добром, я и так бы помог.

— Не умничай. “Попросил”... Будто сам не видишь, что творится?

— Делать-то что надо?

— Для начала подлети поближе к собакам. Сведай, кто чем занят? Где сидит.

Поползень слетал и рассказывал громким шёпотом:

— Буран сидит лижется, Аян под ёлкой. Пестря на ёлку орёт, как сумасшедший. Норка — тоже орёт и на Пестрю поглядывает. А Кузя тоже лает, но задирается к Пестре... Переживает. Бусый валяется, шкуру чистит...

— Стоп, — наморщился Соболь. — Ясно. Надо вам с твоим братцем сесть над Аяном на веточку и затравить его на кого-нибудь. Чтобы они убежали...

— Что там какой-нибудь зверь, ну... более... — начал было Поползень и испуганно замолчал.

— Ну чо замолчал, хе-хе? Говори уж, чо думал, что зверь более ценный, чем я, — разжёвывая чуть не по складам, сказал Федя. — Ну?

— Ну да, — смущённо пискнул Поползень. — А кто? Сохатый?

— Да какой сохатый?! Я для них сейчас всех сохатых важней.

— Ну, а кто тогда? Медведь: не поверят — они здесь все берлоги знают. Росомаха?

— Э-эх... — разочарованно протянул Федя, — удивляюсь я на вас. Взрослые вроде пичуги. Росомаха... Другой раз, может, и сработало бы. Но не теперь. Тут надо что-то, цъ, такое! Чтобы имя всю подноготню вывернуло.

— Чо-то не могу сообразить...

— Глухарь? — пискнул брат Поползня.

— Да какой глухарь?! Объясняю: рысь! Слышали такого зверя?

— Брысь? А кто это?

— Не брысь, а рысь. Здоровая кошара. Их нет здесь. Но псы тем лучше затравятся.

— А кошара — кто это? На подвид волка?

— О-о-о, — раздражаясь, потянул Федя, — тяжело с вами. Кошка. Такой зверь домашний. Но есть ещё и дикий. Короче, я не нанялся тебе лекции о фауне читать. Сядьте на ветку и начните судачить: мол...

— Понял, понял! — радостно перебил-защебетал Поползень, — там в ручье Рысь сидит! Там Рысь! Там Рысь! Пи-пи-пи! Так?

— Те и “пи”! От ить деревня! Надо сказать так, чтоб... эх! Чтоб они поверили! Какая “Рысь, пи-пи-пи”? Ничо не можете! Надо сказать... — и он

произнёс заправски, неторопливо и веско: — Слышь, Серая спинка, я чуть не упал тут. Шелушил сушину на краю гари у Юдоломы, и вдруг кто-то ка-а-к... И повтори: ка-а-а-к...

— Ка-а-ак...

— Ка-а-ак мявкнет! Да так хрипло, главное, — я чуть личинкой не подавился... Понял?

— А какой личинкой сказать? Усача или короеда?

При слове “личинка” Федю и Поползня моментально окружили поползни и открыли писк:

— Лубоеда!

— Жука-сверлилы!

— Не! Лучше толстошупика!

— Толстопопика! Кая разница? Не-вы-но-симо! — Федя аж куснул ко-ру. — У вас товарищ будет с голодудохнуть, а вы его сверлить будете: тебе корошупика или тупоусика! Все мозги проели своими бекарасами. — Федя аж метнулся по ели так, что собаки залились, но успокоился и сказал, выдохнув: — Здесь важно дух передать. Скажи: “Поближе-то подлетел. И обомлел. Смотрю... скажи, кедр — аж шапка с головы падат!” Обязательно так скажи!

— Как это шапка?

— Ой да чего вы нудные! Короче, скажи: Кедр! Не, не так. Вот как: скажи, кляповая лесина...

— Какая?

— Кляповая. Наклонная значит. И на ней: Рыси здэ-э-эровый кошак сидит. На кедрё... Ну-ка повтори:

— Рыси здоровый к-э-э-эшак сидит...

— Не “здоровый кэ-э-эшак”, а “здэ-э-эровый ка-шак”... И скажи: “Когти — о! На ушах кисточки — хоть ворота крась. И ворчит так противно, мол, я этих собак всех передавлю... Вопшэ не перевариваю их родову...” Ну чо-нибудь такое. Поняли? Ну чтобы они затравились... Мол, я этих шавок вообще в грош не ставлю... Во! — воодушевился Федя. — Мол, будут борзеть, всё дядьке своему скажу, он их на рямушки порвёт! Поняли? Обязательно скажи “на рямушки”! Скажи, летом как раз под Уссурийск собираюсь. Там фазан до того жирён, аж с хвоста капат. Хоть банку ставь. Запомнили?

— Поняли! Поняли! Пи-пи-пи!

— Всю родову, мол, передавить обещал. Можно ещё сказать: и до того злосмрадно от него кошатиной прёт, что аж...

— Что аж мутит!

— Что аж мутит. Ну всё. Маленько потренируйтесь, а я... подумаю.

“Кошак-то, конечно, хорошо, а что дальше-то делать? — тревожно размышлял Федя. — Даже если Гурьян поедет ко мне на базу, то племяши мне тут устроят... рямушки. Драть надо отсюда, хоть по воздуху. Эх”.

И услышал, как поползни начали:

— Слышь, Носик, у тебя нет жучка позабористей?

— А чо такое?

— Чо-то мутит... Стоит в горле этот запашина кошачий..

— Како-о-ой?

— Чево-о-о-о?

Раздались возмущённые голоса собак:

— Да быть не может! (Обожди, Бусый! Задрал с кусачками!)

— Ры-ы-ысь?

— Что, прямо так и сказал “на рямушки”?

— Ну да: так выходит!

— Да что же эт, братцы?!

— Надо наказывать!

— Брать надо!

— Нельзя так оставлять!

— Тут только слабину дай!

— Слабину почуют — вообще проходу не дадут!

— А соболю как же?!

— Накажем и с соболем разберёмся! Далёко не уйдёт.
— Не, мужики, за такое сразу... учить надо!
— Да конечно!
— А я, главное, бегу сёдни и... как кошаниной набросит. Ещё думал — онюхался. Думал, откуда ей здесь взяться?!
— Да заходят!
— Заходят! Вон чо отказыватца. Нос не обманешь, хе-хе!
— Так, ну чо? Хорош сопли жевать! Работать его надо! Кто за?
— Все за! Гав!

Собаки ещё погалдели, погавкали на ёлку, мол, сиди смирно, “только дёрни отсюда”, и убежали. Федя выждал полчаса, велел поползням замолчать, и спустившись пониже, долго слушал удаляющийся топ и шорох. Когда убедился, что никто не вернулся, спустился на пол и во весь опор побежал в противоположную сторону.

Уже чуть светало. Он выбежал на маленькую проплешинку среди кедров, растрёпанных и стоящих навалом во все мыслимые стороны, словно их приморозило в момент, когда они что-то с жаром обсуждали, маша лапами и качаясь от возмущения или восторга.

На светлеющем небе горели звёзды. Снег был особенно ясным, объёмным, великолепно-парадным. На нём синела канавка с крестами глухариных лап. Под большой узловатой кедринкой как ножницами накрошили хвою, и глядела в выставшее небо лунка. “Хорошо живёт, поел, тут же нырнул. Потоптался, поворочался, снежок пообмял”, — Федю раздражил безмятежный глухариний режим. Он начал очень осторожно приближаться к лунке, как вдруг из неё раздался строгий голос:

— А ну стоять, пока в лоб не получил!

“Да что за невезенье!” — аж изогнулся от досады Федя, как внезапно из снега показалась здоровенная глухаринья голова:

— Чо крадёшься? Даже не думай! Нашёл поползня!

— А ты откуда знаешь? — удивился Федя.

— Я всё знаю, — отрезал Глухарь. — А ну назад!

Федя поклядисто отбежал, повернулся к Глухарю, стал столбиком и сказал:

— А на тебе можно улететь?

— В смысле? — не понял или сделал вид Глухарь. Сама по себе картина была замечательной: синий снег, нежнейшее предутреннее небо и чёрная бородастая голова в лунке как в ворота. Из ноздрей и клюва шёл парок в такт дыханию. Правда, Феде не до видов было.

— Я знаю: на тебе улететь можно. Слушай, мне край надо. Да и это тебя касается. Сейчас сюда прибежит десяток собак и Гурьян с сыновьями. Всё равно жизни не дадут, — и добавил заманистым тоном: — А я тебе расскажу, как себя вести, чтобы ни-когда не попасться. Только для этого надо будет... всё соблюдать. Технику безопасности.

— Техника безопасности глухаря, — громко проговорил Глухарь. — Никогда не верить соболу. Хе-хе...

— Вот клянусь, друга, — сказал Федя, — стою вот перед тобой. Как есть. Чо не веришь? Раз такой... всезнающий.

— Куда лететь? — быстро сказал Глухарь, и выбравшись на снег, похлопал крыльями и так богатырски покрасовался статью, грудью (“Эх хорошо, с утра морозец!”), что Федя сказал про себя: “Здоров! Ничего не скажешь”.

— В посёлок.

— А садиться куда?

— Ну там аэродром, хе-хе. А если серьёзно — хоть куда, главное поближе к дому, на краю там.

— А там есть лохматые кедрины?

— Вот я как раз хотел сказать. А ты на кедре сможешь сести... с грузом? Там кедр лохматая такая на краю, прямо как шар, вот в неё если попасть, то само то будет. Прямо с леса залететь, никто не увидит.

— Не увидит — это полдела. А что по́ полу подхода не будет — важно. Собакам хоть заорись — никто не поверит, — бородастый Глухарь басил не

то что самоуверенно, и не то, что пренебрежительно. Пренебрежительность предполагает давление на того, кем пренебрегают, пусть и таким сподтишковым способом. А Глухариный тон, если что и выражал — то естественное состояние знания. И соболёк, собиравшийся придавить петушину за шею в дунке, перед ним мельчал, словно придавливали его, но не упрёком и неуважением, а правдой, к которой хотелось прибиться.

— Но, — сказал Федя, — а ты грамотный.

— Х-хе, ещё ветер какой будет, — резанул с напором на Соболя Глухарь, пустив лезть мимо ушей. И Соболю показалось, что он сам в два счёта превратил из заказчика в какого-то помощника.

— Ветер нормальный, — вытянул вверх острую скуластую морду и лизнул кончик носа Федя: — Сейчас север дует, как раз под него снизу зайти.

— Если снизу заходить будем — нормально, — сказал Глухарь густо, сильно.

— Я грю, снизу.

Небо наливалось светом, ярким, торжественным и всегда поражающим этим каждодневным, ликующим, зимним совершенством каждого тона. Красота была в такой розни с происходящим, что Соболю сильнее заторопил:

— Ну что?! Пробуем?

— Так, — сказал сосредоточенно Глухарь. — Давай с моей тропы пробуем. Она проколела. Сядешь. Разбежусь и полетим. Ты, главное, держись добром. И не дури, — только почувствую зубы — так оземь шарахну, что дух выпустишь. Понял?

— Да понял. Понял.

— Ты за зубами за перо прихватись, прямо пониже возмись, под корешки. И лапами держись передними прямо за шею. А как взлетим, зубы отпустишь, а лапами будешь держаться. Главное взлететь. Морда у тебя острая, парусить не будет — уши ветром придавит, только держись.

Было ощущение, что он каждый день извозом соболей занимается.

— Давай — пробуй, а то точно попадём: ты на пялку, я на приваду.

Глухарь уже стоял на своём каменном следе с синими крестиками. Соболю прыгнул и взялся, как сказали.

— Всё? — крикнул Глухарь. Соболю хлопнул его передней лапой по перу.

Глухарь побежал, захлопал крыльями, совсем чуть-чуть оторвался и, едва пролетев, лупя крыльями по снегу, сел, проехав и взвив снежный морок, так что Соболя всего припорошило, особенно морду.

— Чо такое? — спросил Соболю.

— Полоса короткая, мне не хватит. В лес воткнулся. Да и вообще-чо с тягой. Так... слушай, давай попробуем вот как: ты сиди здесь, рядом с полосой. Я разбежусь, оторвусь сантиметров на сорок, а ты прыгай. На пенёк на этот залезь и с него прыгай.

Федя залез на кедровый обломыш с острыми сучьями и сосновой шишкой в расщелине. Глухарь разогнался, взлетел, Соболю прыгнул, но Глухарь пролетел совсем низко метров десять и рухнул, пробороздив снег.

— Не-а. Тяги не хватает. Вроде разогрелся. И мороз. Не знаю... — сказал Глухарь, тяжело дыша, но не жалуясь, а даже пребывая в каком-то рабочем азарте.

— Ты ел сегодня? — строго спросил он Федю.

— Да нет! Ничо не ел, — сказал Федя и, подумав: “Н-да, не тот нынче глухарь пошёл”, предложил:

— Со скалы надо попробовать. Или вот хотя с лиственни. Во-о-н с той надо, с берега. Давай вон на бережок выберемся.

Федя выбежал на бережок речки и залез на высокую лиственнь, которые вымахивают на таких берегах, куда наносит рекой плодородную почву. Глухарь тоже взгромоздился на лиственнь:

— Ну чо, садись.

— погоди. Ты это, — сказал Соболю. — Камни сбрось.

— Какие камни?

— Ну в зобу-то...

— Ты совсем трёкнулся? Я те где сейчас камней добуду?

— А я тебе адресок скажу — есть обнажение на Майгушке, там в любое время камня возьмёшь, там осыпь такая...

Глухарь выплюнул камешки, некоторые время отдышался.

— Ты это, если тяжело будет, — заговорил Соболев, — садись там где-нибудь.

— Ты чо, как маленький? — осадил его Глухарь. — Тут если делать — то делать. Чем ближе к посёлку — тем больше и собак, и народу. У посёлка вообще лыжня на лыжне. Ученики ещё эти... шнурят везде. Не-е-е, — с прохладцей и почти презрительно протянул Глухарь. — Тут или до упора лететь, или тогда затеваться нечего.

— Ясно, — согласился Соболев, который и сам так считал.

Рассвет просто мчался, солнце на глазах вставало и из оранжевого, пульсируя и переливаясь, превращалось в жёлтое. Фёдор забрался на глухариную спину и увидел, как далеко внизу бегут по его следу на тундрочке собаки, а поодаль едут на двух снегоходах Гурьян с сыновьями. Залезать было невыносимо трудно, Глухарь, хоть и напрягался встречно спиной, креп ногами, но казался шатким, высоким, спина шёлково-скользкой, а от сознания того, что тот ещё и сам сидит на ветке, да на шатучей огромной лиственнице — мутило. Прихватил Глухаря зубами на крепкое перо на спине, в основании шеи, обхватил лапами и крикнул:

— От винта!

— Чего? — не понял Глухарь.

— Погнались, пока целы, вот чего.

Глухарь рухнул, головокружительно лёг в воздух, заработал крыльями. Ничего не было страшней, поразительней и восхитительней этого свала в даль, прозрачную, одушевлённо-выпуклую, морозно налетающую и тут же берущуюся у глаз морозно-слёзной коросткой. Крепкий воздух проминался, но держал отяжелевшую птицу, которая, было пойдя вниз, выровнялась и начала набирать высоту. В повороте Глухарь накренился, и Соболю показалось, что его сейчас ссышет, сметёт с глухаринной спины, и весь впился, растянулся, превратившись в летягу. Глухарь словно с горы пошёл с понижением и набирая скорость.

— Ну как? — крикнул Глухарь, сойдясь головой с солнцем, так что оно налило половинки клюва, и те восково загорелись.

— Нормально, — пробубнил сквозь перо Федя, не разжимая зубов.

Глухарь то работал крыльями, то расправлял их и планировал, отдыхая, и тогда несся особенно плавно и свист пера был отчётлив. Удивительно — вроде птица, машущая крыльями, вроде вокруг воздух, зыбкий, ухабистый — но как-то стойко летелось, будто ехалось по прозрачной неведомой колее. И дорога во время взмахов поднималась в гору, а на планировании — спускалась вниз. Так и летели — с сопки на сопку.

Самое поразительное, что как бы Глухарь ни кренился в повороте, голова его оставалась в одном положении, в чёткой привязи к земле. И непонятно было, что вращалось, смещалось — голова относительно Глухаря, или Глухарь относительно головы и Соболев вместе с Глухарём. Ещё Федя не ожидал, что Глухарь будет так вертеть головой, осматривая окрестность. Когда Глухарь смотрел вбок, Фёдор видел его ярко-красную бровь и карий глаз, полный покоя и иконописной какой-то выразительности нижнего века. И хоть простреливало от зыбкости, от того, что пустота внизу, но и надёжей веяло от уходящей вперёд сероатой шеи, её упрямого вылета, от чёрной головы и костяного белёсого клюва. Федя уже не держался за перо зубами. Морду, глаза, особенно, нос — холодило, на остальном теле мех справлялся, хотя его и трепало частой волной, проминало мелкою ямкой. Перо глухаря лежало плотно, и лишь когда изредка налетал боковой ветер, перья кое-где привставали, как закрылки.

Когда Глухарь только взлетал с лиственницы и описывал оборот — открывалась даль сопки в такой резкости, густоте и величии, что у Фёдора сжалось сердце. Главным в этой горной и суровой дали была её предельная заиндевелость с вершин. У самых высоких сопки таёжная штриховка особенно постепенно редела кверху, на беслесной пологой вершине уступая место

абсолютно меловой белизне, и голая светящая белизна эта была настолько величественно-спокойна, что не могла не значить чего-то таинственно и требовательно важного.

Сопки пониже были сплошь в тайге, но с тем же плавным белием к вершине — чем выше, тем мельче и острее, штриховатей были кедр и ёлки и тем сильнее облеплены каменным сахарным снегом.

Сопка приближалась, подрастая, подпирая глухарю под лапы, и уже совсем крупно были видны жёлтые от солнца лиственничные верхушки в перекрестьях ветвей. Сверху лиственничник выглядел, как звёздчатое полотно, а каждая листвень была как нанизанный на ось набор крестов. Чернолесье же с высоты гляделась вовсе сквозным, редким, в струну отстроенным, подчинённым вертикальной незыблемой тяге, чёрно-белому штриховому совершенству. И чем реже стояли кедр и ели, тем сильнее поражала их верность отвесной своей породе, свечевому зенитному строю.

Сопки всё разглаживались, и ковёр тайги выравнивался к далёкому Енисею. Соболёк уже был часть птицы. И как сведёт от неловкой позиции или холода один какой-то кусок тела, так и всего Федю свело от этого полёта, в котором сплелись и жизнь, и небыль, и краса, и гибель — и всё произошедшее в предыдущие дни и часы, а сейчас будто достигнувшее пиковой точки. И это погубительное лежание ковром на Глухариной спине, и скользкое плотное перо и тепло тела под ним, и его напряжения, передающиеся Феде, и два могучих крыла по бокам. И полная тишина над тайгой, будто специально притихло всё лишнее и даже свист ветра в пере казался убавленным небом.

Вокруг простиралась красота, особенно немыслимая и драгоценная именно в своей неизвлекаемости. И Федя был в этой красоте, не как зритель, а как пронзаемый, независимо от того, зажмуривал или открывал глаза. Красота была лишь частью обвального потока: налетающего ледяного ветра, затыкающего дыхание, мутящего кренения, сползания с Глухариной спины, косого, перекошенного пространства, когда бок сопки очутился где-то сбоку и казалось, Глухарь сейчас завалится на спину и оба рухнут... И ты, крепче обняв птицу, стараешься удержаться и смещаешься, уходишь в сторону, сиюсь помочь, перевесить. А когда Глухарь, выровнявшись, начинает с шумом работать крыльями, то немыслимо напрягаешься телом, передавая птице натугу и собственных сил, а когда тот планирует — ещё сильнее приливаешься, превращаешься в пласт и плоскость... И причудливо лежишь меж крыл, которые то опускаются, то поднимаются, округло выгнутые книзу, и ты то оказываешься на спине как на горке, то в спасительной ложбине.

Лететь было тяжело, и Федя знал, что Глухарь не для дальних полётов. Что хоть и хороша у него тяга при взлёте, но это не гусь и не казарка. И то ли почуяв соболиное сомнение, то ли сам по себе устав, Глухарь начал немолимо и незаметно снижаться, с ещё большим усилием налегая крыльями, аж до дрожи, отчего шея как-то особенно напряжённо вытягивалась. И даже стала при каждом взмахе чуть ходить вверх, как у коня, идущего в гору. Что-то происходило и с воздухом, он терял твёрдость, и Глухарь сказал:

— Так, ты давай, не молчи там, рассказывай что-нибудь, а то тяжело-вастенько. Тяга падат.

— А что рассказывать? — сказал Федя, чувствуя, как громко звучит его голос и как притихли и ветер, и гулкая даль, внимая их разговору.

— Не знаю. Хоть что! Можешь что-нибудь... о природе... Или сказку! Давай не молчи только!

Федя вдруг, не успев подумать, заговорил с неожиданным выражением и так доносчиво, что слово свободно полетело над окрестностями:

— Собо́ль чрезвычайно смел и отваживается нападать на больших птиц, как-то: на косачей и даже глухарей, когда они спят, зарывшись в снег. При малейшей оплошности собо́ля глухой тетерев быстро поднимается с ним кверху; собо́ль, крепко вцепившись в глухаря, поднятый на значительную высоту, боится упасть на землю, стараясь уже только как-нибудь держаться на птице, которая в свою очередь с испугу летит с неприятелем, куда глаза глядят и насколько хватит сил. — Феде даже показалось, что Глухарь кивнул бородатой своей головой.

— *Наконец глухарь, перенесшись чрез несколько хребтов...*

— “Чрез” — это хорошо! — Глухарь восторженно повернул к Соболю бородатую голову. От ноздри по чёрному ворсу пролегал размашистый мазок куржака.

— Я такие слова люблю, от путних слов сразу сил прибавляется, — крикнул Глухарь. И Федя почувствовал, как их начало поднимать, будто и воздух, и крохотной ледяной пыли тоже по сердцу слова, которые звучали над тайгой странным этим днём.

Федя обрадованно продолжил:

— *Наконец глухарь, перенесшись чрез несколько хребтов (Глухарь аж хрюкнул от удовольствия и хмельно тряхнул-крутанул головой), а может, и десятков вёрст, от изнеможения где-нибудь падает и, таким образом, переносит на себе соболя из одного места в другое. Это объяснение весьма правдоподобно; зная отважность соболя и силу глухаря, сомневаться не должно. Да и, вероятно, были этому очевидцы... эээ... или другие обстоятельства, фактически доказывающее это... явление... явление, ибо нельзя думать, чтобы простолюдины без основания могли придумать такую остроумную... гипотезу... А-а-а... Забыл...*

— Да что же ты?! — крикнул Глухарь, отчаянно заработав крыльями, которые стали будто проваливаться, будто не только сил у них убывало, но и сам воздух прослаб от огорчения.

— Ну! — гулко крикнула даль.

— *Ведь были же очевидцы, как ласка, зверёк несравненно меньше соболя, отваживался нападать на косачей и поднимался с ними в воздух, а потом, умертвив их, падал с ними на землю (смотреть “Записки ружейного охотника Оренбургской губернии”. Москва, 1852, страница 347).*

— Вот это другое дело! — сказали верхушки лиственниц.

Некоторое время они хорошо летели, и Федя ничего не читал наизусть, но Глухарь всё больше уставал и снова начал терять тягу. Не дожидаясь команды, Федя начал чтение:

— *Как во время войны довольно явиться перед фронтом какому-нибудь известному полководцу, которого любит, уважает и на которого надеется войско, чтобы одержать победу, так в артели зверовщиков довольно присутствовать известному, удалому, опытному промышленнику, чтобы убить медведя...*

Глухарь восторженно повернулся к рассказчику, и Фёдор снова увидел его древний карий глаз цвета смолы, картинное веко и красную бровь. Фёдор продолжил чтение:

— *Собравшись совсем, промышленники прощаются друг с другом, кланяются на все четыре стороны и отправляются к самой берлоге пешком тихонько, молча — словом, с великой осторожностью, чтобы не испугать медведя и не выгнать его из берлоги раньше времени. Подойдя к ней вплоть, более опытный и надёжный охотник тотчас бросает винтовку на сошки, перед самым лазом в берлогу, взводит курок и дожидает зверя; между тем другие здоровые промышленники подходят к самому челу и затыкают в него накрест крепкие, заостренные колья, называемые заломами, имея наготове винтовки и холодное оружие, как-то: топоры, охотничьи ножи и рогатины. Разломав чело берлоги, промышленники начинают дразнить медведя, чтобы он полез из неё, а сами между тем крепко держат заломы и не пускают медведя выскочить вдруг из берлоги. Лишь только последний покажет голову или грудь, как стрелки, избрав удобную минуту, стреляют медведя из винтовок. Заломы нужно держать как можно крепче, потому что освирепевший медведь, хватая их зубами и лапами, старается удёрнуть к себе в берлогу, но никогда не выталкивает их вон. Нужно быть хорошим стрелком, чтобы уловить удобную минуту и не промахнуться, ибо медведь так быстро поворачивается в берлоге и так моментально выставляет свою голову в чело её, что здешние промышленники особо даже выражаются по этому случаю: “Не успеешь наладиться, чтобы его изловить; высунет свою страшную головизну да и опять туда удёрнет, словно огня усекёт, проклятый, а ревёт при этом, чёрная немочь, так, что волосы поднимаются; по коже знобит, лытки трясутся, — адоли гром грымтит индо лес ревёт!!”*

— Добр-р-ром! — пробасил Глухарь. — Мне ещё вёрст на пятнадцать хватит! Верно говорят: слово — не кедровая иголка. Его ни клюв не пострижёт, ни камень не перетрёт.

И снова напятили сил крылья и заработало Глухариное сердце в полную прокачку. И снова, будто воспряв, с силою потянулась подкрыльная сизая даль и склон с лиственничником начал подступать под самое глухариное сердце.

Господи! Как бы хотелось, чтоб и от моего слова креп воздух над Сибирью и наливались силою чьи-то крылья. Чтобы в долгой дороге — по воде ли, пыльно взрытой задиристым севером, в ухабистом ли иссечённом пургой воздухе или на уваленном снегом зимнике легчало бы на сердце от зававшей в душу строки и сгоняло с усталых очей сонную пелену. Чтобы трудовой мужик, умученный незадавшимися днём, придя в промороженное зимовьё, растопив печь и избежав хозяйственный бытовой круг, откинулся на нары, и нащупав на полке именно эти страницы, прочитал и почувствовал, что не один в тайге, да и в жизни. И слова, что в городе покажутся чересчур плотными, здесь расправятся и без остатка разойдутся-растащатся стужей, требовательной и сильной далью, сердцем, обострённо открытым и жадным до человеческого слова.

Лети, слово, в студёное Божье небо. Помогай ему всей силою образа и памяти, древнего строя и музыки. Держи ветер, не жалей пера и знай: не в том доблесть, чтоб, пустив тебя в морозное поднебесье, с восторгом и гордостью следить за твоим взмывом и ставками. И не суть, каков напуск — в подлёт или с верха, и что меж вами в эту секунду — сокольников перчатка или пласт прозрачного воздуха. А в том, чтоб не выронить связи меж судьбой и взмывшей под облако птицей. Ведь едва прервётся перевязь-жила — хана промыслу, и не мешкая хлынет в прорех ложь и измена. И не в том суть, как добавить красоты полёту, а в том, как, стоя на земле, не отпуститься от кречета и делом подтвердить слово, если уж одарила тебя высь соколиной ловитвою.

...В это время тень метнулась сбоку, и Федя увидел сизо-белого кречета. Он спикировал, но, увидев странного Глухаря, сделал круг и приблизился так, что виден был его чёрный выпуклый глаз, ярко-лимонная кожа век и на восковице вокруг ноздрей. Сам он был пёстрый сверху, белоголовый и снизу белый необыкновенно снежной какой-то белизмой. И неожиданно ширококрылый, и с этой ширины крыло сильно сходило на угол, и сам конец крыла был не острым. И вид Кречет имел не такой остроугольный, как рисуют соколов в книгах, а повадка — солидная и неторопливая. Полёт его, ход крыла был неглубокий, хоть и частый, словно работал он нехотя и вполсилы, едва тревожа, притрагивая нетолстый слой неба.

Едва Кречет поравнялся, Федя поднял голову и спросил:

— Чо хотел?

И было видно, как отшатнулся Кречет, но, не подав виду, сказал:

— Да нормально всё. Тут наши не пролетали?

— Ваши — на Майгушаше, — бросил Соболь, и Кречет, так же будто совсем не торопясь и работая широкими на конус крыльями, отвалился от курса и потянул к югу.

Кречеты откочёвывали поздней осенью с Путоранских гор. Летели редко и очень осторожно, будто сторонясь человека, и Фёдор их видел всего несколько и раз и почему-то всегда над рекой, по которой шёл на лыжах. Однажды весной он отобрал у кречета свежедобытую копалуху. Ехал на снегоходе и, увидев большого светлого хищника, сидящего на добыче на реке, подъехал, а кречет тоже как-то не проворно и нехотя отлетел. Копалуху Фёдор забрал, чтобы дома сунуть в морозилку — на следующий год на приваду. По пути в посёлок он встретил мужиков с кем-то приезжим, который, узнав про кречета, взбудоражился, заставил копалуху достать и, выудив бутылку коньяка, велел приготовить макалово (соль с перцем) и на сиденье снегохода устроил гульбу. Построгал грудку копалухи, макал её и всё восхищался: “Мужики, теперь я могу сказать, что закусывал копалухой, добытой из-под кречета! Это же опупеть!” Сейчас Федя, распластанный на Глухариной

спине, об этом и не вспомнил. Его небольшая голова вмещала одну мысль — как долететь.

Глухарь только покачал головой:

— Хорош гусь...

Тот север, о котором говорили ещё на полу и который должен был помочь с заходом на посадку, перешёл из-под тучки в северо-запад и стал кидать птицу и буквально вставать стеной, отлепляя Федю от Глухариной спины. Удары сбивали с маха, крылья то проваливались, то упирались в порыв, и с каждым метром всё трудней становилось лететь, да и ветер настолько глушил голос, что уж не подпитаться было спасительным словом.

Они летели вдоль реки. Посёлок стоял в её устье, где впадала она в Енисей. Они срезали кривуны, но белое полотно реки пролегало рядом, то и дело появляясь меж гористых берегов. Теперь шла равнина, и реку было хорошо видеть.

— Давай на остров! Там не будет никого! Облети — следы глянem входные.

— Остров — хорошая штука.

Сверху остров был похож плоскую лодку или талиновый лист, острый с концов.

— Будем ждать, пока не западёт ветер. Заодно перекусим.

На острове росли несколько кедров и большие лиственницы. Глухарь подкреплялся кедровой хвоей, и Соболь его охранял, следил за обстановкой. От острова уже недалеко оставалось до Енисея и посёлка. Место было хорошо освоенное, и они слышали лай собак в тайге, и несколько раз вдоль коренного берега проезжали снегоходы. Ветер начал западать. Тучка разрослась и, поблeднeв, натянула сизоватую дымку, в которой всё как-то осеребрилось.

— Ты лети спокойно, — сказал Федя. — Сейчас все охотники в тайге, а остальные, если и увидят, не успеют смикитить. Они и не увидят. Залетай с кладбища, там дом с профнастилом, на свету горит.

Стартовали с высокой лиственницы и потянули к Енисею. Чем ближе к посёлку, тем чаще раздавался рёв снегоходов и собачий лай. Начался самая опасная полоса — пояс, где особо шнурливые подростки носились с собаками и ружбайками, словно учёба им не впрок, и одна забота в тайгу удрать. Зато у самого посёлка была своего рода полоса безопасности — охотники её проходили ходом, ломаясь дальше в тайгу. К тому же к Фёдорову участку примыкало кладбище и никому не пришло бы в голову шариться там с собаками. Необыкновенно густой кедрочок рос и у домов, и на кладбище, где был похоронен отец Фёдора, Дед Евстафий.

Уже смеркалось. Глухарь, едва взгромоздившись на круглую кедр, посадил Федю, и тут же, захлопав крыльями, взмыл над посёлком и улетел восвояси. А Федя высидел в шарообразной кедре ночь. Выдалась она нелёгкой и тревожной. Слышал, как лают собаки, как лай, только начавшись в одной точке одиночно, тут же подхватывался в других местах и как особенно тоскливо, с подвывом лаяли в нижнем конце. С натянутой ветром хмари луна была мутная, но окрестность просматривалась, и Федя надеялся, что, может, выйдет вечером Анфиса, хлопнет дверью, и даже перебрался поближе — совсем на край на высокую пихту.

Федя прежде не особо думал о семье, и хотя и прикрывался ею, оправдывая свой болиный нарыск, на самом деле лишь себя тешил, и когда накатывала тоска по близким, то было она и настоящей, и сердечной, да только он скроил себя так, что погоды она не делала. И сидела в нём и грусть по жене и сыну, и сочувствие, и нехватка близости, но мешала низовая хватка, которую он сам в себе выбрал и с такой силой развил. В ней он возрос, ею и занимался, а любовь не догрел, и она осталась в зачатках, а когда наступала, то он с непривычки терялся, переживал неуклюже и впадал в топорное даже умиление. Эх, если б люди, живущие выгодой, шли до конца, то понимали бы, насколько выгода душевная ценнее физической.

Дом стоял задней стенкой к лесу, крыльцом к стайке. Густые шарообразные кедрy росли по краю и неузнаваемо отличались от своих струнно вытянутых таёжных собратьев. Они росли и на самом участке, обозначенном

забором, который деревья не признавали. Они тёмно зеленели, кроме одной засохлой ёлки, у которой Фёдор привязывал собак. Летом, спасаясь от комаров, они разрыли корни и ель пожелтела. Сейчас, правда, всё было под снегом.

Ещё потемну надо было занять обзористую позицию, потом у что Анфиса ходила первым делом в стайку, а потом кормить Азарта с Бойкой, которые сидели привязанными внизу огорода ближе к Енисею — как раз у той сухой ёлки. Цепь Азарта была надета кольцом на длинную толстую проволоку, закреплённую меж деревом и домом. Скользя по проволоке, кольцо позволяло Азарту бегать вдоль проволоки, и ту отшлифовало в зеркало. Кольцо ехало с самолётным скользящим свистом, и гулко отдавалось в сруб — проволока была и сама натянута, да и вес строя добавлял.

Собаки сидели по местам, так же взвизгивало кольцо по проволоке и словно напоминало о том, как надёжно всё Фёдором сделано. И Анфиса тоже была частью этой хозяйственности, крепко выполняя наказ — собак не спускать. О чём говорил и снег — следов не было.

Собак он строго-настрого запрещал отпускать с привязок — забор не спасёт и прорваться с участка в посёлок засидевшаяся псарня умудрится любыми путями. А там собачьи свадьбы — кобеля задерут, да и мало ли куда залезут четвероногие, в ограду, в стайку к курицам — пристрелят пса и не узнаешь. А уж к Рождеству наметёт такие надувы, что скроет забор с головой — беги куда хочешь и кто хочешь. Сейчас до надувов не дошло, а забор Фёдор сделал высоким и плотным, так что чужих собак во дворе не было.

На рассвете Федя аккуратно пробрался до ближней к дому кедрушки, спустился и, пробежав по двору, забрался на сосну, росшую напротив веранды, где сидел в развилке рядом со скворечником, который сам и сделал. Эх, как бы сейчас пригодился леток пошире, но он об этом не думал: у него только она мысль помещалась в голове: увидеть Анфису и сына. Так хотелось, что он не думал ни о том, как выбираться, ни что вообще будет дальше. Так бывает: кажется, увидишь дорогого человека, и так озарится в мире, что всё само решится.

С сосны, посаженной ещё Фёдоровым отцом Дедом Евстафием, отлично просматривался и весь двор, и его собственный след: со стороны леса он шёл по целичку, дальше было утоптанно, а перед сосной след снова выбирался на чистый снег, пересекая след кошки. Анфиса точно не приметит, а Дей выйдет, угруженный ранцем, и сразу к воротам.

Хлопнула дверь из избы в сени, раздались напряжённые трудовые шаги: так ступают, когда несут что-то. Отворилась дверь, пнутая ногой, и, скрипя калошками, вышла Анфиса в фуфайке и платке и с собачьим тазом. “Два раза кормит, как просил, заботится”, — проехало в голове. Федя увидел Анфису только сбоку и, особо не разглядев, заметил что-то белое на левой руке. Это был гипс — несколько дней назад она упала, и у неё треснула кость возле запястья. Таз одним бортиком лежал на забинтованном гипсе, уже измыганном, потемневшем в бесконечных хозяйственных заботах. Анфиса повернулась спиной и пошла вдоль дома в сторону невидной собачьей ёлки. Федя отлично слышал и скрип валенок, и отчаянно взлаявших собак, почувавших кормёжку, и их топоток, скользящий звук кольца по проволоке и её гулкую отдачу в избу. “Да несусь, несусь!” — говорила Анфиса собакам. — А ты-то! Ты-то извертелась! Ой, лиса-лисуныя! А ты-то! Ты-то!”

Видимо, поставила таз и стала черпаком отливать в чашку, чтобы каждому отдельно. Слышно было прекрасно — даже как Азарт издал от волнения зубную дробь, задрожал, часто перещёлкнул зубами. Обе собаки по очереди заотряхивались от волнения, и цепи загремели обильно, сбруйно. И снова прогрело от того, как крепко он сделал и цепи, и кольца, и натянул проволоку, и как это сейчас особенно надёжно и к месту работает. Наконец раздалось дружное чавканье. Потом, видимо, Бойка прервала чавканье и посмотрела на Азарта. Ей показалось, что у него вкуснее, а он стал, не вынимая носа, свирепо рычать, бурля пузырями. Фиса взялась его увещевать:

— Ой-ёй-ёй! Ну прямо объели тебя! Объели! Ну уж прям и посмотреть нельзя, смотри чо. А ты тоже, мадама, не зарься, ешь своё! Ешьте, ешьте...

А я постою. О-о-о-о... Ещё сколько стоять-то так... Хозяин когда ишо... До Рождества самого... — и как-то задумчиво грустно протянула: — Ой, Господи...

Фиса ещё некоторое время говорила с собаками:

— Ну всё? Всё? Набили бока. Конечечко... Я вам туда ещё и курицы бросила... Ну иди, иди. Побегай... Засиделись... Засиделись... Конечно... Да ты ково тянешь-то! Погоди ты, торопыга, дай отцепить-то! Ой, юла! Ой, юла! Ково лижешься?! Несураз-ный! — Она особенно ударила на “ный”.

“Какое “побегай”?!! — вскричало, взорвалось у Феди в голове, сверкнуло по всему холодеющему существу. — Она ково делат?!” Но уже нёсся навстречу весёлый и мощный собачий перетоп с кусачим рыком — Азарт на ходу покусывал Байку. Метнулись по двору, и тут же кобель, взвизгнув, ткнулся носом в след, и моментально поднёсся к сосне и залаял, сначала неуверенно, а потом азартно и рьяно.

В это время маленький Дей вышел на улицу с ранцем и вдруг, бросив его на снег, заскочил домой. Если выходил он неторопливо, даже особенно вяло, тягуче, и тягучесть подчёркивал инородный портфель за спиной и болтающаяся лямка, то, сбросив ношу, мальчишка необыкновенно быстро скрылся в сенках. Анфиса тоже вошла, грохнув пустим тазом, и слышались их разговоры, сын что-то искал (“Мама, ты котомку чёрную, случаем, не прибирала?!”), (“Ково там?”), (“Да там в пакете три пачки, “Юниор”), (“Да я в ларь положила”). Через несколько минут Дей выскочил с “тозовкой”, и в лоб Фёдору уставился ствол.

Окончательно рассвело.

“Тозовка” была старая, ещё Деда Евстафия, “ТОЗ-16”, однозарядная, с утолщением, бутылковидным пламегасителем на конце ствола. Ствол вытертый, оловянно-белый, приклад серый, и, как водится, замотан изолентой. Изолента синяя, блестящая и будто лакированная — до того затёртая. И на затворе круглая набалдашка, шарик отшлифован в зеркало. Этих подробностей Федя не видел — знал наизусть.

Произошло ещё вот что: едва в лоб Фёдора уставился ствол, всё происходящее в душах и с душами уплотнилось во времени, тогда как земное, напротив, замедлило ход. Это касалось всего: движений сына, когда он, не сводя глаз с соболя, нащупывал в кармане среди россыпи пулек — одну-единственную, главную в эту минуту, а может и в век. И как пульки не хотели перебираться — подрагивали пальцы, и наконец попалась одна, то ли самая быстрая, то ли, наоборот, неловкая, слабая... И когда Дейка медленно взял за блестящий шарик и отворил затвор, и вставил пульку тёмного свинца с блестящей жёлтой гильзой... И очень медленно дослал затвор, который растянулся, открыв дырку с пружиной... И вот “тозовка” заторможенно поднимается к плечу, причём Деюшка очень красиво и заправски сгибает локоть, отводя в сторону, и поднимает, упирает в плечо приклад. Потом так же медленно опускает приклад обратно и переводит бегунок мушки с пятидесяти на двадцать пять на метров.

Едва Дей поднял ствол, и глаз увидел в прорези мушки голову Соболя, как крепчайшая связь установилась меж стволом и лбом Соболя. Вытертый ствол с набалдашкой будто имел продолжение, и Соболю теперь был нанизан на прицельную линию, как кусок привады на роженё кулёмочной насторожки. На кедровую длинную и сухую щепу, заботливо приготовленную охотником в избушке. И так крепко сидел Федя на рожене, что любая дрожь в руках сына отдавалась в голове, и казалось, если тот поведёт стволом, то другого удёрнет с сосновой развилки. Но сын крепко держал оружие: главное было сделано, осталось только пальцу нажать на спуск, а пулке вылететь и с тугим шлепчком пробить тёплую голову.

Дикое разрежение глядело из чёрного зрака ствола, но роженёк кулёмки, торчащий во лбу, был тошнотворней и сильнее пульки. Федя надеялся, что лоб привыкнет, что роженёк прилежится и перестанет так знобить душу. Рука сына всё-таки подрагивала, и в Фёдоровой голове происходила мешанина содержимого, видно роженёк, как мутовкой, вскручивал память и помогал Фёдору думать обо всём сразу. Но главное, что надетый на роженё Федя мог только в глаза Деюшке смотреть.

Когда Деюшка пил молоко из Анфисиной груди, Федя смотрел замороженно. Деюшка так старательно сосал молочко, что его головёнка с белыми волосиками покрывалась нежнейшим бисерным потом. Глаза Деюшки были открыты и смотрели на грудь мамы, но чувствовали рядом и отца. И ручка нащупывала папу, не глядя, и отодвигала, чтоб не мешал, не отвлекал. Отец, наоборот, хотел участвовать в таинственной передаче силы, и было обидно, что гонят... Но Деюшка не всегда его прогонял, а иногда, наоборот, затевал игру. Попьёт-попьёт, а потом резко оставит сосок, тот резиново сыграет, выбросив мутно-белую каплю на детскую губку, а Деюшка повернется, перекатится на спинку и смотрит на Фёдора. Смотрит почти проказливо, и пристально. А потом вдруг снова перекатится, на бочок ляжет и снова за сосок. И сосёт, смотрит распахнутыми глазами перед собой, и торчат реснички, а сосок большой, набухший, а ротик приоткрыт, и видно, как работает, старается язычок. А малыш попьёт-попьёт, и вдруг снова откатится и смотрит на папу в упор. Внимательно-внимательно, будто проверяет, стоит ли отец всего происходящего, туда ли попал малыш, и кажется, вот-вот улыбнётся... и снова кувырк и за сосок. И опять в приоткрытом ротике старается язычок, добывает спасительное молочко, закачивает жизнь. А Деюшка снова откатится и смотрит на Фёдора. Эти глаза и теперь смотрели на папу в упор.

Однажды Фёдор рыбачил под осень окуней на яме. Окуня́ были здоровенные, а главное, в отличие от остальной рыбы брали не всякий час, а утром или ближе к вечеру, и азартно было угадать в клёв, да и собакам на корм рыба всегда в приварок. Рыбачил Фёдор с лодки — под скалами в яме с чёрной водой, по которое плавали жёлтые листьяжные иглы. Часа два протаскал он окуней, и когда в очередной раз кинул спиннинг совсем недалеко от лодки, вдруг взял здоровенный тайменя. Год спустя история повторилась: ловил щук на яме, и тоже под конец выворотил тайменя. Понятно, что холодеет вода к зиме, и таймень бросает пороги, начинает широко ходить и шариться по ямам. Но Фёдор объяснил и так: таскание окушариков, вся эта возня, рыба толчея, плеск, странно и быстро исчезающие окушки на водяном небосклоне — всё это привлекло рыбину, которая какое-то время медленно приближалась, ходила кругами по водяной толще, мощно и медленно изгибаясь на поворотах.

И когда сгустились события вокруг родового дома и вблизи кладбища, где когда-то похоронили отслужившую оболочку Деда Евстафия, то душа Деда спустилась спирально и начала медленно и плавно кружить у родного порога.

Отцу подумалось, что подобно кедру в грозу расщепился он на пять сыновей. Что каждая щепка — это часть его, одна какая-то сторона, а был он на все руки хозяином: и корабел, и пахарь, и охотник, и семьянин и молитвенник. Пять пальцев, пять кедров, сожмёшь в кулак — кусок камня, смолистый узел-сук. И если мизинец не в отцову щепу ушёл, то чей это недогляд?

Так странно пошло это утро, что мысли и о пережитом, и о происходящем никому не принадлежали и тоже вились в сгустившемся этом месте, ходили, изгибаясь, поводя хвостами, появляясь из леса с стороны кладбища, медленно сквозя меж пихтовых и кедровых стволов, и прошивая души Евстафия, Феди и Деюшки.

— Разлил себя по пяти четвертям-бутылям... На младшую не хватило... Вот и не дóлил... — сказала длинная краснохвостая мысль с лиловой спиной и тёмным крапом по сталистому боку.

— Так и пошло. А Фёдор Деюшке ещё больше не дóлил, — вильнула хвостом ещё одна, тихая, с оловянной чешуёй.

— Дóлил — не дóлил. Так говорите, будто своё вообще не в счёт, — почти обиженно сказала небольшая толстая рыбинка с полосками и капризным ротиком.

— Да тут важней — не своё-чужое, а Божье, ли бесово. Сильный Божье отстоит, а слабый отложит, — сказала оловянная.

— Ой, дефьки, давайте не надо: "сильный-слабый"... — отмахнулась плавником полосатая.

— Ну отчего же... — негромко сказала серебристая мысль с плавниками, дымчатыми, как вода в горной речке. Она тоже выплыла из леса со

стороны кладбища, гибко и очень плавно овиливая стволы пихт и кедров. На их ветках висели ржавые цепи от бензопил, которыми пилили землю, когда хоронили зимой, и серебристая мысль проплыла сквозь такую цепь, и та тихо звякнула. А серебристая продолжила:

— Вот говорят: “ну что с него взять — слабак-человек, не может противиться...” А посмотреть, оно у всех: и светлое в душе, и тёмное, почти поровну, и даже самый праведный, если попустит, то может так в себе тёмное размотать, что на десять неправедных хватит. Ты правильно сказала: важно, как ты в себе светлое увидел-отстоял. Бывает, сил-то по горло, а пример не тот взял. Важно не чѐм одарили, а как с дарѐным поступишь. А сильный, несильный... Бог разберѐт. Вон вроде сильный, волевой. А доброты нет. Одного себя видит. И к чему сила? Вот возьми — Кречет и Глухарь... Кто сильнее?

— Глухарь однозначно, — сказала мысль с полосками.

— Да что Кречет? — раздражѐнно сказала краснохвостая с крапом. — Один форс.

— Сильному и трудней, — сказала ещё одна, тоже серебряная, но совсем небольшая и стройная. И раскрыла спинной плавник с изумрудным разводом по крапу: — Но ему всегда кажется, что он знает, что делает...

— ...Что есть закон, — поправила серебристая. — И такому не надо свидетельства... А слабому — чудо нужно.

— А сильному вроде и не нужно, но иногда он так засомневается, что хоть не живи. А слабый, если уж чудо случится — так уверует, что всю жизнь свою развернѐт, — сказала с разводом по плавнику.

— И так до конца пойдѐт, что сильнее сильного будет, — подхватила оловянная.

— Сильней сильного? — задумчиво сказала с дымчатыми плавниками. — Не знаю. Сильный — кто любить умеет. И меняться, но не изменять.

— Меняться... — повторила оловянная. — А есть, кто всю жизнь в борьбе чѐрного и белого живѐт и это за верность считает. А есть — которого так шарахнуло, что жизнь новую начал. И что не узнать — словно шкуру сменил.

— Такие только в притчах бывают, — пожала полосками полосатая.

— И-и-и... — сказала пожилая рыбка со шрамом на хвосте. — Жизнь и есть главная притча. А сильный — кто это видит.

— Мы тут можем сколько угодно рассуждать... — тревожно прервала мысль с оловянной чешуѐй. — Но что-то делать надо.

— Да, — сказала серебристая с дымчатыми плавниками. — Тем более этой земле так досталось, что мы... не можем...

— Ну... — сказала краснохвостая, — не имеем права...

Вдруг перелились звоном все цепи, висающие на кедрах и пихтах, и гулкий голос сказал:

— Я-то ладно. Я всё видела и под небом лежу. А вот Кровинушке какково?

Кровинушка всё это время тихо ждала и хоть и слышала разговоры, но по-настоящему слушала только небо и давно всё решила. Странны ей были рассуждения, но она понимала, что ничего просто так на Земле не делается, и минуты эти к чему-то нужны. Она была как мать, что собралась отстоять дитя, на которое весь белый свет ополчился. Она всё знала, всё решила. Не рассуждала и не гадала, что скажут другие. И даже думала, что одна такая чудачка, и была единственная, кто не сомневался. И когда её спросили, ответила:

— Не бывать этому.

И вдруг тайга зашевелилась и повторила:

— Не бывать этому.

— Не бывать, — повторили Круглая Кедрa и сосна со скворечником, сделанным Фѐдором безотчѐтно, по чутью, и с осени ждущим скворушек, которых так любил мелецкий Деюшка.

И Земля сказала:

— Не бывать.

И даль подхватила эхом:

— Не бывать, не бывать, не бывать...
И небо облегчённо вздохнуло и сказало:
— Воистину не бывать.

Время уже сжималось, и бессмертие, которое вторглось в земную гущу, чтобы помочь разобраться со случившимся, уже отходило обратно, словно в вечности образовалось разряжение, утечка. Так уходит рыба из мелеющей старицы в реку, когда в ней падает вода, и по закону сообщающихся сосудов начинается перетекание, переброс водяной плоти, незримо подчинённый планетарному единому урезу. Так засобирались и мысли и стали одна за одной уходить к лесу.

Цепь, которой пилили могилу Деду Евстафию, висела как раз на Круглой Кедрё. Она, видимо, была в то утро самым проточным местом, окном в невидимое, потому что рыбы именно в неё и утекали, затягиваемые светлой воронкой. Последним проплыла большая и трудовая душа Деда Евстафия, на ходу коснувшись цепи. Та ответила тихим звоном, а душа Деда успокоенно устремилась к свету, к поверхности...

А Деюшка так загрустил по тятё, что слабостию налились руки, и хрустнул смертельный рожень, соединявший дульный срез “тозовки” с соболиной головой. И Азарт залился неистовым лаем и с такой силой зацарапал, заскрёб лапами по столу сосны, что вдруг поплыло в глазах и у Фёдора. Как-то голоса слышались, кто-то заговорил наперебой, и стало казаться — необыкновенно знакомое, важное звучит, и что-то мгновенно явившееся, сверкнувшее — продолжение давнишнего, прожитого...

Федя очнулся на нарах, на своей лёжке, на сохатиной шкуре. Настолько серьёзным было произошедшее и столько в нём было смысла, скрытого от земного понимания, что требовался соединительный зазор, смещение во времени — поэтому переброс Фёдора происходил на самом рассвете, на полчас раньше свершённого у сосны.

Медленно выплыло из тьмы синеющее оконце, затянутое полиэтиленом. Фёдор некоторое время лежал, приходя в себя и не рискуя пошевелиться, словно движение могло нарушить случившееся, вернуть туда, откуда он только что явился. Фёдор медленно потянулся к лампе и снял стекло. Фитиль был с нагаром — в своих страстях и слабостях он не следил за лампой, махнув на многое. Фёдор двумя пальцами снял крошащийся гребёнок, который сухо отломился по самое основание... Стекло было мутным, в бурой гари. Он оторвал кусок от тряпки (старой простыни), которую клал на колени, когда обдирал соболя. Нынче тряпка была почти чистая. Начал протирать изнутри стекло, и оно становилось всё более сияюще прозрачным. Он дыхнул, оно взялось туманом, и он снова протёр по влажному и, глядя на проявляющейся куполок, вдруг почувствовал, как влажно прозрели глаза и мурашки прошли по затылку...

Фёдор достал спичку, но она не загорелась — головка крошилась, и горячая крошка, шипя, отлетела в щёку. Он достал вторую спичку, и та было загорелась, но, чадя, погасла, и пахнуло мгновенно серой. Он взял третью, что-то сказал, чиркнул, и она загорелась ярко и счастливо. Он поднёс спичку к фитилю. Фитиль, потрескивая, разошёлся, Фёдор вставил в лапки горелки до скрипа вытертое стекло, и ясный свет озарил жёлто тёсанные стены. Фёдор посмотрел на свою руку. На мизинце почернел ноготь: “Сойдёт теперь”.

Фёдор затопил печку и вышел из избушки. Свежий и пухлый пласт снега лежал перед избушкой по границе навеса. Ступать было не то что страшно, а как-то... необратимо. Двигался он чутко и по-светлому осторожно. С каждой секундой Фёдор неумолимо отдалялся от точки своего пробуждения, от границы случившегося, и всё то, что оставалось за ней, продолжало звучать и наполнять знобким туманом каждую жилку, и он боялся, что туман ослабнет. И следил за ним, страшился пролить и растерять всё то, что огромным комом-облаком стояло под сердцем.

Подошёл к снегоходу, укрытому тонкой и крепкой синтетической тканью. На ткани лежал слой снега, он потянул, и она подалась, пружиня. Тянул, и с крупным зернистым шорохом ткань сползала со снегохода, с промёрзлой сидухи, и когда провисала, ощущал сыпучую тяжесть снега.

Завёл снегоход. Пока тот грелся, порывшись под навесом, нашёл полмешка соли, взял за твердую и одновременно пластилиново-податливую просолевшую мешковину, поставил в багажник и уехал на путик. Когда вернулся, у избушки скакали собаки и желтел снегоход со стрекотными фарами. Из двери в клубах пара выскочили брат Гурьян с Мефодием и Лёвой. Глаза у племяншей были радостные и сияющие, а у Гурьяна радостные и возмущённые.

— Здорово, брат! Ты где был? Мы тут с ума посходили!

— Моим не говорили?

— Да нет пока. Хотя времени-то подходя прошло.

— Волновать не хотели, — сказал Лёва.

— Ну и правильно.

— Ты где был-то? — снова спросил Гурьян.

— Ну пошли в избу, — сказал Фёдор.

Вошли в жаркую избу. Фёдор долго раздевался, стаскивал свитер с плотным, узким, как рукав, воротом, так что сквозь него килем пропечатывался нос. Тащил и задралась кверху вся борода, полностью закрыла лицо снизу, а потом пружинисто вернулась на место. Фёдор не спеша *развешал* отсыревший свитер на вешалах над печкой (“Вы давайте тоже сушитесь — всё равно сыреешь в дороге”). Повешал домашние рукавицы с пришитыми тесёмочками — завязал их так, что получилась пара — и тоже на палку. Сел напротив брата.

— Ты куда пропал-то? — спросил в упор Гурьян.

— Да тут целая история...

— Ну? — смотрел пытливо брат.

— Летал.

— Как летал? — открыли рты все трое.

— За релюшкой. На Гудкон. Рация задолбала. Вертолёт подсел какой-то левый, туринский, что ли, или байкитский, рыбу имя срочно подавай, какие-то сидят, то-о-лестый такой ещё мужик в камуляже, рожка такая, — Фёдор показал руками, — с города наверно, закусить нечем... — и покачал головой, смеясь... — А у меня рация как раз крикнула, на связь-то не выходил.

Гурьян с сыновьями переглянулись.

— А я слышу, гремит, — невозмутимо продолжал Фёдор. — Ишо копошусь с дровами. А он садится. На коргу туда. — он показал рукой. — Я по берегу побежал туда. Но. А у меня как раз на второй избе ленки, чирь. — Он снова показал руками размер с полено. — Они орут: ждать не будем, у нас теперь всё на яшшык пишется. Ну и полетел.

Фёдор открыто глянул на слушателей. Сыновья снова растерянно переглянулись и опустили глаза.

— Дак а ты как смотрел-то? — грозно спросил Гурьян Мефодия.

— Дак... — развёл руками Мефодий. — Я не ездил туда, я те говорил — там дядя оборвался.

Гурьян с досадой покачал головой и добавил:

— Дак тебя кто ехать заставлял? Вы чо — без техники уже шагу не ступите? Сходить надо было. Вас отправлять... себе дорожке, — покачал головой и добил: — Там ямки от колёс должны остаться.

— Да он ково усмотрит? — возмутился уже Фёдор. — Это же на коргё. Там ветрище берёт, через полчаса и следа не видно.

— Ну поня-ятно, — заговорил Гурьян, передразнивая некоего избалованного увальня. — Это же триста метров! Это же пройти надо!

— Я туда по берегу бродком убежал — лыжи-то сохли как раз, их вытаскивать надо было. Ямки... — и Фёдор улыбнулся, покачал в свою очередь головой. — Иди вон, не веришь дак — там видать поди.

— Да где видать, там передудо всё — такой северище катал! — возмущённо сказал Гурьян и отвернулся, а потом, помолчав, спросил:

— Дак а как ты по берегу убежал, если провалился? Там же промыло.

— Да промыло-то выше. А заберег как раз от ручья, где вода выливалась.

— Я одно не пойму, — говорил Гурьян с напором и напряжённо хмурился. — Здесь расстояние пятнадцать километров максимум. Вертолёт бы как поднесённый бы грохотал, мы бы чо, не услышали?!

Фёдор пожал плечами и ответил почти возмущённо, но негромко:

— Дак вы поди на техниках ехали. Не дома сидели... — и отвернулся в свою очередь, а потом снова уставился на брата с пристальным прищуром: — Вы в четверг утром чо делали?

— Так... — сказал Мефодий, который был за дядю потому, что иначе оказывался вороной.

— Это когда было? — подал голос Лёва.

— Так... Да в четверг! Как раз в среду Ла́баз соболя обдирал. Ещё рейсовый был. Чо вы мне рассказываете? — напёр Фёдор.

— Ну вот, тятя! — почти крикнул Мефодий. — Мы как раз мясо вывозили, на двух “буранах”.

— Ну! — развёл руками и почти презрительно воскликнул Фёдор. — Вы ещё с утра Перевальному сказали, что в две технике поедете.

Гурьян сосредоточенно посмотрел на каждого из сыновей. И вдруг выпалил:

— Дак обожди. Какая релюшка, если ты слышал? И Фодя рацию проверил — работат!

Гурьян глядел облегчённо и почти весело.

— Дак она работала, — очень спокойно и нехотя-торжественно отвечал Фёдор, и отдельно, мягко-мягко, как в папиросную бумажечку завернул: — *Только на приём.* — и добавил уже заедливым сорным тоном: — Вы чо не знаете, как релюшка крикат?!

Гурьян с недовольством поглядел на сыновей, будто они во всём виноваты.

— Дак погоди, а... — всё недоумевал Гурьян. — Дак а как ты обратно-то? Чо без лыж?

— Но. По своей дороге прибрёл сюда, слава Богу. Правда, умучился. Вчера как раз. А сёдни туда ездил ишшо.

— Как вчера? А... чо так долго-то?

— Да лежал пластом. — сердито сказал Фёдор. — Спину так скрутило, что не вздохнуть, как грится, не выдохнуть. Видать, продуло у вертолёта.

— Но, продуло... — покладисто и уже даже заворуженно кивнул Мефодий.

— Но, — невозмутимо продолжил Федя, — просифонило, пока бродком по корге брёл, не одетый добром, ещё так повернулся неладно, ка-а-ак вступит. Когда залезал, упал короче, за порог-то схватился, а бортмешок этот дёрганный, трап вытаскивал и мне на палец как раз бросил. — Фёдор кивнул на палец. — Сойдёт теперь ноготь.

Гурьян молчал, только часто смаргивал.

— Ну и как у вас охота нынче? — победно сменил ветер Фёдор.

— Да так-то ничо, — неопределённо ответил брат.

— Я почему спрашиваю, — уверенно и обстоятельно заговорил Фёдор. — У меня нынче-то совсем плохо, сам знашь, да ещё, слушай, соболя какой-то хитровыдуманный завёлся — четыре путика обчистил. Че-ты-ре, — он показал на пальцах.

Мефодий с Левонтием буквально подались вперёд лицами.

— Да добро б просто обчистил, а именно *запускает* капканы! Я вообще первый раз такое вижу!

Мефодий с Лёвой так же надвинулись лицами к отцу. Тому не хотелось рассказывать, как из-за него упустили соболя-вредителя, но он себя пересилил и сказал очень медленно, разжёвывая:

— Если бы знал, сколь этот хитровыдуманный нам нервов сжёт.

И вкратце изложил историю, как выхаживал соболя вокруг ёлки, как приехал Мефодий, как уехали в избушку, а собаки ночью бросили соболя.

— Ну ладно, — сказал увесисто и облегчённо Гурьян, — главное нашёлся. Может, с нами поедем, у нас мазь есть для спины. Ну и... — он улыбнулся — бражка подходит! На голубике. Отметим. Слава Богу, как грится.

— Да не, спасибо. Мне отмечать шибко нечего. Я вот тут домой, правда, собираюсь, тогда, может, заскочу... Скажу, короче.

— А чо домой?

— Да надо там... Проведать. Чо-то беспокойно. — он потёр сердце.

Гурьян с сыновьями уехали. Фёдор остался с Пестрей. “Брат, конечно, есть брат, — думал он, — беспокоился. И молодец, что панику не поднял.

И хорошо, что приехал”. Но когда он увидел весь этот аргиш у зимовья, снегоход с нартой, собак — всё аж перевернулось внутри. Настолько не стыковалось оно с пережитым.

Фёдор пытался вернуть утреннее состояние. Вспоминал начало дня. Когда поехал отвозить соль Сохатому в осинник, и первым делом проверил путь, на котором попала соболешка. Капканы были рассторожены и именно те, которые он тогда запустил. И оторванную жердушку нашёл под снегом — над ней возвышалась снежная колбаска. И ямки виднелись на месте сохатиных следов...

Гурьян ехал за спиной у Мефодия, а Лёва в нарточке. Примерно в это же время Нефёд ехал по зимнику вдоль Енисея на “камазе”-бензовозе. Брат Иван ехал на раздрызганном “буране” и вёз домой в бочке хрустально-чистую речную воду. А старший брат с посохом в руке тащил на нарточке крепкие листовяжные чурки — серые с рыжими торцами. И врезалась в грудь стёганая лямка.

К вечеру все завершили дела, добрались каждый до нужного места, и вечер всех успокоил, уладил, уравнил сизой пеленой. Погода стояла тихая. Федя включил рацию, а сам вышел и копался у избушки, разговаривал с Пестрей. Кто-то по рации канючил, что “когда не ловятся соболя, хоть на стену лезь”, вот и маешься, просишь, “чтоб время побыстрей пошло”. Вроде как девать некуда...

— Интересные... Имья побыстрей, — подумал он без укора, — а тут только бы рассчитаться со всеми... Ведь мне... Ведь мне по гроб жизни теперь дела хватит... Но сперва сына увидеть!

Работал аккуратно и вдумчиво, боясь уронить, нарушить чудный и обострившийся строй жизни, а войдя в избушку, разоблачился, всё аккуратно развешав по местам, и неторопливо, сев на нары, снова, дыхнув туманом, протёр ламповое стекло и зажгёт лампу. Перед трапезой помолится. Потом переговорил с братом, чтоб тот (ему ближе) с домом связался, пусть Анфиса переговоры назначит на завтра где-нибудь “днём, когда никто не базланит”. Потом лёг и почувствовал, как налегает расслабленно сон, и с облегчением вековой усталости отдался светлomu его наваждению... Сон был целительный, и, погружаясь, Фёдор чувствовал свежую строящую его силу.

Снилось сначала по мелочи что-то подсобное, близкое — всё кусочками, обрывками, но и сквозь них вздымающая тяга продолжала наполнять душу, а потом вдруг запел ветер в чьём-то пере, засквозили внизу звездовидные кроны лиственней и оказалось, что снова летит Фёдор над тайгой, распластавшись на птичьей спине. И сначала хорошо и ясно летится им по-над далью, а потом вдруг дрябнет воздух в слабеющих крыльях, и Глухарь поворачивает к Фёдору бородастую голову, глаз цвета кедровой смолы, алую бровь и кричит: “Читай, читай, а то тяга падает!” А Фёдор как ждёт и, глотнув неба, начинает:

Эх, славно лететь по-над домом на крепнущих крыльях, глядя на землю, что кормит и греет, снаряжает делом по самое горло, даёт сильному окорот, а слабому спасение. Славно хранить нажитое душой в испытаньях и бедах, и учить изболевшее сердце отличать, где добыча, где промысел. Славно набрать на промысел доброго чтения, книг, старинных излистных, в бранях духовных и жизненных пережитых, ибо ничто не укрепляет так душу, как память о предках и их немеркнущих подвигах...

— Ну что, друг мой пожизненный? Легче тебе!? — спрашивает Фёдор.

— Легче! — гудко отвечает Глухарь и налегает на воздух крылами.

— Тогда поехали!

Почти все птицы улетали из дому на зиму, бросали его выстывающие своды, утопающие в снегах стены, двери, продутые ветрами. Оставались только поползни, синички, дятлы да кедровки и вороны — со всей птичьей братии всего десятка два неперелётных. Реденько жили они в этой зимней полутёмной тайге, где и солнце-то светило вполсвета, прибрав фитиль — а что стараться, коли жильцов раз-два и обчёлся. Совы и ястреба откочёвывали, не говоря про орлана, а из крупных оставался только глухарь, с двояродными братовьями косачом и рябчиком, да кочевая куропашка. Но если

даже и косачи пытались кочевать, шарились по тайге, то Глухарь, облюбовав тундрочку, так и жил на ней до конца дней пристойно, удивляя таёжных граждан хозяйственным строем и мудрым словом, которое он находил для каждой пичуги.

Глухаря, как главного и уважаемого жителя, птичье руководство, улетаая, не раз звало с собой, мол, эти-то дятлы-поползнь, с имья ясно, одно слово долбачи, а ты-то птица с понятием. Полетели с нами. Отдохнёшь культурно, перезимуешь по-человечьи. Познакомим с кем надо. Не брезгуй, видишь, предлагаем, значит знаем, чо-ково. Да только смотри, не пожалей потом. Ты поди сказки-то читал, там же чёрным по белому сказано — глухарь со всеми не полетел, один остался, да так пригорюнился, что глаза проплакал, аж брови красные стали!

“Дак это ж сказки, там и глухарь то лентяй, то дурень надутый. И проплакал-то глаза, а покраснели брови почему-то. Так что нестыковочка, хе-хе”...

Глухарь хоть и отпучивался, а на самом деле только мрачнел от таких разговоров и жил себе как жил — за свой счёт, не зарясь на чужое добро и края, а тех, кто весной возвращался, встречал немногословно и без упрёков.

Хотя по молодости был случай: как-то совсем плохо зажили птицы в тайге: воровство, неблагодарность, небрежение к земле и друг к другу — аж крылья жить опускаются. И так рьяно уговаривал его лететь орлан-белохвост, что Глухарь было и полетел. Но едва поднялся, как увидел в повороте сквозящую под крылом тайгу, убелённую первым снежком, реденькую и стройную, так и защемило глухариное сердце, и, описав широкий круг, вернулся он на родную тундрочку, похолодев не от студёного воздуха, а от осознания того, что он чуть было не натворил. И уже точно зная, что если и покраснеют у кого глаза, то не от зависти к улетевающим, а от любви к промороженной, прекрасной и одинокой этой земле. А особенно проняли его синички, которые так же попискивали в ёлке, и так же искренне ему радовались — им и в голову не пришло, куда он полетал.

С тех пор каждую осень в морозный день Глухарь отправлял свою родову на поседевший галечник добрать на зиму мелких камешков, а сам совершал объёт тайги, чтобы отдать дань памяти тому утру, расставившему всё по местам, и долг небу, наладившему на путь. И каждый раз старался взлететь выше, чтобы охватить взором как можно больше дали и напитать душу простором, которого так не хватает в повседневности. Так и летал он каждый год и уже не представлял осень без этого полёта.

Он поднимался на сопку и садился на самую высокую листовень. И сидел, с волнением озирая простор и думая о трудной и счастливой своей доле, а потом бросался, закрыв глаза и обнимая крылами морозный воздух, в прозрачную даль, и та подхватывала его и дышала, сокращалась, светлой судорогой участвуя в крепнущих этих взмахах-объятьях.

Плоскости ходили мощной и частой чередой. Поначалу Глухарь работал ими без передышки, а потом выходил на походный строй, ходовой режим: уменьшал частоту отмашки и вертикальный ход крыла. Когда взлетал — крылья ходили вверх-вниз глубоко, а потом укорачивали верхний выброс, потолок замаха и, выпукло изгибаясь, всё больше работали книзу, будто отрагивая воздух, доминиая до какого-то незримого упора и тут же отрывисто отпускаясь, словно боясь пристыть.

Крылья были настолько прекрасны, что воздух, ими умятый, уплотнялся, как снег под лопастью берёзовой лопатки, и твердел от одного прикосновения, чтобы навсегда запомнить их летучую поступь. А крылам казалось, что это родной воздух так немыслимо прозрачен и опорист, и что главное — в него верить и себя не жалеть. И на каждом взмахе с нижней оборотной стороны птичьего тела огромные и тугие грудные мышцы сокращались могуче и трепетно, как два сложенных сердца. Прикреплённые к тонкому килю грудины, они длились в крылья и через них ощущали упругую стать неба и не понимали, где заканчиваются пальчато растопыренные маховые перья и где начинается даль, которая так же пальчато входила в окончания крыльев, образуя с ними сквозистый замок. Так и летел над горной восточно-сибирской тайгой Глухарь, и так хорош был союз калёного воздуха и древней праведной птицы, что, крыла её, казалось, набирали смысла с каждым взмахом и оставляли прозрачные оттиски в небе и вечности.

ЮРИЙ ПАВЛОВ



ВРЕМЁН МИНУВШИХ ПРИЗРАЧНАЯ СВЯЗЬ

* * *

В рошу случайно зашёл,
Мог бы пройти себе мимо...
Господи! Как хорошо!
Непостижимо!

Вырвался после зимы
В мир, в суете позабытый.
Пленники, пленники мы
Вечного, вечного быта...

А за душой — ничего,
А на поверку — беспечность!
Боже мой, жить-то всего...
Кажется — вечность...

Фальшь, суета, словеса...
...Рядом, — бессмертьем ранимы,
Мудрые смотрят леса,
Вечные дремлют равнины...

ПАВЛОВ Юрий Сергеевич, поэт и прозаик, родился в 1950 году. Окончил факультет русского языка и литературы Владимирского пединститута, по окончании которого работал учителем сельской школы. Член Союза писателей России. Автор девяти книг поэзии и прозы. Лауреат литературных премий. Живёт в городе Владимире.

* * *

Поют петухи во Владимире,
Поют, нарушая уют,
Горланят, живые — не вымерли!
Да как незабвенно поют!

Средь кранов высотных и башенных,
Соборов, маршрутных такси —
С такою поют бесшабашностью,
Как пели всегда на Руси!

И кто же сказал, что в молчании
Петух деревенский охрип,
Что реже бурёнок мычание,
Колодцев осиновый скрип?!

Кто песню сложил эту грустную,
Что всё пролетело-прошло,
Что наше исконное, русское
Травую—быльём поросло?!

Так нет ещё — живо родимое!
А с ним и душа молода!
Поют петухи во Владимире,
И дай, Бог, чтоб пели всегда!

* * *

Вдруг сердце задохнётся от восторга,
Безудержными чувствами теснясь,
И станет осязаемой настолько
Времён минувших призрачная связь,

Что явью вдруг покажется нетленной
Веками не распуганная тишь,
И малою песчинкой во Вселенной
Себя в тот миг незримо ощутишь...

Предстанешь тёплой малою кровинкой
Со всем, что на земле и в небесах:
С букашкой, ползущей по травинке,
Зажатой крепко у меня в зубах...

Бездонное пугающее небо...
След самолёта, тающий во мгле,
И думается радостно о хлебе,
О смысле бренной жизни на земле!

И спорится в руках любое дело!
Любимая, огонь в душе храня,
Когда б в окно ты утром поглядела,
Ты, верно, не вспылила б на меня!

* * *

В Новой Жизни сойду с электрички,
Зачеркну всё, чем жил до сих пор,
И жнивьём, напрямик, по привычке
На знакомый пойду косогор.

Скрип колодца и крик петушиный
Вновь разбудят во мне столько чувств!
Надоело быть сжатой пружиной —
Не хо-чу!!!

Как я жил до сих пор? Что скопил?
Денег? Славы? Скорее — усталость...
Я хочу без руля и ветрил
Прошуметь то, что в жизни осталось.

Может, я, ненормальный, — один?
Понимаю, что жить надо строже,
Но чем больше морщин и седин,
Тем мы в чувствах и мыслях моложе...

* * *

Есть что-то дорогое в тихом быте,
В укладе жизни стороны лесной.
И время то на ниточке событий —
Жемчужинка, нанизанная мной.

Цветастые качнутся занавески,
Герань воспламенится на окне,
И станет так светло по-деревенски
В глухой, забытой Богом стороне!

Не свяжет солнце кружевных узоров,
Чтоб красотой поражали той,
Как бабушкины скромные подзоры,
Наполненные милой теплотой.

Уют мой деревенский, домотканый!
Волнуешь и зовёшь издалика:
Букет лесных цветов в простом стакане,
Краюха хлеба, кринка молока...

Пиджак на стуле — как деталька быта,
Коса в забор уткнулась во дворе.
“Сынок приехал! Тише, не будите:
Устал — косил поляну на заре!..”

* * *

Срублен последний венец
Крепкого дивного дома,
Прежнему делу — конец!
Может — начало другому?!

Дарит куда тепло
Солнечный день на исходе,
Вот уж и лето прошло,
Осень неспешно уходит...

В отблеске дел и забот,
Сжатых в обойму упруго,
Вновь мельтешит хоровод
Листьев, летящих по кругу.

Скошены травы, мой стог
Зимней заждался погоды.
Первая книга — итог
Этого трудного года.

Сколько успел я! Не зря
В роще, ветрами продутый,
Мне улыбалась заря
Вечером синим и утром...

* * *

Пригрел кто-то добрую птицу!
Когда это было? Давно?!..
Но всякий раз голубь садится —
Почтовый — ко мне на окно.

Рассвет удивительно розов,
И вот уже с первым лучом
Он здесь, и дыханье морозов,
Выходит, ему нипочём!

И весь истоптав подоконник,
В снегу проторил он пути,
Моей писанины поклонник,
В стекло постучится: “Впусти!”

Окно открываю, и снова,
Довольный собою весьма,
Является голубь почтовый,
Увы, как всегда — без письма...

АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ



ПЕВЕЦ БОЕВЫХ КОЛЕСНИЦ

РОМАН

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Генерал внешней разведки Виктор Андреевич Белосельцев находился в отставке, столь давней и глубокой, что позолота с его генеральского, висящего в шкафу мундира осыпалась, а из боевых орденов ушло солнце. Они потускнели, как церковные купола, обклёванные птицами и источенные ветром.

Когда он смотрел в зеркало, его отражение начинало туманиться. Зеркало наполнялось дымом. В этом дыму тонULO его сухое, серое лицо, седая короткая стрижка, тревожные, с выцветшей синевой глаза. От бесцветных узких губ спускались длинные желоба морщин, идущих от носа к подбородку. По этим тёмным руслам из лица утекла бывшая сила и свежесть, острая чуткость и предвкушение открытия, которому предшествовало терпеливое наблюдение, долгое обдумывание, пристальное созерцание. Это открытие, под стать прозрению, позволяло ему создавать оригинальную картину войны, в которой он принимал участие. Картину, совмещавшую кропотливую аналитику и поэтический образ. За это его ценило руководство, до конца не понимавшее методику, позволявшую Белосельцеву безошибочно делать прогнозы и писать сценарии.

Теперь прежнее лицо скрылось в дыму, наполнявшем зеркало. Это был дым Герата, по которому стреляли “Ураганы”, и над городом поднимались клубящиеся великаны, похожие на чёрных джиннов. Это был дым Коринто,

ПРОХАНОВ Александр Андреевич родился в 1938 году в Тбилиси. Окончил Московский авиационный институт. Автор многих книг прозы и публицистики, романов “Чеченский блюз”, “Красно-коричневый”, “Идущие в ночи”, “Господин Гексоген”, “Крейсерова соната”, “Человек звезды”, “Время золотое”, “Убийство городов”, “Губернатор”, “Гость”. Живет в Москве.

когда горели цистерны с топливом, подожжённые диверсантами, и никарагуанские солдаты, тушившие пожар, катались по земле, сбивая пламя. То был дым горящих хижин в мозамбикской деревне, мимо которой по Лимпопо проплывал его катер, и воронёный ствол пулемёта отражал оранжевое зарево. Это был дым ангольских лесов, из которых убегали слоны, антилопы и огромные рогатые жуки, шуршавшие у подножья деревьев. Это был дым горящего Дома Советов в Москве, по которому с моста стреляли танки, он лежал на затоптанном ковре, и ему на спину сыпались осколки стекла.

От всех войн, от разведывательных донесений, от вербовок, предательств и прозрений остался дым. И он, разведчик, потерявший страну, которой служил, утративший связь с Центром, который посылал его на задания, всё больше склонялся к мысли, что Центр, перед которым он должен отчитаться за проделанную работу, находится не на земле, а на небе. И послал его в разведку не начальник, от которого не осталось ни кабинета, ни имени, а сам Господь Бог. Что Белосельцев является разведчиком Господа Бога, который направил его в земную жизнь, дал задание исследовать её в самые грозные, крошечные мгновения. Теперь Господь ждёт его обратно, чтобы принять от него доклад. Он, Белосельцев, является разведчиком Господа Бога и несёт ему несколько драгоценных крупниц информации, которые добыл в течение жизни. Погибал, терял друзей, брал ложный след, снова возвращался на дорогу, которая ведёт его с земли на небо.

Там на небе, голый и босый, стоя перед Господом, он расскажет ему о всех земных войнах и о себе, совершавшем на этих войнах подвиги и злодеяния.

Но, казалось, Господь забыл о нём, не зовёт к Себе, не требует отчёта о кропотливых изысканиях. Не предаёт его смерти, не лишает плоти, чтобы на Страшном Суде спросить с него по всей строгости небесных законов.

Белосельцев чувствовал, что зажился, что в жизни его исчез всякий смысл, и окружавшее его бытие только множит бесплодное прозябание.

Его фантазии хранили в своей глубине сюжеты русских народных сказок и библейских преданий, которыми в детстве сопровождалась бабушкины назидания. Эти фантазии убеждали его, что он может избежать смерти, как избежали её Енох и Илья-Пророк. Белосельцев будет взят на небо живым, во плоти, и таким живым во плоти предстанет перед Господом, напомнит о себе. Поведает о своих сокровенных открытиях. Об афганской войне, африканском походе, о комариных джунглях Кампучии и ядовитой сельве в Никарагуа. Расскажет о жутких московских днях, когда вместе с памятниками валили страну. О горящем Доме Советов, из которого он выбирался по зловонным туннелям. Он не умрёт, а вытянет вверх заострённые руки, как их вытягивает ныряльщик. Станет тонким и лёгким, обтекаемым, как капля. Оттолкнётся от земли и нырнёт в небо, капнет с земли на небо. Пронесётся, как луч света, сквозь миры и очутится среди райского сада с цветущими яблонями, и бородастые праведники в белых одеждах отведут его к Господу. Как Илья-Пророк промчался на своей колеснице, гремя и сверкая, так и он, военный разведчик, знаток и участник войн, певец боевых колесниц, промчится по небу.

Он знал, что в небесах его ждут. Оттуда уже послан приказ возвращаться.

Когда он смотрел в вершины берёз, где начинала пламенеть лазурь, ему чудился купол Святой Софии, с которого среди золотых мозаик, грозный, с пылающими очами, взирает Пантократор, зовёт к себе. Оттолкнувшись от земли, сквозь вершины берёз он упадёт в волшебный колодец, из которого смотрит грозное золотое лицо.

Он был вдовец. Дочь и сын со своими семьями жили в других городах и редко награждали его своим вниманием. Он жил в одиноком загородном доме на покое.

Сейчас Белосельцев спустился в сад и наслаждался тёплым утром, свежей зеленой берёз, сквозь которую трепетало солнце. Великолепная сосна с пышными, до земли, ветвями красовалась среди других деревьев. Молодые побеги, как зажжённые свечи, тянулись вверх из каждой ветки. Сосна напоминала огромный подсвечник, окружённый сиянием.

Белосельцев любовался сосной, чувствуя её неземное происхождение. Её прислало на землю небо, и она стремилась обратно, туда, где её вырастил небесный садовник. Сосна хотела, чтобы Белосельцев забыл о своей жестокой земной судьбе и обратил свои помыслы к небу.

Он подумал, что здесь, у сосны, он может поднять к небу руки, стать лёгким и невесомым, подобно лучу, и взлететь на небо. Отсюда ведёт в небеса коридор, по которому он достигнет небес. Отсюда, а не оттуда, из афганских гор, среди горящих танков, где прорыт коридор в преисподнюю.

Белосельцев поклонился сосне, а та благословила его троеперстием зелёных побегов. Он поднял руки, вытянулся, превращаясь в стрелу, и взлетел. Скользнул сквозь берёзу, спугнув синекрылую сойку, обогнал в вышине сверкнувшего серебром голубя и оказался на небе.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Он был сокрушён. Его окружала чёрная полярная непроглядность. Лды бескрайние, тяжко освещённые мертвенным светом, казались залежами антрацита, в котором редко мерцали злые кристаллы. Высоко над льдами, в багровом тумане светила звезда. Она не имела лучей, как больничный фонарь, и казалась кровавым тампоном. Белосельцев ощутил невыносимую тоску и смятение. Теперь он навеки помещён в это багровое облако, источавшее болезнь и смерть.

Это Арктика, окраина России, за которой кончалось русское время и прерывалась русская история.

В разных местах льды с треском лопались, и всплывали американские подводные лодки, похожие на продолговатые чёрные яйца. Было видно, как у бортов перевёртываются льдины, издавая стуки и хрусты. Под звездой пролетел одинокий бомбардировщик, оставляя кровавый негаснущий след.

Белосельцев замёрзал. Холод бесчисленными струйками вливался в него. Превращал кровавую частицу в крохотную красную льдинку. Уши переставали слышать. Ушные отверстия и ноздри наполнялись колким льдом. Глаза останавливались, переставали видеть, становились тяжёлыми шарами льда. Мозг отказывался думать, превращался в глыбу льда, какая намерзает в водосточке. Грудная клетка с ледяными пластинами лёгких и булыжником сердца причиняла при дыхании несносную боль. Он превращался в ледяное изваяние, вмерзал в лёд, и багровая, лишённая лучей звезда недвижно светила в мёртвой глазнице.

Однако последней предсмертной мыслью, струйкой тепла, присланной с земли цветущей сосной, он вспомнил, как на коже пергамента, среди старобридаческих хроник прочитал замысловатую надпись, сделанную неизвестным иноком Зосимой. В этой надписи говорилось, что там, где кончается Россия, сразу же начинается Царствие Небесное. И это исчезающее воспоминание, старательно, с крюками и буквицами исполненная на пергаменте надпись, растопило в голове кровавую струйку, и глаз с багровым фонарём звезды оттаял.

Белосельцев заметил, что полоска льда растаяла. Плескалась вода тёмного, синеватого цвета, отражая тёплое ночное небо. Этот летний плеск вызвал у Белосельцева облегчение, словно он проснулся среди родных и знакомых звуков.

Он прошёл по мелкой воде, нащупывая голой стопой мягкое дно, и вышел на берег. Под ногами была трава, жёсткая, какой обычно зарастают склоны оврагов. И по мере того, как светало, Белосельцев увидел себя на низком берегу, по которому проходил просёлок с тележными колёсами. Непрочная изгородь вдоль обочины отделяла от дороги выгон.

Солнце встало, потеплело, и лёд, наполнявший Белосельцева, растаял, скатился тёплым быстрым дождём. И по той открывшейся лёгкости, по блаженному облегчению Белосельцев понял, что находится в Царствии Небесном.

Он стал оглядываться осторожно и бережно, не желая спугнуть милой доверчивой тишины и покоя. По краям Царствия Небесного стояли серафи-

мы. Они напоминали флаконы зелёного цвета и светились в своей глубине. В них что-то мерцало, слабо вспыхивало. Лились какие-то струйки, лопались пузырьки. Накалялись какие-то нити. Перегорали. Осыпались искрами. В этом зелёном графине шёл непрерывный обмен соками и переливами света. Серафимы питали Царствие Небесное таинственными силами, обеспечивая свет и тепло. От них пахло берёзовыми вениками.

Белосельцев прошёл по просёлку, который перегораживали шаткие тесовые воротца. Створки никогда не закрывались, тес был старый, кое-где из него выпали сучки.

Белосельцев заметил, как на шершавые доски ворот садятся бабочки-крапивницы. Собирают в свои красноватые крылья солнечное тепло, согреваются и улетают лёгкой тенью туда, где в утреннем свете синеют леса. И вид этих бабочек умилил и растрогал его.

Стая воробьёв шумно прилетела под зелёный полог величавого серафима, забила крылышками, закувыркалась в пыли. Воробьи были красивы своими маленькими бойкими тельцами, шустрými клювами, мерцавшими капельками глаз. Белосельцев догадался, что воробьи — это ангелы небесные, находящиеся в услужении у Господа. Как у ангелов, у них есть крылья, они мгновенно собираются в стаю, чтобы выполнить поручение Господа. Их присутствие не нарушало, а лишь усиливало обыденность Небесного Царствия, законы которого не требовали уяснения, а принимались охотно на веру.

Белосельцев обвёл глазами дали, и повсюду: в полях, на холмах, на озарённых вершинах — цвели одуванчики. Земля была золотой, ликующей, источала свет, питала этим светом солнце, и душа, оказавшаяся среди русских золотых цветов, счастливо вздохнула. Она добралась, наконец, домой после всех скитаний, и можно целовать душистый цветок, оставляющий на бровях и губах золотую пыльцу.

Белосельцев уже вошёл в тесовые ворота Царствия, уже сделал несколько шагов по просёлку. Но никто его не окликнул, никто не спросил, зачем он сюда явился. Не было грозного золотого Пантократора, призвавшего на Суд. Только веял с лугов душистый ветер, пахло розовым клевером, и пролетел коростель, потешно свесив неуклюжие ноги.

Белосельцева не тяготило одиночество. Он веровал, что законы Царствия предусматривают эти первые часы, в которые вновь прибывший извлекается от земных забот. Он услышал отдалённый гул, словно в одно место слетелось множество шмелей, и они погружают упрямые головки в мохнатый клевер, ворошат соцветия лапками и, выбрав нектар, жужжа, перелетают на соседний цветок. Гул приближался, его колыхало ветром, и скоро он превратился в пение, но не людских голосов, а текучих вод, дуновений ветра, в котором начинают петь множество едва различимых существ. Звук казался гармоничным, словно рождался в тенистых глубинах его души.

Вдалеке забелело. Казалось, по просёлку густо летит пух, сбивается в облако, переносимое ветром. Белосельцев увидел, что весь просёлок наполнен людьми, которые слились в единое шествие. Все они были в белых одеждах. Была в них зыбкость и невесомость, не привязанность к земле. Он угадал, что это праведники, прибывающие в Небесное Царствие. Их было несметное множество, их производила земля, плодонося праведниками. Белосельцев не спрашивал себя, что заставляет плодоносить землю, как появляются на Руси праведники, ибо так было устроено мироздание, где он обретался и смиренно принимал законы этого мироздания.

Процессия приближалась, заполняла просёлок. Воробьи тучами летели вдоль обочины, не давая праведникам свернуть с дороги. Серафимы, стоящие по углам Царствия, засияли ярче, в них прибавилось зелёного света, словно они приветствовали появление процессии, и запах парных веников усилился.

Белосельцев заметил, что шествие движется не само по себе, а у него есть предводитель — женщина, немолодая и по виду очень усталая. Она шагала по просёлку, возглавляя шествие праведников, и её покачивало из стороны в сторону. Белая процессия, вторя ей, колыхалась от одной обочины к другой. Было видно, что перемещение праведников с земли в Царствие

Небесное даётся нелегко, да и сами праведники, изнурённые долгим странствием, валились с ног.

Белосельцев уступил им дорогу, потеснившись к обочине, всматриваясь в их лица. Это были мужчины и женщины, похожие друг на друга тихой прозрачностью. Их хрупкие кости просвечивали сквозь мягкую дымку.

Ленинградцы, пережившие блокаду.

Но не было заметно следов мучений, скорее, благодарность за наступившее забвение.

Белосельцев всмотрелся в женщину-предводителя и узнал в ней Ольгу Берггольц. Он никогда не встречался с Ольгой Берггольц, не знал, как она выглядит, не помнил её портрета. Но это была она.

Они встретились глазами, и она устало ему улыбнулась. Она была затянута в аметистовое вечернее платье, тесное в талии. На груди красовался аметистовый бант, а на длинных сухих пальцах сиял аметистовый перстень. Белосельцева не удивил этот вечерний туалет, который мог показаться странным на жарком просёлке. Так было устроено Царствие, и его законы не вызвали недоумения.

Матросы с кораблей Балтийского флота, рабочие заводов, профессора университетов, исчащие от голода, шли крестным ходом, без икон и песнопений, как идут прихожане большого монастыря, перебрывая ручьи, путаясь в горячих травах, забредая в прохладные синие тени окрестных лесов.

По дороге их встречали, угощали прохладным клюквенным морсом, совали пирожки. Праведники подкреплялись и благодарно двигались дальше, туда, где вдали были золотые одуванчики.

Ольга Берггольц подхватила на руки мальчика, у которого не было сил идти.

— Вы не поможете? — попросила она Белосельцева. Тот принял от неё мальчика, некоторое время нёс, чувствуя, как пахнет от него молоком. Опустил на землю, и мальчик бросился догонять синеглазую женщину в белой косынке.

Солнце пекло ровно и слепо, глаза наполнялись едким потом. Белое облачко, не в силах заслонить солнце, превратилось в размытую радугу. Сильно пахли полыни. Луг сверкал ослепительными выюнками, полевыми горошками, розовыми свечками подорожника. Все мерцало, плескалось от бесчисленных мотыльков, бабочек, которые вдруг возносились и медленно парили в изнеможении. И всё это вдруг остановилось и замерло.

Из-за леса встала большая синяя туча. Похолодало. Из тучи, круглой и синей, как шар, прогрохотало. Это Илья пронёсся на своей боевой колеснице. И в раскалённую пыль просёлка упало несколько тяжёлых капель. Дунуло холодом, край синей тучи наклонился, как переполненное корыто, и хлынул ливень. Всё померкло, чёрная вода заслонила дали. Струи хлестали по плечам, головам, не давали дышать, бурлили на губах пузырями. Праведники промокли, стояли в прилипших одеждах, с наслаждением поднимая лица к туче, а их поливало, омывало, очищало, их приветствовало водами Царствие Небесное.

Белосельцев стоял в ручье, который нёсся по просёлку. Поддерживал Ольгу Берггольц, у которой аметистовое вечернее платье почернело от воды, прилипло к ногам и спине.

Дождь кончился мгновенно, оборвался, затих. По просёлку плыли пузыри. Праведники счастливо убирали с лиц мокрые волосы, словно вышли из купели.

Туча ушла за лес, и в небе восхитительно, пламенно горела радуга. Славила праведников, прибывших в Небесное Царствие. Белое шествие исчезало среди золотых одуванчиков.

Просёлок высыхал, по нему удалялась процессия. Теперь, издалека она казалась лёгким пухом, который колеблется ветром. Иные превращались в белые барашки, которые медленно парили над водами, совсем как стада невинных агнцев.

Просёлок высох. Только оставалась малая лужица. К ней с лугов слетелись на водопой бабочки-голубянки. Мерцали, взлетали, снова садились к воде.

Белосельцев, умилённый, благостный, испытывал блаженство. Он находился в обетованной земле, куда возвратился после долгих скитаний.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Ещё дважды до захода солнца Белосельцев наблюдал переселение праведников с земли на небо. Один раз это было многолюдное шествие, состоящее из поэтов Серебряного века и религиозно-философских школ. Шествие возглавляла Анна Андреевна Ахматова со своим характерным носом, похожим на изящный молоточек с горбинкой. Она улыбалась каким-то своим потаённым мыслям. На ней были белые кружевные чулки и остроносые туфли, купленные в парижской лавке. Праведники ступали с достоинством, хотя многие были босы. Они связали обувь шнурками, повесили себе на плечо и наслаждались теплой пылью просёлка, в которой тонули их босые стопы. Александр Блок нёс вешалку с хорошо разглаженным костюмом, а отец Сергей Булгаков держал в руках свежий красноголовик, который нашёл в мокрой траве и никак не хотел с ним расставаться.

Второй исход праведников с земли состоялся под водительством Зои Космодемьянской. Короткая стрижка над светлым лбом делала её похожей на мальчика. За ней шли ополченцы Донбасса, но среди них иногда встречались участники Севастопольской страды, в частности, адмирал Нахимов в фуражке с лакированным козырьком.

Обе процессии проследовали с некоторым интервалом и разошлись в разные стороны Царствия Небесного. Одуванчики закрыли свои золотые венчики, вершины холмов казались красными, и над далёкими вечерними водами летели белые барашки безгрешных душ.

Белосельцев заметил на просёлке оброненный георгиевский крестик и дамскую шпильку. Тут же прилетели воробьи, подхватили крестик и шпильку и унесли.

Первый день его пребывания в Царствии Небесном завершался. Белосельцев не обременял себя заботами о ночлеге. Он отыскал в лугах копёшку зелёного клевера, зарылся в сладкое сено и вдыхал дивные ароматы нежно шелестящих стеблей. Вдалеке в лугах призрачно зеленели серафимы, слабо освещающая окрестность. Белосельцева ничто не удивляло из того, что он встретил в Царствии. Он всё принимал как должное, не требуя разъяснений. Его не занимало, почему на земле постоянно случаются войны, тлеют мятежи, разгораются революции, и люди мучают и убивают друг друга. В итоге этих войн и революций, людских смертей и мучений множатся праведники, и их появление не объясняется человеческими уложениями и законами. Так устроена земная Россия, что в ней после очередной войны и революции множатся праведники, как грибы после тёплого дождя. Один из этих грибов, сидящий, как лампочка, нёс отец Сергей Булгаков, шлёпая ногами по лужам.

Ночью сквозь сон Белосельцев слышал шёлканье пастушьего кнута. Над ним вдруг наклонялась тёмная коровья голова с чёрными блюдцами глаз. И в коровьих рогах текли звёзды.

Белосельцев проснулся поутру и вылез из зелёной копёшки. Воробей, стороживший его сон, взлетел и скрылся в полях. Все обитатели Царствия Небесного были уже на ногах и занимались делами, мало напоминавшими работу, а скорее, разделились на группы по интересам, развлекаая друг друга. Белосельцев решил, что это послушания, коими Господь обременял праведников.

Он отметил, что далеко не у всех на головах находились золотые нимбы, и каждый нимб имел свою форму, которая, по-видимому, ничего не значила, ничем не отличала одного праведника от другого. У некоторых лоб перетягивала узкая золотая тесьма. У других волосы были покрыты золотистыми косынками. У третьих были козырьки золотого цвета, а четвёртые носили на головах прозрачные золотые сосуды, в которых плавали золотые рыбки или распевали крохотные золотые птички.

По-прежнему Белосельцев был предоставлен самому себе, и никто не спрашивал, что он здесь делает. Осторожно, чтобы не показаться навязчивым

и неделикатным, он стал наблюдать за праведниками. Он увидел длинный деревянный стол и лавки, на которых сидели синеглазые мужики в белых рубахах и хлебали из деревянных мисок похлебку. Причём похлебка была, как пар; мужики черпали пар ложками, отправляли себе в бороды, где темнели рты, да похваливали. Им прислуживал граф Шереметев. Ловил черпаком пар и наполнял им опустевшие миски. Он был в фиолетовом камзоле с серебряным шитьём, в кружевном жабо, и в его парик был небрежно вилетён золотой одуванчик.

— Ваша светлость, добавки, — требовали мужики. Граф никому не отказывал, иногда слизывая пар с черпака.

— А Парашеньки-то нету. Нету жемчужинки моей, — жалобно обратился граф к Белосельцеву, и тот впервые почувствовал, что в Царствии Небесном может обнаруживаться страдание, нарушающее общую благость.

На солнечной стороне холмов цвели яблони. Сад был немолодой, слегка запущенный. Лепестки начинали опадать, но в цветах продолжали гудеть пчёлы. То одна, то другая, отягощённая сладкой пылью, падала на круглый стол, что стоял под яблонями, с трудом стараясь взлететь.

Белосельцев увидел за столом кружок поэтов, которые золотой нитью вышивали на пияльцах монограмму Государя Николая Первого. Все они были златошвей. Руководил кружком Александр Сергеевич Пушкин, терпеливо показывая товарищам, как следует класть золотой стежок. Пушкину внимали Вяземский, Жуковский, Дельвиг, Баратынский, Языков и Кюхельбекер. Воробы выдёргивали из клубочка золотую нить, подавали Пушкину, а тот, ловко орудуя иглой, вшивал её в натянутый на пияльцах белый шёлк. Остальные старались повторить движения Пушкина. У всех получалось, кроме Кюхельбекера. Тот нервничал, нить ложилась неровно и иногда рвалась.

— А ты её легонько поддень, а потом подтяни. И дай успокоиться. Шёлк своё возьмёт, — Пушкин любовался белым шёлковым овалом, на котором переливалась буква “Н” с римской цифрой “I”.

За садом стояла беседка, оплетённая плющом. В беседке склонились над столом граф Милорадович и Каховский. У обоих на головах красовались золотые сосуды, и в них, отливая на солнце, ползали маленькие бронзовые жучки. Это говорило о том, что Милорадович и Каховский часто проводили время вместе, и жучки свободно переползали из сосуда в сосуд.

Теперь два праведника были заняты тем, что обменивались коллекционными тувинскими марками, выпущенными незадолго до присоединения Тувы.

Марки были великолепны — треугольные, ромбовидные, — на них были сцены охоты, рыбные промыслы, животные и птицы этой экзотической страны; в небесах летел серебряный дирижабль. Каховский предлагал Милорадовичу за этот дирижабль медведя, выхватывающего рыбу из потока, и двух сражающихся маралов. Милорадович отказывался, но чувствовалось, что он, в конце концов, уступит.

Белосельцев, наблюдая праведников, пришёл к убеждению, что в Царствии Небесном есть время, есть пространство, есть материя. Но всё это было заключено в световые пучки, в стеклянные миражи. Те, что возникают в жаркий полдень на асфальте шоссе. Праведники освоили эти стеклянные вспышки, использовали их для своих забав. Догоняли миражи, вскакивали внутрь, разгонялись, скользили, сталкивались, превращались в стеклянные отражения, исчезали, чтобы возникнуть в другом месте.

Белосельцев, размышляя об устройстве Царствия, предположил, что над этим Царствием существует Надцарствие, но дальнейшим размышлениям не стал предаваться.

Он увидел живую гряду цветов, которые обычно растут в деревенских палисадниках. Здесь были золотые шары, розовые и фиолетовые флоксы и крупные сочные мальвы. Под навесом стоял стол и два стула. Весь навес был облеплен глиняными ласточкиными гнёздами, из которых торчали молчаливые птичьи головки с белыми воротничками. Ласточки высидывали птенцов, и было слышно, как те созревают в яйцах.

Под навесом напротив друг друга сидели архиепископ Верецкий Иларион (Троицкий) и Владимир Ильич Ленин.

— Новомученики, Владимир Ильич, хотели бы написать ваш образ и поставить его в соборе Сретенского монастыря, — произнёс Иларион. — Ибо никто не сделал столько для умножения на Руси священномучеников, как вы. Я распорядился подготовить доску для образа и испытать нескольких иконописцев. Вы не станете возражать?

Ленин молчал. Затем край его жилетки на плече стал подниматься, и показалось стрекозиное крыло. Оно было серебристое, сетчатое. Ленин осторожно двигал плечом, и крыло всё больше выступало наружу. Оно удлинялось, увеличивалось, тянулось вдаль за палисадник, за далёкий овин, за скирды хлеба, к дальним лесам. Оно отливало на солнце, как слюда, казалось отдалённой речной протокой, над которой, едва заметные, летели утки.

Ленин и архимандрит Иларион некоторое время сидели молча. Потом Ленин стал осторожно поводить плечом, убирая крыло. И оно медленно, с тихим шелестом втянулось под жилетку. Ленин и архимандрит Иларион продолжали сидеть, больше не обменявшись ни словом.

Внимание Белосельцева привлекла веранда, какие бывают на подмосковных дачах, светлая, простая, с круглым столом под льняной скатертью. За столом сидел Сталин. Он был в белом полувоенном френче. Белосельцев заметил на локтях и лацканах френча аккуратные заплатки. Они были тщательно заглажены и слегка лоснились. Усы и брови Сталина были расчёсаны. Гребешок лежал тут же на столе.

Белосельцев увидел, как на веранду вбежал танкист, разорванный снарядом на Курской дуге. У него не было рук, разворочен живот, и из пустых глазниц текли кровавые слёзы. Всё это было едва заметно под белым балахоном, в который был облачён танкист. Он кинулся на грудь Сталину и спрятал в складках френча лицо. Сталин нежно прижал к себе его голову и гладил по волосам.

Следом за танкистом вбежал пехотинец, подорвавшийся на mine. Хромая, он приблизился к Сталину и прильнул к его груди, а тот поцеловал его в лоб. На веранду то и дело вбегали солдаты, офицеры и генералы. Их смертельные раны скрывали долгополые белые рубахи. Все они искали утешения у Сталина, а тот целовал их и что-то тихо шептал. Сержант-связист, обнявший Сталина, заметил, что на его седеющей голове нет нимба. Бросился с веранды в луга, где цвели одуванчики, сплел из них веночек и, вернувшись на веранду, возложил на голову Сталина.

Подааль на траве было постелено лоскутное одеяло. Стояла тарелка с очищенными яйцами, зеленели стрелки лука прямо с грядки, стоял чугунок с картошкой в мундире, над которой поднимался парок. На одеяле удобно разместились два праведника профессорского вида с седыми комочками бород. У одного в волосах запуталась божья коровка, и второй деликатно старался её выпутать.

— А не удивляет ли вас, сударь мой, что среди праведников отсутствует молитвенник Земли Русской, Преподобный Сергей Радонежский? — спрашивающий опасливо оглянувшись, не достался ли его вопрос постороннему слуху.

— А вы не знаете?

— Для меня, признаюсь, это большая загадка.

— Да потому, что перед поединком Пересвета и Челубея он отпилил у Пересвета часть копы. Копьё стало короче, Челубей первый ударил Пересета, пронзил его и сам напоролся на острое копы Пересвета. Оба упали мертвыми. Но Господь счёл поступок Сергея несправедным и отказал ему в Царствии Небесном. Но об этом молчок.

— Разумеется, мой друг.

Они достали из чугунка клубни, покатали их в ладонях и стали чистить, завершив на этом беседу.

Второй день пребывания Белосельцева в Небесном Царствии завершался. Красное солнце садилось в луга. Под шатром старой ивы толпились комары-толкуньи, совершая однообразные движения вверх-вниз, словно хотели передать Белосельцеву какую-то весть. Но тот не мог понять значения их безмолвных иероглифов.

Белосельцев не чувствовал себя неприкаянным. Напротив, он отдыхал, предоставленный самому себе, но его удивляло, что огромный жизненный опыт, добытый им среди сотрясавших землю войн и революций, никого не интересует. Никто не вызывает его для отчёта, никто не берётся судить его за ошибки в прогнозах, за неверно составленные сценарии.

Теперь он двигался через сырой луг, сбивая с травы обильную росу, и помышлял о ночлеге.

Он дошёл до реки. Вода текла тяжело, густо, в прибрежной осоке крикали утки. Он увидел паром, скроенный из грубых брёвен, обшитых тёсом. За стальную проволоку тянули паромщики, перегоняя паром с одного берега на другой. Посреди парама высился горящий стог сена. Его красное отражение уходило в чёрную реку, и на свет всплывало множество мальков, глазастых, юрких, с зеленоватым отливом. Паромщики сурово перегоняли паром, и Белосельцев узнал в них двадцать восемь гвардейцев-панфиловцев.

Белосельцев спустился вниз по реке, надеясь обнаружить какой-нибудь рыбачий шалаш, чтобы скоротать в нём ночь.

Ему казалось, что Царствие после дневных сует должно уйти на покой. Но, напротив, он повсюду замечал оживление. Через луг шли оживлённые группы праведников. Некоторые размахивали флагами, другие несли сосуды, похожие на сухие тыквы, постукивали в них, извлекая гулкие звуки.

— Не будете ли столь любезны, не объясните ли мне природу столь позднего оживления? — спросил Белосельцев двух фрейлин императрицы Елизаветы Петровны. Обе засмеялись, посмотрели на Белосельцева, как на забавного чудака.

— Сегодня в Царствии ночное празднество. Венчаются княгиня Зинаида Александровна Волконская и певец Дмитрий Хворостовский. Прошлое их венчание проходило на святки, и подавали к столу удивительно сладкий снег.

Обе фрейлины кокетливо засмеялись. Белосельцев слышал, как шуршит о траву их парча, и бриллиантовые короны, как звёздочки, гаснут в лугах.

На широком выгоне, где днём паслись коровы и пощёлкивал кнут пастуха, был воздвигнут дворец, тот самый, что находился на углу Фонтанки и Невского, откуда были видны кони, которых объезжали наездники. Дворец был полной копией подлинника, но сделан не из камня, а из кисеи. Розовая и зеленая кисея просвечивала и слегка колыхалась, напоминая марлевый сачок, в который были уловлены бабочки.

Княгиня Волконская и Дмитрий Хворостовский встречали гостей. Певец со своей прекрасной русской улыбкой, пышным серебром волос одаривал гостей лаской, а княгиня Волконская протягивала для поцелуя руку, затянутую в лайковую перчатку. Целуя эту царственную руку, Белосельцев ощутил запах горьковатых духов, чья нежная горечь напоминала дым афганских предгорий, где в кишлаках топились глинобитные печи, и две женщины в зелёной и синей парандже шли по проулку.

Хворостовский осведомился у Белосельцева, давно ли тот из Лондона, и, не дождавшись ответа, уже улыбался директору авиастроительной корпорации.

Зал был полон гостей. Здесь были вельможи императорского двора, композитор Алябьев, внешне несколько похожий на соловья, несколько генералов Туркестанского похода и член Политбюро, ответственный за Лунный проект. Гости перемещались по залу, разговаривали, им подносили шампанское, которое, едва его касались губы, превращалось в крохотные летучие радуги.

Белосельцев заметил среди гостей свою двоюродную бабушку, окончившую Бестужевские курсы и позднее вместе с итальянскими археологами работавшую на раскопках в Помпеях.

В залу внесли клавесин, отделанный карельской берёзой. Княгиня Волконская села в круглое креслице, вытянула ногу с узкой лодыжкой в остроносой французской туфле, надавила бронзовую педаль и утопила несколько костяных клавиш. Звук получился хрупкий, хрустальный. Гости окружили клавесин, и седой камергер с красной парчовой лентой через плечо встал в ухо слуховую трубку. Хворостовский приблизился к клавесину, сцепил перед грудью руки, словно боялся, что звук в неповиновении отхлынет из груди, и запел. Он пел своим бархатным, густым, как мёд, голосом песню “В далёкий

край товарищ улетает...” Первые же, из сердца идущие звуки, знакомые каждому русскому человеку, прощальные слова, в которых душа отрывает себя от любимых и ненаглядных, чтобы больше не встретиться и всю остальную жизнь вспоминать о несказанной любви, наполнили душу. С первых же слов возникла такая тишина, словно ночь умокла, внимая божественной песне. Княгиня Волконская лишь слабо вторила песне хрустальными звуками. В глазах её были слёзы. Старый Туркестанский генерал, прошедший вместе со Скобелевым до Хивы, прижимал к глазам батистовый платок. Конструктор самолётов, посылавший свои машины в небо Испании, вздыхал. На его груди сиял красный орден.

Но потом тишина ночи сменилась бесконечными разливами, повторявшими песню на тысячи голосов. Пела осока в реке. Проснулись и пели ночные птицы в лесах. Пели двадцать восемь гвардейцев-панфиловцев, перевозивших на пароме горящий стог.

Желуди в соседней дубраве светились, и дубы были в бесчисленных золотых огоньках.

Дмитрий Хворостовский перестал петь, а желуди на дубах продолжали светиться.

После дивного пения не сразу перешли к угощениям. Праведники не стали усаживаться за столы, а тесно встали у стен. Другие праведники, ведающие угощениями, стали выдувать из берестяных дудок разноцветные шары и метать их среди гостей. Шары были лёгкие, прозрачные, они взлетали, а праведники их хватали губами, они лопались, осыпались брызгами. Праведники шалили, подбрасывали шары носами, отнимали их друг у друга. Два шара достались Белосельцеву. Один, розовый, лопнул у него на губах, оставив слабый вкус земляники. Другой, синий, исчез, едва его коснулся язык Белосельцева, и тот уловил запах лугового колокольчика. Откусав, власть отдавая разноцветных шаров, праведники понесли новобрачным подарки.

Княгине Волконской преподнесли платье из нежных лоскутков, каждый из которых был бабочкой с алыми и зелеными вкраплениями, серебристыми жилками и золотистой пылью. Княгиня обрадовалась подарку, пожелала тут же примерить платье. Две фрейлины, которых Белосельцев встретил в лугах, помогли княгине надеть воздушное платье. Но как только княгиня, любящая собой, заглянула в зеркало, платье превратилось в облако бабочек, которые наполнили дворцовую залу, а потом через открытые окна полетели в ночь. Одна из бабочек села на руку Хворостовского, он поцеловал её, и она улетела. Два праведника поднесли ему деревянный поднос, на котором лежала большая серебряная рыба. Она слегка била хвостом по подносу, но едва Хворостовский коснулся её, она вспыхнула, засверкала, у неё выросли бриллиантовые крылья, она вспорхнула с подноса и полетела к дальним дубравам, над которыми описывала спирали и дуги, оставляя сверкающий след. Новобрачным поднесли букет чертополохов, который вдруг расцвёл розовыми лампадами, разлетелся из дворца в поля, и там в чёрной ночи танцевали негасимые лампы, и низко над ними стоял оранжевый месяц, и ночное косматое чудовище танцевало среди цветов, трубя в берестяной рожок.

Наступило время веселья, и оно было безудержным. Полые голубые шары сыпались на луг. Праведники догоняли эти шары, забирались вовнутрь. Шары мчались, перевёртывались, праведники барахтались в них. Некоторые выпадали, и тогда один норовил отнять шар у другого, завязывалась беззлая перепалка. Шаров было множество. Они напоминали икринки, а засевшие в них праведники были подобны малькам.

Белосельцеву удалось проникнуть в один из шаров. Шар мчался, подскакивал. Сквозь прозрачную оболочку Белосельцев видел счастливое лицо академика Вернадского, который шутливо отдал ему честь.

Веселье, которое испытал Белосельцев, было безграничным, как в детстве, когда каждая клеточка растущего тела ликовала, смеялась, славилась благодатный мир.

Вслед за шарами-икринками ночное небо наполнили хохочущие рыбы. Длинные, сверкающие, они стаями проносились над дворцом, оглашая окрестность женским пленительным хохотом. Их было множество. Они гнались одна

за другой, проносились сквозь дубравы, оставляя в чёрных дубах зеркальные проблески. Несколько рыб неосторожно приблизились к зелёным, как огромные фонари, серафимам и запутались в их вершинах. Висли хвостами вверх, вздрагивали, продолжая смеяться.

Праздник завершился грандиозным фейерверком, когда в ночную синеву взлетели брызгающие искрами звёзды, устремились золотые змеи, расцвели воздушные букеты, и весь этот счастливый огонь мчался ввысь, достигал Надцарствия, выстилал мироздание лучистым серебром.

Белосельцев был счастлив принять участие в небесном торжестве. Утомлённый, умилённый, храня на губах вкус лесной земляники, он отправился искать ночлег. У стожка, где он ночевал прошлую ночь, он увидел княгиню Зинаиду Волконскую и Дмитрия Хворостовского.

— Если вам интересно продолжение истории, приходите через час в библиотеку. Там на нижней полке вы найдёте рукописную книгу астролога Вольфа Рейнольдса. Я сделала закладку. Откройте и прочитайте. Вам это многое прояснит.

Хворостовский поцеловал княгине руку, и они удались.

Белосельцев лежал на стогу, без мыслей, без чувств, а только с неисчезающим счастьем. В полях продолжали гулять негасимые чертополохи, на чёрной реке двадцать восемь гвардейцев-панфиловцев перевозили горящий стог. Белосельцев уснул, и ему казалось, что он видит сон о сне, и он может по тонкой паутинке перемещаться из одного сна в другой.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

Белосельцев проснулся поздно и обнаружил царящую вокруг кипучую деятельность. Одни праведники сворачивали в рулон кисейную стену дворца. Другие поправляли в полях помятые колокольчики. Третьи метёлками сметали с дороги лопнувшие шары. Четвёртые, приставив к серафимам стремянки, выпутывали смеющихся рыб, которые всё никак не унимались и время от времени хихикали. И во всём этом самое деятельное участие принимали воробы, которые, как уяснил себе Белосельцев, были ангелами. Белосельцева по-настоящему начинала заботить его неприкаянность. Никто не заметил его появления в Небесном Царствии, никто не требовал от него отчёта за проделанную в течение земной жизни работу. Он был уверен, что обладает бесценными сведениями, ради которых столько раз рисковал, подвергал риску других, и теперь эти бесценные накопления некому было передать. Он решил выяснить, где в Небесном Царствии пребывает Господь, и самому, не дожидаясь приглашения, явиться к нему на Суд.

На лугу поодаль друг от друга стояли две засохшие берёзы. На их мёртвые вершины были набросаны ветки, ворохи соломы, сухой камыш, вялая трава. Это были гнёзда, и в них, как аисты, сидели Лев Николаевич Толстой и Фёдор Михайлович Достоевский. Оба перебирали какие-то листики, букетики, словно не замечая друг друга. Но потом внезапно скидывали головы, запрокидывали вверх бороды и оглашали окрестность сердитым клёкотом. Что-то им не нравилось друг в друге, в чём-то чувствовалось несовпадение, но было видно, что они не могут один без другого, и это мешало им разлететься в разные стороны. Время от времени они поднимали плечи, выпускали широкие сизые крылья и покидали гнёзда. Делали несколько кругов над лугом, приземлялись поодаль друг от друга, делая вид, что не замечают один другого. Но потом сходились, и Лев Николаевич Толстой что-то сердито втолковывал Фёдору Михайловичу Достоевскому, в чём-то его убеждал, а тот упорствовал.

Белосельцев решил нарушить их религиозно-философский спор, приблизился и деликатно спросил:

— Господа, не считите меня навязчивым, но вам, несомненно, местные нравы понятнее, чем мне, вновь прибывшему. Не могли бы вы указать мне, где находится Господь Бог, встреча с которым мне крайне необходима.

Толстой посмотрел на него с некоторым удивлением. Видимо, так аисты смотрят на съедобных лягушек. Но передумал проглатывать Белосельцева:

— Да вот же Он, у вас под носом. А теперь извольте нам не мешать.

Белосельцев оглянулся и увидел своего школьного учителя словесности Михаила Кузьмича, который вместе с учениками сажал при дороге деревья.

Ну, конечно же, это был Господь! Белосельцева не могли обмануть застиранная косоворотка, вытянутые на коленях брюки, костлявая сильная рука, которой Михаил Кузьмич обычно хватал край стола, колючий насмешливый взгляд из-под седых бровей. Это был Господь Бог, принявший внешность любимого учителя, перед которым Белосельцеву всегда хотелось быть лучшим, писать лучшие диктанты, приносить лучшие сочинения, добровольно вызываться к доске, чтобы прочитать наизусть стих или отрывок из толстовской “Охоты”. И теперь это желание быть услышанным, заслужить похвалу, увидеть, как в серых глазах мелькнёт одобрение, повторилось в Белосельцеве с прежней силой.

— Я расскажу Тебе, Господи, о гибели роты в горах Панджшера, когда мы взяли в плен моджахеда. Его звали Саид, мы привязали его к столу и пытали током. Он клялся, что не знает, в каком ущелье отсутствует засада и где может пройти наш спецназ. Мы обмотали его мокрой простыней, крутили полевой телефон, и у него кровь шла изо рта. Мы стали рвать его Коран, и он изнемог и сдался, указал тропу, где не было засады. Я повёл спецназ, нас заперли в ущелье, и мы потеряли роту. Трупы два дня вывозили вертушками. Я сидел у зелёной реки Панджшер, смывал засохшую кровь, а мимо меня по воде протаскило раскисшую чалму, сбитую пулей с чьей-то головы. Об этом я хотел рассказать Тебе, Господь.

Учитель не отвечал, и его носатое, коричневое от солнца лицо было исполнено печальной думы.

— Хотел рассказать Тебе, Господь, как в сельве Рио-Коко я исследовал все протоки, по которым на каноэ перемещались мятежные индейцы. С сандинистами мы загнали индейцев на остров и час молотили из миномётов. На трупы слетелись все грифы и беркуты сельвы. Мы связали верёвками флот индейцев, подожгли каноэ и смотрели, как плывут в протоках горящие лодки.

Учитель молчал, и Белосельцев, волнуясь, спросил:

— Разве это не интересно Тебе, Господи? Только Тебе я доставил эту секретную информацию.

— Всё это очень важно, и об этом я расспрошу тебя позднее. А сейчас расскажи мне лучше о колокольне.

— О какой колокольне, Господи?

— О колокольне Тихвинской Божьей Матери, которая долгие десятилетия смотрела в окно твоего дома и вырастила тебя тем, кем ты стал.

Учитель печально и ласково смотрел на Белосельцева, а тот растерянно, в смятении не знал, что ответить.

Боже, ну, конечно, та старая колокольня, что стояла в Тихвинском переулке напротив его окна и днём и ночью наблюдала за ним молча и пристально своими пустыми, без колоколов, проёмами, круглым разрушенным куполом без маковки и креста, где росли чахлые занесённые ветром берёзки. Он помнил колокольню среди зимних ночных буранов, янтарного морозного солнца, сиреневых весенних зорь, в желтоватом воздухе московской осени. Она была розовой, чёрно-серой, лазурно-голубой среди ливней и снегопадов. Неотрывно смотрела на него, терпеливо наблюдая, как он вырастет. С той таинственной новогодней ночи, когда на письменном столе у окна стояла его первая в жизни ёлка, и мамыны осторожные руки развешивали по колочим веткам серебряные шары, стеклянные шишки, дирижабль с надписью: “СССР”. У окна на свои чаепития собирались бабушка и её братья, и в синие фамильные чашки лился чёрный, как смола, чай, и они вспоминали, умилялись, поминали с любовью старинный богатый дом, любящую семью, и в их воспоминаниях вдруг появлялась боль, надрыв, страдание. Братья кричали один на другого, винили в страшных грехах, погубивших семью, и бабушка кидалась их утешать и мирить. Кончалось всё слезами, молчанием

о какой-то страшной беде, постигшей эту русскую семью, как и другие русские семьи. Белосельцев сидел за старинным дубовым столом с хрустальными кубами чернильниц, старательно выписывал буквы в тетрадь с косыми линейками, а колокольня следила за его каракулями, и бабушка издали смотрела на него с обожанием. И такая бабушкина любовь, такая жертвенность окружали его, что он по сей день чувствует спасительный кокон этой любви. Бабушка где-то здесь, среди праведниц, и он обязательно отыщет её в белых облачках встающего над озёрами тумана.

Когда бабушка бредила, умирала, ей чудились ужасы, он подошёл к её кровати и спросил:

— Бабушка, ты узнаёшь меня?

И она, уже погружаясь в смерть, пролепетала невнятно:

— Люблю тебя!

Она лежала мёртвая на столе, где он когда-то готовил уроки, колокольня смотрела, как он плачет, и на зимний тополь прилетел красногрудый снегирь.

Пока длился его рассказ о колокольне, учитель Михаил Кузьмич куда-то исчез, и Белосельцеву больше некому было исповедоваться.

Он бродил по окрестностям, наблюдая за праведниками, которые строили птичьи гнёзда, а птицы торопили их, заселяли сооружённые гнёзда и тут же откладывали яйца.

Он увидел, как два пехотных офицера, сражавшихся в своё время на Багратионовых флешах, свили гнездо, в которое тотчас уселась малиновка, а её кавалер взлетел на вершину и дивно заливался, пламенея грудкой. Кузьма Минин, с трудом вскарабкавшись на дуб, поместил там сорочье гнездо. Сорока с сине-зелёным хвостом и белой грудью тут же обосновалась в гнезде, прихватив с собой золотые карманные часы, которые она украла у академика Ивана Петровича Павлова.

Белосельцев дождался, когда Кузьма Минин тяжело спустится с дерева, и обратился к нему:

— Удивляюсь, только что был здесь Господь, мы разговаривали с ним, и вдруг он исчез. Вы не видали случайно Господа Бога?

— Да как же, вот он! — Минин указал на молодцеватого мужчину в начищенных сапогах и лихом картузе. Тот стоял в рубаше навыпуск, засунув ладони под ремень, и Белосельцев узнал в нём исковского кузнеца Василия Егорыча, у которого в юности останавливался много раз, полюбив чудесную деревеньку Малы, где стояла кузня. И как тверды и красивы были её каменные белёные стены, как пахло углем, как сипели мехи, как драгоценно и ало светилась в сумерках раскалённая подкова, по которой звонко бил молоток кузнеца. Конечно, это был он, Василий Егорович. Как никто, мог сковать могильный крест. На всех окрестных погостах цвели эти кресты, похожие на пышные радостные букеты. Конечно же, это был Господь Бог, и к нему, робея и любя, устремился Белосельцев.

— Господи, это я. Пусть без зова, но явился к Тебе. Я столько должен сказать. Столько бесценных сведений я добыл на земле, куда Ты послал меня на разведку. Теперь я пришёл, чтобы дать Тебе отчёт.

— Что бы ты хотел мне поведать? — спросил Василий Егорович.

— На юге Анголы в Лубанго мы тренировали партизан намибийцев. Учили их взрывать водоводы, ведущие к алмазным копиям в Виндхуге. Мы провели прекрасную операцию, обесточили рудник, уничтожили два полицейских поста. Но когда вернулись на базу, прилетели два бомбардировщика “Импала” и разбомбили нашу группу. Командиру Питеру Наниембе оторвало обе ноги, он истекал кровью. Я дал ему свою кровь, и теперь он живёт с моей кровью. Когда он лежал на земле, дёргая кровавыми обрубками, к луже крови из травы устремись огромные чёрные муравьи и пили кровь, а Питер умолял застрелить его.

Василий Егорович рассматривал свои большие руки с несмываемым углем и железом и смотрел, как доктор Лиза вешает гнездо трясогузки, сплетённое из травы, и резвая птичка садится доктору Лизе на голову, а потом перелетает в гнездо, поводя торчащим хвостом.

— Что ещё мне хочешь сказать? — спросил Василий Егорович.

— В Эфиопии, во время войны с Эритреей получил задание вывезти из зоны боёв разведчика. Он был англичанин, но работал на нас, следил за поставками эритрейцам оружия под видом продовольственных конвоев. Он работал врачом в лагере для беженцев, и когда двумя бортами мы прилетели в Лалибеллу, в огромный лагерь, мы не сразу его нашли. На горячей земле стояли и сидели под палящим солнцем люди, похожие на скелеты. Тут же хоронили мертвецов, обкладывая трупы камнями, тело тут же испарялось на солнце. Над камнями дрожали стеклянные миражи. Когда я вошёл в лагерь, на моё сытое чистое тело набросились тысячи кровососов, стали жалить, язвить. Мы нашли врача, больного тифом. Погрузили на борт, на тюфяк, и я всё пытался взять у него информацию. У него распухло горло, он не мог говорить. Когда мы прилетели в Аддис-Абебу, он был мёртв. В его кармане мы нашли фотографию милой английской барышни, должно быть, его невесты.

Белосельцев умолк, ожидая, что скажет Василий Егорович.

— Всё, что ты сообщил, очень важно. Но расскажи лучше, как ты с друзьями гулял у Мальского озера и какие это были прекрасные люди.

Божественное зелёное озеро, стеклянный след от долблёной лодки, гора на той стороне, синяя от цветов. Ленивые сиреневые туманы в сосняках, рождающие дивные предчувствия, тайные мечтания о любви, о творчестве, о неизбежном, ожидающем тебя чуде.

Два друга, два реставратора приняли Белосельцева, наивного юношу, в свой мужской круг. Всеволод Смирнов и Борис Скобелъцин, фронтовики, чудом уцелевшие на кровешной войне и славящие дивный мир, куда вернулись лишь избранные по неведомой воле Творца. Они реставрировали разрушенные псковские церкви, похожие на русские печи, которые в цветущих бурьянах пахли мёдом. Белосельцев обожал обоих, благоговел перед обоими. Всеволод Смирнов, мощный, мягкий, тяжеловесный, как медведь, учился у каменщиков класть церковные стены, у кузнецов, у Василия Егоровича учился ковать скобы, светильники и церковные кресты, у колокольных дел мастеров учился лить колокола. Крыл древесным гонтом церковные кровли, укреплял опавшие фрески и медленно, упорно возвращал в себе православного человека, благодарного Господу за чудо земной благодати.

Его друг Борис Скобелъцин — восторженный, готовый восхищаться женской красотой, совершенством храма, женственной псковской природой, где цветов в полях, звезда в небе, заря над озером славил божественный дух, витавший над перламутровым миром. Втроём они были неразлучны, без усталости обходили заросшие травами храмы, ликующие монастыри, каменные кресты и надгробья, сопровождая свои походы пирами и трапезами в обществе красавиц, которые следовали за ними, пропадая в ржаных колосьях, золотых подсолнухах, в ночных русалочьих купаниях. Белосельцеву, который не расставался с друзьями, была наградой красота русской природы, русской безбрежной истории, ликующего бытия, которым одарила его эта дружба. И они, все трое, перевёртываясь, катились с горы, заворачиваясь в цветы, как в душистые одеяла.

Случилось загадочное, необъяснимое. Смирнов и Скобелъцин возненавидели друг друга. Это была не просто неприязнь, это была ненависть. Частица загадочной тьмы попала в их отношения и всё исказила, изорвала. Это была не ревность к женщине, не соперничество в искусстве, не расхождение взглядов. Это была тёмная ненависть, пулавшая своей необъяснимой беспощадностью. Они жили в одном доме и перестали встречаться. Сталкиваясь случайно на улице, переходили на другую сторону. Говорили друг о друге ужасные вещи. Белосельцев страдал, разрывался, беспомощно пытался их примирить. Скобелъцина сразила болезнь. Зная, что умирает, из последних сил выбирался он из города к своей любимой Никольской церкви в Устье. Они сидели на берегу, видя, как плывут по озеру лодки с копнами зелёного сена, и у косцов были красные в вечернем солнце лица.

Борис попал в больницу и мучительно умирал. В седой бороде был виден чёрный, хрипло дышащий рот. Белки были жёлтыми, он водил глазами и не узнавал никого. Так случилось, что в больницу с той же болезнью попал Смирнов. Их палаты были на разных этажах. За несколько часов до Бориной

смерти Сева спустился к нему и сел в изголовье. Они молча сидели. Внезапно Скобелев протянул ему руку, и Сева сжал её. Так и сидели, пока Боря не перестал дышать.

Хоронили Скобелева в серый студёный день. Он лежал в гробу среди замёрзших цветов. Священник отпевал его, качал кадилом, вокруг стояли смиренные друзья. И вдруг из серого неба сквозь кадильный дым слетел голубь и сел на грудь Бори. И все изумлённо молчали, ставши свидетелями чуда.

Белосельцев всю жизнь разгадывал эту притчу о божественном примирении, о воссиявшей любви.

Всё это он поведал Господу, принявшему образ кузнеца Василия Егоровича, и не заметил, как тот исчез среди праведников, строивших гнёзда.

Белосельцев думал о друзьях своей юности, зная, что оба находятся в Царствии и скоро они повстречаются.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Над Царствием шёл дождь, мелкий, звенящий, нескончаемый, на несколько дней. Небо серое, тусклое, сеяло и сеяло брызги, от которых травы блестели, синие колокольчики слились, с деревьев капало, птицы умолкли, и эмалированные тазы под карнизами давно были переполнены, и в них беспомощно трепетали мотыльки и не умеющие выбраться жуки. Леса стояли молчаливые, сочные, полные тайного роста, когда вдруг под дубами встают на своих упитанных ножках крепкие боровики, и скользкие лесные улитки ещё не успели прорыть в их бархатных шляпках борозду.

Под навесом кипел самовар. Семён Михайлович Буденный смешил двух балерин императорского Мариинского театра, показывая, как у них в селе пили чай вприглядку. Он клал на стол кусочек сахара, пучил на него глаза, а сам хлюпал чай из блюдца, смешно раздувая усы. Белосельцев раздумывал, не накинуть ли ему брезентовый плащ с капюшоном, не пойти ли в лес и набрать корзинку свеженьких, с маслянистыми головками подосиновиков и подберёзовиков.

Он услышал далёкий стон и дрожанье земли. Мимо пролетела стая воробьёв, они торопились, и было видно, что они выполняют поручение Господа.

Стон усилился, он напоминал рык животного, которому причиняют мучение.

Толчки земли сменились хлопаньем и чавканьем, как будто месили глину.

— Что это? — спросили балерины у Семёна Михайловича.

— Изгоняют из Царствия, — ответил маршал, сурово нахмурившись.

— А зачем было брать?

— Недогляд вышел.

Белосельцев взглянул туда, откуда раздавалось хлопанье, и увидел странную процессию. Голые двигались под дождём Михаил Сергеевич Горбачёв, Борис Николаевич Ельцин, Андрей Дмитриевич Сахаров и Анатолий Александрович Собчак. Их босые ноги погружались в глину, тонули в ней, с хлопаньем выдирались. Чем дальше они шли, тем рытвина, которую они оставляли, становилась глубже, в ней бурлила вода. Они проваливались в гущу сначала до колен, а потом до бёдер и со стоном выдирались из жирного месива. Им сопутствовали их жёны: Раиса Максимовна, Наина Иосифовна, Елена Боннер и Людмила Нарусова. Все были голые, перепачканные глиной, висли на руках мужей, а те, охая и стона, выворачивали ноги, которые тут же тонули в глине. В рытвине, которую они прорывали, бултыхались другие мужчины и женщины. Не все были знакомы Белосельцеву, к тому же они были перепачканы глиной. Тяжело несла свой огромный живот, непомерные синие груди Валерия Ильинична Новодворская. Вихляя крепко сбитыми ягодицами, шла Галина Старовойтова. Там же виднелся бородатый Шейнис и маленький Шахрай, который несколько раз падал и скользил в глине, как змея.

Процессию сопровождали серафимы, отсвечивая мрачным зелёным светом, напоминая конвоиров, охранявших колонну пленных. Множество воробьёв с гневным чириканьем летело над процессией, изгоняя её из Царства.

Ударил гром, и несколько раз ослепительно сверкнуло. Илья Пророк промчался на боевой колеснице, в которую была запряжена серебряная змея. Это была молния, которая обожгла Елену Боннер и ужалила Раису Максимовну. Процессия приближалась к границам Царствия, где стояли воротца из отсыревшего тёса и вдоль просёлка тянулись прясла. Когда серафимы стали выталкивать отлучённых от Царствия, Борис Николаевич издал страшный утробный рык, распугавший ангелов, а Михаил Сергеевич упал на колени и стал рыдать. Зелёные серафимы подталкивали их к береговой кромке, где кончалось Царствие Небесное и начиналась русская Арктика. Чёрные, как антрацит, льды уходили за горизонт. В небе жутко светила багровая звезда без лучей. Как чёрные продолговатые яйца, всплывали из-под льда американо-русские подводные лодки. Было видно, что на одной лодке пожар. Когда Бориса Николаевича Ельцина и Нину Иосифовну подтолкнули на край обрыва, на просёлок, догнав процессию, выбежала Татьяна Дьяченко:

— Мама, папа! — кричала она. — Мама, папа!

Её удерживали праведницы, не пускали за тесовые ворота.

Серафимы по очереди сталкивали в черноту ночи изгнанников, и те проваливались под лёд, уходили в чёрную безмолвную бездну.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Рытвина, зиявшая там, где прошли изгнанники, осушалась. Праведники вычерпывали из неё воду, засыпали землёй. Высаживали молодые сосенки, и вскоре вместо уродливой рытвины зеленела молодая сосновая роща, и птицы отыскивали места для гнезд. Белосельцев, удручённый жестоким зрелищем, снова взялся искать Господа, чтобы предстать перед ним и поведать о земных деяниях.

Он расспрашивал праведниц, сажавших сосенки, не видали ли они Господа Бога.

— Да вот же Он! — ответили ему, удивляясь его рассеянности, и указали на немолодую женщину в фартуке и линялом платочке. Она перебирала сосновые саженцы. И Белосельцев изумился, как же раньше он её не заметил. Это была тётя Поля, у которой в селе Бужарве он поселился в юности, когда оставил Москву и уехал на природу, став лесником. Конечно же, это была она, хлопотливая, смешливая, многострадальная, как и все русские вдовы, которых обижали всю их жизнь, и они оставались сердечными, терпеливыми, хранили память о своих почивших мужьях. Конечно, тётя Поля и была Господом Богом, прожившим вместе с Белосельцевым две зимы и два лета в уютной избушке, где за русской печью стояла кровать, деревянный стол, за которым он писал свои первые рассказы. Долгими вечерами они играли с тётей Полей в карты, и та огорчалась до слёз, когда проигрывала. Иногда он приносил из магазина бутылочку красного, и тётя Поля, пригубив сладкую чарочку, пела дивные русские песни про любовь, про охотников и разбойников, рассказывала бесконечные истории о детях, что умерли в раннем возрасте, о тараканах, которые перед началом войны ушли из избы, о своих обидчиках, о добрых людях, помогавших в беде. И всё своим изумительным русским говором сказочницы и вещуньи. Когда подступали трескучие ночные морозы, они с тётей Полей переносили из сарая в избу и опускали в подпол кур и петуха, и ночью Белосельцев сквозь сон слышал, как из погребца кричит петух, и ему казалось, что в центре земли живёт птица с огненным гребнем, и земля на петухах стоит.

Конечно же, это она, тётя Поля, была Господом Богом, и к ней обратился Белосельцев.

— Господи, это я явился к Тебе, чтобы поведать, как в земной жизни я исполнял Твои задания. О чём Тебе рассказать? Быть может, о том, как в Мозамбике минировали аэродромы, куда из ЮАР приземлялись лёгкие самолётики с диверсантами? Пополняли запас топлива, брали взрывчатку и летели дальше взрывать нефтепроводы в Бейре. Аэродром был простым пустырьём в саванне, среди редких кустов. На песке оставался след самолётных

колёс от прежних посадок. Мы заложили в колею взрывчатку и стали ждать самолёт. К вечеру раздался треск мотора, похожий на цикаду. Самолёт был из фанеры, покрашенный в оранжевый цвет; он опустился на грунт, побегал и взорвался. Взрывом его перевернуло, и он горел колёсами вверх. Когда мы подошли, то увидели, что пилотом была женщина в комбинезоне, с автоматом “Узи”. Тебе это интересно узнать?

Тётя Поля печально вздохнула и, подперев щеку, задумалась, быть может, вспоминала своих умерших детей, от которых остались в сундуке лняные рубашечки, а под потолком — железное кольцо, в котором висела зыбка.

— Тогда послушай, как в Средиземном море на Пятой эскадре мы ходили на судёнышке радиокационной разведки у берегов Ливана. Там, в долине Бекаа шла война, израильские самолёты взлетали из Хайфы и летели низко над морем, невидимые для радаров. Мы фиксировали их массовый взлёт, передавали информацию советским зенитно-ракетным полкам, прикрывавшим Бекаа. И когда израильские “кфиры” собирались нанести удар, они попадали под выстрелы наших зенитных ракет и, сторая, падали на оливы и виноградники. Это тебе интересно?

Тётя Поля молчала, только смахнула краем платочка слезу:

— Расскажи-ка мне лучше, Витюша, как видел лису.

Ну, конечно, он видел лису тем февральским солнечным днём, когда в счастливом одиночестве праздновал своё рождение. Лиса была послана ему в подарок этими янтарными полянами, розовыми шишками на вершинах елей, красной веткой брусники.

Он работал лесником, и его угоды касались стен Ново-Иерусалимского монастыря, взорванного немцами, напоминавшего гору с осевшей вершиной. Божественный Никон своей русской необъятной мечтой решил перенести под Москву святую Палестину, чтобы здесь, в подмосковных лесах, во время Второго пришествия опустились стопы Христа. Белосельцев носился по снежным полям на своих широких, как лодки, лыжах, не ведая, что, влетая в леса, он погружается в кущи Гефсиманского сада. А шагая по чёрным лесным дорогам среди красных и синих цветов, не догадывался, что повторяет крестный путь. А ныряя в студёную Истру, не задумывался над тем, что погружается в Иордан.

В монастыре он подружился с местным краеведом Львом Лебедевым. Дружба с ним длилась всю его жизнь и одарила его священным обожанием, русской тайной, знанием о русской Голгофе, русской пасхальной судьбе. Ночью они со Львом прихватывали керосиновый фонарь и шли в разорённый храм, хрустя по разбитым изразцам. Вставали под провалившийся купол, и сквозь огромный пролом смотрело на них всё сверкающее звёздное небо, как Божье лицо. Они молились, не зная ни одной молитвы. Лев Лебедев крестился и стал отцом Львом, а позже крестил Белосельцева в смоленском селе Тёсово. В день Казанской Божьей Матери Белосельцев опустил голые стопы в ледяную купель, и отец Лев облил его крещальной водой. И ночью они шли по Смоленской дороге, неся перед собой керосиновый фонарь, пели, читали духовные стихи, говорили о Русском Чуде, Русской победе.

Отец Лев, повторяя судьбу многих русских батюшек,пил горькую, ссорился с иерархами и позже ушёл в лоно зарубежной церкви. Он умер от разрыва сердца на аэродроме Кеннеди, возвращаясь в Россию.

Тётя Поля, дававшая приют Белосельцеву в течение нескольких лет, умерла дождливым осенним днём. Несколько лесников и он, Белосельцев, несли её лёгкий гроб на гору, где темнели кладбищенские берёзы. Могила была открыта, и на сырой земле разбросаны маленькие коричневые кости её детей. С ними она соединилась в могиле, на которой через год выросла жёлтая пижма.

Белосельцева не удивило, что тётя Поля, бывшая одновременно Господом Богом, куда-то исчезла, растворилась, истаяла среди других праведников, населявших Царствие. Господь Бог являлся ему в разных обликах, и Белосельцев безошибочно узнавал его по признакам святости, таким, как отсутствие тени или хождение по травам, которые не стгибались под шагами.

Белосельцев шёл по чудесным влажным лугам, которыми изобиловало Царствие. В травах краснели цветы с липкими головками, которые он

в детстве называл “богатырскими”. Ему казалось, что в таких лугах среди таких цветов пробирались на конях русские богатыри, и кони тонули в травах по самые гривы.

Он увидел среди луга малое светлое озерцо. Оно было окружено бахромой голубых анютиных глазок. В озерце, как в ванной, сидели молодые прекрасные женщины, выжимали из волос озёрную воду, поправляли прилипшие к телу, ставшие прозрачными сорочки. Их было девять, темноволосых, златокудрых, хрупких и гибких, полных и томных. Они увидели Белосельцева и стали звать к себе, в озеро. И он узнал в них женщин, которых любил когда-то и которые среди множества других мимолётных увлечений делали его счастливым, дарили несколько восхитительных лет, о которых теперь он вспоминал, как о божественном даре. Но среди этих девяти не было десятой, той, кто стала его женой, родила ему детей, провожала на войны и умерла у него на руках, сделав навеки несчастным. Жены Веры не было среди прелестных купальщиц. Не было её и среди других праведниц, населявших Царствие. И он среди несчётного множества праведников, удостоенных вечной жизни, не находил её, чувствовал её отсутствие, как горькую пустоту.

Купальщицы обрызгали его водой и подарили на прощанье большую синюю стрекозу, которая, шестеля слюдяными крыльями, повела его к лесу.

Как хороша эта лесная тропинка! Молчаливая птица перебегает её, скрывается в кустах, на которых редко краснеют ягоды лесной малины. Вдруг паутина, сплетённая из тончайших радуг, преграждает тебе путь, и ты осторожно обходишь её, чтобы не потревожить дивное творенье. А на тропу уже падают круглые, как монеты, листья осины, и в каждом — голубая капля с отражением неба, и на губах горьковатый вкус скорой осени.

Белосельцев увидел, как навстречу идёт старичок с корзинкой, полной черники. Черничный сок вытекал сквозь прутья корзинки. Губы старичка были синие от сока, а глаза на сморщенном коричневом лице казались васьильками. Белосельцев сразу его признал. Это был карел Евграф, который приютил Белосельцева и его жену Веру в их медовый месяц в уютной избушке на берегу лесного карельского озера. И конечно, Евграф повстречался ему не случайно, ибо и он был Господь Бог, и перед ним предстояло держать ответ за земные деяния.

Они сидели на поваленном дереве, и Белосельцев спрашивал карела Евграфа:

— Рассказать тебе, как в Кампучии я сидел на броне трофейного американского транспортёра, захваченного вьетнамцами под Сайгоном, и мы прорывались через границу Таиланда, добывая отряды красных кхмеров? Лицо моё напоминало пухлую подушку от укусов moskitov, и вьетнамский врач прикладывал к нему распаренный лист банана. Или хочешь, расскажу, как на границе Гондураса в заливе Фонсека состоялся бой пограничных катеров? Гондурасский катер был подбит, тонул, а сандинисты одиночными выстрелами добывали плавающих в воде гондурасцев. В этом заливе было много летающих рыб. Они, как блёстки, выпрыгивали из воды, падали на палубу катера и высыхали на солнце.

— Нет, — ответил карел Евграф. — Расскажи о другом. Сам знаешь, о чём.

Конечно, он знал. О чудесном Вохтозере, которое днём было зелёным от отражения лесов, а к вечеру в него погружалась негасимая малиновая заря, и гагара летела, роняя в озеро каплю, от которой медленно расходились серебряные круги. Они с женой шли сквозь огненно-красные сосняки, перешагивая гранитные выступы, по лесной дороге, где медведи паслись в черничнике и оставляли синие горки помёта. Вернувшись домой, в полутёмной бане при свете керосиновой лампы хлестали друг друга вениками, кидали ковшами воду на раскалённые камни, и вода взрывалась, летела под потолок огненным змеем, а они голые в темноте выскакивали из бани и падали в студёное озеро. Он обнимал её, стоя в тёмной воде, глядя, как над лесом встаёт луна. Однажды в лодке на середине озера, когда утомлённые, в сладком обмороке лежали на днище среди рыбьей чешуи и обрывков сетей, она, прижимая руки к животу, сказала:

— Я чувствую, он там, во мне. Я рожу.

А в нём — ликование. Он целовал её округлый дышащий живот, на который слетаются духи лесов и озер, и их чадо уже знает о малиновой заре и гагаре, чувствует, как он целует её живот, и она говорит:

— Ведь правда, мы никогда не умрём?

Всё это Белосельцев хотел рассказать карелу Евграфу, но того уже не было. Только стояла корзина с черникой, оставленная Белосельцеву в подарок.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Белосельцев услышал отдалённые рыдания. Он не мог ошибиться — рыдала его жена. Значит, она была здесь, в Царствии. С ней было неладно, и Белосельцев, торопясь увидеть её, кинулся на звук рыданий. Пробежал болотом сквозь заросли осоки, оставлявшей на теле глубокие порезы. Продрался сквозь кусты боярышника, исцарапавшего острыми иглами. Перепрыгнул рытвину, оставленную изгнанниками. Рытвина уже зарастала молодым лесом, и он больно напоролся на сук.

Он выбежал на просёлок, который соединял Царствие с внешним, не обожествлённым миром, и увидел жену. Она находилась по ту сторону тесовых ворот, билась в руках двух праведников, похожих на санитаров, вырывалась, выкрикивая:

— Пустите, пустите меня! Я хочу быть вместе с ним, с моим милым! Пустите меня к мужу, я умоляю!

Она вырывалась, а её крепко держали, и было видно, что ей делают больно.

— Вера! — крикнул Белосельцев. — Я здесь!

Она увидала, рванулась к нему, но зелёный серафим преградил ей путь, сбросил на неё ворох берёзовых веток.

— Почему? — воскликнул Белосельцев, — Почему её не пускают в Царствие? Она добрее, жертвенней, боголюбивей многих из нас. Она выхаживала меня в болезнях, она отказалась от творчества, преуспевания, выращая детей. Почему её не пускают?

Рядом стояла праведница с печальным утомлённым лицом. Это была Зинаида Гишпиус. Она сказала:

— Ваша жена совершила неотмолимый грех. Она убила в себе младенца. Она в себе самой воздвигла плаху и на ней зарубила своего неродившегося сына. Такой грех невозможно отменить. Даже молитвеннику Земли Русской преподобному Сергию, хотя и его, увы, нет среди нас.

Жена рыдала, накрытая шатром берёзовых веток. Воробьи тучами летали вокруг. Казалось, они хотят провести жену сквозь тесовые ворота, но не в силах это сделать.

Белосельцев, несчастный, беспомощный, стоял у изгороди, не в силах дотянуться до жены. Он помнил те мучительные месяцы, когда жена была беременна, а у него случился роман с красавицей, лицом своим напоминавшей воронежские иконы. Тонкая переносица, летящие брови, зелёные лесные таинственные глаза. Жена узнала о романе, хотела уйти из дома. Однажды, вернувшись домой, Белосельцев увидел жену, белую, как мел, и на этом бескровном лице жутко мерцали чёрные слёзные глаза.

— У нас не будет сына, — сказала она. — Теперь ты свободен.

А у Белосельцева — слепой ужас, немота. Он кинулся обнимать колени жены, целовал, рыдая:

— Что же ты сделала, Господи! Прости меня!

Теперь жена была отделена от него неодолимой преградой, за её спиной горела багровая звезда, хрустели льды. Её уводили в эту кромешную тьму, чтобы больше им никогда не увидеться.

— Милый, прощай! — донеслось до него. — Люблю тебя вечно.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Горюя, не сдерживая слёз, Белосельцев брёл, куда глаза глядят. Встречные праведники уступали ему дорогу. Девочка, погибшая при пожаре в Кермерово, подошла и подарила ему тряпичную куклу. Две белых цапли следовали за ним в отдалении. А воробьи, они же ангелы, летели над ним, орошая его небесной росой. Но дело, ради которого Белосельцев явился в Царствие, звало его. Он должен был повидаться с Господом Богом, отправившим его на задание в земную жизнь и теперь призвавшего его к отчёту.

И Господь Бог не замедлил явиться. Это был человек со странным именем Маркиан Степанович, который одно время часто бывал в их доме, тайно влюблённый в маму. Он был русский интеллигент из числа чеховских или бунинских героев, увлекался живописью, был знаком с художниками “Мира искусства”. Он писал акварели. Принося их на показ маме, раскладывал на полу, и они с мамой подолгу их рассматривали, находя достоинства, скрытые от глаз Белосельцева. Теперь Маркиан Степанович возник перед Белосельцевым в беседке, в плетёном кресле, со своим сухим долгоносим лицом и бесцветными губами, которые постоянно жевали пустой янтарный мундштук, ибо мама запрещала ему курить в доме. Маркиан Степанович дружелюбно, чуть насмешливо смотрел на Белосельцева, готовясь произнести какую-нибудь свою витиеватую шутку, но Белосельцев, угадав в нём Господа Бога, спросил:

— Господи, могу ли я рассказать тебе о Карабахе, где русский лётчик-наёмник бомбил армянские позиции в Степанакерте, а другой русский — зенитчик — сбил его самолёт. Раненый пилот приземлился в расположении армян, те захлестнули его в огромный баллон от “КамАЗа” и подожгли. Баллон дымил чёрной жирной сажой, пока не сгорел, не распался, и в нём чернела гора обгорелых костей. Рассказать ли об этом?

Маркиан Степанович покачал головой, давая понять, что рассказ не занимает его.

— Тогда расскажу, как в Приднестровье мы обшивали стальными плитами “КамАЗ”, устанавливали на нём пулемёты, и эти железные слоны двигались по улицам Бендер, поливая огнём наступавшие цепи румын. Один попал под удар гранатомёта, и казаку Майбороде оторвало ногу.

— Нет, — произнёс Маркиан Степанович, — расскажи лучше о маме.

Что он мог рассказать о маме, если она была самой красотой, самой добротой, самым возвышенным благородством, воздухом, из которого он появился на свет. Как красивы были её густые каштановые волосы, которые она расчёсывала перед зеркалом костяным гребнем, и в зеркале горела короткая сочная радуга. Как чудесно пахли её духи, и как красиво было её праздничное голубое платье! Мама была тем хрупким побегом, дотянувшимся из прежней жизни в нынешнюю, в которой родился и рос Белосельцев. Секира, полоснувшая их многолюдный род, пощадилась. Она подкладывала на стол Белосельцеву подшивку журнала “Весы” со стихами Бальмонта и статьями Флоренского. Она водила его в Большой театр слушать “Пиковую даму”. Она возила его в Кусково, Останкино и Мураново, и он запомнил старую церковь, полную душистого сена, в которое он нырял, как в воду. Она учила его языкам. Однажды ночью, когда на стене в зелёном пятне уличного фонаря метались тени деревьев, она рассказала историю рода, погибшего на этапах, в тюрьмах, сгинувшего в эмиграции, и он узнал о беде, которая заставляла рыдать бабушкиных братьев во время их чаепитий.

Она овдовела в тридцать лет, когда отец добровольцем ушёл на фронт и погиб под Сталинградом в штрафном батальоне. До старости, когда упоминали о погибшем отце, у неё начинали дрожать губы и наполнялись слезами глаза, и он боялся говорить об отце, боялся слёз, текущих из её прекрасных серых глаз. Архитектор, она шла вслед за войсками по сожжённому Смоленску и проектировала бани и прачечные для оставшихся жителей. Она работала всю жизнь, взращая сына, не отказывая ему ни в чём, и он помнил её подарок — великолепный, лазурного цвета велосипед, на котором он катил по влажному голубому асфальту среди редких машин и весенних деревьев.

К старости она ослабела и много лежала. Он незаметно всматривался в её тёплую кофту, боясь, что вдруг не заметит её дыхания. Она сетовала, что он редко бывает с ней, скучала. Однажды, проходя мимо её комнаты, он услышал её неразборчивый бубнящий голос. Это она на память читала вступление к “Медному всаднику”. Она чувствовала, что приближается её конец, и занималась сборами, как собираются в путь. Аккуратно в папки сложила все свои рисунки, собрала все письма и фронтовые треугольники отца. Записала всю историю рода. Однажды он увидел, что она молча сидит на кушетке, и лицо у неё торжественное.

— Мама, ты что? — спросил он.

Она ответила:

— А всё-таки мы жили в великую эпоху.

Вскоре после этого она крестилась, и Белосельцев остро ощутил, что эпоха кончилась. Когда она умерла ночью, и он держал её остывающую руку, его поразило, что у него с мамой одинаковая форма ногтей.

Всё это Белосельцев рассказал Маркиану Степановичу, а когда кончил, того уже не было. С того места, где тот сидел, медленно удалялась белая цапля, обходя розовые кустики иван-чая.

Белосельцева не удивляла многоликость Божества, которое обретало образ, облегчавший общение с Белосельцевым. Если Бог был в купине неопалимой, в падающем, как небесный изумруд, метеоре, с ещё большей лёгкостью он мог предстать перед Белосельцевым в образе дорогих ему людей.

И таким дорогим человеком, что принял образ Божий, был генерал Альберт Михайлович Макашов. Он сидел за дощатым столом, на столе лежало перо кукушки, которая пролетела мимо в безуспешных поисках родного гнезда. Макашов не убирал перо, словно раздумывал, как употребить этот дар небес. Он был в полевой форме, с зелёными генеральскими звёздами, в своём чёрном знаменитом берете, в котором стоял на балконе Дома Советов, когда отдал приказ баррикадникам штурмовать Останкино. Белосельцев смотрел на его спокойное, с крепким носом и сжатыми губами лицо, в котором было знание о поджидавшей их всех судьбе.

— Господи, — произнёс Белосельцев. — Наконец-то я смогу рассказать Тебе то, что так тщательно сберегал и таил. Когда первые пулемёты ударили по баррикаде, и раненые женщины поползли к подъезду Дома Советов, чтобы укрыться от пуль, я уже знал о снайперах, которые разместились на крышах и стали выбивать то защитников Дома Советов, то десантников, скрытых под броней бэтэров. Это меняет представление о всей картине того кровавого дня. Тебе это важно знать?

Макашов чуть мотнул головой, давая понять, что сведения не заинтересовали его.

— Тогда знай, что бэтэры, притаившиеся у стен Останкино, заранее получили приказ стрелять по толпе, и я слышал, как пуля чмокнула в живое тело, а другая глухо ударила в дуб, что рос у Останкинской башни. И тот бешеный бэтэр с обезумевшим водителем, что врезался в толпу... Я кинул в него пластиковую бутылку с бензином, но промахнулся, и бензин горел на асфальте.

Макашов взял перо, окунул в чернила и на листе мелованной бумаги каллиграфическим почерком написал: “Повесть временных лет”. Отложил перо и произнёс:

— Расскажи лучше о жене, которая кинулась тебя спасать.

В то утро, когда к Дому Советов потянулся народ, и стали строить баррикаду из старой арматуры, истлевших досок, поломанной мебели, Белосельцев отправился к Дому Советов, и два его сына увязались за ним. Он видел, как они, похожие на муравьёв, тащат к баррикаде какие-то палки, катят пустые железные бочки, и он испытывал удовлетворение и отцовскую гордость, видя своих сыновей в рядах восставших. Изредка, выходя из Дома Советов, он видел сыновей среди баррикадников, которые играли на гитаре, танцевали, размахивали Андреевским флагом.

Когда формировался Добровольческий полк, и в одной шеренге маршировали старики-ветераны, худосочные юнцы, бородатые старцы, он видел,

как сыновья, сбиваясь с шага, маршируют, и у каждого из них на боку висят противогазные сумки. Старший нёс имперское чёрно-золотое знамя. Белосельцев увидел, как наперерез шеренге выбежала жена Вера с иконой в руках, загородила путь марширующим, истошно крича, стала выхватывать из рядов сыновей. А те сердились, отталкивали мать. Ушли вместе с утлой колонной, а жена, простоволосая, безумная, крестила иконой Дом Советов, баррикаду, угол здания, за которым скрылась шеренга.

Через несколько дней, когда грохотали танки, и баррикада, разнесённая в щепки, была завалена трупами, жена, обезумев, бегала к месту побоища в поисках сыновей. Дома она стояла на коленях перед иконой и страстным слёзным шёпотом молилась, и когда под утро один за другим явились домой сыновья, измученные, законченные, жена целовала их лица, их руки и упала перед иконой без чувств.

Она тяжело умирала. У неё отказывали лёгкие, она не могла дышать, заходила странном удушьем. Говорила, что эти мученья даны ей за неотмолимый грех, когда она избавилась от ребёнка. В краткие часы, когда её отпускало удушье, она лежала в беседке среди берёз и дремала, а Белосельцев смотрел на её истощённое любимое лицо и просил Господа взять часть его жизни и передать ей. Чтобы она не уходила, чтобы оставалась лежать в беседке среди ровного шума берёз.

Та последняя страшная ночь. Она то заходила ужасным кашлем, то падала на подушки без сил. Он обнял её за плечи, усадил на кровати, и она, уже почти лишившись голоса, прощаясь с ним, утешая его, чуть слышно сказала:

— Нам всем предстоит пройти этот путь.

Она легла и больше не поднималась. Протянула ему руки, он взял их в свои, и они попрощались. И в этих прощальных пожатиях были все их снега, все серебряные метели, все ласки, все нежные слова и признания, и она передавала ему всё это на сбереженье, на вечную любовь.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

На опушке неуловимой желтизной и запахами сухой листвы притаилась осень. В белесой выцветшей траве неутомимо звенел кузнечик. Тут же стоял шалаш, крытый берёзовыми ветвями, сладостный дух которых пьянил. Среди этих ароматов в тени шалаша сидел старец. Он был с непокрытой головой, редкие мягкие волосы спускались до плеч. Лицо с кустей бородкой было серебристого цвета, а глаза, влажные от непрорыхающих слёз, казались то серыми, если над шалашом вставала туча, то синими, если над шалашом открывалась лазурь.

— Кто ты?

— Я инок Зосима.

— Это ты написал, что там, где кончается Россия, начинается Царствие Небесное?

— Я написал, а ты прочитал, вот мы оба и в Царствии.

— А если в Царствии, почему сердце болит?

— Ты сердце отвергни, оно и примет Царствие. А если сердце закрыто, то и чуда не будет. Говорят: «Россия! Россия!» А России нет никакой, а есть чудо. Открой сердце, и чудо вступишь, а значит, вступишь Россию. А Россию вступишь, значит, и Царствие обретешь. Глаза не открывай, глаз обманет. Сердце открой. Больше тебе ничего не скажу. Ступай, — после этих неясных слов старец скрылся в глубине шалаша и больше не появлялся. Белосельцев не взялся толковать иносказания старца, обратив на них не разум, а сердце.

Было тихо, и только в вянущей траве заливался кузнечик.

Вечерело, но обитатели Царствия вовсе не готовились к ночлегу. Среди них царил возбуждение. Они во множестве шли по тропинкам, переходили ручьи, покидали берега далёких озёр, и все сходились к просторной поляне, окружённой высокими соснами. У каждого в руках была малая плошка, изготовленная из бересты, и в ней торчал клочок сухого мха.

— Что здесь готовится? — спросил Белосельцев у знаменитого летчика Чкалова, совершившего перелёт через Северный полюс.

— Как, вы не знаете? Сегодня в Царствии праздник Благодатного света. Вот, возьмите, — и он протянул Белосельцеву плоску с клочком мха.

Праведников становилось всё больше. Они занимали уже всю поляну, соседний бор, окрестные рощи, берег темневшей реки. Все молча стояли, держа перед собой плоски.

Птицы не ложились спать, а расселись на вершинах. Из леса вышли олени, косули и лоси и чутко вдыхали прохладный воздух. Два волка сердито рычали на овцу, которая пыталась с ними заигрывать. Наконец, стало совсем темно. Лица слабо белели, и лишь угадывалось, какое было их множество.

Внезапно на чёрной ночной реке возник отблеск, и стал виден паром, которым управляли двадцать восемь гвардейцев-панфиловцев. На пароме горел стог сена, жарко отражался в чёрной реке. Паром причалил к берегу. Панфиловцы в несколько рук схватили горящее сено, но не обжигались, а несли на берег. Огонь не жёг, а только светил. Панфиловцы несли горящее сено, и все торопились коснуться стога своими плосками. Мох в плосках воспламенялся. Бесчисленные ручьи и реки благодатного света разбегались во все стороны. Становилось светло, как в полдневный час. Дивно сверкали озёра.

Цветы — голубые, белые, алые — горели на холмах. На вершинах сидели волшебные птицы, и их оперенье было похоже на цветное стекло. Рыбы выскакивали из воды и казались серебряными зеркалами. Крутом было несчётное множество озарённых счастливых лиц. Праведники целовали друг друга, славили Благодатный свет песнопениями. Огромный пылающий стог сена сиял в небе, как золотой слиток, озаряя все дали.

Белосельцев испытал небывалое счастье, несказанную любовь. Это счастье и эта неземная любовь делали Царствие наградой за земные лишения. Он благословлял этот золотой шар света, пылающий в самом центре небесной обители.

Белосельцев стоял среди праведников, держа берестяную плоску, в которой, как малая звезда, сиял Благодатный свет.

Рядом с ним стояли поэты, держа в руках лучезарные светочи, и читали стихи. Каждый читал, не слушая другого, так что их голоса напоминали пчелиный гул в полном мёда улье.

Белосельцев слушал гул их голосов, похожий на шум деревьев. Каждый отдельный стих был почти не различим. Но если вслушаться, то все их песнопения складывались в молитву: “Отче наш, сущий на небесах”. И все они на свой лад пели псалом и славили Господа.

Внезапно в глубине шара обозначилось лицо, огненные очи, грозные брови, сжатые сурово уста. Это был Пантократор, который когда-то так поразиł Белосельцева в Киевской Софии. Пантократор громоподобно пророкотал с неба, и вослед небесному грому промчались две огненные боевые колесницы. Илья Пророк и Енох стояли на колесницах, натянув поводья, и в поводьях бились две молнии, две серебряные змеи.

— Ты явился ко Мне без зова, — обратился Пантократор к Белосельцеву. — Ты не прожил свою земную жизнь до конца. Ты не исполнил Моё задание и не выполнил долг разведчика. Возвращайся на землю, проживи свои земные дни до конца, до последней минуты, а потом предстань предо Мной, и Я решу, достоин ли ты Царствия Небесного.

Лицо Пантократора скрылось, превратилось в пылающий стог сена.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Белосельцев сидел в кузове “КамАЗа”, упираясь грязной бутсой в железную бочку с соляровкой. Край драного брезента шлёпал по голове. Пыль залетала в кузов, пахло пролитой соляровкой, кислым железом и газами из выхлопной трубы впереди идущего “КамАЗа”. В колонне, которая тряслась по грунтовой дороге, находилось шесть тяжёлых машин, наполненных людьми. Впереди, оторвавшись от колонны, пылили четыре “Тойоты” с крупнокалиберными

пулемётами, приваренными к раме. Две “Тойоты” замыкали колонну, и было видно, как пулёмётчики, замотав рты и носы платками, стоят в рост, ухватившись за стальные рамы.

Белосельцев устал от тряски, виски ломило, но он терпел, глядя на коричневые бугры сирийской пустыни, в которую погружалась колонна. Люди, окружавшие Белосельцева, были кто в камуфляже, кто в запылённых тужурках, и их вооружение состояло из потрёпанных, выдавших виды автоматов, ручных пулемётов и гранатомётов старого образца, с торчащими из стволов заострёнными зарядами. Все они были бойцами частных военных формирований, собранных из добровольцев, отслуживших срочную в российской армии, или из ополченцев Донбасса, переместившихся с одной войны на другую. На ту, где платили деньги, но не упоминали убитых в сводках потерь, и далеко не о каждом убитом узнавали в русских городках и украинских селах.

Колонна двигалась в район, находившийся под контролем курдов. Ей надлежало захватить небольшой нефтеперегонный завод, дожидаться подхода сирийской части и передать завод под её контроль.

Белосельцев присутствовал в группе как частный эксперт, используя посещение курдских районов для написания аналитической справки. Ни в интересах армии, ни в интересах спецслужб к его услугам давно не прибегали, и он сотрудничал с малоизвестным Институтом ближневосточных проблем, где ценили его дар неожиданных обобщений.

Рядом с Белосельцевым на грязном тюфяке устроился ополченец из Луганска Говоруха. Из-под вязаной шапочки у него торчал чуб, на круглом лице золотилась щетина. Он ёрзал, посмеивался, ему хотелось говорить, действовать. Монотонная езда утомляла его. В исцарапанных руках поблёскивали чётки из оникса. Он перебирал полупрозрачные зерна, ловко обходясь без двух отстреленных пальцев, которые потерял под Дебальцево.

— А мне всё равно, какому Богу молиться. Лишь бы помогал. Я в мечеть зайду и ихнему Богу помолюсь, и он помогает. Ещё ни разу не зацепило, а наш Бог не уберёт, два пальца ему подарил. — Говоруха весело показал обрубки пальцев, которыми ловко перебирал медовые камни чётки.

— А где, я тебя спрошу, Говоруха, водила со второго взвода Коржик? Пошёл в мечеть ихнему Богу молиться, а ему полчерепушки очередью снесло. Ты сперва его пристрели, а потом молись. Так, глядишь, домой и вернёшься. — Боец, позывной которого был “Лютый”, не расставался с автоматом, держал его на коленях. Раньше он был проводником в поезде, колесил по Сибири, а потом колея привела его в Сербию, на Донбасс, а теперь и в Сирию. У него было тяжёлое землистое лицо и зоркие, со злым огоньком глаза, которые до конца не закрывались даже во сне, остерегаясь опасности.

— Вернёмся, деньги получу, рассчитаюсь, и хватит с меня, домой. Всех денег не заработаешь, всех бородатых не перебьёшь. — Ополченец с позывным “Пила” задвигал острым кадыком, проглатывая коричневую от пыли слюну.

— Пропьёшь эти деньги, опять приедешь наниматься, — презрительно произнёс Лютый.

— Нет, не пропью. Я бизнес заведу, — как о мечте, которую давно лелеял, произнёс Пила.

— И что за бизнес? — хмыкнул Лютый.

— Лесопилку куплю. Кругом лес стоит. Буду брус пилить, доски. Сейчас на хорошие доски спрос.

— Из хороших досок для нашего брата гробы не делают. Давай попроще, с сучками.

Они замолчали. Ревели “КамАЗы”, шатало от борта к борту. Пахло железом, соляркой, раздавленными полынями. Белосельцев смотрел на шершавые холмы, на придорожные кактусы, похожие на грязно-зелёные лепёшки, усеянные острыми иглами. Иглы были длинные, поблёскивали, как стальные. Это унылое зрелище то и дело заслонял обрывок грязного брезента. Белосельцев старался представить всю непостижимую, из вихрей и протуберанцев, картину войны, где сотни военных группировок, политических движений и партий, клубки интриг и запутанные интересы держав напоминали

огромный ломоть пластилина, куда были вмяты разноцветные языки. И уже было невозможно их разъять, чтобы обнаружилась подлинная обстановка. Белосельцев изучал военные усилия Ирана, посылавшего на сирийский фронт Стражей Исламской революции. Встречался с боевиками “Хезболлы”, ведущими наступление под Алеппо. Хотел уразуметь роль ХАМАС, которое всё больше втягивалось в конфликт. Старался уяснить ситуацию в курдских регионах, куда вторглись турецкие танки. Разгадывал мотивы Израиля и Саудовской Аравии. А главное, прогнозировал угрозу прямого столкновения русских и американских войск, что было чревато войной средней интенсивности, сначала на Ближнем Востоке, а затем и в Европе.

Белосельцев сравнивал потенциалы, следил за перемещением зон влияния, сопоставлял количество русских самолётов на базе Хмеймим и авиационных ударных сил, размещённых на американских авианосцах. И своей прозорливостью, своим прозрением рисовал эксцентрические сценарии событий, не доступные обычным аналитикам.

— А вы-то, я удивляюсь, зачем с нами в этой коробке трясётесь? — обратился к Белосельцеву Лютий. — Вам бы в вашем возрасте где-нибудь в штабе, с начальством.

— Твоё какое дело, Лютий, — перебил его Говоруха. — Человеку надо, человек интересуется, и ты в его дела не суйся. Невежливо.

— Да по мне хоть кто помирать начини, не сунусь. Каждый сам себе выбирает, где шею свернуть.

— Нам ещё рано шею ломать, — рассудительно заметил Пила. — Нам ещё надо расчёт получить и до дома добраться. А здесь без меня пусть все огнём горит.

Внезапно “КамАЗ” дёрнулся и встал. Послышалась стрельба. Все, кто находился в кузове, подхватили оружие и выпрыгнули на землю. Белосельцев встал в рост, держась за крышу кабины. Вся колонна стояла, люди высыпали на дорогу и беспорядочно стреляли в воздух. В этой азартной стрельбе не было ожесточения, а было нечто, напоминавшее забаву. Под разными углами, от разных машин неслись бледные пунктиры, скрещивались, расходились, искали кого-то в небе. Над колонной летал дрон, двукрылый, с длинным фюзеляжем и нелепо торчащим килем. Трассы пролетали совсем близко от него, не задевая. Он пролетел вдоль колонны, вильнул и ушёл в сторону, где текла река, мелко блестела, поросшая по берегам тростником. Белосельцев понял, что это Евфрат, и, вспоминая карту, подумал, что скоро они достигнут понтона, переправятся на тот берег, и там будет городок с нефтеперерабатывающим заводом, который предстоит взять с боем.

Проходивший мимо “КамАЗа” бородач в рваном свитере, глядя на Белосельцева, произнёс:

— А я говорю: “Командир, а где карта?” А он мне: “Нюхай. Нефтью запахнет, значит на месте”. А что, разве я собака, чтобы воздух нюхать? — и прошёл, кинув автомат на плечо.

— По машинам! — понеслось по колонне. Люди запрыгивали в “КамАЗы”, колонна тронулась. Белосельцев остался стоять, держась за крышу кабины. Евфрат блестел на перекатах, и хотелось оказаться возле реки, окунуть руки в солнечную прохладную воду, омыть воспалённое от ядовитой пыли лицо.

Белосельцев не глазами, а лбом, переносицей, тёмной складкой, разделявшей брови, почувствовал, как надвинулась и стала приближаться прозрачная мгла. Казалось, померкло солнце, и река потускнела. Из этой мглы, из волны тревоги и страха появились над рекой два вертолёта. Это были “Апачи”. Прозрачно блестели винты, мерцали стекла кабин. Вертолёты на высоте прошли вдоль колонны к её хвосту. Развернулись и, резко снижаясь, ринулись её догонять. Чёрные клинья вырвались из-под винтов, и часть дороги с машинами была срыта взрывами, словно скребком соскоблили с неё “Тойоты” и хвостовой “КамАЗ”. Тот подпрыгнул на всех колёсах, подержался в воздухе, опираясь на красные взрывы, а потом, несколько раз перевёртываясь, вылетел на обочину и горел. Из него выпадали люди, одни бежали, другие оставались лежать, третьи уродливо, как черепахи, ползли, загребая руками и ногами.

Другие два вертолѐта пошли в лоб колонне. Передняя “Тойота” ударила по ним из пулемѐта, но чёрные клювы вонзились в дорогу, и головные “Тойоты” были сметены взрывами, а передний “КамАЗ” загорелся, потерял управление, слепо лез на холм, остановился на вершине и продолжал гореть.

Первая вертолѐтная пара вернулась, покрыла дорогу бурлящими взрывами, долбила пулеметами, совершая крутые виражи. Настигала убегающих в степь бойцов и расстреливала.

Белосельцев оставался стоять в кузове, ожидая, когда волна взрывов накроет “КамАЗ”, и он исчезнет среди треска железа.

Говоруха с красной дыркой в голове лежал на тюфяке. Пила соскочил на землю, и закрыв затылок руками, бежал от дороги. Лютый от живота бил из ручного пулемѐта в удалявшийся вертолѐт. Отбросил пулемѐт, перемахнул через борт.

Третья вертолѐтная пара повисла над трассой, и Белосельцеву показалось, что он видит пилота в шлеме, подвески, с которых срываются снаряды. Трескучий красный столб взрыва поставил “КамАЗ” на дыбы. Белосельцев вылетел на дорогу, на минуту потерял сознание, а потом пришѐл в себя и, не в силах шевельнуться, смотрел, как горят разбросанные “КамАЗы”, как стремится ускользнуть “Тойота”, а за ней, покачиваясь в воздухе, гонится “Апач”. Белосельцев увидел, как из холмов выкатили несколько бѣтэров, с них прыгивали солдаты, обходили побоище, приставляли к лежащим длинные стволы скорострельных винтовок и добивали их. Увидел, как над ним склонилось гладко выбритое розовое лицо, ремешок шлема на подбородке и длинный ствол винтовки потянулся к его лбу. И всё погасло.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Белосельцев очнулся и обнаружил, что лежит на тюфяке, над ним низкий, грубо побеленный потолок, и сверху, словно свисая с этого потолка, надвинулось молодое лицо, соломенные светлые волосы, свежие розовые щеки и улыбающиеся губы.

— Как вы себя чувствуете, Виктор Андреевич? Наш врач осмотрел вас, не нашѐл переломов. Просто удар головой о землю. — Человек говорил на хорошем русском языке, но с прибалтийским, видимо, эстонским акцентом. — Не понимаю, как можно было выдвигаться с колонной, не имея карты, не проведя разведку, не получив воздушного прикрытия. Как вы, Виктор Андреевич, могли оказаться в этой неорганизованной толпе, прямо скажем, банде?

— Вы меня с кем-то путаете, — сказал Белосельцев, слыша, как свистит в горле. — Меня зовут Игорь Николаевич Кочетов.

— Ну, зачем мы играем в мышки-кошки? Вас зовут Виктор Андреевич Белосельцев. Вы генерал-лейтенант внешней разведки. Вы были в Вашингтоне, в штаб-квартире Неви Аналайсес, в рамках сотрудничества советских и американских спецслужб. Ведь так, Виктор Андреевич?

— Я Игорь Николаевич Кочетов, профессор кафедры геополитики в Институте международных отношений.

— Ну, зачем нам эти мышки-кошки, Виктор Андреевич. У нас есть подробное досье на вас, где за вами числятся операции в Афганистане, Анголе, Мозамбике, Камбодже, Никарагуа, Эфиопии. Вы работали в аналитическом центре и не раз посещали “горячие точки”.

— Повторяю, я Игорь Николаевич Кочетов, профессор кафедры геополитики.

— Ну, хорошо, как угодно. Нам не нужно от вас никаких секретов. Все ваши разработки давно устарели. Все ваши аналитические методики давно уступили место математическому моделированию. Вы просто решили тряхнуть стариной и ещё раз понюхать, как пахнет порох. Но ведь это мальчишество, Виктор Андреевич!

Эстонец укоризненно качал головой, понимая старческую слабость Белосельцева, осуждал её и одновременно отдавал ей должное.

— Нам нужно от вас немногое, Виктор Андреевич. Сейчас сюда придёт оператор, и вы назовёте своё подлинное имя и звание, и засвидетельствуете, что генерал ФСБ участвует в тайных операциях на территории Сирии. После этого вас поместят в хорошую клинику, а потом, если вы пожелаете, вас переправят в Америку или в любую страну Евросоюза. Я бы рекомендовал Эстонию. И Европа рядом, и Россия близко. Буду рад принять вас в моём доме.

Белосельцев чувствовал себя беззащитным, в полной власти врагов, знал, что сопротивление его будет непродолжительным и кончится гибелью. Но он решил сражаться. Перед ним мелькнула летучая рыба из залива Фонсека, просверкала у глаз и скрылась.

— Мы сделали запрос в вашу военную миссию относительно вас. Мы были готовы вас передать вашим военным, но они отказались от вас, отреклись. Сказали, что не знают никакого Белосельцева.

— И впрямь, откуда они могут знать. Сделайте у них запрос о Кочетове.

— Виктор Андреевич, мы с вами гуманные цивилизованные люди и не позволяем себе прибегать к насилию. Сейчас придёт наш медик, сделает вам инъекцию, и это взбодрит вашу память. Под камеру вы назовёте своё имя и звание и подтвердите своё участие в тайных операциях России.

Эстонец отвернулся и что-то крикнул. Появился оператор с камерой и человек в камуфляже и накинутом поверх униформы белом халате, видимо, медик. У него в руках был шприц. Он надколол ампулу, набрал в шприц прозрачную жидкость.

— Позвольте, Виктор Андреевич, вашу вену! — Эстонец закатал рубашку на бессильной руке Белосельцева, и медик вогнал в вену содержание шприца.

Белосельцев, занимаясь йогой, овладел способностью усилием воли разделять свою личность на две составляющих. Одну, в которой скрывалось его подлинное сознание, выносить за пределы тела, а вместо неё выставлять другую, которая являлась мнимой, лишь отражением первой. И в эту мнимую личность ушло содержимое шприца, а подлинная личность со стороны наблюдала последствия впрыскивания.

Он не испытывал боли, а только сладкое забытё, в котором блуждали странные образы, взятые из чьей-то другой памяти. Среди этих, доселе не ведомых образов высились зелёные пышные великаны, наполненные светляками, и он различал чудесный запах распаренных веников. Среди галлюцинаций была одна очень странная, где ему привиделся Ленин в своей обычной жилетке, и из-под этой жилетки стало появляться крыло стрекозы, всё длинней, всё больше, вырастая до горизонта, где оно превращалось в сверкающую реку. То виделся ему его старый учитель Михаил Кузьмич, который что-то беззвучно читал, но по движению губ Белосельцев догадался, что это описание охоты из “Войны и мира”. То появлялся кузнец Василий Егорович, хмельной, с кружкой доморощенного пьяного пива. То перебегала тропу молчаливая птица, то краснел куст лесной малины. Всё это переливалось в нём, как отражение вечернего солнца в стеклянном шаре, что стоял на дедовском старом стуле, и в окне на тополе сидел красногрудый снегирь.

Белосельцев очнулся. Эстонец разочарованно смотрел на него:

— Вы обладаете практиками, позволяющими ускользать от психотропных препаратов. Вы целый час бубнили о каком-то Царствии и серафимах. Но я получил от руководства задание записать под камеру ваше признание, и я его добыл.

В помещение, стуча башмаками, вошли двое. Они были в форме, на головах платки, торчали похожие чёрные бородки. В руках были толстые лепёшки кактусов, усеянные длинными иглами. Они сволокли Белосельцева с матраса, кинули на матрас лепёшку и навалили на неё Белосельцева. От страшной боли Белосельцев закричал. Ему на грудь надавил башмак, и острые, твёрдые, как сталь, иглы вошли глубже, и у Белосельцева от боли пропал голос. Он лежал, пробитый иглами, и беззвучно дёргал губами. На грудь ему кинули другую лепёшку, ударом башмака придавили, и острые иглы пронзили ему соски, впились в живот, и он потерял сознание.

— Теперь вам лучше, Виктор Андреевич? Вы вспомнили, как вас зовут?

Это называется у нас “положить компресс”. Ну, что, включаем камеру? Только несколько слов. “Я, генерал-лейтенант внешней разведки, работаю в Сирии в интересах министерства обороны России”. Включаем?

Рубаха Белосельцева хлопала кровью. Казалось, иглы пробили лёгкие, и каждый вздох причинял нестерпимую боль. Хрипя и выплевывая кровь, Белосельцев произнёс:

— Я Игорь Николаевич Кочетов, профессор геополитики. Пить! Дайте пить!

— Вы хотите пить? — пухлые свежие губы эстонца улыбались. — Я принесу вам пить.

Эстонец вышел из помещения. Через минуту вернулся, держа в руках консервную банку. Поднес к губам Белосельцева и сквозь стиснутые зубы влил солёнку. Белосельцев задохнулся, в глазах поплыли красные и фиолетовые круги, как пятна нефти на воде. Он услышал нарастающий гром. Это мчалась к нему боевая колесница. Запряжённая в неё серебряная змея свивалась кольцами, и Илья Пророк в доспехах и медном шлеме подхватил Белосельцева с матраса, усадил рядом с собой, и они мчались в прохладном ветре среди грома и молний. Белосельцев умер, из раскрытого рта текли солёнка и кровь.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Какое счастье было оказаться на знакомом просёлке и идти под неярким солнцем, наблюдая, как тёплый ветер выдёргивает из отцветших чертополохов лёгкие, как пух, семена, и они летят, переливаясь, как тихие звёзды, и некоторые нежно касаются его лица. Зелёные серафимы в своих пышных сарафанах встречали его запахом распаренных веников, а воробьи шумно и бестолково летели перед ним, садились на просёлок, а когда он приближался, снова взлетали.

На поляне, где недавно проходил праздник Благодатного света, он увидел жену Веру. Она была прекрасна со своим белым чернобровым лицом, малиновыми губами, какой нарисовала её когда-то их пятилетняя дочь.

— Ты здесь? Ты в Царствии? — он обнял её.

— Меня отмолил мой сын.

Белосельцев увидел, как по поляне идёт к ним высокий отрок с такими же, как у жены, прекрасными глазами. Подошёл и обнял мать, и в его волосах запуталась пушистая звезда чертополоха с крохотным ядрышком в глубине, и он вспомнил, что бабушка в детстве говорила ему, будто это крохотный лик Богородицы.

И бабушка была рядом с ними, он обнял её хрупкие плечи, целуя седую голову. И мама в своём синем нарядном платье пришла на поляну, и он улавливал чудесный запах её духов. Но, может быть, так пахли герани, растущие вдоль тёмных лесных дорог.

На поляну сходилась вся многочисленная родня, которую он помнил с детства и о которой слышал в семейных преданиях. И уже был готов стол, и дышал самовар, усыпанный медалями, с узорным рогатым краном.

— Кого мы ждём? — спросила тётя Катя, та, что окончила Бестужевские курсы, а потом работала на раскопках в Помпеях.

— Отца Небесного, — ответил ей дядя Коля, награждённый золотым оружием за лихую атаку под Карсом.

Белосельцев посмотрел на далёкую опушку, где в осенних травах без устали пели кузнечики, и увидел, что от леса по поляне идёт к ним отец. Он был в солдатских обмотках и тяжёлых бутсах, в шинели, в какой бежал в атаку по минному полю в том последнем сражении у хутора Бабурки под Сталинградом. Отец шёл, не глядя под ноги, наступая на мины, и там, куда он наступал, вырастали золотые одуванчики. Он приблизился и обнял мать, и кончилось её вдовство, и они соединились, чтобы больше не расставаться.

Белосельцев всех их любил. Он был дома, был принят в Царствии. В небе пылал негасимый стог сена, и в его глубине, среди Благодатного света начинал возникать золотой Пантократор.

ГРИГОРИЙ КАЛЮЖНЫЙ



РУССКАЯ ВЕРСТА

* * *

Куда вы рвётесь, русофобы,
Как слуги аспидной утробы?
Решили, видно, неспроста
Пройти Московию до края
Путём вражды, того не зная,
Что значит русская верста.

Невнятны вам её скрижали:
Не наши бабы вас рожали,
Вас беды наши не трясли,
Вы наших дальше не видали,
Вы наших песен не певали,
Идя на зов Святой Руси.

Вас влёт призыв иных походов —
Видавших в ней тюрьму народов,
Вкушавших рознь её племён.
Но тем ничтожны ваши крики,
Что Русь сроднила все языки,
Что ею демон усмирён.

КАЛЮЖНЫЙ Григорий Петрович родился в 1947 году в г. Макеевка Донецкой области. В прошлом — штурман гражданской авиации. Член Союза писателей СССР с 1985 года, автор семи поэтических сборников и книги прозы “Жизнь Григория Фёдоровича Морозова”. Лауреат премии “Нашего современника”.

Всегда рвались вы в мир наш Бóгов
Для провокаций и подлогов,
Как дел нечистых мастера.
Се! Час истёк ваш ядом злобы
Пора вам прятаться во гробы,
Поджав хвосты, давно пора.

Не то из мрака вашей плоти
В свиней все скопом вы войдёте
По Воле Божьего Перста
И, пав с обрыва, на излёте,
В бездонной пропасти поймёте,
Что значит русская верста.

* * *

А. С. Глыбину

Други! Выпьем за отвагу,
За нетленный идеал!
Свой приказ: “Назад ни шагу!” —
Сталин ведь не отменял.

Вспомним: в пору ратных споров,
В дни раздоров и опал
Полководец наш Суворов
Никогда не отступал.

Вспомним гром его удара:
Гренадёры в полный рост,
Глядя в пропасть Сен-Готара,
Одолели Чёртов мост.

Укротим же дух раздоров,
Чтоб звучал Победы глас!
Ведь на небе сам Суворов
Богу молится за нас.

* * *

Н. В. Балащенко

Для Вас, полковник, рифм не жалко!
Не зря поёт мне мой Пегас,
Что мне не выслужить отставку,
Что мне не вырваться в запас.

Мир превратился в поле брани.
Где тот, кто видит в этом толк?
Давно кружу я, как в тумане,
И не могу найти свой полк.

За что — не знаю участь эта,
И как понять душе родной,
Что я вернулся с того света
Сразиться с кликой мировой?..

* * *

Е. Н. Гавриловой

Когда-то Ваши картины
Открыли мне даль чудесного.
Дышали в них Божьи глубины
И лики Царства Небесного.

Глядя на них теперича,
Я понял нечистую силу:
“Чёрный квадрат” Малевича —
Это дыра в могилу.

* * *

Л. А. Хоркиной

Я не успел с тобой проститься,
Не ведая, в какую даль
Ты полетишь, как чудо-птица,
С которой встретимся едва ль.

Ведь слепо бьёт судьба крылами,
И горечь льётся через край
Моими скорбными грехами:
Не разберу, где ад, где рай.

Не удержать мне слёзы градом.
Извечно рок необратим.
Но я хочу, чтоб всё же рядом
Мой прах покоился с твоим.

* * *

Кто даст ответ: куда впадает прошлое?
Какое слово ныне нужно нам,
Чтоб на корню вернулось всё хорошее,
Угодное земле и небесам?

Наивный отрок весь оброс вопросами,
Ища ответ на них по словарю,
Он упоён туманами белёсыми,
И, видя в нём себя, я говорю:

— Да будет слово всяк животворящее
На поприще молитвы и труда...
А прошлое впадает в настоящее
И больше не впадает никуда.

* * *

Повсюду множатся заборы.
Как хорошо, что есть простор,
Что наши Пушкинские Горы
Не упираются в забор.

Не уповая на погоду,
Я говорю, когда гроза,
Не только им, всему народу:
— Ограда — Божьи образа.

* * *

Н. Б. Грибашёву

Он погиб в передовом дозоре,
Прикрывая боевых друзей.
Он погиб, и не коснулось горе
Их живыми ждущих матерей.

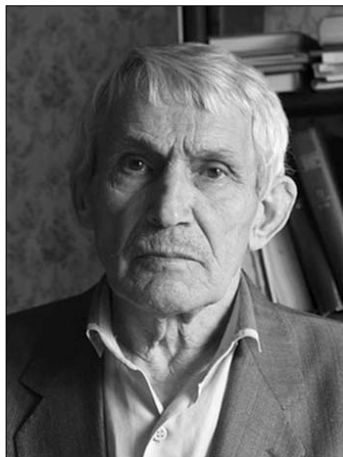
Выбрав эту участь без приказа
И не уступив её другим,
Он погиб десантником спецназа,
С той поры навек остался им.

Только лучезарный ангел рая
Душу принял в правде и в честí,
Слышал, как шептал он, умирая:
— Мама, мама, мамочка! Прости...

* * *

Ничего у Бога не просите,
Кроме Отчей сени и любви.
Ты уже, родная, — небожитель,
Я ещё — невольный сын Земли,
Одержимый лишь одной мечтою:
Тенью стать твоей в любой дали
И лететь в сиянье за тобою,
Чтобы разлучить нас не могли.

АНАТОЛИЙ СМИРНЫХ



ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА...

РАССКАЗ

Она опаздывала. Дома непростительно замешкалась — и вот, страшась, как ей казалось, недозволенного проступка, отчаянно торопилась. Лёгкой пробежкой старалась наверстать упущенное время. Первый секретарь райкома комсомола товарищ очень пунктуальный: даже невольно провинившимся он делает строгие внушения и за самые простительные оплошности. И она ещё больше устрашилась, когда, вбежав в подъезд райкома, услышала громкое пение:

*И линкоры пойдут, и пехота пойдёт,
И помчатся лихие тачанки...*

Пели ровесники, хорошо знакомые ей по комсомолу. Пели задиристо, в полный голос. Ни тени сомнения не слышалось в уверенном пении. И она окончательно испугалась: не подумал бы главный комсомолец района совсем плохо о её невольном опоздании. Подумает и откажет в боевом назначении, оставит в спокойном тылу среди какого-нибудь пожилого женского коллектива. Ровесники станут месяца через три говорить о своих победах на фронте, об умелом и неизбежном сокрушении вероломного врага при их непосредственном участии, о заслуженных ими фронтовых орденах и медалях... А чем похвалится она, какие свои заслуги она предъявит комсомольскому

СМИРНЫХ Анатолий Павлович родился в 1940 году на Орловщине. Впервые стихи Анатолия Смирных были напечатаны, когда ему было 17 лет. Он автор многих книг поэзии, романа "Карьера", книги повестей и рассказов "По извечному пути", книги очерков "Апокалипсис". Публиковался в журналах "Наш современник", "Москва", "Смена", "Молодая гвардия" и многих других. Член Союза писателей СССР и РФ. Живёт в Рязани.

обществу и непосредственно первому секретарю райкома! Придётся тогда убеждать товарищей и в её нужности находиться на тыловой работе, к тому же, по заданию комсомола, а значит, по заданию самой партии. Комсомол ведь подчиняется партии, вот и выходит, что она тоже выполняла задание райкома партии. Комсомолец не может принимать решения самостоятельно, комсомолец обязан свои чувства и помыслы подчинить воле комсомольского руководителя, а это означает — воле партии.

Она рывком вскочила на второй этаж, приостановилась, переводя дыхание, перед самой дверью и услышала ещё более уверенное пение:

*...И на вражьей земле мы врага разгромим
Малой кровью, могучим ударом.*

Она робко приоткрыла дверь и протиснулась в зал, в котором всегда проводились совещания и в котором она сама бывала не однажды на этих совещаниях.

— Вот и наша Валентина пришла! — услышала она приветливый возглас.

У неё отлегло от сердца: совещание на этот раз проводил секретарь отдела пропаганды. И это означало лишь одно хорошее: никаких замечаний в её адрес не последует. Секретарь отдела пропаганды отличался по складу характера от своего прямого руководителя, не практиковал он в своей работе излишние замечания и нотации.

— Ну что, товарищи, давайте подытожим результат нашего собрания, — он посмотрел на Валентину, как бы взглядом говорил ей: “Ты прекрасно знаешь, о чём до тебя мы тут вели речь. Поэтому повторяться незачем”. — Главное, твёрдо запомните одно: война закончится очень скоро, она продлится не более двух-трёх месяцев. Вероломный враг будет разбит вдребезги. И нам, от лица нашего райкома, обязательно надо успеть поучаствовать в разгроме коварного врага. Мы потом никогда не простим себе нашу медлительность. Мы в недалёком будущем со всей нашей страной, со всем нашим комсомолом, кто живёт и работает под руководством Коммунистической партии, станем гордиться скорой, пусть и очень трудной, победой над вероломным фашистским врагом. И я рад за вас: вы сделали правильный выбор. Вам будет чем гордиться в самое ближайшее время, ибо скорый сокрушительный удар по врагу неизбежен. И не памятью, а сердцем помните слова нашей героической справедливой песни:

*И всегда, и везде с нами Сталин родной,
С нами маршал, наш друг Ворошилов!*

Товарищи, после скорой неизбежной победы мы обязательно снова встретимся здесь, в нашем родном городе, в этом здании, в нашем прежнем комсомольском составе. Я не менее вас уверен в этом. Боевых и трудовых подвигов вам, товарищи! Да будет нашим народом, руководимым товарищем Сталиным и коммунистической партией, сокрушён вероломный враг! Да здравствует наша победа!

И когда участники собрания, заодно переговариваясь друг с другом, направлялись к выходу, секретарь окликнул:

— Валентина, останься!

Он со сцены, где стоял за трибуной, спустился вниз и присел на стул.

— Садись, Валентина! — взглядом указал он на место подле себя. — Вот что, Валентина! — он более внимательно посмотрел на неё. Валентине его взгляд показался даже сочувствующим. — Хорошо, что ты опоздала. Удобный случай задержать тебя. Я надеюсь, так это и покажется остальным, кто здесь находился.

Валентина, чувствуя какой-то важный момент, вполоборота повернулась к секретарю.

— Принято решение направить тебя в разведшколу. Ты с отличием закончила десятилетку, у тебя, мне сказывали, отличный музыкальный слух. Твою эту способность учтут по месту прохождения службы.

— Виктор, какая разведшкола? — девушка взглянула на секретаря. — Ты сам говоришь: война закончится через два-три месяца!

— Это правда, Валентина. Так утверждают наши старшие товарищи. Но они ориентируют нас и на более длительные сроки. Всё может стать, — райкомовец строго посмотрел на комсомолку. — Враг коварен и хитёр, и партия это учитывает.

— Значит, надо готовиться, — согласилась с ним комсомолка.

— Да, Валентина, ты правильно понимаешь: надо готовиться!

— Когда мне надо уезжать?

— Завтра. Документы поручено передать тебе из рук в руки. Завтра отправляйся к месту назначения. И никому ни слова!

— И родителям нельзя?!

— Родителям особенно! — секретарь пристально взглянул на сидящую рядом девушку. — Маме скажешь: поступила добровольно в санитарную часть. Она у тебя медсестра. Пусть думает, что и ты будешь обслуживать раненых. Такая думка её успокоит.

— Виктор, — девушка снова назвала секретаря по имени, — а ты как? В армию или здесь остаёшься?

— Нет, Валя, и я уезжаю, и тоже завтра.

— Виктор, ты, наверное, и здесь не меньше нужен?

— Нет, Валя, надо успеть поквитаться с врагом! Какой же я комсомольский вожак, если бы я не отпросился на военную службу!

— Если не секрет, на какую службу тебя определили?

— Для тебя не секрет. Меня направили на службу в специально сформированные отряды. С врагом надо встретиться лицом к лицу, а не на расстоянии винтовочного выстрела.

— А мне с тобой никак нельзя?! — Валентина устремила на Виктора ожидающий взгляд.

— Нет, Валя, тебя и других особо проверенных девушек станут готовить к специальному военному ремеслу. У меня иное занятие, чем у тебя, — Виктор поднялся со стула. — Да я собой, по правде говоря, и не распоряжаюсь.

— До свиданья, Виктор, — девушка встала и пошла к двери.

— До свиданья, Валя, — Виктор проводил её. — Скоро, а точнее — сразу после победы мы, Валя, встретимся с тобой в этом зале.

Она шагнула в раскрытую дверь, обернулась и увидела его широкую весёлую улыбку.

Из райкома она заспешила домой. По дороге забежала в салон фотографии, получила там свои карточки. Она снималась ещё школьницей, незадолго до окончания десятилетки, перед экзаменами. Выйдя на улицу, она вынула из тёмного плотного конвертика одну карточку и взглянула на себя. На неё смотрела почти незнакомая ей девочка... Белое ситцевое платьице в горошинку, пышные косы, закинутые вперёд, и настежь раскрытые, будто неожиданно испуганные, какие-то наивные, светящиеся от самого сердца, удивительные родниковые глаза. Неужели это она?! Неужели она действительно совсем-совсем недавно выглядела такой?! Она ещё раз, почти недоверчиво, посмотрела на себя и засунула карточку обратно в конвертик. Нет, сейчас она точно выглядела совершенно другой, а не той девочкой, какой показалась самой себе на карточке. А после нынешней встречи в райкоме со своими знакомыми и особенно после доверительной встречи с комсомольским руководителем, с Виктором, она точно чувствовала себя совершенно другой как по мыслям своим, так и по внешнему облику своему. За это недолгое время она повзрослела на целые десять лет, и в этом она уверила саму себя.

Заходить к немногим оставшимся дома подругам не хотелось, да и времени на посещения не оставалось. Недавно они всем классом отметили выпускной вечер. Только школа осталась где-то позади, школы в жизни как бы и не бывало. Впереди, пусть и где-то далеко, но каждодневно о себе напоминала война. Ребята из её класса добровольно явились в военкомат, и направили их в разные военные училища. Не отстали от них и одноклассницы. И они тоже получили назначения. Остались лишь единицы, которым райком комсомола поручал особые индивидуальные задания.

Валентина шла и какой-то рассеянной памятью вспоминала об учителях, вдруг оставшихся в далёком далеке. Всю её душу занимал доверительный разговор с комсомольским секретарём Виктором, с её идейным наставником и руководителем. Неужели война, по его словам, получится совсем недолговременной, и доблестная рабоче-крестьянская Красная армия начисто в скором времени разгромит врага... Зачем Виктор тогда посылает её на военные, да притом ещё, как она догадывается, на секретные курсы?... Ведь она тогда не успеет поучаствовать в отважной схватке с врагом! Ведь пока она отучится на этих секретных курсах, война точно закончится!.. От этих мыслей она интуитивно крепко сжала в руке документы, полученные от Виктора, и невольно огляделась по сторонам. Невдалеке глухо шумела железнодорожная станция. Сквозь деревья виднелись постояннодвигающиеся вагоны. Девушка про себя отметила: следование поездов в обе стороны в последнее время заметно активизировалось. Раньше такой интенсивности движения не наблюдалось. Особенно много появилось платформ, груз которых обязательно покрывался брезентом. Видимо, сказывались обстоятельства, о которых так уверенно говорил Виктор. Видимо, военный груз, закрытый от лишних глаз, отправлялся на скорый и решительный разгром врага.

Дома она застала одну мать, которая садилась за кухонный стол, собираясь поесть после короткого утреннего отдыха.

— Я пришла с дежурства, а тебя нету, — посмотрела мать на вошедшую дочь, направляясь к ней навстречу.

— В райком комсомола ходила, — Валентина вместе с матерью прошла к столу, и они присели напротив друг друга. — Вот, по пути забрала свои фотокарточки, — она положила перед матерью конвертик из плотной чёрной бумаги.

Мать тотчас достала одну карточку. Долго и как-то нерешительно всматривалась она в изображение на фото.

— Дочка моя, ты тут почти и не похожа на себя. Ты на карточке выглядишь совсем подростком, словно тебе всего четырнадцать-пятнадцать лет. Ты тут совсем не похожа на взрослую девушку, какая ты есть на самом деле, — мать взглянула на лицо дочери. — Ты всего за какой-то последний месяц так вдруг неузнаваемо повзрослела.

— Мам, а где отец? — Валентина повела глазами по всей избе.

— На заводе, где же ещё. Он теперь там днюет и ночует. Ты что? Не знаешь, какое теперь время пришло?!

— Мам, пока не знаю, но, кажется, начинаю догадываться. — Она откинула косы назад. — Мам, меня в райком вызывали. Я вот сейчас оттуда пришла. Вот предписание там получила, — она указала рукой на лежащий в сторонке карманного формата пакет.

— В какой райком?! — мать встревоженно посмотрела на дочь.

— В райком комсомола, ты знаешь, у меня один райком, это — райком комсомола.

— И зачем тебя вызывали? — мать насторожилась, глаза её тревожно остановились на лице дочери.

— Меня посылают на курсы.

— На какие курсы?

— Сказали, на курсы военных медсестёр, — соврала Валентина. Она опустила глаза вниз.

— Доченька, что-то ты не договариваешь! Зачем тебя посылать куда-то на курсы военных медсестёр, когда я могу попросить главного врача, и тебя возьмут к нам, в нашу больницу, — мать недоумевающим взглядом, почти просительно смотрела на дочь. — Ты сама подумай, главврач не откажет мне — я в больнице не один десяток лет работаю. К тому же, ты сама понимаешь, сейчас нет чисто гражданских больниц, сейчас всё переведено на военное положение. Сегодня мы гражданская больница — завтра армейский госпиталь.

— Мамочка, вопрос по мне решён, как я догадываюсь, не только по линии комсомола, но, скорее всего, в самом райкоме партии и военном комиссариате. И сейчас от моего желания или моего нежелания ничего не зависит.

Война скоро закончится, и мне, комсомолке, надо в ней обязательно поучаствовать, — и, заметив несогласный взгляд матери, она поспешила уточнить, — так нам твёрдо сказали в райкоме, а в райкоме люди компетентные, они владеют большей, по сравнению с нами, информацией. Секретарь райкома уверил нас: враг в самое ближайшее время будет разбит могучим ударом и, самое главное, с малыми потерями.

— Доченька, доченька, зачем же он вам внушил такую глупость! Война ведь только началась, а войны быстро не кончаются. Ты сама подумай, — мать положила свою руку на руку дочери, — ты сама подумай, доченька, даже простая ссора между знакомыми людьми разделяет их на целые недели, а то и месяцы. А тут вооружённая схватка между государствами, между сотнями тысяч военных с двух противоположных сторон!.. Ты сама подумай, разве немец позволит себя одолеть, как вам сказали, “в самое ближайшее время”? — Мать легонько сжала холодную ладонь дочери, словно пытаясь передать ей побольше своего тепла. — Нет, доченька, спешить тебе некуда, успеешь ещё навоеваться.

— Mam, ты пойми, я не могу не исполнить задания, порученного мне, и я хочу, и я рада его исполнить. Я почитаю за честь, что мне доверяют не рядовое задание и что я, может быть, ещё успею схватиться с коварным врагом!

— Дочка, дочка, ты ещё такая глупенькая! Это лишь в песне легко поётся: “И на вражьей земле мы врага разгромим // малой кровью, могучим ударом”. В действительности всё не так. — Мать встала со стула. — Я догадываюсь, ты что-то скрываешь. Тебя, наверно, в разведшколу посылают и даже отцу и матери запретили рассказывать об этом.

— Mamочка, не терзай меня своими догадками. Я сама ещё ничего-ничего не знаю. Всё со мной будет хорошо, и в этом я ничуть не сомневаюсь.

— Когда тебе надо уезжать? — мать, отходя от стола, остановилась и посмотрела на оставшуюся сидеть дочь.

— Завтра утром!

— Завтра утром? — испуганно воскликнула мать.

— Mam, завтра утром, — успокоительно подтвердила дочь. — Ничего страшного в этом нет. Просто утром отходит поезд. Вот потому и утром.

— Отца бы надо известить о твоём неожиданном отъезде.

— Mam, я вам свою карточку напишу. — Валентина достала фотографию и простым карандашом написала на обороте: “Моим дорогим папочке и мамочке от дочки Вали. Перед отъездом на службу в РККА. 15 июля 1941 года”. — Mam, ты не расстраивайся, всё со мной будет хорошо. Ты извини, мне что-то одной побыть хочется. Схожу-ка я в сарай, посижу там.

— Дочка, а косы, — мать окинула взглядом пышные и длинные косы дочери, — дочка, — забеспокоилась мать, — а косы твои!..

— Что мои косы? — не поняла её Валентина.

— Валечка моя, ведь косы твои срежут при первой санитарной обработке.

— Ну и что, — опять не поняла свою мать Валентина. — Ну и пусть срежут, если так надо!

— Валечка, дочка моя, твои косы — просто загляденье! — Мать подошла к дочери и взяла её косы в свои руки. — Какие они у тебя пышные и красивые. И длинные они, до самого пояса. Я сама их срежу и оставлю на память до твоего возвращения.

— Mam, а, может быть, мне разрешат их носить!

— Дочка, кто же тебе разрешит на голове носить целую копну волос, да ещё такие пышные и длинные косы. Ты на службе запутаешься в них. При первой санобработке их у тебя срежут и выбросят. А у нас твои косы будут лежать в коробочке вместе с твоей фотографией. Мы с отцом будем беречь их.

— Ладно, мам, отрезай! Ты, наверно, права: с такими косами, как у меня, в армии служить не разрешат.

Мать взяла ножницы и, сдерживая слёзы, принялась неумело отрезать косы.

— Ты их распусти, чтобы они потоньше получились, — взглянула на мать Валентина, — тебе легче будет срезать их.

Мать так и сделала и, совладав, наконец-то, с косами и подровняв сзади короткую причёску, подала дочери маленькое зеркальце:

— Посмотри, как у меня получилось, может быть, ещё подобрать покороче.

— Нормально, мам. Голове что-то непривычно без кос — какую-то лёгкость я ощутила.

— В армии, дочка, вообще могут наголо постричь.

— Как так — наголо! Девушку — и наголо!

— В армии, дочка, нет девушек и парней, в армии есть только военно-служащие.

Валя поднесла зеркальце к лицу. Круглая востроносенькая мордочка внимательно посмотрела на неё. Она интуитивно отстранила зеркальце от лица. Потом снова поглядела в него. И Валя настоящая, и эта другая Валя из зеркальца пристально посмотрели друг на друга. “Вот я какая теперь!” — подумала настоящая Валя и ещё пристальнее всмотрелась в своё востроносенькое изображение. Что-то генетически кровное навечно соединяло этих двух Валь, и в то же время новая короткая стрижка как бы навсегда отделяла от Вали из зеркальца ту, генетически кровную, прежнюю Валью с пышными и длинными косами. Странное и совсем непонятное чувство окатило сердце девушки, и оно забилось в груди как-то глухо, как-то растревоженно и как-то совсем печально.

— Мам, я схожу в сарай... Я там немножко побуду... Мне там побыть хочется.

— Хорошо, хорошо, дочка, побудь одна. Я тебя беспокоить не буду. Я пока схожу на завод, может быть, с проходной и дозвонюсь до отца, скажу ему о твоём отъезде.

Дверь в сарай отец держал открытой с целью проветривания и сушки заготовленных на зиму трав. Валентина вошла в него, словно ступила на обильно цветущий луг. Через маленькие оконца вовнутрь наклонными лучами струилось летнее солнце, отчего по всем углам растекался светло-сумеречный свет. Тянуло запахом свежего проветриваемого сена, остро ощущался настой берёзовых и дубовых веников, нарезанных отцом для использования их в парилке; тонким ароматом несло от зверобоя и чабреца. Под одним из оконцев стояла кровать — отец любил отдыхать и спать не в избе, а здесь, на воздухе, настоящим на разнотравье. И Валентина теперь ещё более поняла его привязанность к этому месту.

Что-то вдруг беспокойно горячее в её груди поднялось кверху, сладкая спазма сдавила горло, сердце, кажется, выкатилось наружу... Она подбежала к постели, упала на колени и уткнулась головой в подушку. Слезы, неудержимые слёзы, тёплые слёзы маленькими ручейками непроизвольно потекли на прижатые по лицу ладони. Она, не сдерживая себя, громко заголосила навзрыд, толкаясь часто в подушку острыми плечами.

Через несколько минут она отняла мокрое лицо от подушки и поднялась с колен. Она и сама в толк не могла понять, что случилось с нею, и почему она так сильно и так внезапно расплакалась. И зачем её слёзы обильно омыли ладони и промочили сухую подушку. Но пришло до странности желанное ощущение, и она вдруг почувствовала: её тело, до этого словно каким-то грузом стеснённое, стало теперь удивительно лёгким и послушным; всё предстоящее к обязательному исполнению показалось ей теперь более обязательным и действенным; вся душа её словно окатилась рассветной свежестью. Так происходит с придорожной травой, когда густо запылённая растительность, промытая благостным дождём, становится прозрачной, словно весенняя зелень.

Ближе к полуночи отцу Валентины разрешили до утренней смены отлучиться. Он и мать вместе заторопились домой.

— Отец, может быть, ты отговоришь свою дочь от поездки, как она рассказывает, на курсы военных медсестёр. Вроде бы, как уверяет Валя, её направили туда по линии комсомола. Мне почему-то кажется, что ей не рекомендовали говорить о фактическом назначении этих военных курсов. Зачем куда-то ехать на курсы медсестёр, когда ухаживать за больными она может

научиться и в нашей больнице. Тем более, что больница ныне пусть и гражданская, а завтра в одночасье может стать военной.

— Маша, это напрасный труд. Ты не хуже меня видишь: сейчас все рвутся в армию. Все хотят отличиться, и все почему-то думают, что война через месяц-другой закончится.

— Но Валя-то наша — она ещё ребёнок! Ей всего-то лишь восемнадцать исполнилось. Зачем ей нужно отличаться! Вся жизнь впереди — успеет ещё не один раз отличиться!

— Именно поэтому, учитывая её возраст, с ней говорить и не нужно. К тому же, она комсомолка. И не исключено, действительно, что её направляют на специальные курсы. В таком возрасте ребята и девушки ещё пока живут романтикой, и они готовы пройти любые подготовительные курсы, а тем более секретные.

— Отец, пожалей меня, не говори так. Она ведь у нас одна. Ты понимаешь: она у нас одна!

— А вот это, Маша, наша печальная действительность! Тут мы с тобой сплеховали. Нас всё время приучали больше думать о благополучии Родины, а надо было нам подумать и о собственном счастье. — Отец замедлил шаг, словно пытаясь обдумать дальнейшие слова. — Если у родителей, допустим, пятеро детей, и если у них убито одного-двух на войне, то трое всё равно останутся живыми, и семья и род — всё у них будет сохранено. А если мы с тобой потеряем единственную дочь, то мы сразу потеряем всё — и нашу семью, и наше будущее, и наш род, пусть и по женской линии.

— Что ты, отец, несёшь! Какие убитые! Что ты наговариваешь на свою дочь!

— Война, я думаю, будет жестокой и долгой. Я по продукции своего завода могу это предположить. И никто на всякой войне от гибели не застрахован. Это лишь в песне лихо поётся: “Полетит самолёт, застрочит пулемёт, загрохочут могучие танки...”. У немца, скорее всего, тоже и самолёт есть, и пулемёт строчить может, и танки, наверно, не хуже наших. И наверняка так оно и есть, если немец, как сообщает радио, нагло и уверенно прёт всё дальше и дальше вглубь нашей земли. Попробуй его быстро остановить! А останавливать его придётся нашим детям: и восемнадцатилетним, и кто старше. И потому мы с тобой будем каждодневно надеяться на хорошее для дочери, но и худшее нельзя исключать.

— Так всё-таки как же нам быть! Вот мы сейчас придём домой, и что мы скажем своей родимой Валечке?

— Мы ей скажем лишь одно: исполний свой долг, как это делают тысячи и тысячи твоих сверстников, как это делали русские люди во все века и времена. Россию никто не может спасти, кроме нас, русских людей. А тебе, мать, начистоту выскажу своё мнение: такова нынешняя чаша, которую всем нам предстоит испить до самого дна. И чаша эта до краёшек наполнена народной кровью. И ты, мать, не плачь, слёзы тут не помогут. Мы с тобой просто обязаны верить теперь очень нужным словам: “Враг будет разбит, победа будет за нами!”

* * *

Воинский состав со стороны Средней Волги следовал в московском направлении. Сразу за двумя паровозами, сцепленными в единый, катился неприметный вагон, который не привлекал к себе повышенного внимания. В нём ехали бывшие курсанты разведывательных курсов, подготовленные для работы на территориях, занятыми вражескими войсками. Одежду во время следования бывшие курсанты носили самую обычную, каждый — и парень, и девушка — по своему вкусу, и никто из посторонних не подозревал бы в них военнослужащих, подготовленных к диверсионно-разведывательной работе. Сопровождал их офицер особого отдела, так же неприметно одетый в гражданскую одежду. И для них, и для всех посторонних, порою неизбежно встречавшихся на перроне, он считался бригадиром. Даже

машинисты паровозов принимали своих пассажиров за рабочих строительной бригады. Впрочем, не дело машинистов смотреть назад и приглядываться к ехавшим даже в первом от них вагоне.

Бывших курсантов переправляли ближе к фронту, и каждый из них получал боевое задание по прибытии на конечный пункт. Хотя они ехали в одном вагоне, но большинство из них друг о друге не имели никакого представления. Особист распределил их по купе, знакомиться им не рекомендовал и запретил излишнее хождение по вагону. Если же знакомства невозможно было избежать, то каждый из них имел свою *“историю”* и мог использовать лишь присвоенное ему фиктивное имя. Подлинным именем каждого не располагал даже сопровождающий офицер, хотя личная карточка под сургучными печатями на каждого находилась в его полевой сумке.

За сцепленными паровозами и за первым вагоном сразу тянулся длинный ряд открытых платформ, плотно гружённых боевым оружием. На этой части России танки и различные орудия не прикрывали как бы нарочно — пусть население видит могучую силу, изготовленную на погибель врагу; пусть население не теряет уверенности в неизбежной победе над немцем. И пусть эта стальная сила веско подтверждает для каждого русского сердца справедливые слова: *“Враг будет разбит, победа будет за нами!”*

Состав продвигался по литерному расписанию; многие станции он пропускал на максимально разрешённой скорости, даже не подавая гудка. Однако Валентина точно предположила: в её городе, на станции, знакомой ей до мелочей, состав обязательно остановится. Там, на её станции, по давно заведённому распорядку, паровозы всегда заменяли на другие, пригоняемые из депо, а колёсные пары любого движущего состава в обязательном порядке проходили ускоренный техосмотр.

Прошло четыре месяца со дня её ухода из дома. За это время она родителям не послала ни одной весточки. И времени не хватало на письма, и настоятельно рекомендовали инструкторы воздержаться от любых переписок даже с близкими родственниками. Валентина понимала необходимость таких рекомендаций, а скорее, запретных установок: подразделение, где немало её сверстников проходило специальную подготовку, являлось объектом особого строжайшего режима. Впрочем, о письмах, даже родным, и не думалось — обучение проходило по слишком укороченной программе, когда личное время предоставлялось лишь на индивидуальные нужды: фронт нуждался в подготовленных молодых бойцах, и обучить и подготовить таких необходимо было как можно скорее и в большом количестве.

Состав на станции остановили на тридцать минут. Офицер разрешил желающим выйти из вагона и размяться на перроне. Валентина вместе с другими воспользовалась разрешённым выходом и тут же, почти интуитивно, окончательно решилась: она всё-таки сбегает домой. Невозможно было не сбегать, невозможно было удержаться, когда родной очаг находился неподалёку, в каком-то полукилометре. Представится ли ещё когда-нибудь такой редкий случай!

Валя бежала знакомой с раннего детства дорожкой, слыша приглушённые гудки маневровых паровозов. Раньше эти гудки слышались звонче и продолжительнее, словно бы они, соревнуясь друг с другом, хором приветствовали девочку с учебниками и тетрадями, торопящуюся каждый день из дома в школу и снова возвращающуюся домой. Дорожка, по которой теперь бежала Валя, выглядела безлюдной: люди, по всей вероятности, находились на рабочих местах. И она невольно забеспокоилась: застать бы дома отца и мать. Взглянуть бы на них хоть на секунду! И почему-то во время этой спешки разом вспомнились образ Виктора, последнее собрание комсомольского актива в здании райкома и получение от него документов на курсы в разведшколу. Как давно это произошло! И происходило ли вообще всё это? И где он теперь, её идейный наставник, её настоящий товарищ, прощающий все её невольные оплошности!?

Она с разбегу распахнула прикрытую на вертушку деревянную калитку и вскочила одним прыжком на низкое крыльцо. Глубоко дыша, она распахнула дверь, вбежала в избу и увидела мать, кинувшуюся ей навстречу! Валя бросилась ей на шею, осыпая поцелуями материнское лицо.

— Мамочка, дорогая, я всего на одну секундочку забежала, — отстранилась на мгновение она от матери, глядя в её глаза. — Состав мой вот-вот отойдёт от станции. Прости, некогда мне побыть с вами, — она метнула взгляд по избе. — А где отец?

— Отца призвали, дочка! — только и успела ответить мать.

— Как призвали! Он же немолодой!

— Сейчас всех призывают! И таких юных, как ты, и таких, как отец твой, немолодых и порой нездоровых!

— Мамочка, я еду на фронт! Прощай! — она подбежала к порогу. — Писать мне будет некогда, да и не разрешат мне писать, — она кинулась к выходу, и мать услышала лишь резкий хлопок калитки.

Мария Ивановна схватила со стола кусочек хлеба и кинулась вслед за дочерью. Она во всю силу пробежала небольшое расстояние, но тотчас задохнулась и медленно упала на траву.

Сквозь учащённое дыхание и сумрачное вязкое сознание она расслышала гудки двух паровозов, одновременно вскинувшиеся вверх. Затем послышался всё ускоряющийся стук тяжёлых колёс. И ей до невыносимой боли почудилось: бесконечный ряд острых колёсных пар заскользил не по низким бесчувственным рельсам, а по её высокому и горячему сердцу...

* * *

Диверсионно-разведывательную группу, в составе которой находилась Валентина, перебросили в партизанский отряд. Где-то в подготовительной цепи предстоящей диверсионной операции произошла непредвиденная заминка, и вместо немедленного отправления на задание группе предстояло пробыть в отряде некоторое время. Её разместили в отдалённой землянке, преследуя легко объяснимую цель: свести к минимуму нежелательные контакты. А старший группы запретил подчинённым лишний раз передвигаться по территории отряда.

В первый день пребывания в отряде в предвечернее время Валентина поднялась наверх и присела у двери землянки. Быстро темнело, солнце начинало путаться в деревьях, со всех сторон потянуло сумрачной влагой. Она заметила, как из леса выдвинулись двое, одетые в армейские фуфайки и с немецкими автоматами не за плечами, а взятыми в руки, как берут боевое оружие на изготовку. На поясах у них висели запасные рожки, армейские отцентрованные ножи и ручные гранаты. Молодой ровной походкой они проследовали к землянке, находящейся в центре. Им навстречу поднялся человек в форме офицера. Один из двоих принялся докладывать, поскольку (так определила Валентина) эти двое стояли напротив офицера, как это заведено у военных при докладе. Потом двое, козырнув по-военному, уверенным шагом отошли от офицера и скрылись в расположенной рядом землянке.

Что-то хорошо знакомое показалось Валентине в увиденной фигуре офицера. Она подвинулась к нему на несколько шагов ближе и негромко окликнула:

— Виктор!

Офицер повернулся на оклик, внимательно посмотрел на стоявшую в отдалении фигуру и вроде бы неуверенно двинулся в её сторону. Не доходя несколько шагов, приостановился:

— Валентина!.. Ты?..

— Я, товарищ командир! Я... Валентина!..

Виктор подошёл, взгляделся в её лицо и, признав, подал ей руку:

— Здравствуй, Валя! Рад видеть тебя! — Немного погодя, как бы стараясь рассеять своё сомнение, удостоверился: — Ты что? В составе этой прибывшей группы?

— Да, товарищ командир, я радистка.

Виктор, как бы не веря своим глазам, ещё раз более внимательно и строже оглядел участницу диверсионной группы. Про себя он отметил: “Да, это Валя! Это наша Валя!” Наверное, в эту минуту он вспомнил свой райком,

всех своих комсомольцев и особенно её, бесконечно преданную комсомолку Вало. Когда пришла особой важности разнарядка, то он лишь её послал на подготовительные курсы в разведшколу. Может быть, он ошибся тогда. Может быть, поспешил рекомендовать её на такие опасные курсы. Служила бы она сейчас медсестрой в каком-нибудь медсанбате, а то и под боком у матери, тоже медсестры. Разве он смог додуматься тогда, что и ему самому, и бесконечно преданной комсомолке Вале придётся максимально скрытно и осторожно воевать с немцами в незнакомом лесу, среди болот и зарослей, где-то в глубоком тылу врага, в окружении боеспособных немецких войск. Разве он, да и кто-то другой, даже из райкома партии, мог тогда предугадать такое? А как они, страстно хотевшие попасть на войну, смело и вдохновенно пели:

*...И на вражьей земле мы врага разгромим
Малой кровью, могучим ударом.*

— Валя, зови меня, если мы наедине, как и в пору нашего комсомола, — Виктором. Впрочем, встречаться нам наедине вряд ли в скором времени придётся. Ваша группа скоро может уйти на задание.

— Виктор, обстановка в районе сложная?

— Валя, подружка моя, обстановка на войне всегда сложная. А у нас, партизан, особенно. Мы в отрыве от регулярной армии. И задание на сегодняшний день у нас непростое — поднять население против немцев, убедить это население поверить в нашу силу, в нашу победу. Вот мы и вынуждены заниматься диверсиями, чтобы окончательно восстановить немцев против местного населения. Немцы начнут карательные операции, и населению точно это не понравится. Тогда оно вынуждено будет начать поддерживать нас.

— Но они же, эти местные, находятся в партизанском отряде.

— Нет, Валя, мой отряд создан только из бойцов войск внутренней службы. К нам пока мало примыкает людей из местного населения. Да мы, откровенно говоря, в них особо и не нуждаемся. Нам нужны целые опорные селения, сочувствующие и поддерживающие нас. Нам нужны молодые и толковые информаторы. Впрочем, мы всегда за приток в наш отряд боеспособных людей из местного населения. Да, вот что, Валентина, — он доверительно посмотрел ей в глаза, — мне надолго нельзя отлучаться. Ваша группа после выполнения задания должна вернуться в отряд. Тогда мы снова встретимся.

Его фигура быстро растворилась в лесном сумраке, будто там, куда он пошёл, никогда никого и не бывало. Валентина подняла глаза — густые кроны деревьев, наглухо закрывая звёзды, широко и беспокойно раскачивались в разные стороны; сильный ветер путался в тёмной листве, заставляя тонкие ветви нервно и беспомощно трепетать.

* * *

Староста и старший полицай сидели вечером в конторе и думали о нежелательном событии завтрашнего дня. А на завтра, на послеполуденные часы комендант назначил казнь троих партизан, и он приказал старосте поставить в центре села высокую виселицу. Староста и вызвал полицая, чтобы поручить ему устроить место неизбежной казни.

— Тишка, ты пойми, я не могу никому из местных жителей приказать построить эту проклятую виселицу. Придётся тебе и твоему напарнику потрудиться. Ты всё-таки состоишь на службе.

— Немцы вешают, пусть они и сооружают виселицу...

— Тишка, это не обсуждается. Это приказ коменданта. Не хочешь вместе со мной болтаться в петле — исполняй приказ.

— А почему немцы решили именно в нашем селе устроить повешение? Что, других мест мало? Вешали бы в райцентре, если им так надо вешать! — Тишка недовольно посмотрел на старосту.

— Потому что этих несчастных троих схватили возле нашего села. А немцы теперь устрашают всех нас, местных, чтобы мы ни в коем случае не помогали партизанам, — староста прикрутил фитиль десятилинейной лампы. Света в конторе заметно поубавилось. — Вот они по сёлам и проводят показательные казни.

— И что? Они вешают на самом деле партизан? Или первых попавшихся?

— А кто их поймёт. По нашему завтрашнему случаю я точно знаю: троих, повторяю, схватили возле нашего села. За ними, видать, шли по следу, а они, наверно, возвращались с задания. Ребята уж больно молодые. И с ними радистка... Совсем молоденькая. — Староста поднялся, подошёл к окну и задёрнул занавеску. — Я просил коменданта: отправьте её в Германию, пусть там работает в хозяйстве у какого-нибудь бауэра. И толку от неё больше, и под надзором будет состоять. А дальше... будь что будет. Дальше — наша армия придёт, и жить она останется.

— И что тебе комендант ответил?

— Ни в какую не согласился. Говорит, что их постоянно начали тревожить партизаны, что население начинает сомневаться в постоянном пребывании немцев. Поэтому, по его словам, поступил строжайший приказ: казни проводить прилюдно, все жители обязаны являться на такие казни. И завтра, Тихон, ты с напарником после, как поставите эту проклятую виселицу, обойдите все наши дворы — и все-все наши жители должны прийти. Немцы вслед за вами, как привезут свои жертвы, могут тоже обойти дворы — для проверки.

— А если кто из наших не пойдёт на эту казнь?

— Немцы всех, кто не явится на казнь, сочтут сочувствующим партизанам и повесят вместе с партизанами. Разговор у них короткий: или выполнишь — или погибай!

Староста Сидор и старший полицай Тихон на своих должностях оказались не по своей охоте. Сидор до прихода немцев работал председателем сельского совета, и среди оставшихся на селе баб и детей назначать было просто некого. К тому же, немцы не считали себя дураками, они любили свой “орднунг”, а этот “орднунг” на селе мог соблюсти бывший советский работник, которого все местные жители хорошо знали, и все с ним считались. К тому же староста от себя и выдумать ничего не мог: он безоговорочно и точно обязан был исполнять указания коменданта. Что же касается Тихона, которого на селе ещё до войны прозвали Тишкой, то он был хромоногим инвалидом. И староста, и полицай как люди, ежечасно боящиеся немецкого порицания, а то и незаслуженного расстрела, нуждались в стабильной власти. А теперь они находились между двумя жерновами: верхний жёрнов, немецкий, крутился в одну сторону, а нижний, советский, крутился в другую. Но немцы пока казались явной властью, а советскую пока лишь представляли партизаны, которые прятались где-то по лесам. И между этими двумя жерновами превращалось в пыль немалое количество совершенно невинных и пожилых, и даже очень молодых людей. Население оккупированных территорий находилось в подвешенном состоянии, а приходилось жить дальше, приходилось надеяться на что-то, а на что — никто пока твёрдо предугадать не мог...

* * *

Мария Ивановна вторые сутки не выходила посидеть на лавочке в тенистом палисаднике. Её соседка, что возвращалась с работы в это время, замечала отсутствие пожилой женщины. Видимо, Мария Ивановна здорово занемогла. Впрочем, такое замечалось соседкой всё чаще и чаще. Безжалостные годы не падают даже властителей мира. Стоит ли тут говорить о простом человеке! К тому же, пожилая женщина жила одна. Муж её погиб на фронте, о чём без обиняков ещё в давнее военное лихолетье сообщило похоронное извещение. Теперь на дворе стояла мирная пора, и Мария Ивановна за

все послевоенные годы свыкла с гибелью мужа. И со многим другим в своём существовании она смирилась, и многие несправедливости воспринимала за должный порядок. Иногда, где-то в закоулках души, пытались подняться с колен напористые сомнения, но она их снова прижимала к низу. Один случай всё-таки оставил колкое воспоминание. Она всё время проработала медицинской сестрой и постигла порядки больницы от входного порога до больничной койки. Так случилось, что старшая медсестра ушла на пенсию. Учитывая опыт Марии Ивановны, главный врач назначил её на должность старшей медсестры. Однако в областном управлении здравоохранения настойчиво порекомендовали ему воздержаться от принятого решения, поскольку назначенное лицо не являлось членом коммунистической партии, а на должность старшей медсестры обязательно должен назначаться работник, состоящий в партии. Такого подхода ни главврач, ни опытная медсестра объективно не могли понять: зачем старшей медсестре надо непременно состоять в партии. Впрочем, Мария Ивановна и не рвалась стать начальницей над своими подругами.

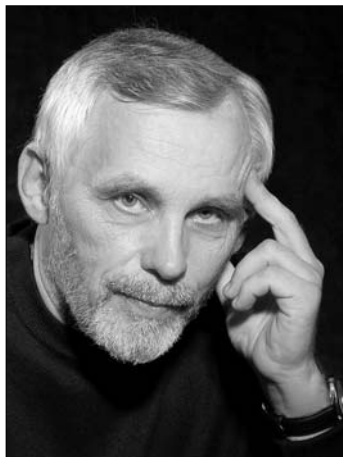
А жизнь продолжалась. Невдалеке глухо и безостановочно шумела железнодорожная станция. Тепловозы, похожие на муравьёв, сновали по многим путям. И лишь один из оставленных паровозов удостоился почётного места — его, незаменимого в недалёком прошлом трудягу, поставили в качестве реликвии на постамент. Подростки с удивлением посматривали на него. Для них ведь никогда не существовало каких-то странных паровозов, пыхтевших и чихавших на многочисленных станциях, и поднимавших над собой густой шлейф копоти. Для них в новинку являлись пока лишь электровозы, похожие необычной формой на обтекаемые ракеты. Время пришло другое: новые люди и новая техника входили в новую жизнь. Мария Ивановна начинала понимать: в жизни ничего не кончается — в жизни всё только начинается.

И сидя на лавочке, она теперь хорошо осознавала беспорядочную и энергичную суету людей, в которой забывались и войны, и смерть. И только резкие гудки тепловозов старались (так хотелось думать Марии Ивановне) напомнить миру жестокое и неразумное прошлое, которое почему-то во все века неизбежно возвращалось на круги своя. И запретные мысли иногда непрощено входили в её сознание. И они, эти мысли, властно утверждали, что если завтра загрохочут пушки и помчатся танки, что если завтра грянет война, то новые невинные жертвы, исчисляемые многими миллионами, обязательно потребуются снова. И тогда очередные райкомы опять в который раз примутся громить поверженного врага малой кровью на его собственной территории...

Но её сильнее всего неотвязно мучила одна-единственная сердечная боль: дочь её Валя считалась по документам без вести пропавшей. Мария Ивановна не могла смириться с потерей дочери, да ещё без вести пропавшей. Она не раз обращалась и в райком партии, и в военный комиссариат, но ответы приходили один в один, как под копирку: её дочь Валентина по линии комсомольского набора была направлена в разведывательную школу для прохождения специальных курсов военной подготовки. Место её последнего пребывания — партизанский отряд, документы которого, в том числе и список личного состава, уничтожен самим командованием перед карательной операцией немецкой жандармерии. Что же касается командования, кто бы смог прояснить судьбу дочери, то оно погибло вместе с отрядом...

Мария Ивановна понимала присланные ответы, но никак не хотела с ними согласиться. Все эти годы, начиная со дня окончания войны, она отчаянно надеялась: её доченька жива, её доченька непременно объявится молодой и невредимой. Сядут они вместе за стол, посмотрят школьную карточку девочки, выглядевшей почти подростком. Белое ситцевое в горошинку платице. Пышные косы, закинутае вперёд, на ещё не созревшую девичью грудь. И настежь раскрытые, будто неожиданно удивлённые, какие-то наивные, светящиеся от самого сердца, непорочные родниковые глаза...

ВИКТОР ПЕТРОВ



НОЧНЫЕ РАЗГОВОРЫ

* * *

Сибирь колесовали поезда —
Вела их паровозная звезда.

Стонал, стонал столыпинский вагон:
“Паду на рельсы”, — неизбывный стон.

Этапами гоняли русский люд,
А хлад сибирский по-медвежьи лют.

И выдержать его не каждый мог,
Но где у русских болевой порог?

Ты можешь, может он, и я могу
Замёрзнуть и воскреснуть на снегу.

А после встать и превратиться в даль,
Что объясняет русскую печаль.

Кривить звериным криком мёртвый рот,
Но распрямить к обрыву поворот.

ПЕТРОВ Виктор Сергеевич родился в г. Авдеевка Донецкой области. “Рабочими университетами” его были порт, бондарный завод и судовой верфь, служил он в ракетных войсках. Окончил Ростовский государственный университет. Главный редактор литературно-художественного журнала “Дон”. Автор 17 поэтических сборников. Лауреат Всероссийской премии имени М. А. Шолохова и журнала “Юность”.

И лишь простёртую оплавав мать,
Шагнуть вперёд — и вражью рать ломать.

РУССКИЕ

Никто — ни Бог, ни царь такой-сякой —
На русские вопросы не ответит,
Пока нам солнце аховое светит
И тучи ходят хмуро над рекой.

Спросить героя?.. Но сменился строй —
Героем не становится любой;
Последний Бог и царь: кому — рябой,
Кому — последний, может быть, герой.

Мы — русские, и больше ничего.
Разделят нас на две неравных части:
Одним сибирское привалит счастье,
Другим — Европа... Только и всего!

Ты этого хотел, Иван-дурак?
Ужель про “больше ничего” не слышал?
Чего же ты с котомкой в поле вышел
И стал?.. Зачем стоишь?
— А просто так!

НОЧНЫЕ РАЗГОВОРЫ

Ночные разговоры через полстраны —
Простим друг другу их, потворствуя, чудачась;
Как странно то, что мы внезапно сведены,
А вроде разведённые,
и пусть о том судачат.

Твоё дыхание и сбивчивая речь
Имеют смысл... Да пусть и не имеют смысла!
Почти без разницы, кому твой сон беречь,
И дней твоих урочных неизвестны числа.

Мы говорим — о чём, не важно, боже мой! —
Пока не кончатся несчётные минуты.
И длится пусть моя весна твоей зимой
И осознанием скорой неизбежной смуты.

ИОРДАНЫ

Иорданской водою омылась
И забыла, что было вчера.
Солнце белое — высшая милость —
Осветило мои вечера.
Полетела сама голубицей
За пределы предела дорог...
Я себе показался убийцей,
Но дарует прощение Бог.
Он прощает убийство любви,
Излучая Фаворский мне свет:
Повторюсь не в расхристанном слове,

А открою священный завет.
И теперь серебрится олива,
И заходится в плаче стена.
Ты от счастья была несчастлива,
Это счастье — когда не одна...
Потому и пройти по воде ли,
Пять хлебов, голодая, вкусить
И святую рубаху на теле
Не сорвать и уже не сносить.
Мне бы тоже омыться — по-русски! —
Вифлеемскую зрея звезду...
И ворочаю плечи до хруста —
Иордань прорубаю во льду.

ВЛАДИМИР БОЛОХОВ

ФУТБОЛЬНАЯ ЭЛЕГИЯ

*Живой легенде отечественного футбола Никите Павловичу Симоняну
с неизбывной спартаковско-болельщицкой нежностью посвящаю.*

*Разберёмся во всё, что видели,
Что случилось, что стало в стране,
И простим, где нас горько обидели
По чужой и по нашей вине.*

Сергей Есенин

Ритуальная телевечерняя новостная программа воспринималась вполуха. Как и её заключительный спортивный блок. Поскольку небезынтересной для меня футбольной информации не предполагалось. И вдруг... Как футбольная подсечка сзади, бесстрастно-вышколенный голос теледиктора швырнул меня в ознобно-обморочный вакуум: "...скончался известный футболист... Эдуард Стрельцов..." То есть прозвенел последний звонок жизненных сроков для человека, с которым довелось в одной ГУЛагзоне не только одинаковую баланду — и уж точно не одним лаптем — хлебать...

Автоматически-инертно выдвинул ящик письменного стола. С отрешённо-вялой уверенностью, на ощупь, вытянул папку с черновой рукописью (с прикидочным названием "Клетчатые арабески"), издание которой вроде бы забрезжило, как и всюю замаячившая над страной эпоха "перестроечной" гласности. Одна из последних арабесок была именно о шапочно-лагерном моём знакомце — Эдуарде Стрельцове. Широко известном в Отечестве ещё "на заре" спортивной своей юности: ведь его дебют в футбольной сборной СССР состоялся, когда ему и восемнадцати не исполнилось...

Закономерные случайности известных (как подметил, разумеется, не я) "странных сближений"? Да кто же их знает. Впрочем, как зарифмовалось у меня многое позднее: "Всё течёт: // хула, почёт, // мысли и желудки, // и не так уж страшен чёрт, // как его малютки..."

* * *

Начну без оговорок. Ибо мне малоинтересны всякие там версии, домыслы и слухи о том, как — в деталях — загредел на двенадцатилетнюю тюремно-лагерную отсидку (и случайно ли — прямо в преддверии чемпионата мира?) "русский футбольный танк", как его вроде бы величали и забугорные футбольные виртуозы. Расейская же болельщицкая рать — от Москвы до Колымских окраин — окрестила его просто и со вкусом: Стрельцом. И ведь точнее и метче вряд ли можно было кликуху подобрать. И как тут снова и снова не вспомнить неподражаемого и насущного для меня Николая Васильевича Гоголя, гениально

подметившего, что уж если припечатает русский человек ближнего своего подходяще-характерным словом, то не отлипнет от того данное прозвище на “всю оставшуюся жизнь”.

И всё-таки лично мне Стрелец представлялся ещё и таким забубённо-бесшабашным футбольным... Есениным (к тому ж и ликом своим он неуловимо-явно смахивал на него — моего, кстати, поэтического вожатого), а не каким-то там “белым Пеле”, каковым позднее наперегонки принялись короновать да славить Эдуарда в газетных разлюли-малинных захлёбах падкие до штампованных “красивостей” всевозможные спортивные и околоспортивные добродоты. А нередко тискали и вовсе несусветную абракадабру! Или, как сказал бы опять же незабвенно-гоголевский Тарас Бульба: “Ка зна що!” (чёрт знает что, то есть). Ну, например, что, мол, Стрелец в ГУЛаговско-футбольных ристалищах обыгрывал в одиночку целую команду соперников. И это, как говорится, ещё куда ни шло. Обычная байка из разряда “одним махом семерых побиваю”. Так нет же! Впаривали многомиллионным читателям ни в какие ворота не лезущую ахинею, к примеру, что, мол, из-за отсутствия настоящего футбольного мяча (а таковой у него имелся, и не в одном экземпляре) упечённый в тюрюгу футбольный “чистодел” смастерил подобие мячишки из... двух зёковских ватников (!), скручивая их проволокой (уж не той ли, которая получается при скрещении ужа с ежом?). И вот таким-то чудо-юдо-самопальным “кругляшом” с расстояния в тридцать шагов (чего уж там мелочиться с каким-то одиннадцатиметровым пенальти!) сломал якобы Эдуард аж ключицу дерзнувшему встать в воротах, а затем, разумеется, оказавшемуся в санчасти. И это ещё семечки. Под стрельцовскую “пушку” — на какой-то там спор — якобы подставлялся аж немелкий лагерный чин... с пустой (как, наверное, и сам её “пьедалестал”) кастрюлей на голове, которую без промаха брался сшибить вышеозначенным “снарядом” новоявленный Вильгельм Телль. Начальник предсказуемо проигрывал пари, отделавшись “лёгким испугом” от бушлатно-проволочного снаряда, “просвистевшего в миллиметрах” от власти имущей физиономии. И ведь не по злой любви или худому умыслу весь этот щелкопёрный вздор наворачивался. Да ничего, видно, не поделаешь. Похоже, испокон веку у нас так: между самозванно-самодовольным самобахвальством, барабанно-псевдопатриотическим задором и одновременным самозабвенно-холопским самоуничижением перед любой рекламой наживкой забугорно-штампованной невидали порой и волосяного зазора не сыщешь.

Впрочем, не об этом шуме у нас гам. И всё же, прежде чем вплотную подступиться к экзотически-клетчатому моему сюжетцу, самой исшрамленной шкурой чую необходимость (тем паче для рождённых на руинах фанфарно-застольного так называемого “застоя”) хотя бы пунктирно-анкетной автобиографической “грамотки”.

Итак, Эдуард Анатольевич Стрельцов. Родился в Москве. Восемьдесят годков назад. В июне не к ночи будь помянутого 1937-го. Лучший центральный нападающий 1950–1960-х годов минувшего столетия. Заслуженный мастер спорта. Провёл около сорока игр за сборную клубов Советского Союза. Забил 29 голов в официально-международных встречах. Чемпион страны (1965). Неоднократно признавался (и после заключения тоже) лучшим футболистом державы. Повесив “бутсы на гвоздь”, успел поработать тренером юношеской команды родного клуба. Умер в июле 1990 года. Кстати, спустя всего несколько месяцев после смерти всемирно известного, легендарного вратаря футбольной нашей сборной Льва Яшина...

И тут мне просто не представляется возможным притормозить, дабы засветить перед непраздно заинтересованным читателем свой стихотворный лагерный опус. Именно о нём. О Льве Яшине. Точнее, о конкретно-реальном эпизоде из его футбольной биографии. Подтверждением тому — уже само название стихотворения.

ВРАТАРЬ

*Был слабым — издали — удар,
но неожиданным и метким.
Зевнул-замешкался вратарь,
и мяч затрепыхался в сетке.*

*И не сирен сверлящий стон
вспорол округу жутким свистом —
глумился гневный стадион
над знаменитым футболистом.*

*Он, кто с пенальти брал мячи,
перчатки закусив в обиде,
лежал, себя возненавидев,
и бутсой по траве сучил.*

*Но встал. И форварду подал
ладонь — перчатку сняв — с поклоном.
И над притихшим стадионом
аплодисментов ахнул шквал...*

Сдаётся, немудрено догадаться, кто был этим самым фартовым форвардом. Конечно же, он, Стрелец (“Динамо” играло с “Торпедо”). Иначе зачем бы тогда и огород городить...

В день похорон Эдуарда “Комсомольская правда” обнародовала о нём развёрнутый некролог, подписанный... моей фамилией. Так уж “звёзды” сошлись. Ибо 20 апреля того же года проснулся я “знаменитым” на всю “перестроечную” СССРию: 18-миллионнотиражная эта газета опубликовала чуть ли не полосный очерк — обо мне, грешном. Да ещё и с приварком стихотворной подборки, не слишком “вегетарианской” по тем “малоскорным” временам. В мае эта же газета явила свету уже и мой очеркишко о некогда знаменитейшем советском киноартисте Борисе Андрееве. Суть — о его гостевании в Тульской промколонии, где мне, ещё “малолеткой”, довелось тянуть резину далеко не детского срока (к слову сказать, упоминалось там и о таких сопровождавших Бориса Фёдоровича немалых киновеличинах, как Зоя Фёдорова, Пётр Глебов и Вячеслав Тихонов). А в июле удостоился я почётной, да малорадостной чести помянуть Эдуарда — надиктованным по телефону — расширенным некрологом, а точнее, мемуарной заметкой о ГУЛаговском моём пересечении с безвременно погасшей звездой мирового футбола...

Заканчивая предпосылочную “опись” предтюремных жизненных вех героя сей футбольно-прозаической элегии, невозможно не вспомнить и о том, что в 1956 году на всемирной Олимпиаде в Мельбурне Эдуард — бесспорно лучший нападающий нашей сборной — почему-то оказался не выпущенным на футбольное поле именно — и только! — в финальной игре. Золотые медали, завоёванные тогда нашими футболистами, вручались почему-то (!) только участникам именно этого заключительного матча. И вместо Стрельцова “золота” удостоился — заменивший нашего основного голеадора Никита Симонян. И, разумеется, нельзя не восхититься безраздумно-реактивным поступком выдающегося “спартаковца”, не мешкая протянувшего награду Стрельцу, считая достойным её именно и только Эдуарда. Но принять несомненно заслуженное тот наотрез отказался. Мол, я молодой, у меня ещё всё впереди...

Воистину никто не знает своей судьбы...

Спустя десяток лет, уже выйдя из заключения и вновь добившись всеосознано-болельщицкого признания, Эдик, вне всяких сомнений, должен был оказаться в нашей сборной и поехать на самый удачный для нас чемпионат мира в Англии. Тогда в первый и, увы, в последний раз наша команда завоевала бронзовые медали. Да спасовало высокое футбольное начальство включить Стрельца в состав команды, ибо — по понятиям тогдашних номенклатурных кукловодов — знаменитейший наш центрфорвард считался “невыездным”...

Для меня же, конечно, тогда ещё “ни разу не болельщика”, повесомее будет одна-единственная стрельцовская игра, состоявшаяся на клетчато-лотерейном пересечении ГУЛаговских наших стёжек-дорожек. Ведь загревели мы на “кичу”, считай, в одно и то же времечко. Пока меня как несовершеннолетнего болтало по малолетним кутузкам да смешанным зонам, Эдуард успел понохать “овчинку” не столь отдалённых вятско-лесоповальных “дыр” заключения. И уже с уменьшенным сроком наказания — “двенадцатилетку” скостили до хронологически плано-модной тогда “семилетки” — его этапировали, понятно, не без высоких ходатайств, поближе к окрестностям Первопрестольной.

И наши подконвойные тропы пересеклись на так называемой “сорок пятой” лагточке “самоварной” губернии. Пересеклись ненадолго — я там оказался “транзитом”, следуя в зону более перспективного перевоспитания, а проще — в лагерь строгого режима...

Эдуарда можно было считать уже и старожилом вышеупомянутого лагпункта, на котором он жил-был, держась явно наособицу. Но не то чтобы гордынно-отчуждённо, а просто откровенно независимо. Не заигрывая ни с начальством зоны, ни с её приклатнённо-лагерным “кублом”. И как тут опять же не вспомнить эпатажную чепуху таблоидных кликуш о том, что Стрельцов якобы отказался вступить в блатную партию “воров в законе”, которых, кстати, на том лагпункте и вовсе не существовало. Да и с какого такого перепугу настоящие блатари могли бы поступиться своими неписаными законами и заповедями, дабы партийно “породниться” с каким-то московским фраером, будь тот знаменитее хотя бы и самого генерально-кремлёвского первача? Фраер, он и на близкуликовском “хutore” фраер. Зона-то находилась неподалёку от легендарного Куликова поля. Тут и впрямь — не в бровь, а в глаз! — уместно вспомнить клетчато-зубоскальный парафраз плакатно-ленинского афоризма: “Коммунизм есть советская власть плюс ГУЛагизация всей страны...”

Понятно, что Стрелец и за “колючкой” знал себе цену. И, разумеется, был притчей во языцех как запроволочного населения, так и вохровско-зазаборного поселения, где проживала лагерная администрация, которая явно благоволила к знаменитому ээку, а точнее, к его “одной, но пламенной страсти” — к футболу. При всей своей незлобивой обособленности малым он выглядел простецким, без “интеллигентского” выпендрёжа. Ведь в ту пору закатно-оттепельного “кукурузного” волюнтаризма на не столь отдалённых задворках родины оказывалось немало отпрысков самой влиятельной советской знати, чьи чванливо-сопливые амбиции окорачивались сразу и неукоснительно. Тем паче так называемыми “шустряками на катушках”. Приведу лишь один пример. Слюняво-зазнайские потуги сынка тогдашнего министра внутренних дел Молдавии генерала Цвигуна (впоследствии заместителя самого Андропова) при первом же удобном случае уgomонили безотлагательно, надев на его клинообразную черепушку трёхлитровую стеклянную банку с водой. Санчасти не потребовалось. Осколки посуды с откоцанным дном удалили со знанием дела: ударом табуретки по тому же месту...

К независимости Стрельца относились со снисходительным пониманием. Правда, иногда иной гражданин-начальничек из надзирателей заерепенится да попытается поизгаляться по мере отпущенной ему власти, но, помнится, дальше многоэтажной “матушки” обычно дело не заходило. И, в общем, тукал Эдик себе да тукал по футбольному мячу — “от пуза”. То есть, по местному присловью, от утренней горбушки до вечерней болтушки...

Тот стишок про вратаря я ему, конечно, засветил. Он — от уха до уха — заулыбался, небрежно бросив, был, мол, такой случай... Ясное дело, листок со стихом я ему презентовал, а уж как он им распорядился, того мне знать не дано. Вскорости спецэтап развёл наше пересечение навсегда. Но как раз перед ним и состоялась та знаменитая запроволочно-футбольная игра, ради которой и затеялся этот, по сути своей, элегически-патриотический мемуар. Да ещё и такой своевременный в самом-то преддверии такого исторического для России события, как предстоящий этим летом чемпионат мира по футболу — впервые на её спортивных просторах!...

Но вернёмся к нашему сказу о несказочном нашем Стрельце-удальце. Зекам (и не только им) давненько не терпелось убедиться воочию и в “натуре”, каков же в своей расславленной “блажи” этот самый футбольный “шулерок”, о виртуозном мастерстве которого большинство и понаслышке не ведало.

И настал день. И отрядили Стрельца в заранее и специально “заершённую” команду, игроки которой если и общались на свободке с футбольным мячом, то разве что в послепохмельных снах кошмарных. Противоборствующую бригаду “ух” подобрали из “чистоделов”, выдавших если не футбольные, то уж тюремно-лагерные виды — точно. Короче, Эдику предстояла проверка на “вшивость”, потому как заключённая шатия-братия “заподлицо” соответствует известному русскому присловью: “не пощупаю — не поверю”.

И вот — началась игра.

В своей команде — заведомых слабаков или “гонящих дурочку” под них — Эдуард бегал с мячом или за мячом, по сути, в гордом одиночестве.

Остальные же “соратнички” шастали по пустырю (без единой травинки) ослабленно-неторопливым пешочком и чаще всего от мяча в сторону противоположную. У соперников же подсобрались ещё те безбашенные амбалы, которые, понятное дело, церемониться со знаменитостью столичного розлива не собирались. А судья-то, разумеется, свой в доску: засвистит, если только ему по уху, да не единый раз свистнут. Эдик “выклевал” обстановочку сразу. Поначалу он и сам трусил по шлаковому “газону” с этакой усмешливой виноватцей и малоскрываемой ленцой. А в “штрафную” противника и вообще неохотно-редко заглядывал. И всё равно его то и дело откровенно целились “подковать” или взять в “коробочку” сразу чуть ли не полкомандой супротивников. К концу первого тайма в ворота его хиломощной дружины накидали чуть ли не десяток “сухих” голов. Без малого тысячеголовая орда босоголовых “болельщиков” безостановочно и глумливо свистела и матерно ёрничала над недавней “звездой” всепланетарного футбола.

Наконец, терпенье и у Эдика перетёрлось. И узрели видящие то, что и вождели увидеть. Футбольный “танк” попёр, что называется, в дурь. На него кидалась чуть не вся двадцатиножная орава соперников (не считая вратаря, норовившего вцепиться зубами в самое малопозволительное место), а рассерженный мастер, знай, таранно разваливал да распарывал виртуозно-непредсказуемыми финтами противостоящую рать осатаневших от безнаказанности костоломов.

И забивал! И забивал!..

К концу второго тайма вся зона редела и рычала одно слово: “Стре-лец!!! Стре-лец!!!”

Позднее выяснилось, что за забором — в посёлке вольняшек — подумали, что зона взбунтовалась. В результате чего начался панический переполох. Потом, уже после окончания матча, все просто рыдали от истерического смеха: и сама вохра, и пожарные, поднятые с перепугу по сиренной тревоге, и, естественно, сами ГУЛагпоселяне, которым только дай повод беспричинно погоготать, да ещё и на сытое брюхо. Сами зеки впоследствии на полном серьёзе утверждали, что захлабно скалились от смеха и сторожевые цепные овчарки, охранявшие за забором контрольно-следовую полосу. А Эдика после финального свистка наконец-то проснувшегося “судьи” качала на руках опупевшая от восторга босоголовая болельщицкая братва...

Уже на другой лагточке спроворилось у меня нижеследующее “твореньице”:

ФУТБОЛЬНАЯ ЭЛЕГИЯ

*Глоток свободы в лагере — футбол:
под гипнотический Синявского Вадима
магнитный голос, возвещавший: “Го-о-ол!” —
и вслед за тем: “Не беспокойтесь... мимо...”
Мяча замысловатейший полёт
был визуален в радиорассказе...
А тут воочью — “танк” стрельцовский прёт,
и не один я прыгаю в экстазе...
Что? Не в бутылку ж лезу, а на стол...
При чём тут детство?.. Бей же, Эдик! Го-о-ол!..*

* * *

Немерено водички, да и водочки утекло после того экзотическо-ГУЛаговского футбольного сражения. Давно за незримой чертой и те приснопамятные денёчки, когда “свобода // Встречала радостно у входа” того, кому по праву полагался не меч, но мяч золотой как лучшему в те поры футбольному снайперу. И пусть многое “не сладилось, пусть не сбылось”, как грезилось ему под небушком в “арифметику”. Главное, не сломался человек. Вновь покорила кровопотную высоту всеболельщического признания футбольной России. И пусть его предавали, казалось бы, лучшие друзья. Пусть даже выперли из родной команды “Торпедо”, чей стадион ныне носит имя Эдуарда Стрельцова.

А у входа к нему высится памятник Мастеру. А с 1997 года лучшему форварду страны вручается престижная премия под названием “Стрелец”...

И — “эврика!”? Ведь говорилось уже, что в нынешнем годочке маловысокобюджетной России предстоит стать “хозяйкой” чемпионата мира по футболу. Такое, думается, Эдику и в самых распрекрасных снах не мерещилось! Уже и талисман предстоящего действия чуть ли не на всенародном референдуме утверждён: мультяшный такой волк. Ну, волк так волк. Главное, чтобы он фольклорно-тамбовским товарищем для нашей сборной не оказался. Но вот имечко популярному зверю подобрали, на мой салтык, какое-то паточно-пошловатое: Забивака! Но ещё не поздно наречь его тем же именем Стрельца всея футбольной Руси. А?! На всякий-який столблю своё предложенье на слуху самого высокого спортивно-агитпропного начальства. Негусто сомневаюсь в том, что поддержит меня и вся неисчислимая футбольно-болельщицкая расейская рать. Иначе зачем же тогда она, наипервейшая футбольная премия, именем Стрельца прозывается?..

ВСЕВОЛОД ТРОИЦКИЙ

профессор

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ — ЗАДАЧА НАЦИОНАЛЬНОГО СПАСЕНИЯ

1

Народное образование, составлявшее гордость России XX века, ныне повсеместно искажено, “упрощено” и повреждено антинаучными, примитивно-прагматическими “реформами”, исполняемыми под умелую режиссуру “заклятых друзей” России через разного рода резидентов — дипломированных невежд, продажных руководителей. Немногие островки нормального образования, отдельные успешные школы и гимназии, которым удаётся противостоять разрушению, не делают погоды. Нынешнее состояние образования в России и политика в этой области свидетельствуют о крупных поражениях России в информационной войне.

Задача созидателей — преодолеть назревающую трагедию, повернуть дело образования на путь возрождения, вернуть школу ко всеобщему, фундаментальному, научному, системному образованию, доведя его до того высокого уровня, какой оно имело в лучшие для школы годы XX века, а затем — превзойти этот уровень.

Русский взгляд на образование таков: нормальное образование должно обеспечить предпосылки подлинной человеческой свободы. Свобода в современном мире не может быть без усвоения базовых (основополагающих) научных знаний, жизнеобеспечивающих начатков духовного опыта и общеобразовательных основ культуры. Образование и есть обретение человеком знаний и передача ему опыта для самостоятельной, по-человечески свободной, умственной, чувственной и духовной жизни.

Свобода зиждется на защите непрременных свойств человека, на приобщении к представлениям, духовным традициям, находящимся в русле созидательной жизни своего народа и Отечества. Обретение свободы для нас — это, прежде всего, свободное владение русским языком, знание основ истории России и русской словесности. Всё, мешающее этим условиям и бытию в лоне национальных духовно-нравственных традиций и норм, не может обеспечить свободы. Навязываемые нам недругами и псевдодемократами через информационные каналы формы бытия, нарушающие природные нормы и традиционные национальные культурные представления, несут рабство и повреждение человеческого в человеке (“расчеловечивание”).

Свобода в духовной сфере заключается, прежде всего, в устройении жизни на основах отечественной культуры, гарантированного обеспечения условий её существования, её развития и её государственной защиты. То, что противоречит такой политике, является политикой разрушения.

Свобода обеспечивается безусловным и абсолютным отрицанием плюрализма в вопросах, в основании которых лежат закреплённые национальной традицией основополагающие духовно-нравственные ценности. Подлинная свобода опирается на обязанность государственной власти выражать интересы создающего большинства и ограничивать произвол везде, где он принесит или может принести ущерб всему народу, национальным и общегосударственным интересам. В обществе, не придерживающемся такой естественной установки, и власть, и подвластные становятся ордой, толпой, стадом.

Предпосылки нормального полноценного образования включают осмысленное осознание мира, душевно-духовное переживание изучаемого, творческое начало в постижении знаний и опыта.

Нормальное образование призвано заложить основы полноценной личности, то есть человека,

- утвердившегося в родном слове,
- мыслящего и умеющего грамотно рассуждать,
- духовно и нравственно устойчивого,
- патриотически убеждённого,
- эстетически воспитанного,
- физически здорового и
- устремлённого к созиданию и творчеству.

Такое образование некогда обеспечивало первоначальную умственно-духовную зрелость молодого человека XX века, которому выдавался по окончании школы соответствующий документ: аттестат зрелости. Нынешнее школьное образование такому документу не соответствует.

Нормальное образование — первейшая национально-государственная задача в России. Решение этой задачи затруднено тяжелейшей информационно-психологической войной, которую мы проигрываем вследствие преступного бездействия на всех её фронтах.

Недруги России, добившись изменения программ и плодотворных методов обучения, снижения уровня знаний школьников, продолжают разными путями “вбрасывать” в школьную практику “тормозящие” педагогические технологии, чуждые, а иногда и абсурдные методы преподавания, выдавая их за “общепринятые” или даже “прогрессивные”, навязывают нам через своих “теоретиков” и агентов ложные принципы и абсурдные задачи воспитания. В этой основательно продуманной и, несомненно, хорошо оплаченной системой политике разрушения наши советчики и консультанты, бывает, до надругательства над великим духовным наследием России и зачастую не встречают достойного отпора... В этом несомненная наша вина. Я говорю: наша, имея в виду разных по взглядам людей, не повреждённых нравственно, то есть ставящих интересы своего народа и России выше личных выгод.

После революции те же силы пытались уничтожить русскую школу. Тогда проф. Г. И. Челпанов свидетельствовал: “...Истинная демократия, истинное народоправство предполагает школу с высоким учебным уровнем. Понижение образовательного уровня средней школы (это в XXI веке уже в сущности достигнуто проведёнными реформами! — В. Т.) ...повлечёт за собой, прежде всего, понижение уровня нашей культуры и приведёт нас к полной культурной зависимости от других народов, потому что именно средняя школа есть основа культуры народа. Понижение образовательного уровня средней школы повлечёт за собой гибель демократии, ибо самоуправляться может только тот народ, у которого есть достаточное число действительно образованных государственных и общественных деятелей, а для этого нужна средняя школа с высоким учебным уровнем”.

Нам необходимо всегда помнить: в России любовь к родной земле — неременное качество образованного человека. Мы ведём разговор об образованных людях, то есть, как говорят у нас, — о нормальных... Нормальное, здоровое образование должно быть глубочайшим образом проникнуто знанием и воспитанием любви к Отечеству. Эту азбучную истину не нужно повторять в нормальных условиях.

Только полноценное общее образование может обеспечить защищённость России среди международных хищников! Между тем, общий уровень культуры интеллигентной массы у нас в последние десятилетия заметно снизился. Появилось немало дипломированных дилетантов, посредственно образованных и не отличающихся чувством профессионального долга. “Угроза наступления века невежества кажется совершенно реальной” (акад. В. И. Арнольд). Всё это совершенно ненормально и опасно для независимой страны, для нашей Родины.

Отступление от нормы началось с изъятия верных понятий и введения в педагогический оборот новых словечек. Слово *знание* заменили чужеватым словечком *компетенция*. Это разные понятия.

Знание – закреплённая сознанием, целостная и научно упорядоченная система обобщённых достоверных понятий и представлений о предмете – какой-либо области действительности (базовый минимум).

Знание отличается от информации, то есть суммы сведений, не обладающей должной целостностью, логически выверенной обобщённостью, научной упорядоченностью (системностью), аналитической и опытной обеспеченностью.

Знания приобретаются посредством сознательного уразумения, обобщённого исследовательского опыта и возникшего на этой основе логически осмысленного, обобщённого и образного представления об основах той или иной области действительности. Необходимо помнить: “...В живой познавательной деятельности человека вера, чувство и мысль – нераздельны, хотя и могут быть различаемы путём анализа”^{*}.

Компетенция – это всего лишь уровень общей осведомлённости в области науки, прикладной профессии или образования. В отличие от знания, предполагающего на заключительном этапе освоения целостное научное представление о предмете, отвечающее научному подходу к миру, при котором “каждое явление входит в рамки научного изучения и находит объяснение, не противоречащее основным принципам научного искания”^{**}, компетентность означает, как правило, лишь упрощённо систематизированные представления о предмете, осведомлённость, ориентированную на обыденную информацию и решение обыденных практических задач.

Чтобы возродить наше образование, нужно вернуть в школу овладение системой знаний (школьного уровня) на научной основе по всем изучаемым базовым предметам.

Как восстановить достойную систему образования, которая была разрушена за последние четверть века, и при этом, как говорится, не наломать дров? Ведь иные неразумные изменения могут только ухудшить положение...

Нужно, прежде всего, глубоко осознать принципы, которые были положены в основу происшедшего разрушения образования.

Вспомним: программы по школьным предметам были заменены стандартами, ориентированными на минимум содержания, затем ввели подброшенную нам с Запада вредоносную форму испытаний – ЕГЭ, нацеливающую, прежде всего, не на умение широко мыслить и рассуждать о той или иной области знаний, но на способность находить подходящие ответы, опираясь, прежде всего, на память и вариативную догадку. Кстати, полезно обратить внимание на вышедшее 9 лет назад издание “Единый государственный экзамен. Белая книга”. (М. 2009). Но, несмотря на огромный вред, который наносит ЕГЭ, такую форму испытаний не отменяют, а лишь пытаются вновь и вновь оправдать этот “эксперимент” совершенно неосновательными “доводами”. Видимо, большие деньги бросила “контора Даллеса” на внедрение ЕГЭ в наше образование.

Сегодня учителя вынуждают заботиться, прежде всего, не о смысле преподаваемой дисциплины, не о содержании знания, но – о рамках знаний, о заданных способах осваивать стандартные формы ответов, выбирать и даже...

* Трубецкой С. Н. Сочинения. М. 1994. С. 654.

** Вернадский В. И. Труды по всеобщей истории науки. Изд. 2-е. М., “Наука”, 1988. С. 51-52.

угадывать. И всё это вместо того, чтобы сосредоточить внимание на целостном овладении сущностью предмета, его основными понятиями и закономерностями, осознанием его значения и т. д. Учителя словно запрограммировали, чтобы он работал в соответствии со стандартами. Он должен был перестроиться, в значительной мере превратиться в “натаскивателя”. В этом одна из причин, почему учитель как специалист в области знаний перестаёт быть первым лицом в школьной иерархии.

Затем узаконили рабскую административную зависимость учителя от директора, “управленческую высоту” которого поддерживали раздутой зарплатой, возможностью лично влиять на зарплату учителей, наконец, расширенными административными правами, которые зачастую оказываются выше прав педагогической науки и учительского коллектива. Началась перестроенная трансформация школы, которая уже была испробована после революции и чуть было окончательно не развалила образование в 20-е годы прошлого века.

Современный учитель оказался в нелепой и антипедагогической зависимости не только от директора, но и от ученика, о правах и претензиях которого стали настойчиво и постоянно, публично и безответственно рассуждать. Более того, в сознание современников наёмные разрушители (или невежды) пытаются разным способом внедрить нелепую и невежественную мысль о “равноправии” учителя и ученика. На самом деле, любое такое “равноправие” уничтожает возможность нормального обучения и воспитания. Ученик станет “равноправным” учителю, когда будет иметь равный с ним жизненный опыт, сумму знаний и статус. Учитель – всегда наставник, назидатель, если хотите. И в целом ученик всегда подчинённый и исполнитель, воспринимающий, принимающий и предпочитающий слово учителя.

Абсурдная и растлевающая сознание мысль о “равноправии” учителя и обучающегося отравила педагогическую систему, поставила школу с ног на голову, унизила учителя, лишив его возможности работать в нормальной школьной обстановке. Замечу, что наша русская школа испокон века опиралась на педагогику наставничества, в которой учитель был ответствен за ученика, а ученик всегда был ответствен перед учителем.

Реформы лишили учителя практической возможности подлинно педагогического творчества и не только “стандартизировали” характер его работы, но разными способами бюрократизировали и утяжелили “побочными обстоятельствами” учебный процесс, начиная с многообразных справок-инструкций и кончая многочисленными формами учёта результатов, многочисленными формами отчётности, которые постоянно меняются и обязывают учителя нередко переделывать абсолютно бессмысленные с практической точки зрения документы. Всё это вполне можно рассматривать как одну из форм ведущейся с нами информационной войны, внедряемую манипулятивными способами в нашу систему образования.

Ещё пример. В Москве произошло “объединение” учебных заведений в “комплексы” под началом одного директора. В результате этой откровенно антипедагогической акции роль директора как педагога и организатора педагогического дела практически сведена к нулю: он стал “хозяйном-администратором”, не более того. Тем самым были разрушены научно-педагогические принципы прежней школьной системы. От этого педагогическому делу только вред. Не думаю, чтобы “реформаторы” этого не понимали... Всё это хорошо продуманная информационная диверсия, которой наше руководство не противостоит. Оставим в стороне определение причин такой политики. Но эти причины – либо профессиональное невежество, либо очевидное профессиональное предательство – коренятся в отсутствии чести-совести, в безнравственном равнодушии к будущему школы...

Важнее всего ныне – восстановить систему образования по школьным предметам. То есть не просто “улучшить”, “возвратить хорошее” и т. п., но – восстановить фундаментальные научно-методические начала преподавания школьных дисциплин.

Всякая система имеет свою основу, свои главные и второстепенные, но необходимые для полноты составляющие; есть и такие, которые необходимы для ощущения предмета в целом, но не входят в пристально изучаемую его часть. Этих составляющих осваивающее сознание только касается.

Но они обязательны для правильной ориентации, для грамотной полноты представлений. Филологическое образование до перестройки являлось именно таким научно-методическим единством.

Требования восстановления системы не означают слепого копирования. Но можно с уверенностью сказать: программы по словесности нуждаются, прежде всего, в решительном возрождении.

4

Губительное сокращение русской классики в школе, замусоривание иных книг для начальной бездарными и пошлыми стихами, “выдавливание” классики, лицемерное сетование на незнание школьниками истории и культуры своей родины и возвращение время от времени в стандарты жалкого числа из тех произведений, которые входили в программы в период расцвета отечественной школы в XX веке, — всё это лишь “игры” разрушителей.

Сопоставляя реальное количество произведений классиков, с которыми (по программам изучения и хрестоматиям тех лет!) знакомились школьники в замечательные для школы времена, легко понять разрушительный смысл “реформ”. Следует ещё вспомнить, что произведения, предлагаемые для внеклассного чтения, составляли дополнительный список.

Например, в период расцвета отечественной школы в XX веке учащийся на протяжении 10 лет так или иначе осмысливал немало произведений И. А. Крылова (не считая тех, которые планировались для внеклассного чтения!). Эти произведения частично включались в хрестоматии со 2-го по 6-й класс средней школы.

В одном из перестроечных стандартов МО по литературе (базовый уровень, профильный уровень) Крылов, писатель, особенно важный для воспитания нравственности, человечности и незаменимый для обретения чувства родного языка, представлен так: “Четыре басни; по выбору”. Чувствуете разницу?!

Возьмём А. С. Пушкина. В хрестоматиях со 2-го по 8-й класс тех славных лет предназначались для осмысления следующие его произведения и отрывки из них (приведу в последовательности их изучения): “Пчёлка” (отрывок из “Евгения Онегина”), “Утро” (отрывок из “Евгения Онегина”), “Зимний вечер”, “Зимняя дорога”, “Полтавский бой” (отрывок из поэмы “Полтава”), “У лукоморья дуб зелёный” (вступление к поэме “Руслан и Людмила”), “Сказка о царе Салтане”, “Бой Руслана с Головой” (отрывок из поэмы “Руслан и Людмила”), “Зимнее утро”, “Зима” (отрывок из романа “Евгений Онегин”), “И вот уже трещат морозы...” (отрывок из романа “Евгений Онегин”), “Весна” (отрывок из романа “Евгений Онегин”), “На берегу пустынных волн...” (вступление к поэме “Медный всадник”), “Осень”, “Бесы”, вновь “Зимнее утро”, “Узник”, “Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях”, “Песнь о вещем Олеге”, “Кавказ”, “Украинская ночь” (отрывок из поэмы “Полтава”), “Анчар”, “Дубровский” (в сокращении), “К Чаадаеву”, “Деревня”, “Няне”, “Туча”, “Пророк”, “Эхо”, “Поэту”, “Я помню чудное мгновенье...” (отрывок из поэмы “Я помню чудное мгновенье...”), “Погасло дневное светило...”, “На графа А. А. Аракчеева”, “На графа А. А. Воронцова”, “Ночь. Келья в Чудовом монастыре” (отрывок из трагедии “Борис Годунов”), “В Сибирь”, “Арион”, “Вновь я посетил...”, “Я памятник себе воздвиг...”, “Капитанская дочка”, “К морю”, “19 октября 1825 года” (отрывок), “Цыганы”, “Евгений Онегин”, “Борис Годунов”.

Итого 45 произведений, включая отрывки.

В стандарте одного из этапов “реформ” XX века (с тех пор они заметно не изменились): “К Чаадаеву”, “Песнь о вещем Олеге”, “К морю”, “Няне”, “К***” (“Я помню чудное мгновенье...”), “19 октября” (“Роняет лес багряный свой убор...”), “Пророк”, “Зимняя дорога”, “Анчар”, “На холмах Грузии...”, “Я вас любил...”, “Зимнее утро”, “Бесы”, “Туча”, “Я памятник себе воздвиг...”, а также “Погасло дневное светило...”, “Свободы сеятель пустынный...”, “Подражание Корану”, “Элегия” (“Безумных лет угасшее веселье...”), “Вновь я посетил...”. Итого: 14 произведений. Плюс 6 — по выбору.

Если же сравнить по объёму текстов — разница будет огромнейшая!

Сравним объём изучения творчества Н. А. Некрасова до и после разрушительных реформ.

Ранее, со 2-го по 9-й класс (не считая внеклассного чтения) в программу входили 8 произведений (плюс 5 по выбору).

То, что сделано сейчас со школой по очевидным последствиям для страны однозначно активно идущему духовному её уничтожению. Речь идёт о том, будет ли русский народ иметь возможность дышать воздухом своей культуры или должен будет задохнуться в атмосфере массовой культуры, массовой пошлости и насаждаемой в России прагматической, западной цивилизации.

Последние двадцать лет под знаменем “свободы” информаторы-глобалисты всеми способами стараются “выскоблить” духовное наследие нашего народа из современной информационной среды. Из неё вытеснены мощные духовные потоки родной культуры, дающие народу энергию жизни и созидания: наши традиционные русские песни, русская народная музыка, всемирно ценимые русская классическая литература и русская музыкальная классика. Всё это если и мелькнёт случайно в эфире, то обязательно “затапливается” последующим шквалом пошлой, банальной и вульгарной информационной стихии. Это результаты реальной информационной политики и властей, преступно бездействующих в деле защиты Отечества от “вредителей русского развития”.

Сегодня под прикрытием благостной политической трескотни о возрождении продолжается *de facto* духовный геноцид русского народа, прежде всего — в образовании.

Сокращение программ и часов по русской словесности в школе, изуродованные стандарты и вслед за тем — появление массы Иванов, не помнящих родства, то есть вся политика Министерства образования последних двух десятилетий — это не просто уничтожение культурных традиций, а в чистом виде антикультурный экстремизм, по существу — “законное” развитие русофобии в духовной сфере.

Нас уже приучили к тому, что в школе должны давать минимум знаний. Может быть, по отношению к тригонометрии или чужому языку такое ещё можно допустить, но по отношению к предметам, обеспечивающим становление нормального человека своей страны, — это преступно!.. Перефразируя сказанное некогда немцами о Германии по отношению к России, мы можем утверждать, что Великую Отечественную войну выиграл русский учитель словесности. Выиграл потому, что программы довоенной школы достойно приобщали к русской литературе.

Сейчас особенно остро ощущается глубина слов великого композитора XX века Г. В. Свиридова: “...возврат к национальной традиции... — вот истинная новизна для нашего времени”, “Идеалы и нравственные ценности русского искусства XIX века не поколеблены...”, “...сила Русского искусства, русской литературы... — в чувстве совести”. Эти простые истины традиционны, безусловны, но сейчас их приходится всеми силами отстаивать...

Организованная русофобия “вырастает” на невежестве, на бескультурии, “взлелеянном” современным образованием: “...Отечество наше, — писал В. Г. Распутин, — во всех его материальных, духовных и нравственных ипостасях извращено так, что и смотреть нет сил, когда тысячелетние его приобретения выбрасываются на свалку или, как вторчермет, идут в переплавку в печах мирового порядка, когда культура отдана в руки разнузданных шоуменов, а образование преобразуется в функциональное натаскивание и программное выскабливание родного духа...”*

5

Разрушители не успокоились! Они уже нагло замахиваются на основы нормального образования, сводя его к вопросу о “накачке информацией”. Сегодня откровенно “размышляют” об изменении способов обучения — о школе без учителей с загрузкой материала на электронные носители и т. п.

Педагогически грамотный человек понимает, что все эти провозглашаемые “новаторами” глобальные акции направлены на окончательное и бесповоротное уничтожение нормальной системы образования, на превращение большинства учащихся в “механических человек”, а страну — в колонию и арсенал запрограммированных рабов с механически-машинным восприятием мира. Но ведь находятся люди, которые верят в “прогрессивную воз-

* Виктор Кожемяко, Валентин Распутин. Боль души. М., “Алгоритм”. Серия “Память”. 2007. С. 216.

можность” этих абсурдных планов. Планов, которые исключают из задач школы главное: “очеловечивание” мысли, воспитание души, становление личности.

Нормальное школьное обучение немыслимо без гуманитарных основ образования, без живого слова педагога, без разных форм обучающего и воспитывающего диалога между учителем и учеником, наконец — без целостного воздействия личности учителя.

Перестройка образования, свидетельствуют аналитики, уже “нанесла сильнейший удар по исторической и культурной преемственности русской школы, в результате которого произошла деформация или утрата исторической памяти и русской самобытности, смена русского менталитета и изменение общественного сознания... В итоге катастрофически быстро сокращается число людей, умеющих аналитически и масштабно мыслить, а уж тем более способных подняться до уровня осмысления государственных интересов... Особенно же сильно на детях и молодёжи сказалось применение “новейших” образовательных экспериментальных психопрактик с использованием НЛП и других изменяющих сознание методик и концепций “инновационной” педагогики, направленных на дерационализацию сознания и внедрение мировоззренческого и нравственного релятивизма”^{*}.

Внедряемые педагогические технологии приводят, говоря словами В. Ф. Базарного, к слову “сообразного природе ребёнка собственного творческого мышления, а также к формированию вместо него инструктирующего алгоритмированного типа мышления, а в конечном счёте — инструктивно-программированного интеллекта”^{***}.

И всё это восходит к политике разрушения, которая не находит никакого действенного противостояния современной власти, — дело ограничивается пустыми разговорами. Сказанное заставляет думать о том, что некая часть руководства “схвачена” наследниками Даллеса или же ровно ничего не смыслит в происходящем. Начинаешь думать и о том, кто и как командует в государстве, если не остановлено и практически продолжается по всем направлениям долготее разрушение государственного образования^{***}. Ведь названные вопросы вполне можно решить даже не репрессивным, а командно-административным способом при властной поддержке верховной властью грамотных, честных и профессионально вооружённых специалистов...

Однако же дело обстоит серьёзнее, чем можно представить первоначально. Так называемые реформаторы предполагают на очередном витке реформ уничтожить становой хребет русской школы, которая всегда была прежде всего школой русского слова.

Недавно ректор ВШЭ Я. Кузьминов заявил, что главная задача образования — это приобретение “цифровой культуры”, умение работать с большими данными, компетенции в области дизайна, компьютерное моделирование, то есть всё то, что имеет в основе цифру. Опора на цифру знаменует собой примитивизацию мысли, “упрощение” сознания и деградацию культуры и “расчеловечивание” человека. В основе отечественной культуры, науки и образования лежит слово. Заявление сего начальника теснейшим образом связано с задачей, поставленной ещё в доктрине А. Даллеса, об оттеснении России в области науки, культуры и образования за пределы уровня так называемых “цивилизованных стран”.

К сожалению, такова наша печальная действительность. Осуществлению названного плана много способствуют самонадеянные “управленцы”, невежественно рассуждающие о “новациях”, “прорыве”, новых технологиях и не видящие в упор, что за всем этим стоят наёмники Даллеса, активно воплощающие его замыслы разрушения России. Истинно так!

Президент России В. В. Путин не так давно заметил, что “настоящий патриотизм — это образованный патриотизм”. Это важно понимать сегодня,

^{*} О. Н. Четверикова. Разрушение будущего. Кто и как разрушает суверенное образование в России. М., “Благословение”, 2015. С. 61–62.

^{**} В. Ф. Базарный. Современная школа как разработанная в тайных обществах психотехника воспроизводства людей на основе косности тела и рабства духа. // Знание — Власть. Приложение к № 447. С. 2.

^{***} См. вышеуказанную книгу.

во время длительного системного разрушения отечественного образования “на административном уровне”.

Возрождение всеобщего образования в России на научной основе, возвращение утраченных за время так называемых “реформ” плодотворных научных, педагогических и научно-методических традиций – вот задачи, которые необходимо решать незамедлительно.

Впереди – огромная работа по восстановлению школьного образования в России на фундаменте плодотворных традиций и завоеваний отечественной науки, в том числе – науки педагогической. Эта работа связана с неизбежной борьбой против глубоко невежественных или, возможно, сознательных разрушителей, которым волею нынешних правителей безответственно даны преимущественные права в руководстве образованием перед грамотными и квалифицированными специалистами.

ТАТЬЯНА МИРОНОВА

доктор филологических наук

БОГАТСТВО ПО-РУССКИ

Русское представление о богатстве и счастье

Богатство сегодня является для многих русских пределом мечтаний и целью жизни. Оно соединяется с представлением о счастье и вживляется в головы детей старшими поколениями, пережившими разорение последних десятилетий. Однако подобные воззрения ложны, им наперекор встаёт русская картина мира, заложенная в нашем языке, которая трактует богатство и счастье совершенно в иной системе ценностей.

Слово **богатство** восходит к корню, обозначающему Бога. Богатый — значит отмеченный Богом, наделённый Им неким достоянием. И в этом смысле богатый уравнивается с убогим: в корне данного слова тоже читается “Бог”, и убогий означает ‘пребывающий у Бога и с Богом, и только на него полагающий своё упование’. Сравним это слово с обычной при крайностях жизни мыслью: “Только на Бога и остаётся надеяться”. Состояние богатства и убожества — два полюса пребывания под Покровом Божиим. Подобное представление, диктуемое нам русским языком, заставляет каждого сознавать, что “Бог дал, Бог и взял”. И потому кичиться богатством, скаредничать и жадничать, копить и жидоморить — глупо и богопротивно. Вот откуда явилась щедрость в русском национальном характере, удивляющая другие народности, считающаяся ими глупостью или простодыростью.

Русское бесшабашное “не жили богато, нечего и начинать” на самом деле является не только прививкой от жадности и накопления, оно определяет устремлённость русского человека к более важным для него делам, оно поощряет творчество, которое на Руси противоположно понятию о стяжательстве, оно нацеливает на духовные подвиги и воинский героизм, невозможные, если в целях жизни мыслить наживу и прибыль.

Русское представление о богатстве и счастье происходит из многотысячелетнего, ещё индоевропейского понимания, что мироустройство зиждется на верности народа правде-истине: у древних ариев-иранцев ложь считалась одним из главных бедствий, грозящих человеку, наряду с вражеским нашествием и голодом. Верность правде и ненависть ко лжи обязывала русского человека быть справедливым. Вот откуда родом наши правдоискательские русские идеи равенства: “Что тебе — то и мне”, “что всем — то и одному”. Вот что заставляло нас сызмала воспитывать в детях навык справедливого распределения достатка: “Варлам — пополам, Денис — поделись”.

Ещё русское понятие о богатстве как достоянии, дарованном Богом, включает в себя воззрение, что блага и ценности, какие Бог даёт человеку, ограничены Его волей. А потому “имение” есть заданная и замкнутая величина,

и если у одного что-то прибавляется, значит, у другого нечто отнимается. Одни процветают за счёт других. Но поскольку подобное отъятие и изъятие ценностей происходит вопреки воле Бога, то людей, неожиданно и быстро разбогатевших, в народе сознательно или подсознательно считали колдунами, нарушающими Божьи законы, и частенько обходились с ними “по справедливости”, изымая несправедливо нажитое. В этом исконном представлении коренятся причины русских бунтов и восстаний, в нём — истоки народной мысли о неизбежной расплате за мздоимство и ростовщичество, ведь, по меткому нашему выражению, “несправедная деньга — огонь”.

Богатые русские люди сознавали это столь же отчётливо, сколь и убогие. Предупреждая Божий гнев и людскую расплату, они заботились об убогих, жертвуя на богадельни и больницы, помогали бедным, строили храмы. Ведь над всеми довлело понимание, что богатство есть не столько имущество, сколько достояние. А в слове **достояние** заключается уникальных архаический смысл: **достояти** значило ‘быть установленным свыше’ — от Бога, а не от людей.

И ещё одно представление содержало в себе понятие о богатстве. То, что земля, реки, леса, недра суть не чьё-то личное имущество, а только Божье, а значит, всем этим надлежит пользоваться не одному их владельцу, а всему народу. Так мирская земля принадлежала всей крестьянской общине, её наделы лишь временно отдавались земледельцам и постоянно переходили из рук в руки. Оттого и леса, в представлении народа, не могли быть собственностью одного человека, и нарубить дров или поохотиться в чужой роще не считалось воровством. Также Божьими считались реки и озера, где рыбная ловля принадлежала всем.

В этих архетипах мы, русские, живём по-прежнему. Мы, как и сто, и двести лет назад, считаем, что нажитые олигархами богатства несправедливы и рано или поздно подлежат переделу. Мы не признаём дележа земли, расхищения недр, присвоения лесов. Их захват чужаками русский народ под давлением родного языка рассматривает как временный, несправедливый и подлежащий отмене. Так что мечты о скорейшем обогащении, внушаемые молодому поколению русских, следует полагать тщетными и напрасными.

Столь же ложны новомодные представления о счастье как накоплению богатства, ведь и им противостоит русская картина мира, в которой счастье — всего лишь доля, удел человека в земной жизни. Слово **счастье** понимается нами как своя часть, которой наделяет нас Бог. По Его усмотрению мы удостоены — кто горем-злосчастьем, кто трудной судьбиной, кто страданием, а кто жизнью — разлюли-малиной. Обо всём этом принято говорить: “Такое твоё счастье! Такая твоя судьба!”. Потому что “всякому своё счастье”, а “в чужое счастье не заедешь”. Ведь и судьба, по сути, не что иное, как **суд Бога**, Его решение о каждой человеческой душе, причём решение, осуществляемое в земной жизни человека. Вот почему говорится: “Счастье — мать, счастье — мачеха, счастье — бешеный волк”. Счастье порой уравнивается с удачей, талантом, успехом: “Не родился ни хорош, ни пригож, родился счастлив”. Но главное в этом слове всё то же — Божье дарование, которое от человека зависит лишь отчасти. А вот как заслужить счастье, богатство, как получить Божий дар в виде счастливой доли — здесь русская традиция имеет несколько важнейших решений.

Жертвоприношение как основа богатства

Заслужить счастливую долю, согласно русским представлениям о счастье, восходящим к древнейшим представлениям индоевропейцев, можно, прежде всего, тем, что ты делишься всем, что имеешь, с Высшими силами, которые тебе помогают в жизни. Добровольное отдание части своего богатства Богу именуется жертвой, и в этом славянском слове коренится исконный обряд жертвоприношения — слово **жертва** родственно словам жерло, горло, а глагол **жрети** (приносить жертву языческим богам) сопоставим с понятием **жрать**, пожирать. Перед нами сохранённые языком осколки древнего языческого обряда жертвоприношения, являвшегося, по сути, кормлением богов, и осуществлявшегося путём сжигания жертвы, которую пожирало пламя жертвенного костра. Подобный взгляд на жертвоприношение находим у большинства древних народов: древнеиндийское понятие о жертвоприношении “яджина”

(ср. русское **еда**) буквально означает “то, что подлежит съедению”, “пир” и “пищу богов”. Латинское слово *victim*, обозначающее жертву, происходит от *victis*, переводимого как “пища”. И у древних иудеев слово со значением жертва этимологически тождественно “пище”. Так что древняя жертва языческим богам — это пища, добытая человеком, отделяемая им в пользу Высших сил часть в благодарность за благодеяния и в залог будущих благ.

Слово **жертва** искони было сопряжено с молитвой, это слово восходит к корню *молить/молоть* и как раз означает отделение доли от цельного богатства ради жертвоприношения. В дальнейшем слова **молить** и **молитва** стали обозначать не только вещественные жертвы, но и слова с просьбой к богам о помощи и заступлении. Это древнейшее представление сохранилось во многих индоевропейских языках: в хеттском *maltai*, в литовском *melsti*, армянском *maltem*. Первоначальное значение этого слова сохранилось в русских народных говорах по-прежнему в вещественных образах: **молят поросёнка** — жарят поросёнка к Рождеству. Здесь проступает явный ритуально-жертвенный смысл действия. А ещё **молят кашу** на поминках и называют **молитвой** именинные пироги. Нечто подобное бытовало в культуре Древнего Рима: латинский глагол *mactare* имеет два значения — ‘ритуально убивать’ и ‘восхвалять’, отражая тем самым два вида жертвоприношения — вещественное и словесное.

Ещё одно древнее славянское слово, обозначавшее жертвоприношение, — **треба**. Оно в своём исконном смысле сохранилось в обиходе православного христианства и, разложенное на составляющие индоевропейские корневые форманты — **тре-ба**, — буквально означает огонь Бога, или огонь для Бога — *ва-тра*. В русских словах **требовать**, **потребить**, **отребье** тоже просвечивает этот сокровенный смысл, поскольку все они, если вдуматься, хранят значения, связанные с божественным промыслом: высшего спроса в слове **требовать**, высшего предназначения в слове **потребить**, высшего отвержения в слове **отребье**.

Смысл жертвоприношения всех древних индоевропейских народов, и русского в том числе, издревле был один — умиловить высшие силы, просить у них помощи в делах, защиты от стихии и от врагов, и, разумеется, здоровья членам рода. Но не менее значимы были так называемые обеты, состоявшие из двух частей — торжественного обязательства языческим богам в обмен на дарованную ими безопасность и благодарности за помощь и заступление, выраженной в славословиях и в вещественных жертвах. Так, арабский хронист Ибн-Фадлан повествовал, что русские купцы, приезжая в дальние страны с товарами и распродав их, покупали хлеб, молоко, мясо и жертвовали их своему Богу-покровителю, объясняя эти действия так: “Владыка помог мне, и я должен ему заплатить”.

Конечно, христианство вытеснило жертвоприношения язычников, заменив их благодарственными молебнами, но народная традиция запечатлела древние обетные жертвы предков, приносимые деревьям в священных рощах, родникам и рекам, камням в обличье человека или зверя, а то и просто громадному утёсу, невесть откуда взявшемуся посреди равнины. Сохранились и домашние жертвоприношения — очагу, обитателям дома и домашних строений — домовому, баннику, овиинику. Их задабривали, с ними делились, что называется, куском хлеба. Особая жертва предусматривалась при постройке дома или храма, которые строились издревле “на чью-то голову”. И этот обычай тоже имел древнейшие языческие истоки.

Многое из этого забылось и застыло в суевериях, потерявших смысл даже для тех, кто их свято соблюдал. Ибо жертва Богу христианскому и святым Его стали главным истоком благополучия для русского народа, ведь к Господу Иисусу Христу, Божьей Матери, христианским святым были обращены наши молитвы и жертвы последнюю тысячу лет. Они приносились при болезни и бесплодии, эпидемии и падеже скота, стихийном бедствии или пожаре. И по слову псалмопевца, вместе с вещественным приношением жертвой Богу становилось покаяние — “дух сокрушен”. Однако некоторые языческие обычаи жертвоприношений были поглощены христианством и в нём бытуют по сей день ненарушимо и свято. Прочно сохранились поминальные жертвы предкам, приносимые на могилы в родительские дни, на Радоницу, в Троицкую неделю. Не менее устойчивы и приношения первых плодов, которые приносят в христианские храмы на Спасы, именуемые медовым, яблочным и хлебным, не менее важны жертвенные приношения на Илью, на Рождество

Богородицы и на Успение в благодарность за урожай. Молебными и праздничными трапезами отмечают и начало сельских работ: сенокос празднуют на Петра и Павла, осеннюю пахоту — на Рождество Богородицы, рыбные ловли — на Спас Нерукотворный.

У многих жертвоприношений есть важная праздничная черта — совместная с Высшими силами трапеза тех, кто жертвует Богу своё богатство. А главная идея обряда — готовность отблагодарить Бога за помощь и восславить его за благодеяния не только словесным, но и вещественным образом. Эта идея приучала каждого думать о необходимости благодарить и делиться, что является собой чисто человеческое свойство. Эта идея придавала высший смысл всем человеческим деяниям, иначе они превращались просто в скотское бытие, состоящее из примитивных рефлексов и инстинктов потребления. Совершавшие жертвоприношения наши предки свято верили, что благодарность Богу обеспечивает Его расположение к человеку, которое выражено в «благорастворении воздухов» — благоприятных погодных условиях во все времена года, в обильном урожае хлеба, в приплоде скота, а главное, в рождении собственного здорового потомства, что обеспечивало продолжение рода и умножение народа.

Что же служило жертвой в славянских языческих тризнах? Пища, которой потчевали богов, была бескровной и кровной. Бескровная жертва — это жертвоприношение древнего славянина-земледельца, который отдавал языческим богам самые дорогие плоды своего труда — хлеб и мед. Всем известное **коливо** или **кутья** есть самое архаичное жертвоприношение. Эта крутая каша, в сущности разваренные зерна злаков, по сей день употребляется во всех семейных обрядах — на родинах-крестинах, на похоронах, на свадьбах. Названия каши в точности отражают две сущности этого жертвоприношения. Первое из них — **коливо** — свидетельствует о том, что каша была частью ритуала, скрепляющего общинные связи, ибо **коло** есть обережный круг, состоящий из сородичей и соседей. Второе название — **кутья** — имеет корнем изначальное **кут**, что значит дом, свой угол, и кутья оказывается ритуальным жертвоприношением домашнему божеству, скрепляющему семейные узы. Помимо этого, семейно-общинного ритуала, хлеб и кашу жертвовали «домашним демонам» — домовому, баннику и овииннику, оставляя куски в укромных углах, делились хлебом и с водяным, пуская ковриги по реке. Сегодня эти верования бытуют как суеверия. Но на селе остаётся обязательным принесение хлеба в церковь при начале полевых работ в Юрьев день, который знаменует почин страды земледельца.

Изрядно подзабыт, но ещё существует и обычай жертвоприношения мёда, который освящают в медовый Спас в церквях, а в старину первый мёд и воск от каждого улья пчеловоды бросали в реку, там же топили первый рой, отдавая эти в полном смысле слова сокровища земледельца в дар языческим богам. Мёд был со временем заменён вином в семейных ритуальных трапезах, где над ним произносились благословения новорождённому на родинах и крестинах, прощальные слова покойнику на поминальных обедах, величальные слова молодым на свадебных торжествах.

В более глубокую древность уходит своими корнями кровное жертвоприношение, оно есть память о древних охотниках и скотоводах, культура которых предшествовала появлению земледельческой. Кровное жертвоприношение искони представляло собой ритуальную трапезу-требу, на которой поедали заколотое и зажаренное целиком животное, при подаче на стол его не резали, а ломали руками. А перед разламыванием жертву непременно поднимали над головой, вознося к небу свидетельство дара богам. Бытовавшая в досоветское время в крестьянской среде жертва обязательно должна была быть поделена на три части. Одну из них по обычаю отдавали священнику, а в древности, очевидно, это была жертва языческим богам, предназначенная для сжигания на ритуальном костре. Другую часть жертвовали нищим, сиротам, больным, всем нуждающимся в пище. Третья часть шла на угощение приглашённым на трапезу устроителям. Жертвенное блюдо предписывалось гостям съедать целиком, а кости запрещалось выбрасывать. Их либо сжигали, либо бросали в воду, а то и гадали по ним о грядущей судьбе, ибо, по поверьям, они обладали магической способностью возрождать к жизни скот — движимое имущество древнего земледельца.

Дошёл до наших дней чётко установленный порядок кровного жертвоприношения, согласно которому крупный рогатый скот — быки и коровы — вся община

в складчину приносила в жертву великим святым Илье пророку, Петру и Павлу, Фролу и Лавру, Николе Чудотворцу, что заменили собой в житейской обрядности языческих богов, связанных с водной и небесной стихиями — Перуна и Дажь-Бога. На Рождество Христово, Новый год и Пасху в семейном кругу закаливали свинью или поросёнка, это животное издревле было символом Матери Земли, её плодородия и изобилия. Баранов же, овец и ягнят **молили**, то есть приносили в жертву накануне больших земледельческих работ — перед сенокосом, молотьбой и пахотой; овен с древнейших времен символизировал плоды дел человеческих рук.

Особая жертвенная роль — у домашней птицы, она предназначалась для молитвы о судьбе каждого человека. Так, белого петуха и белую курицу забивали при трудных родах или когда желали, чтобы родился сын или дочь. Чёрного петуха или чёрную курицу резали при болезни человека ради его исцеления. Петух и курица — жертвенная еда и на поминках. Чаше другой живности домашняя птица приносилась в жертву демонам дома и духам, оберегающим село, — кур резали при опаживании села во время мора, мельники отдавали курицу в жертву водяному.

Таинственным свидетельством перехода наших предков от кочевого образа жизни к оседлому является так называемая строительная жертва, предшествовавшая постройке дома и завершавшая её, а также сопровождавшая вселение в новый дом. Такая жертва обеспечивала, по мысли древнего человека, прочность дома, его долговечность, а главное — благополучие жильцов.

При закладке дома обычно жертвовали домашнюю птицу или скот, само животное или только его голову закапывали под фундаментом на входе или в красном углу. Старались, чтобы кровь жертвы окропила камни основания жилища. После исполнения языческого обряда отдавали дань христианству — читали “Отче наш”, кропили основу дома святой водой, вытряхивали на углы жар из кадила. Языческий обычай был стойким. Так, при раскопках Новгорода под основанием домов XI–XIV веков часто находят конские черепа, а при разборе старых обветшавших изб до сих пор обнаруживают собачьи или кошачьи скелеты. Этим жертвоприношением, а также положенными под углы монетами новосёлы в старину выкупали себе место для дома у Матери Сырой Земли. Полагали, что, если дом построен без жертвы, в нём будут болеть и умирать люди, а семью — преследовать несчастья.

Ещё большей древностью отзывается народное поверье, что дом строят *на чью-то голову*, то есть неизбежна скорая гибель одного из будущих жильцов, чаще всего — хозяина или старшего члена семьи. Вероятно, это представление есть осколок древнейших человеческих жертвоприношений при поселении народа, пришедшего обживать новое место, осваивать неизведанные земли. Заклятье строительной жертвы произносил мастер-плотник, он при возведении стен трижды стучал обухом топора по матице и произносил заветные слова, обрекающие на гибель, к примеру, хозяина: “Стукаю я сволок у голову, щобы стукало у голову хозяину, и до своего вику щоб вин не дожив”. Если же строитель был к хозяину милостив, он мог заложить дом на голову прохожего или соседа. Если же благочестивый строитель не обрекал человека на смерть, то тогда полагали, что в доме обязательно умрёт тот, кто войдёт в него первым. Для того чтобы избежать смерти людей, в дом первым впускали петуха или кота, а затем в него заходили и хозяева. Иногда зажившиеся старики просили впустить их в дом первыми, чтобы умереть поскорее. А ещё, чтобы никто в доме не умер, в новом жилище старались оставить хоть что-то недостроенным, незавершённым, отдавая неизбежную расплату за новоселье.

Древняя традиция жертвоприношения сформировала у русских твёрдое убеждение, что за всё в жизни нужно благодарить Высшие силы и непременно дарить — делиться дарованными благами с неимущими. Совершенной формулой народного помысла о собственном благополучии является крестьянская молитва перед севом, произносимая на поле хлебопашцем: “Подай, Господи, на нищую долю, на сиротскую долю, на долю птицам небесным и на своё семейство”. Эта дивная молитва открывает нам истоки широкой русской души, для которой “своё семейство” — последнее в ряду нищих, сирот и птиц небесных, накармливаемых милостью Господа и трудом хлебопашца. Способом наделить благами тех, кто в этом нуждается, является традиция русского дарения и русский ритуал приёма гостей.

Что лучше по-русски: давать займы или дарить?

Иноземцев всегда удивляла щедрость русского народа, его способность легко расставаться с нажитым. И нам действительно свойственно подсознательное убеждение, что давать и раздавать, не дорожа собственностью, гораздо лучше, чем брать и копить, о чём сложена старинная поговорка: “Беручи, рука не приберётся, а даючи — придаётся”. Причём народный обычай предписывал больше давать просто так или дарить, нежели давать займы с обязательным возвратом. Как бы ни показалось это нам сегодня удивительным, отдача займы чего бы то ни было в хозяйстве в народном представлении связана с большими опасениями нечаянно передать всё своё благосостояние и счастье в чужие руки. Потому существовали строгие запреты давать займы, к примеру, в начале полевых работ, не то не будет урожая. Нельзя было давать займы в день первого выгона скота — могла отощать животина. Возбранялось давать займы в день первой дойки молока — у коровы могло пропасть молоко. Не давали в долг в день отёла — был риск потерять телёнка. Категорически ничего не одалживали в день рождения ребёнка, чтобы он не скитался по чужим домам. Нельзя было давать займы в день отправки хозяина дома в дальнюю дорогу — это помешало бы ему благополучно вернуться домой. Не одалживали в большие праздники, особенно в Сочельник, Рождество и в Новый год, иначе весь год просидишь в долгах. Запрещалось давать в долг на молодом месяце и после захода солнца, чтобы из дома не ушёл достаток. Подобная регламентация сводила возможность давать займы к очень ограниченным срокам действия.

К тому же не всякий человек мог давать в долг. Так, не имела права одалживать беременная женщина, чтобы её ребёнок не вырос бедняком. Самой же беременной обычай предписывал давать всё, что она ни попросит, ибо, если не дать, то это всё равно пропадёт. Не могли ничего давать в долг из дома, где был покойник, так как вместе с вещами можно было случайно передать и смерть. И в дом покойника строго запрещалось давать займы, поскольку возврат вещей мог сопровождаться и передачей смерти. Вот откуда родом странное обыкновение стариков готовить себе смертное одеяние, гроб и деньги на поминки, чтобы родные похоронили с честью. Ведь близкие не смогли бы одолжить на похороны ни вещей, ни денег, им просто этого никто бы не дал.

Опасность давать в долг и предубеждение против этого были тем более велики, что существовал ряд вещей, которые вообще нельзя было одалживать. Запрещено было давать займы огонь, хлеб и соль. Если же была в том великая нужда и трудно было отказать доброму соседу в его лишениях, то хлеб просто дарили, а соль требовали вернуть на следующий же день. Что же касается огня, то в нём отказывали наотрез. И это древнее правило столь глубоко в нас укоренено, что по сей день запрещается давать займы из дома даже спички как символ огня. Вот почему домашний огонь так бережно хранили в каждой печи, не позволяя ему затухнуть. Угли после топки очага сгребали на загнеток и держали там тлеющими, чтобы в любую минуту раздуть из них пламя в печи. Ведь в отношении огня на соседей надежды не было: как ни дружелюбны были они, в огне непременно откажут, ибо с огнём из дома могут уйти благополучие и достаток.

Осторожность предписывалась при одалживании денег и орудий труда, а также соли, если ею предполагалось пользоваться совместно с чужими людьми во время совместной трапезы на работе. Все эти вещи нельзя было отдавать из рук в руки, а следовало передавать при помощи полотна: серп, нож, топор клали на землю на расстеленное полотно. Деньги же и соль вообще носили всегда завязанными в тряпицу, в узелок, чтобы в любой момент соблюсти бережный ритуал, положив их на землю или на стол, развязывали свой узелок и предлагали взять необходимое.

Так что предвзятое отношение к жизни займы заложено в нас, русских, изначально, как и презрительное отношение к возмещению долга с прибылью для заимодавца. Надо отдать справедливость, отказ от ссудного процента был характерной чертой не только славян, но и германцев, о чём свидетельствует древнегреческий историк Тацит. Вот почему в русской среде не был распространён промысел ростовщичества, который в нашем национальном восприятии является средством потерять, а не приобрести. Даже если проценты были значительны, и ростовщик приобретал капитал, он, согласно русскому убеждению,

не добывал себе счастья. Современное поветрие жизни в кредит, навязанное нашему населению агрессивной банковской рекламой, только убеждает людей, сохраняющих национальную картину мира в своих головах, что в долг жить пагубно и разорительно и для дающего, и для берущего.

Но как расположить к себе судьбу и умиловить Бога, чтобы обрести достаток? Для этого в русской традиции есть одно проверенное средство — надо больше дарить и в ответ получать подарки.

Вот это ещё один парадокс русской психологии, удивляющий наших европейских и азиатских соседей, — готовность дарить и одаривать, наделять дарами, причём не грошовыми, не пустяковыми, а полезными и памятными. В отличие от дачи взаймы, русские воспринимают дар не как потерю имущества, а как залог неминуемой будущей прибыли. Вот откуда стремление дарить даже у русских купцов и торговцев. Так сложилась традиция первого покупателя, которому продавец отдавал товар даром или “с походом”, докладывая к купленному излишек. При этом торговцы старались одаривать беременных или многодетных матерей, видя в этом прибыль и собственной торговле. Ещё один обычай свидетельствует о священной роли дара у русских. При торговле скотом на Русском Севере, если у заводчика животина переставала плодиться, значит, покупатели похитили счастье скота, и тогда заводчику требовалось непременно от всего сердца подарить хотя бы одну овцу или телку кому-нибудь из нуждающихся. Дар у русских рассматривался как жертвоприношение. Только так можно было вернуть утраченное счастье в свой промысел. Первые плоды всякого труда русские старались дарить. Фрукты, мёд, хлеб жертвовали в церковь — нищим и сиротам. Женщины к церковному алтарю приносили масло, клали спрядённую шерсть или лён. Рыбаки первым уловом одаривали одиноких и немощных, чтобы рыба лучше ловилась. Охотник делился добычей с соседями, чтобы была удача в зверином промысле.

Дар по-русски — не просто перемещение вещей, смена их владельца, это ритуальная передача полезных предметов от одного человека к другому с целью надения обоих богатой долей, счастливой судьбой, потому чаще всего в русской жизни мы встречаем обмен дарами.

Что же дарили друг другу русские? Хлеб во всех его обличьях — зерно, муку, кашу, пироги и караваи. И по сей день мы покупаем в гости торты и пирожные, не стесняемся и сами печь пироги и носить их в люди. Другим ценнейшим подарком являются плоды скотоводства — мясные яства — колбаса, ветчина, жареная птица, сало. И, наконец, важнейший дар у русских — это полотно во всех его образцах — не только куски ткани, но и полотенца, платки, скатерти, сшитая из полотна одежда. Дарение полотна — глубоко вросший в наш обиход обычай, о чём знает каждая русская женщина, с необъяснимой радостью дарящая и принимающая в подарок постельное бельё, рушники, покрывала, нарядную и самую простую одежду, даже не подозревая, что она следует многотысячелетней традиции надения человека счастьем.

Ещё одна прочно осевшая в нашем быту традиция — это раздача подарков в праздники. Мы свято блюдём старинный ритуал, наделяя детей и близких подарками на Новый год. А в Рождество и Пасху непременно раздаём всем окружающим нас людям яйца, куски кулича, детям — конфеты и другие сладости, и зачастую не ведаем, что это древняя традиция одаривания членов рода счастливой и сытной долей.

Все основные моменты жизни русского человека тоже обязательно сопровождаются дарами, обещающими ему благополучие. Новорождённого одаривают все, кто приходит навестить роженицу, этот ритуал так и называется: “подарить ребёнку”. Гости приносят ему и матери хлеб, пироги, мясо, деньги и ложку — “на зубок” или “на кашу”. Этот обычай русские берегают по сей день. Свадьба сопровождалась одариванием. И это были не только свадебные дары гостей жениху и невесте, бытующие до сего дня в России, но и взаимные дары от жениха семье невесты, а от невесты — семье жениха. Каждый шаг свадебного ритуала сопровождается щедрыми подарками. Обязательно дарили подарки и на похоронах. Здесь раздавали коливо, кашу, милостыню, чтобы все пришедшие взяли на себя часть грехов покойного. Часто раздавали бедным одежду умершего, чтобы, надевая её, поминали покойного. И эта традиция покуда сохранена. Разумеется, эти дары, взамен которых люди получали либо ответные подарки, либо угощение и благодарность, есть истинное жертвоприношение, ценой которого русский человек надеялся получить добрую судьбу и счастье. А ныне наше стремление дарить подарки стало национальной

чертой характера, презиравшего жадина, скрягу, скаред и жидоморов. Этих качеств в себе люди у нас стыдятся, скрывают их как срамную болезнь.

Русская щедрость как национальная черта проявляется в угощении — особом виде дарения, принятом в нашем быту и сохраняющемся неприкосновенным обычаем в большинстве русских семей. Мы воспринимаем гостевание как определённый ритуал, к которому необходимо готовиться и готовить. Стало быть, и сейчас в нас живы отголоски древнего восприятия гостя как посланца богов, приносящего с собой дары и получающего в ответ радушный приём и угощение, которое, как видно из родства корней **гость** и **угощение**, предназначено именно гостю. Если же взглянуть на слово **гость** с точки зрения его исконного смысла, то окажется, что в нём присутствуют два корня: **го-**, обозначающий движение (ср. английское *go* — ходить), и **ст-**, обозначающий стояние. То есть гость — это буквально пришелец, остановившийся в твоём доме. Вспомним, что в латинском языке сходное слово *hostis* означало сначала “гость” и лишь много позже “чужой” и “враг”. А славянский мир никогда не переделывал гостя во врага. Он воспринимал гостя как чужака, и вот этого-то чужака и требовалось ублажить, угостить, наделить добром, тогда он будет к тебе благосклонен и одарит в благодарность счастьем. Именно поэтому тысячи лет русские соблюдают одни и те же правила приёма гостей. Первое, что должен сделать хозяин, — это выразить свою радость по поводу прихода гостя, затем спросить о здоровье семьи и осведомиться, как гость добрался, даже если он пришёл из соседнего дома. В ответ гостю полагалось и полагается до сих пор поприветствовать хозяев, сообщить им о цели визита, даже если эта цель всем хорошо известна, обменяться с хозяином рукопожатиями или поцелуями. Затем гостя приглашают сесть, от чего он не вправе отказываться, поскольку стоящий гость опасен, он, согласно поверью, может отнять сон у детей. Мы, конечно, давно позабыли об этом поверье, но гостя спешим усадить сразу же после его прихода, тем более что он, оказываясь, истари не имеет права обходить самостоятельно дом и хозяйство.

У хозяина и у гостя, как подсказывает этнография, есть чёткие обязательства, которые редко кто дерзает нарушать, ведь это может повлечь за собой несчастья и рознь. Так, гость не имеет права разговаривать с женщинами наедине, не может интересоваться, кто кому в семье кем доводится, гостя не допускают к домашнему очагу, ему запрещено интересоваться приготовлением пищи. Но самое главное — гость не может отказаться от выставленного угощения, ибо тем не только оскорбляет хозяев, но создаёт угрозу благополучию всего хозяйства. И в застолье у гостя есть важнейшая обязанность — он должен произносить здравницы и благопожелания семье и дому, дарить подарки детям. В этом последнем и есть основная роль гостя, ведь он посланец судьбы и должен приносить в дом только радость и счастливую долю. А хозяева в ответном даре обязаны предоставить гостю ночлег, приготовить угощение и непременно принуждать гостя к еде, а ещё подарить гостю всё, что ему понравится. Вдумайтесь, разве мы сегодня не поступаем точно так же, настойчиво уговаривая: “Ешьте, гости дорогие!” И значит, живы в нас эти древние обычаи, подспудно, в глубине души, дороги нам обряды приёма гостей, и если нас в гостях принимают нерадушно, неправильно, скудно угощают, не уговаривают попробовать разносолы, мы обижаемся на таких хозяев и забываем дорогу в их дом. Так что угощение в русской традиции есть обряд дарения, ублажения гостей — посланцев Высших Сил, — чтобы получить ответную благосклонность судьбы. В этом дарообмене отчётливо видится то, что мы в обычной жизни называем платой.

Плата и полотно — неслучайные совпадения

Согласно древнейшим представлениям, человек рождался обременённым долгом — долгом Высшим силам, приведшим его в этот мир. Эта мысль ясно выражена в бытующей по сей день русской поговорке: “За всё в жизни надо платить”. Есть и более подробный расклад оплаты человеческого долга Богу: “Родись — плати, женись — плати, умирай — и то плати”. И это вовсе не упрёк алчности священников или родственников, ожидающих оплаты и благодарности за помощь. Нет, это утверждение порядка вещей, принятого человечеством и осмысленного по-русски словом **долг**.

Мы полагаем, что древнейшие представления индоевропейцев строго разделяли в жертвоприношении пищу богам, состоящую из съестных даров,

и плату богам, которой являлось, как это ни покажется странным, полотно — древнейшее изобретение человечества, отличающее людей от зверей тем, что человек научился одевать себя одеждой. Вдумаемся в слово **одежда**, которое имеет связь с древним глаголом **де-ти**, что значит ‘спрятать, скрыть, сохранить в безопасности’. Сравните наш обыденный вопрос: “Куда ты дел?..” Вспомните и слово **надежда**, так похожее на одежду: ведь как одежда — покров телу, так надежда — покров души, залог её сохранения и спокойствия. Уместно также упомянуть слово **дежа**, которое означает старинную кадку для закваски теста, всходившего в тишине и скрытности от чужих глаз. Исстари одежда отличала человека от животного, а полотно — это тканый из льна, конопли, хлопка, шерсти, шёлка материал для её изготовления.

Изобретение ткачества уходит в глубины тысячелетий, причём аналогов ткани с её перекрёстным переплетением нитей в природе нет, чтобы можно было думать, что человек подсмотрел идею в природных материалах или явлениях. И, вероятнее всего, ткачество рассматривалось людьми как дар Богов, который позволял человеку осознавать себя человеком. При взгляде на ткацкий стан самого простого устройства — кросна, — с которыми управлялась каждая женщина в каждом русском деревенском доме, понимаешь, насколько сложным и одновременно гениально умным было инженерное решение изобретателя ткацкого стана. Всё в нём отзывается глубокой древностью, в которой ещё не было металла, а одно только дерево. Все операции производились вручную, и с ними связаны слова очень древние, отражающие предназначение деталей производства. **Кросна** — особое техническое устройство для пересечения нитей, составляющих полотно; в этом слове слышится древний корень **крес-**, означающий расцвет жизни, творческий акт жизнестойкости. **Ткать** — это буквально тыкать, притыкать поперечные нити утка к продольным нитям основы (сравним латинское название ткани с тем же индоевропейским корнем — *texes*, *Textile*). **Основа** — продольные нити, которыми “снут”, то есть основывают будущую ткань, создают **новое** полотно. **Уток** — это палка, которая притыкает поперечные нити к продольным, **бердо** — особое устройство, похожее на двусторонний гребень, которое раз-**бир**-ает пук ниток на отдельные нити, распределяет их, формируя плоскость основы полотна. **Мотовило** — сложное древнее слово, в котором явственно читаются два корня — мото- (мотать) и ви- (вить, навивать), — то есть перед нами в рамках одного слова описание процесса подготовки основы ткани: для намотки и навивания нитей и служит мотовило.

А взглянем на славянское слово **полотно** или **платно**. В нём звучит древний индоевропейский корень **pl-*, обозначающий полноту и наполнение, откуда возникли понятия плоть и плотность. Полотно, как и платно, как и плат с полотенцем, а также полсть, плащ, платье, являлись сокровищем, которым человек обязывался платить богам с рождения до смерти за свой статус человека. Не случайно славянские слова **плат** и **плата** соотносятся этимологами с готским словом *blôtan* — “почитать” и с древневерхненемецким *blôzen*, *plôzan* — “приносить в жертву”. И доказательством этому служит множество примеров использования полотна как предмета жертвоприношения. Именно в такой роли используются полотенца, украшающие божницу в храмах и красных углах домов, полотном-скатертью застилают стол для праздничной трапезы, которая тоже рассматривается как жертвоприношение. На полотенце выносят гостям хлеб-соль, ведь гость — посланец Бога, а хлеб-соль — жертва Богу. Полотно крестьянки оставляли у источников в благодарность за исцеление, следуя языческим суевериям, полотном у реки в глухую древность задабривали русалок, кикимору и водяного, вешали кусочки ткани на деревьях в священных рощах, почитая духов деревьев. Полотном благодарили Параскеву Пятницу, оставляя куски ткани и нитки “матушке Параскеве на чулочки” у алтаря церкви. Задабривали холстом домашнего, относили полотно “матушке весне” на льняное поле.

Особая роль была у обыденного полотна — его ткали в один день по обету. Во времена эпидемий и моровых поветрий обыденное полотенце ткали в течение суток, начиная со сбора льна для пряжи со всех жителей деревни и кончая вышивкой обережного узора на нём. С таким полотенцем обходили село, вешали его на местную икону или на придорожный крест, желая прекратить или предотвратить напасть.

Полотно являлось необходимейшей частью обрядов при переходах человека из одной поры жизни в другую. Вот откуда родилась поговорка:

“Родись — плати, женись — плати, умирай — плати”. Роженица рожала ребёнка на особом семейном полотне, предназначенном только для появления на свет младенцев в этой семье. Повитуха принимала младенца и на полотно обносила вокруг стола, говоря, что идёт в рай: такой обещали младенцу его будущую жизнь. Гости, прибывшие проводить родильницу, приносили ей в подарок полотно, подарки новорождённому и деньги тоже заворачивали в полотно — “на зубок”, и особо крёстная мать дарила полотно младенцу — из этого куска шили потом малышу рубашечку.

И свадьба как переход во взрослую жизнь и в брачное состояние не обходилась без полотна. Молодых ставили на полотно перед входом в родительский дом, при венчании в церкви. Полотном связывали молодожёнам руки. На полотно гости клали деньги в подарок новобрачным, полотно особо дарили невесте.

Разумеется, похоронному обряду тоже сопутствовало полотно. В каждом доме было особое семейное смертное покрывало, которым накрывали умершего, покойника для погребения заворачивали в полотно или саван, гроб тоже покрывали полотном. Полотняной дорожкой выстилали путь из дома, отправляясь на погост. Первому встречному на пути похоронной процессии дарили завернутые в полотно хлеб или деньги, гроб в могилу опускали на длинных полотенцах. Так обставляли переход человека на тот свет — полотно было залогом благополучия этого дальнего путешествия.

Всё новое, что принимал человек в этой жизни, обрамлялось полотном как платой за полученные блага. Первый сноп покрывали полотном, первый хлеб выносили на полотне, в новый дом хозяева входили по полотну, полностью оправдывая поговорку о том, что за всё в жизни надо платить.

Чаще всего плата Высшим Силам за человеческую жизнь, являвшаяся благодаря этому оберегом человека, представляла в виде полотенца или платка, наиболее употребляемых в русском народном быту. Именно полотенцем украшали не только иконы и кресты, но и окна, ворота, шесты во время праздников. В подарки для крестин и родин ткали именно полотенца, их особым образом вышивали обережными узорами. И на свадьбе дружка, обвязанный полотенцем, выводил к жениху невесту тоже за полотенце; в доме жениха её обводили вокруг стола, держа за полотенце; после брачной ночи муж выводил жену из светлицы за полотенце. Из полотенца делали свадебное знамя и носили по деревне как знак состоявшейся свадьбы. Полотно на свадьбу чаще всего дарили невесте именно в виде полотенца.

Похороны тоже не обходились без полотенца. Именно на полотенцах до сих пор несут гроб на кладбище и опускают в могилу. Прежде эти полотенца получали в дар могильщики. После смерти человека полотенце в доме вешали к иконам и держали там сорок дней. Считалось, что в это время душа могла там схраниться, а через сорок дней хозяйка снимала похоронное полотенце с икон, махала им с порога во двор и приговаривала: “Ну, всё, душенька, иди к Богу”. Само полотенце относили на кладбище и повязывали на могильный крест.

Другая ипостась полотна — платок — необходимейший покров женщины, которой никуда нельзя было выйти без платка. Слово **опростоволоситься** отражает древнее установление, по которому замужняя женщина должна была покрывать голову, без платка она считалась всё равно что голой. Снять платок с головы женщины означало позор и несчастье для всей её семьи, ибо никто, кроме мужа, не должен был видеть её волос. Девушкам разрешалось не носить платка, но они обвязывали голову особой узорной тканой лентой, которая называлась девичьей красотой. Древнейший женский платок имел форму полотенца, им обвивали голову, затем покрывали её маленькой шапочкой, именуемой повойником, то есть головным убором, надеваемым после навития полотенца-платка.

Платку почёт и внимание оказывали на свадьбе. Невеста дарила платок жениху в знак любви и верности, она вручала платки гостям, сама же новобрачная весь свадебный пир сидела за столом, закрыв лицо платком, и поднимая его лишь для того, чтобы есть или принимать подарки. Девушки обычно носили красные или белые платки. Женщины рядились в узорчатые платки. А чёрный или тёмный платок был символом семейного траура, его надевали на похороны. Такие платки носили также старухи.

Создательницей полотна в каждой крестьянской семье была женщина. Ещё в детстве мать обучала дочерей прясть и ткать. За прялку девочку сажали

с семи лет, а за ткацкий стан — с четырнадцати. Девушка на выданье должна была сама себе приготовить приданое — наткать вдоволь полотна для свадьбы и на начало семейной жизни. Непряху-неткаху никто замуж брать не хотел — семья тогда будет ходить оборванной. Для прядения и ткачества у русских крестьянок было отведено особое время: пряли весь Рождественский пост, а ткали весь Великий пост. То была полотняная страда русской женщины.

Собранные воедино эти обычаи, связанные с использованием полотна, полотенца, платка, свидетельствуют о том, что ткань была непременным спутником человека в главные моменты его жизни, что полотно действительно являлось формой платы, как об этом говорит сходство корней этих, казалось бы, совершенно не сходных по смыслу слов. Так что исконно плата на Руси не была связана с одним только хозяйствованием и торгово-денежными отношениями. Плата оказывалась формой возмещения человеком долга Высшим Силам, даровавшим ему жизнь и благополучие.

Покупать и купать — исконное родство

Мы не задумываемся сегодня, насколько прочно сидят в нашей голове древнейшие представления об обществе, о его разделении на сословия, классы, общественные слои, которые образовывались и образуются по сей день благодаря тому, что люди выбирают себе занятия согласно семейным традициям и собственным стремлениям, а те, в свою очередь, определяются наследственной предрасположенностью. В русском народе, к примеру, искони существовали земледельцы (смерды, крестьяне) — кормильцы народа, воины (дружинники, стрельцы, служилые дворяне) — защитники народа, жрецы (волхвы, священники) — хранители духа и нравственности народа. По необходимости являлись в народе ремесленники (кузнецы, зодчие, художники, портные) — создатели материальной культуры народа и, наконец, торговцы (купцы, лавочники, приказчики), создававшие условия для обмена плодов труда земледельцев и ремесленников и доставку их всем сословиям, кто в том нуждался.

А это и есть древнейшее устройство индоевропейского общества. В нем два слоя, класса, сословия, как хотите их называйте, — само тело народа: земледельцы и воины, третий слой — жрецы — его голова, а ремесленники и торговцы — вторичный нарост, те, кто создаёт красоту и удобства жизни голове и телу народа. Без кормильцев и защитников, без духовного водительства не проживёт ни один народ, рассыплется любое государство. А ремесленники и торговцы — без них, на худой конец, можно обойтись. И обходились. В XIII веке в Киевской Руси в результате монголо-татарского нашествия торговля и ремесло исчезли из разорённых городов. Ремесленники были уведены в полон, купцы двинулись искать безопасных мест для торговли, но народ сохранился, потому что три сословия продолжали жить и служить службу на благо всех. Подобное общественное деление было свойственно не одним только русичам. В древней Индии арии разделяли своё общество на касты: брахманы-жрецы составляли духовную основу общества, кшатрии-воины были его защитниками, вайшьи-земледельцы — кормильцами. Ещё один класс — шудра, что значит 'слуги', — составлял касту, обслуживавшую три основных класса общества.

Ту же картину мы наблюдаем и в Древней Персии, и в Античной Греции, и в Риме. Везде, где арийцы строили свои государства, они сохраняли исконную сословную систему, в которой, несмотря на высокую развитость культуры, не находилось места торговцам как особому сословию или касте, словно бы таковые и не обитали в арийской среде.

Действительно, исследования историков и лингвистов свидетельствуют, что слова, обозначающие куплю-продажу, торговлю, продавцов, цену и оплату, оказываются во всех индоевропейских языках словно собранными из разных сфер — они очень поздние и своеобразные. И всё потому, что индоевропейские народы приспособливали их к понятиям торговли значительно позднее, чем они появились на свет. Да и само слово, обозначавшее обмен товаров на деньги, в индоевропейских языках выглядит очень безлико, оно буквально означает "делать дело".

Заметим, что и слова **покупать, продавать, платить**, а также слово **цена** изначально не имели к торговле никакого отношения. Плата рождена понятием **полотно** и связана с древним обычаем жертвоприношения. Такой обычай, очевидно, был свойствен и древним германцам. Английское **sell** (продавать) происходит из готского **saljan**, что исконно тоже означает "приносить жертву".

Понятия **покупать** и **платить** характеризовали у индоевропейцев разные виды жертвоприношений. Это чётко прослеживается в славянских языках, особенно в русском. Так что же такое **покупать** и связано ли это слово с известным всем глаголом **купать**, обозначающим омовение?

Слово **купить** действительно родственно глаголу **купать**, их родство имеет культурную и религиозную предысторию. По утверждению Тацита, германцы и славяне в древности имели обычай освобождать из плена своих соплеменников, бескорыстно даруя им свободу и уплачивая за них цену, так что бывшие пленники становились свободными людьми, поскольку рабства у славян и германцев не существовало. Это действие у греков, германцев и славян называлось одинаково: слово общего корня – греческое *koufidzo*, готское *каурон*, славянское **купити**, исконно означали освобождение из рабства, из плена. Подобный выкуп сопровождался ритуальным омовением – купанием или искуплением, символизировавшим очищение человека от рабского состояния. Вот почему **купить** и **купать** – слова одного корня, они означали тесно взаимосвязанные действия, следующие одно за другим при освобождении рабов и пленников. Сам же ритуал освобождения из плена и рабства мог по-славянски называться **искуплением**. Слова с корнем **куп-**, таким образом, являлись знаком освобождения и одновременно очищения, в языческие времена это были взаимосвязанные действия, включавшие жертвоприношение-выкуп и омовение человека с целью очищения от всего плохого, что с ним произошло. Об этом свидетельствуют современные фрагменты древних представлений: младенца, как известно, у нас не моют, а именно купают, очищая от сглаза и порчи; в реках и морях мы тоже не моемся, а купаемся, потому что в древности это разрешалось в строго определённые дни именно для ритуального очищения человека. В день летнего солнцестояния славяне поклонялись божеству Купале, и именно в его праздник язычникам полагалось окунаться в природные источники для ежегодного получения здоровья и очищения от болезней. Таким образом, родство слов **купить** и **купать** обусловлено тем, что славяне-язычники **выкупали** своих соплеменников рабов ради их освобождения и одновременно **купали** их с целью очищения от унижительного для свободного человека рабского состояния.

Данное предположение подтверждается тем, что слово **искупление** стало у славян христианским религиозным термином, который означал освобождение от плена грехов. Жертва Господа Иисуса Христа была поименована искуплением всего человечества из рабства смерти, делая славянам понятным подвиг Господа через сравнение его действий с действиями славянина, бескорыстно освобождающего своего соплеменника от рабского плена. Параллель эта последовательно проводилась славянскими миссионерами, поскольку Иоанн Предтеча был назван ими Иваном Купалой, и день его памяти совпал с днём летнего солнцестояния. Логика культурных параллелей подсказывала новокрещённому славянскому народу, что Иоанн Предтеча очищал людей от грехов водой, как издревле Купала законоположил его предкам. Чан для крещения стал называться купелью, что напрямую связывалось с языческим обычаем очищения водой от всего дурного. Так, в христианской Руси было установлено, что слова с корнем **куп-** обозначают, во-первых, жертвоприношение и религиозный подвиг (искупить), во-вторых, очищение и омовение (купать), в-третьих, приобретение чего-либо ценного, – а что может быть ценнее человеческой жизни! – за плату (купить).

Не связано изначально с торговлей и слово **цена**, которое настолько привычно употребляется нами в значении стоимости товара, что выражения **цена жизни**, **цена крови**, **получить дорогой ценой** мы воспринимаем как метафорические и вторичные при исходном значении слова **цена** – ‘стоимость, денежное выражение стоимости’. Однако, как раз наоборот, ‘денежное выражение стоимости товара’ – это новейшее значение слова **цена**, которое на самом деле исконно означало жертву, возмещающую преступление. Слово это имеет исконный корень **кай-**, который в чистом виде наблюдаем в таком же слове в литовском языке: *kaina* – ‘цена’; в санскрите: *сауате* – ‘платить, наказывать’; в авестийском: *каена* – ‘мщение, наказание’. Тот же корень **кай-** лингвисты находят и в греческом – *ροίη*, и в латыни – *роена*, причём эти слова имеют общее значение ‘цена, которую платят, чтобы загладить преступление’.

Но почему именно индоевропейский корень **кай-** выступает в значении наказания платой, денежным возмещением? Это связано, прежде всего, с тем,

что индоевропейские языки исконно содержали понятия духовного свойства, отражающие состояние души человека, который в чём-либо провинился. Сам древний индоевропейский корень **кой-/кай-**, согласно исследованиям Н. Д. Андреева, обозначал состояния перехода, как физического, так и духовного. Переход физический — от бодрствования ко сну, от возбуждения к успокоению, к примеру, — отражён рядом русских слов — **покой**, **почить** и **почивать**, **упокоиться**, **койка**, **спокойствие**. Переход нравственный — от тревоги к утешению, от угрызений совести к внутреннему умиротворению — воплощён в таких словах, как **каяться**, **покаяние**, **цена** (кайна). Тот же корень мы можем вычленить в слове **чистый** (кай-ст), то есть буквально окончательно избавленный от угрызений совести и тревог благодаря покаянию.

Сам же ритуал покаяния в дохристианскую эпоху существовал, если опираться на значения родственных слов с корнем **кай-**, у всех индоевропейских народов. Этот ритуал выводил душу человека из греховного состояния нераскаявшегося преступника и возвращал в спокойствие совести и духа. Если опираться на данные русского языка и его диалектов, то вот какая вырисовывается картина. Человека, совершившего преступление, называли **окаянным**, что значило 'подлежащим ритуалу покаяния', причём он неизбежно находился в состоянии **неприкаянности**. Вспомним, что до сих пор в русском языке существует выражение **ходить, как неприкаянный**, то есть мыкаться, не находя себе места от угрызений совести. Само ритуальное действие покаяния именовалось **каета** или **кайка**. Оно, по-видимому, включало в себя признание в преступлении в присутствии жрецов и общины и возмещение своей вины жертвоприношением, которое именовалось **кайна**, а в современном звучании — **цена**. Если же преступление было слишком серьёзным, за него полагалась **казнь**. Слово это в древности звучало как **каязнь** и означало человеческое жертвоприношение, а именно возмещение вины кровью преступника. Есть основания предполагать, что в древний языческий ритуал покаяния входил обряд искупления — очищения от вины водой, в которую окунали раскаявшегося. Всё действие в целом называлось **покаянием**, ибо результатом его было изъятие преступника из состояния смятения и волнения духа и приведение его души в умиротворение и успокоение.

Перед нами языческая предтеча христианской исповеди, которая включала рассказ виновного о своих грехах и получение епитимии, то есть наказания, а также отлучение от причастия в случае, если грехи слишком тяжки. Это таинство христианской церкви тоже называется покаянием, хотя греческий язык Евангелия содержал иное слово — *metanoia*, что означало "перемена мысли". Однако слово **покаяние**, перемещённое из языческого контекста в христианский, в славянской картине мира гораздо сильнее воздействовало на душу человека, чем греческая "перемена мысли". За грех, за вину, за преступление, согласно славяно-русским представлениям, надо было не просто измениться в мыслях, но принести покаяние, то есть прилюдно исповедать грех, заплатить **цену**, чтобы искупить вину.

Вот и получается, что термины, сохранившиеся в русском языке как торговые — **цена** и **выкуп** — в древности были словами языческого ритуала покаяния и не имели к торговле никакого отношения.

Не в деньгах счастье

В нынешнее меркантильное время, когда деньги становятся смыслом человеческого бытия, а сытость и достаток — синонимами счастья, важно понимать, что это слов наших национальных устоев. В русском народном обиходе деньги никогда не составляли основу и смысл жизни. Традиционное представление русских о деньгах совсем иное. Исконный натуральный обмен продуктами в Древней Руси отводил платёжным средствам единственную роль расчёта общины со своим князем в выплатах дани и виры (штрафов за преступления членов общины). Таким платёжным средством на Руси долгое время служили куны — шкурки куниц и белок, соболей и лисиц. Монеты же в золоте и серебре ходили завозные — арабские, греческие, изредка для престижа чеканили княжеское "злато" и "сребро" — при Ярославе Мудром, Владимире Мономахе, Мстиславе Храбром. Если же в государстве появлялась необходимость крупных расчётов — платежей дружине за службу, покупки дорогих заморских товаров — использовали **гривны** — золотые и серебряные пластины, украшавшие шею, в старину именовавшуюся **гривой**. Точно

так же латинский корень *moni-*, означавший шею, породил польское название “монета” и английское *money* — ‘деньги’.

Для более мелких платежей от гривны отрубали куски — **рубли**. Рубли тоже могли мельчить, отрезая потребную часть драгоценного металла, так появились “**резаны**”. Стоимость этих платёжных средств была весьма высока. Согласно “Русской Правде”, гривной можно было расплатиться, чтобы избежать наказания за убийство человека. И всё же деньги, даже при такой их высокой платёжной способности, не являлись для русского человека жизненной необходимостью, без которой невозможно выжить. На своей земле, в своём доме, в родной семье и общине без денег могли обходиться годами.

Сам подбор слов, обозначающих средства платежа на Руси, случаен и многолик. В них сквозит явный оттенок пренебрежения. *Рубль* — это же обрубок, кусок металла; *копейка* — монета с изображением Георгия Победоносца с копьём; *алтын* — случайно занесённый к нам татарский “золотой”; *грош* — полупрезрительное заимствование названия польской монеты. Дальше пошли *полушки*, *гривенники*, *червонцы*, *целковые*, *пятаки*... Не осели в русском языке даже евангельские названия денег — *динарий*, *лепта*. Не привились ни арабский *дирхем*, ни немецкий *талер*, породивший сегодняшней доллар. Пренебрежительное отношение к деньгам сохранилось в корневом русском народе по сию пору, несмотря на её ярко выраженный торгашеский, расчётливый характер. Рубль мы насмешливо называем “деревянным”, да и доллар не привечаем — он для нас “зелень”, “капуста”, “бакс”. Слова эти лишь подтверждают, что у народа русского нет ни грана уважения нынешнему фетишу российского бытия.

Слово *деньги* — тюркское наименование мелкой серебряной монеты — впервые зафиксированное в русском языке в XIV веке в Договорной грамоте князя Дмитрия Донского, становится общим наименованием платёжных средств лишь в XVI–XVII веках. Конечно, словесное пренебрежение к деньгам совсем не означало, что денег сторонились и избегали. Просто деньги изначально представляли собой в русской картине мира не экономическое, а особое символическое явление, заменив собой жертвоприношение в виде полотна, хлеба и мёда.

Деньги были и по-прежнему остаются обязательным знаком выкупа своего счастья и судьбы на всём протяжении человеческой жизни. С серебряной монетой купают новорождённого, выкупают ему здоровье и счастливую долю у Высших Сил. Жених выкупает себе невесту, выплачивая друзьям и подружкам положенное “вено”, обеспечивая себе добрую судьбу. Под углы строящегося дома обязательно кладут серебряные монеты (“если медно — будет бедно”) — так у Матери Сырой Земли выкупается место для жизни семьи. Символический выкуп положен за подаренные “опасные” нож, топор, бритву, иначе они могут навредить новому хозяину. За рассаду, кошку и собаку, за всё, пригодное в доме, но доставшееся даром, нужно заплатить, хоть копейку, но заплатить, иначе от дарёного не жди добра. Даже на похоронах монеты кидают в могилу, “окупая” покойнику место и здесь, в земле, и там, на том свете.

Обычай оставлять деньги в святых местах можно расценить как плату Всевышнему за настоящее и грядущее благополучие. Это же старинное представление лежит в основе семейной традиции запекать монетку в пироге. Так для обнаружившего её в своем куске — в своей доле — домочадца выкупается удача в делах.

За всё — от рождения до смерти — серебряные монеты выставляются символическим выкупом благополучия. Но именно знаковым, символическим, а не экономическим, не реальным. Ведь к реальным деньгам как к средству реального платежа русские всегда относились очень настороженно. Существовало древнее непоколебимое поверье, что хранителями богатства являются чёрт, леший, домовый, крылатый змей, Кощей Бессмертный. Причём змей, согласно древним сказаниям, хоть и приносит деньги в дом, но его надлежит непременно убить, потому как дом, в который змей сносит деньги, он же и спалит. Из поколения в поколение передавалось наизидание, что у чертей и домовых с лешиными деньги не их, они лишь сторожат чужие сокровища, подстерегая всякого, кто позарится на несправедное богатство. Поговорка: “Продавец — за товаром, купец — за наваром, а чёрт — за купцом”, — как раз о таком богатстве.

Особой нелюбовью русских всегда пользовались презираемые ими скупцы и скряги, которые, согласно преданиям, вступили в сговор с чертами,

душу им свою заложили. Известна расхожая притча, как скареда от жадности глотал деньги, глотал, глотал, да и помер, конечно. А как помер, пришёл чёрт и вытряхнул из мертвеца деньги, приговаривая: “Деньги твои, а мешок — мой”. Эта притча вполне соответствует русской поговорке: “Пусти душу в ад — будешь богат”.

В нашем народе издревле существовали строгие предписания, как обращаться с деньгами. Бойся брать деньги, не тебе предназначенные, это обернётся несчастьем. Нельзя брать найденные деньги — тоже не к добру. Запрещалось передавать деньги из рук в руки. Их надо было положить на плат — полотно, это и называлось “платить”. Категорически возбранялось класть деньги на стол, где совершается трапеза, ибо так осквернялась святыня застолья, что опять же приводило к несчастью. Строго предписывалось сполна расплачиваться с плотниками, печниками, да и со всеми другими нанятыми работниками, иначе сделанное ими пойдёт насмарку — и дом долго не простоит, и печь греть не будет.

Сами деньги на Руси считались вещью опасной, они-де и порчу могут переносить, переходя из рук в руки, злые люди способны на них заговорить беду.

Интересен старинный способ хранения денег — за иконами, на Божнице, словно их отдавали в сбережение Богу и святым. А так как ворованные или прочим нечестным путём добытые деньги Богу не отдашь, то и люди приучались зарабатывать честно.

Мечты о лёгком богатстве, соблазняющие лентяев и дармоедов, пресекались сказаниями о “неразменном рубле”, который при любой покупке возвращается в карман хозяина в нерастраченном виде, лишь бы тот получил с такого рубля хотя бы копейку сдачи. Согласно поверью, неразменный рубль притягивал к себе богатство, потому что в нём сидела нечистая сила. Чтобы достался “неразменный рубль”, требовалось отречься от Христа и присягнуть чёрту. Такова суть всех способов его заполучить. Либо ходить девять дней с монетой под пяткой, не молиться, не креститься, тогда-де явится чёрт и скажет, что человек прошёл испытание, и его рубль стал неразменным. Либо нужно в церкви на Пасху на возглас священника “Христос воскрес!” не ответить “Воистину воскрес!” прокричать, а колдовское заклинание “У меня чёрная кошка есть!” Сознательное приобщение к нечистой силе и отвержение Бога отвращало людей от желания таким путём разбогатеть.

Сказаниям о неразменном рубле противопоставлялись иные сказки — о неисчерпаемом кошельке-самотрясе, который солдат получил в награду за щедрость, потому что подал нищему милостыню одной из трёх монет, заработанных за двадцать пять лет тяжкой воинской службы. В образе нищего просил милостыню у солдата Сам Христос. Он-то и одарил служивого щедрой наградой.

Именно щедрость и бесхитрость в обращении с деньгами приветствуются в наших русских сказках. Вспомним, как несуразно, казалось бы, тратят деньги наши сказочные герои. Иван-дурак покупает по доброте своей на последние грошики собаку да кошку, или корову, уже проданную другому, или сало, украденное у него самого. Но глупые траты в сказках оборачиваются неожиданным богатством в соответствии с пословицей: “Кинь хлеб за собой, найдёшь его перед собой”.

Такое представление заложено во всех русских поговорках, упорно утверждающих, что деньги не всемогущи, ведь “счастье не купишь”, “и здоровья тоже не купишь”, и правда неподкупна, так как “деньги могут много, а правда — всё”. Вот почему деньги у жадина и разбойников, скряги и воров часто превращаются в черепки, угли, листья, навоз, экскременты. То, что деньги — дерьмо, установка древняя, хорошо видно из самых первых зафиксированных “сонников” — толкований снов: видеть во сне экскременты — к деньгам, а если золото приснилось, значит, спящий измарал постель. Отсюда, кстати, старинное название ассенизатора — золотарь.

Словом, богатство в представлении русского народа никак не согласуется с навязываемой нам сегодня матрицей безудержного присвоения чужого или общего добра. У русских иные ценности жизни, и несправедливо нажитое непременно вызывает к совести человека и сопровождается напряжённым ожиданием возмездия за грех алчности. Не в деньгах счастье — это подспудно понимает каждый русский человек, пусть даже он, по словам Гоголя, весь извлялся в грязи и поклонничестве.

“РУССКИЙ ВОПРОС” ИГОРЯ КУЛЕБЯКИНА

*“Внимание розыск! За совершение
“преступлений” разыскивается Куле-
бякин И. В.”...*

Забрасывать сухими ветками пламя — эффективный метод тушения пожара. Именно этим занимается наше государство на протяжении последних лет в сфере национальной политики. Если хвороста много (то есть болтовни о “дружбе народов”, “толерантности”, терпимости, безнациональности преступности, “формировании новой общности россиян” и т. п.), то на короткое время пламя можно и скрыть, заболтать. Как возгорится потом?

Кто-то там говорит о необходимости возвращения к лучшим традициям советской-русской школы, о тлетворности всего “толерантного”, “вариативного” и “гендерного”? Кто-то говорит о решающем значении для государства русской культуры и русского народа как выразителя всего национального и государственного? Так то — отсталые, дремучие люди, не знакомые ни с чем “прогрессивным” и “креативным”. Среди них, поди, много просто опасных, криминальных элементов.

Кто-то там приводит статистику этнической преступности? С этим бороться очень просто: объявлять все преступления “бытовыми”. Вновь совершена очередная уголовщина, дерзкое злодеяние? И вновь мигрантом? Какое досадное совпадение! Ведь “у преступности нет национальности”. Не стоит акцентировать внимание на национальности. Дело “житейское” — “бытовуха”.

Не важно, что “диаспоры”, “общины” на русских территориях нередко заманиваются укрывательством своих преступников, защитой и покровительством соплеменникам, что бы те ни совершили. Нужно просто усиливать государственную поддержку “диаспорам” и национальным “общинам”. “Дружбу народов” нужно поддерживать. А вот на русские традиционные самоорганизации и патриотические общественные объединения обращать внимания не стоит, пусть барахтаются сами по себе, авось загнутся.

Не важно, что политика “мультикультуризма” в Европе уже признана провалившейся. Нужно просто идти вперёд, формируя “новую идентичность россиян”, создавать “россиянскую нацию”, вбивать русским “толерантность”, заставлять их терпеть глумление над собой и своей великой культурой, мириться с бездействием местных властей.

Кто-то обращает внимание на то, что практика организации “культурных центров” для национальных меньшинств, “Домов дружбы народов” и всевозможных общественных советов по межнациональной дружбе не решает проблем, а только формирует эту самую “мультикультурную” русофобскую среду?

Ведь в таких “общественных советах” из русских обычно присутствуют только либералы и правозащитники, остальные — всё сплошь авторитетные представители уважаемых диаспор и общин. Ничего, надо усиливать пустую риторику, забрасывать костёр опилками.

Кто-то говорит о негодной миграционной политике? А она вообще нужна в “многонациональном” государстве? Лучше рассказать всем ещё раз про “необходимость привлечения в Россию мигрантов”.

Всё вышеперечисленное продолжается минимум 25 лет.

Ну, а те, кто с этим не согласен, кто отстаивает интересы русского народа? Так те — “экстремисты”. Именно для них по такому поводу статьи в УК, для них — тюрьмы.

Долгие годы у нас в стране не иссякает мода по искусственному поиску русских, критикующих либеральную политику по национальному вопросу, в целях их привлечения к ответственности по “русским” статьям — 282 УК (разжигание ненависти), 280, 282.1, 282.2, 282.3 (экстремистская деятельность). А на публичные призывы против территориальной целостности страны со стороны махровых либералов нынче внимание обращать как-то не по-прогрессивному.

Вот правоохранительные органы “ловят блох”, например, в местах издания исторических произведений, как это делается по отношению к **Олегу Анатольевичу Платонову** и его издательству. В офисе Института русской цивилизации и квартире главного редактора газеты “Русский Вестник”, лидера “Всеславянского Союза”, доктора экономических наук О. А. Платонова в конце сентября прошлого года прошли обыски. Поводом для преследования стало издание Институтотом сочинений Сергея Нилуса, самого Олега Платонова, Валерия Ерчака. Представители Следственного комитета, наверное, до сих пор продолжают искать “экстремизм”, “разжигание ненависти” и иные нарушения в просветительской деятельности Платонова.

А на одной своей пресс-конференции Ксюша Собчак примерно в то время, когда проходили обыски у Платонова, выступила с требованиями освободить неких “политических заключённых” и всех людей, “которых незаконно преследуют за их взгляды”.

Каких таких “всех политзаключённых”? За какие “их взгляды”? Может, она имеет в виду в том числе и русских, осуждённых по “русским статьям”? Нет, что вы! Наоборот.

Сама всех упомянуть не может, много их, политзаключённых-то, страдающих за “свободы” всяких ЛГБТ, “высокие идеалы” “новой культуры” и тому подобные западные “ценности”. Что ни либерал, так “страдалец”, как правило, с миллионными счетами в зарубежных банках, нажитыми непосильным трудом. Поэтому уточняет видеоматериалом. Журналистам показали ролик о “политических заключённых”, среди которых, в частности, был назван художественный руководитель “Гоголь-центра” Кирилл Серебренников.

“Политзаключённый” Серебренников, кстати, кроме всего прочего, подозревается в хищении 68 миллионов рублей. Так что, прежде всего, говорить не о “политике”, а о воровстве нужно.

“Креативным деятелям”, “прогрессивной общественности”, “носителям” “новой культуры” всех либеральных мастей — ничего. Или почти ничего. Максимум, так себе, “маленькое хищение” на 68 миллионов рублей. Зато русским, отстаивающим интересы самого государства — “русские статьи” за перепост, например, критического материала по национальному вопросу в социальных сетях.

Эти люди не требуют отдельных и исключительных преференций русским, но лишь отстаивают попранные права государствообразующего народа, говорят о двойных стандартах в принятых идеологических и политических практиках государства, проводят анализ и выдают предложения и рекомендации по исправлению ситуации. Положение всех народов России, самого государства будет в той степени ухудшаться, в которой и дальше будет растворяться значение и статус русского народа.

В одном только небольшом наукограде Обнинске (Калужская область) примерно десять лет назад были возбуждены уголовные дела сразу против нескольких представителей русской интеллигенции. В частности, тогдашний прокурор города Михаил Абрамович Нарусов (кстати, двоюродный брат члена Совета Федерации РФ Людмилы Нарусовой и, стало быть, дядя Ксении Собчак)

подписал обвинительные заключения против **главного редактора газеты “Московские ворота” Игоря Владимировича Кулебякина** (отца семерых детей) и известного политолога и писателя Эдуарда Владимировича Самойлова (ныне уже покойного). Последнее указывает, что борьба дорого, очень дорого стоит осуждаемым людям.

Хочу дать немного моей субъективной общественно-политической характеристики Игорю Кулебякину. Глубоко православный, воцерковлённый человек. Монархист. Русский националист (имперскость, державность), приверженец уваровской триады. Со времён моего знакомства с ним в 1993 году — один из ведущих журналистов калужской областной газеты “Весть”, главный редактор рекламного приложения к этой газете “РИФ”, выходящей тиражом в 25 тысяч экземпляров, известный тогда общественный деятель в Калужской области. Чуть позже и параллельно с работой в газете “Весть” — создатель и главный редактор литературно-краеведческого журнала “Русич”, а с сентября 1997 года — газеты “Московские ворота” (общественно-политическая и информационная газета). В 1990 году был избран депутатом Обнинского горсовета. В 1994 году создал обнинскую городскую газету “Вы и мы”, был первым редактором этого издания, газета до сих пор существует, но уже без Игоря, выходит тиражом 36000 экземпляров в полноцветном варианте. Поэт, литератор, русский интеллигент.

Его членство в Союзе писателей России “зарубили” на региональном уровне. В Москву “разбираться” с некоторыми своими “коллегами” по региональному литературному цеху он тогда не поехал. Ориентируюсь в этом вопросе на рассказы самого Игоря в те годы.

Рекомендацию калужскому региональному отделению Союза писателей о вступлении Игоря в СП в 1996 году давал сам Станислав Юрьевич Куняев. “Либеральная партия” и “русская партия”, как известно, были не только внутри КПСС, но и внутри творческих союзов. Калужские русские писатели на собрания приходили редко, без особой нужды не затащишь, хотя Игорь некоторых просил прийти, поддержать его, но ему отвечали в духе: “Рекомендация Куняева! Да считай, что ты автоматически уже вступил”. Как бы не так! Зато писатели, имеющие отношение к “либеральной партии” внутри СП, являлись на собрания исправно. Перед голосованием по Кулебякину один из них тогда провозгласил, что, мол, “как можно принимать в ряды Союза в наше демократическое время человека с рекомендацией Куняева, человека, конечно, заслуженного, много делающего для нашей калужской областной организации, но всё же, понимаете ли, черносотенца, почвенника и русского националиста?!” ... Кулебякину для вступления не хватило одного голоса.

Кто-то рассказывал Игорю, что в Москве С. Ю. Куняев и Е. Ю. Юшин потребовали от руководителя калужского регионального отделения СП “отказной” протокол по Кулебякину, чтобы провести его в члены СП через Правление центрального СП, но по какому-то мистическому совпадению протокол в Калуге был утерян... Кулебякину снова предложили вступить в СП через Калугу, к нему в течение года неоднократно обращались известные калужские члены Союза писателей, представители “русской партии” того времени Алексей Петрович Золотин, Арсентий Данилович Струк, Анатолий Николаевич Кухтинов и другие. Они настойчиво предлагали ему повторно подать документы на вступление. Мол, после скандала с протоколом — шансы немалые. Но тут уже оказался виноват сам Игорь — он обиделся. А в 1997 году создал Калужское региональное отделение Союза литераторов России.

Если очень коротко о нём, то можно посмотреть лаконичную ссылку в интернете.

“В 1985–1987 — армия на космодроме “Плесецк” в штабной роте связи. В 1990–1993 годах был депутатом Обнинского горсовета, а в конце 1990-х годов — помощником депутата Государственной Думы России П. Т. Бурдукова (“аграрий”). Имел в целом неплохие отношения со многими представителями калужской региональной власти. В начале нулевых годов входил в политсовет партии “Единство”, вышел оттуда вскоре после преобразования партии в “Единую Россию”. В своё время отказался от должности редактора газеты “Весть”, предложенной ему властными структурами. Отец семерых детей (четыре сына и три дочери). В настоящее время находится в розыске. Его местонахождение неизвестно. Разыскивается как скрывающийся от суда. Судебное преследование начато после того, как он в 2007 году перепечатал в “Московских воро-

тах” информацию с сайта с названием “Требования Русского Общества”, а также опубликовал заметку одного пенсионера из г. Рыбинска. Следственный комитет сделал вывод в том, что в заметках имеются призывы к экстремизму, а также возбуждение ненависти и вражды к представителям некоторых национальностей. Впрочем, есть мнение о том, что это лишь формальная сторона. В то время как реальная причина гонений – конфликт с Михаилом Абрамовичем Нарусовым (родственник Ксении Собчак), который в те годы был прокурором города Обнинска”.

К этому можно ещё добавить, что в 2005 и 2006 годах, незадолго до открытия против него “уголовных дел”, дважды возглавлял пикетные группы, требовавшие отмены гастролей в Обнинске активного пропагандиста содомского греха, певца-попсовика Бориса Моисеева. Именно его усилиями концерты Моисеева отменяли в Обнинске менее чем за день до самого события.

Итак, **“разыскивается как скрывающийся от суда”**, – сказано в информации.

Страшно, правда? Читать даже страшно. А уж мне-то как страшно повествовать о “преступнике”.

В чём суть преступления?

Если попытаться ответить риторически, то “преступность” его примерно в том же, в чём обвиняется сейчас Олег Анатольевич Платонов. Только сфера распространения изданий О. А. Платонова, разумеется, намного масштабнее.

Конечно же, речь о “русских статьях”.

В конце 2006 года было возбуждено первое уголовное дело против Кулебякина за перепечатку в газете “Московские ворота” заметки, размещённой официальным образом на одном из сайтов интернета. Ну, тема непростая. Это время событий в Кондопоге, обсуждения проблем в связи с этим. Оно (“дело”) то закрывалось из-за отсутствия экспертиз, то заново возбуждалось, и так до октября 2007 года.

Ну, а заявление с просьбой о возбуждении дела в обнинскую прокуратуру было написано на тот момент времени депутатом Законодательного Собрания Калужской области Татьяной Котляр. Кто такая? Один из самых безобидных вопросов, решаемых ею, – “резиновая квартира” для гастарбайтеров, в которую она заселила более 900 переселенцев из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Украины. Ещё один безобидный вид её деятельности – консультирование молодых людей по уклонению от посещения призывного пункта призывников в ряды ВС. В целом, Котляр – это своеобразная Новодворская калужского регионального масштаба.

Прокуратура после проверки возбуждает уголовное дело на Кулебякина по статьям УК РФ 280, ч. 1 (несколько позже пере kvalificировано на ч. 2, то есть средней тяжести) и 282, ч. 1. В самой перепечатанной заметке, содержащей некую резолюцию, нет никаких призывов, но есть предложения в адрес власти в форме требований (ну, форма резолюции не запрещает оформление в виде “требований”, скорее – подразумевает). Институт судебных экспертиз ФСБ выдал обнинской прокуратуре отрицательную лингвистическую экспертизу – в перепечатанном “Московскими воротами” материале признаков ст. ст. УК РФ 280 и 282 нет!

Параллельно с этим первым делом в июне 2007 года по публикации в “Московских воротах” материала ветерана и инвалида ВОВ, заслуженного учителя РСФСР, члена Союза журналистов РФ Карпова Семёна Ивановича было возбуждено второе дело по ст. ст. УК РФ 280, ч. 1 (несколько позже пере kvalificировано на ч. 2, то есть средней тяжести) и 282, ч. 1. Это второе уголовное дело было возбуждено по заявлению помощника прокурора города Обнинска Екатерины Горбачёвой. Ну, а прокурором города Обнинска на тот момент времени, напомним, был Михаил Нарусов.

В материале С. И. Карпова шла речь о перекосе в национальной проблеме, а также о неверной, с точки зрения автора, юридической оценке властями попыток русских людей обратить на это внимание. Просто суждения. Институт судебных экспертиз ФСБ в материале Карпова, правда, усмотрел в каком-то эпизоде признаки ст. 282 УК РФ. Ну, всё-таки прокуратура обратилась, нужно проявить особую внимательность и бдительность. Но этой же экспертизой было отмечено полное отсутствие намёков на ст. 280 УК РФ. Однако данная экспертиза, видимо, не устроила обнинскую прокуратуру, поэтому прокуроры инициировали психолого-лингвистическую экспертизу

в Калужском педагогическом университете. Психолого-лингвистическую экспертизу сделал эксперт Калужского педуниверситета Енгальчев Вали Фатехович. По его экспертизе в материалах “Московских ворот” есть всё то, что предъявляет автору прокуратура в окончательном виде.

Впоследствии два дела были объединены в одно. Таким образом, в итоге И. В. Кулебякин обвиняется прокуратурой по двум эпизодам ст. ст. 280, ч. 2 и 282, ч. 1 УК РФ.

Ну, были потом и задержания самого Игоря, и изнурительные и опустошительные обыски в редакции газеты и его квартире. Всё, как в случае с О. А. Платоновым. Как тогда писали: “Редактор газеты выдержал десять часов непрерывных допросов и обысков”. Были изъяты рукописи, черновики, записные книжки, компьютеры как в редакции, так и в квартире Игоря. Как будто, действительно, речь шла о заговорщике или террористе. Это было более 10 лет тому назад.

Ещё следует отметить, что по первоисточникам в обоих делах (перепечатанной заметке и материале С. И. Карпова) вопросов ни у кого не возникло.

Вот что по этому поводу пишет доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей России В. А. Юдин:

“К сожалению, совершенно не разобравшись в провокационной затее оголтелых недругов России и, что называется, клюнув на лживые обвинения в адрес главной редактора и ведомой им газеты, местные правоохранительные органы попытались привлечь И. В. Кулебякина к судебной ответственности за пресловутый “экстремизм” согласно известным “русским” 280 и 282-й статьям УК РФ, по которым уже пятнадцать лет без особого промедления попадают в узилища многие невинные патриоты России... Об этом не раз писал и автор этих строк, и многие другие сограждане, горячо возмущённые правовым беспределом: юристы, историки, политологи, деятели науки и искусства. Обращались в правоохранительные органы с требованием немедленно прекратить уголовное преследование Игоря Кулебякина. Но, как говорится, воз и ныне там. Хотя многие претензии следствия и обвинения против Игоря Владимировича ныне имеют статус законов РФ. Просто дело возбуждалось ДО принятия данных законов, и поэтому, по мнению обнинского юриста, хорошо знакомого с “экстремистским” законодательством, прокуратура Обнинска должна была ходатайствовать перед судом о возвращении дела прокурору для приведения обвинительного заключения в соответствие с действующим законом. Впрочем, это необязательно, т. к. прокурор может отказаться от части обвинений либо иным образом изменить обвинение на стадии судебного разбирательства, если это не ухудшает прав подсудимого. Кроме того, основные обвинения Кулебякина проходят в рамках ст. 280, ч. 2 УК РФ, по которой судят всех ответственных согласно закону о СМИ. Вопрос заключается в том, почему авторов, известных суду и следствию (а Кулебякин не является автором опубликованных в его газете материалов), не привлекли к уголовной ответственности. То есть те следователи, которые освободили авторов от уголовного преследования, должны быть наказаны по ст. 300 УК РФ. Данное преступление является тяжким, кстати говоря, и сроки давности по нему не вышли...”

С октября 2008 года по февраль 2009 года проходили почти непрерывные судебные заседания. По мнению подсудимого и его защиты, суд проходил с грубейшими нарушениями прав Кулебякина и его адвокатов. В этой связи защита подала много заявлений о нарушениях со стороны судьи. Разумеется — без результатов. Для Кулебякина и его защитников было очевидным: на данном процессе суд и прокуратура составляют единое целое. Видимо, поэтому перед вынесением приговора, а, по мнению защиты И. В. Кулебякина, суд “запланировал” для Кулебякина 5 лет реального срока, Кулебякин исчез.

Из статьи В. А. Юдина: “...Прошло немало лет. Тем не менее, заинтересованные в расправе над Игорем Владимировичем персоны до сих пор не унимаются, жаждут крови, мечтают засадить яркого, самобытного русского поэта и мужественного журналиста за решётку... Ныне “Московские ворота” редактирует Екатерина Николаевна Кулебякина — супруга Игоря Владимировича...”

“...До сих пор не унимаются, жаждут крови, мечтают засадить...”

Можно ещё посмотреть “картинки”.

Вот одна из них — <http://obninsk.name/news14388.htm>. Информация свежая — от 10 октября 2017 года.

“Внимание, розыск! За совершение преступлений разыскивается Кулебякин И. В.”. Здесь его фото соседствует с “портретами” уголовников — бандитов и мошенников. Вот так!

И на официальном сайте администрации (!) города Обнинска в “архиве новостей” до сих пор висит информация 2013 года с “картинками” о розыске “преступника”.

Как видим, **Игорь Кулебякин разыскивается до сих пор как преступник.** Ну, ясно же, если рядом с ним демонстрируются такие же преступники — насильники, грабители и воры. Значит, он так же опасен, как и они.

Хотя, как известно, статья 49 Конституции гласит: “Каждый, обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда”.

Исходя из данной статьи Высшего Закона России, никто, и уж тем более — должностные лица правоохранительных органов — не имеет никакого права навешивать на гражданина России, коим является И. В. Кулебякин, ярлык “преступника”. Тем более, и самое главное, все, и враги в том числе, прекрасно понимают, что он не является злоумышленником и не представляет общественной опасности. Скорее, наоборот. Скорее, дважды наоборот! “Заинтересованные в расправе над Игорем Владимировичем персоны”, которые изначально организовали преследование Кулебякина и обrekli его на незаслуженные мытарства, представляют опасность. А он не только не опасен, но был бы полезен обществу и государству, если бы не вынужденные лишения. Но об этом чуть ниже.

С моим другом Игорем Кулебякиным я не виделся уже более 10 лет. С 1993 года мы с ним частенько контактировали, встречались и по общественным делам, и по делам житейским. Он мне помогал в размещении моих материалов в своих изданиях, а я ему — в изложении некоторых материалов. Были отдельные вехи, когда мы очень плотно соизмеряли свои действия по общественным делам, по возможности помогая друг другу. По мировоззрению мы очень близки, но не абсолютно во всех вопросах. Во всём ли и всегда ли он был прав? Так же, как и любой человек, — нет, не во всём. И я ему делал когда-то замечания, и он меня в чём-то поправлял и давал советы.

Долго, кстати, “прицеливался” для написания слов “мой друг”. Он-то мне друг, я его таковым считаю. И я для него был другом 10 лет назад — это точно. Но не изменил ли за это время он обо мне мнение? Чувствую себя виноватым перед ним, потому что за всё это время были у меня только мысли, но не воплощение их в реальность, что нужно бы попытаться найти Игоря. Как он там? Есть ли у него хоть корочка хлеба на пропитание? Для себя оправдание, конечно, у меня имеется. В поисках его я мог бы навести на него разыскивающих. Я же законопослушный гражданин, поэтому, если бы меня стали “трясти” правоохранительные органы, то пришлось бы рассказывать, как его найти. Ну, наверное, как-то так. Поэтому лучше и не знать, где он. Но это просто самооправдание.

Была ещё одна такая история со мной. О ней уже никто не помнит в Калужской области, да и я подзабыл, но вспомнил в связи с написанием этого материала.

В конце 1995 года подал на меня в суд представитель Президента по Калужской области (или его уполномоченные, точно не помню) за оскорбление его “чести и достоинства”, содержащееся в одной из моих публикаций в областной газете “Весть”. Сам представитель Президента этот (фамилию даже упоминать не хочу) являлся махрово-либеральным “деятелем”, находящимся в фаворе всех либеральных московских и калужских тусовок того времени. Кстати, чуть позже он был назначен Ельциным исполняющим обязанности губернатора с уверенностью, что и на общенародных выборах губернатора, намеченных на конец 1996 года, за счёт административного ресурса удастся “оболванить” калужан, заставив их голосовать за него. Ну, суд я тогда, в 1995 году, конечно, проиграл. Даже не поясняя подробно, почему, — по причинам, отдалённо напоминающим ситуацию с судебными заседаниями по обвинению И. В. Кулебякина в 2007 году... Не шибко расстроился, понимая реалии. И что много важнее, первым избранным губернатором Калужской области по итогам всенародного голосования в 1996 году стал, скажем так, центрист, мудрый человек, бывший Председатель Законодательного Собрания

области, а до этого — Председатель областного Совета народных депутатов Валерий Васильевич Сударенков. А моя публикация (так же, как и ещё некоторые, более поздние) имела кое-какое влияние на мнение избирателей.

Так вот, Игорь Кулебякин единственный, кто тогда, в 1995-м, оказал мне открытую всемерную помощь (на какую только был способен) в этом судебном процессе. Даже на судебных заседаниях сидел рядом со мной... Я этого не забыл, Игорь! Пишу в надежде, что ты каким-то непостижимым образом будешь читать эти строки. По-моему, я тебя даже тогда не поблагодарил, потому что в то время всё это воспринималось как единый фронт сопротивления. Сейчас говорю: “Спасибо!”

Кое-что связывает нас и в связи с общим нашим знакомством и “роскошью человеческого общения”, коему уже не бывать, с Сергеем Антоновичем Шатохиным. Ну, в каких-то вопросах мы не полностью сходились с Игорем, но не помню ни одного крупного спора по узловым, в том числе политическим вопросам.

Иногда переписываюсь с его супругой Екатериной Николаевной Кулебякиной. От неё-то и знаю все эти 10 лет, что жив-здоров, откуда-то (точно из районов России) шлёт ей весточки об этом. Откуда? Ну, как минимум, мне об этом знать не нужно. Может, из монастыря какого? Не уверен, что и сама Екатерина об этом знает. По слухам, его кто-то звал в Германию на ПМЖ. Там хорошо, социальные какие-то выплаты, хлебушек и крыша над головой гарантированы, никто не придёт с наручниками. Отказался, конечно. По-другому и быть не могло. Я же его знаю!

По ряду позиций по отношению к Игорю могу с абсолютной уверенностью констатировать некоторые вещи. Какие?

Этот человек всегда, по большому счёту, был (и есть, разумеется) выразителем национальных интересов России. Патриот с большой буквы. Он консерватор, государственник. И по убеждениям, и по своим личным качествам. По внутреннему состоянию, прошу прощения за вольность определения, — это “антиреволюционер”. Ни в каких моментах, даже фантазийного рода, связанных с комбинациями, представляющими опасность для государства и общества, он по определению замешан быть не может. А почему тогда гоним и преследуем государством?

Он не просто не представляет общественной опасности, а, наоборот, будучи Патриотом, весьма и очень мог бы быть полезным в деле соблюдения государственного единства, предотвращения множества политических рисков для страны — и своим творчеством, и журналистикой, и организационными действиями. Но вместо этого создалась ситуация, когда власть не просто не взаимодействует с такими людьми, как Игорь Кулебякин, а отталкивает их от себя, попутно обрекая на несправедливые жизненные мытарства.

Да... Ситуация такая, что приходится говорить об этом, объяснять, что белое — это белое, а не чёрное. Вся система, “сложившаяся практика” “определения”, “поиска” и “нахождения” преступников — порочна. Не тех, абсолютно не тех осуждаете и преследуете!

Кстати, во времена избирательной кампании по выборам Президента России в 2000 году газета “Московские ворота”, насколько мне не изменяет память, в Калужской области была единственной из всех областных и калужских городских СМИ, которая выступила всецело и однозначно (с первых дней избирательной кампании) в поддержку кандидата в президенты В. В. Путина. Остальные были либо против, либо “на общих основаниях” “за всех” и “против всех”. В 2000-м, кто помнит, была абсолютно не гарантированная ситуация победы на выборах В. В. Путина. Как говорится, “дорога ложка к обеду”. “Обед” был именно в 2000 году. Статьи в поддержку Путина, написанные тогда Кулебякиным, штабом ВВП признавались базовыми, рассылались по другим СМИ области. Может, кто-то предположит, что Игорь работал, так сказать, на коммерческой основе, что-то за это получил? Нет! В этом весь Игорь, у него, как у Верещагина: “За Державу обидно”. Он ничего не получил за это, кроме... Кроме того, чего — см. выше.

И об этом тоже все забыли (о том, что Кулебякин поддержал в масштабах области В. В. Путина), но есть ещё те, кто может помнить.

А если были потом критические материалы газеты “Московские ворота” по отдельным политическим направлениям реальной политики государства, так на то они и критические, что в них критическая оценка, конструктивный

анализ и предложения. Ничтожна и опасна как раз ситуация обратная, когда одобряют без разбора “каждый чих” власти те, которые до этого выступали против, скажем, самого президентства Путина или стояли “над схваткой”. А ещё более опасна ситуация, когда силы, заинтересованные в организации хаоса в стране, дискредитируют, порочат, “осуждают”, а потом ещё и разыскивают, чтобы закрыть за решёткой потенциальных защитников Отечества. Вбивается клин между патриотами и Президентом. В эту констатацию вмещается сегодняшняя ситуация с О. А. Платоновым, в этом же суть и “дела” Игоря Кулебякина. “Русский вопрос”, короче.

Вот такая интересная картина в целом получается.

В чём “преступления” И. В. Кулебякина?

Чем он опасен?

Не умнее ли было бы власти, наоборот, опираться на таких людей? Не логичнее ли для государства, хотя бы с точки зрения самосохранения, обратить своё внимание с Кулебякина на противоположные ему политические типы? Прекратить практику, по которой в народе уже давно 280 и 282 статьи УК, так же, как и 278, 279, называют “русскими”.

А сейчас бы власти и компетентным органам просто разобраться, помочь, предпринять процедурные действия по прекращению этой трагикомедии по поиску и преследованию “преступника” Игоря Кулебякина.

Андрей СОШЕНКО, публицист,
секретарь МОО “Русское Собрание”
г. Калуга

АНДРЕЙ РУДАЛЁВ

МИРАЖИ КАТЕХИЗИСА ПЕРЕСТРОЙКИ

Книга Михаила Горбачёва “Перестройка и новое мышление” вышла тридцать лет назад, в 1988 году. Она мыслилась идеологической базой реформ, её катехизисом. До гибели страны оставалось совсем ничего.

Несколько лет — и камня на камне не осталось ни от коммунистического лагеря, ни от Варшавского договора, ни от социалистического блока, ни от Советского Союза.

В 1987 году страна отмечала 70-летие революции. Казалось, что эта дата — свидетельство прочности и залог продолжения долгого счёта лет. Оказалось, что лет наперечёт осталось. С другой стороны, страна готовилась к празднованию тысячелетия Крещения Руси, что выводило на совершенно иной временной порядок, нежели десятилетия. Давало надежду на устойчивость и основательность исторической линии государства.

Скоротечный распад, обвал. Сейчас часто говорят: самоубийство. Три-четыре года — много это или мало для событий колоссального значения и важности, для полного переформатирования реальности? Великая война ведь тоже длилась четыре года, но здесь не устояли.

Горбачёв говорил, что времени терять нельзя, надо действовать. “Ускорение” — помните такое слово, одно из тех, которые тогда формировали повестку дня? Есть ощущение, что перестройка — это своеобразная игра в русскую рулетку. Пути назад нет, переиграть ничего невозможно, и да будь, что будет: либо пан, либо пропал. Сделав шаг, становишься заложником инерционного движения, и этот поезд оказывается в огне. “Перемены начались, и повернуть общество вспять уже невозможно”, — пишет Горбачёв. Все девяностые боялись этого поворота вспять, пугали им, особенно на позорных выборах в 1996 году, под этот шумок состоялось небывалое по размерам мародерство. Сейчас про *вспять* не говорят, сейчас, в лучшем случае, — ностальгия.

Всё-таки, кто он такой, последний генсек, написавший эту книгу?

Утопист, попытавшийся реализовать свою утопию, свои идеалистические взгляды в реальности, которая сложнее любой схемы и теории? Он обращается к гражданам всего мира, пишет о судьбах планеты, говорит о вере в здравый смысл и общечеловеческие ценности, а также про ненасильственный мир. Его посыл — ко всему человечеству, перед которым, по его словам, стоят небывалые задачи. Решить их можно только совместно, иначе само будущее под вопросом. Хотя, кто знает, может быть, обращение к общечеловечеству связано и с тем, что сама книга появилась в силу просьб американских издателей, отсюда и заокеанский “партнёр” был возведён в разряд “человечества”.

По мысли советского генсека, человечество, вступив в ядерный век, само себя изгнало из рая, то есть “лишилось бессмертия”. Одна стратегическая атомная субмарина по убийственному потенциалу равна “нескольким вторым мировым войнам”. Человечество может уничтожить себя многократно — не это ли лучший аргумент для преодоления “старого мышления”, питающего милитаризм, и для отказа от политики с имперскими амбициями. Горбачёв прекраснодушно полагает, что знание о страшной опасности, изменение представлений о мире и войне, которая есть абсолютный финал человечества, должно сблизить народы и страны, заставить их сотрудничать и развивать философию мира. Поэтому и про угрозу абсолютного финала человечества он пишет многократно в своей книге.

Кстати, о реализме, об ориентации на реальность Горбачёв говорит постоянно, настаивает, что на них должна строиться политика и главная из реальностей — “сосредоточение колоссального военного” потенциала. Причём он совершенно не обратил внимания, что весь его реализм держится на этом колоссальном и убийственном арсенале. Будет он меньше, в других пропорциях, и реальность станет совершенно иной, и отношения в ней будут строиться уже по другим принципам. Одно дело, когда стволы пистолетов направлены в лоб друг другу, а если один устал держать и рука его опустилась?..

Вроде всё просто: заявить о новом мышлении, провозгласить “миру—мир” и пожать руки всем недавним врагам. Но, как оказалось, человек-то особенно не меняется. Его можно напугать ядерной зимой, но, испугавшись, он будет думать, как выжить в этих условиях и приспособить для жизни новые реалии. Поэтому в качестве альтернативы горбачёвским прекраснодушным рассуждениям возникает старая, как мир, максима: хочешь мира, готовься к войне. Горбачёв же настаивает, что все люди на Земле — пассажиры одного корабля. В чём-то его рассуждения близки “розовым христианам”, пытавшимся установить Царствие Божие на земле. Подобный проект, как правило, превращается в рассыпающуюся Вавилонскую башню, дающую толчок для смешения языков и рассеивания народов. Так и произошло с Союзом за считанные годы.

Всё-таки коммунисту сложно не быть утопистом. В какой-то мере новое горбачёвское мышление — это коммунизм в планетарных масштабах, форма миссионерства для тех стран, которые уже не переделать. Горбачёв надеялся, что угроза последней войны сделает всех людей братьями, хоть и братьями разными, что уж тут... “Консенсус” — это также слово из того времени.

В то время последний генсек искренне полагал, что страх и реалии всеобщего финала истории могут стать надёжным основанием для того, чтобы замириться и задружиться навечно с главным конкурентом Союза — США. Уже во вводной главке он пишет, что хоть нам и не нравятся многие аспекты американской жизни, но мы признаём право народа этой страны самому решать, как ему жить. Он подчёркивает, что “у нас нет никаких недобрых намерений в отношении американского народа”. Предлагает сотрудничество “на основе равенства, взаимопонимания, взаимодействия”. Но вот финальная фраза из обращения “К читателю” убивает всё: “Мы далеки от того, чтобы только свой подход считать истинным. У нас нет универсальных рецептов”. Получается, что он предлагает искать совместно ответы в неизвестности, то есть предлагает и Штатам сыграть в “русскую рулетку” и пойти туда, не зная куда. Тогда какое равенство возможно с партнёром, который не уверен в себе и в своём пути, сам-то двигается наобум?..

Поэтому Штаты и смотрели, подзуживая и аплодируя, как Советский Союз подносит пистолет к своему виску, нажимает на курок. С ним в эти игры нового мышления и общечеловечества никто не собирался играть. Идти за утопистами — дураков нет. Даже если предположить, что Горбачёв — пророк нового и прекрасного мира, то пока этот расчудесный мир не наступит, его пророк будет лузером и неудачником, это всем понятно.

Генсеку было мало изменить общество, экономику, он заявляет о переплавке человека в “котле” перестройки. Он мыслил о создании нового типа человека — перестроечного. Ведь “перестройка как-то задевает каждого, выводит из привычного для многих состояния покоя, удовлетворенности сложившимся образом жизни”.

Повышение планки социальной ответственности, “подымать человека духовно”, “человек силён убеждениями и знаниями” — в разговоре о человеческой переплавке также много утопической лозунговости, но на то это и манифест.

К чему привела переплавка, и в каком котле переплавляли — теперь, по прошествии времени мы имеем представление, памятуя о девяностых.

Вообще Горбачёв рассуждает в логике перестроечного революционного бега, суетливости. По его мнению, СССР за 70 лет прошёл путь длиной в века, и этот ритм, видимо, должен сохраниться. При этом он не обратил внимания на консервативную составляющую русской жизни, которая была полностью отринута и даже объявлена враждебной духу перестройки. “Консерватизм уступать не хочет”, — пишет Горбачёв. У него это слово имеет отрицательную коннотацию, как у нас сейчас революция. Это главный антипод перестройки. Но дело всё в том, что в России консервативное и революционное должно быть уравновешено, и пренебрежение одним из них чревато гигантскими потрясениями.

Горбачёв пишет, что “необходимо преодолеть консерватизм в самих себе”, а это свято место надобно занять демократией. Надо ли говорить, что демократия легко может перерасти и вырождаться с банальную свару и крикливый хаос, месиво из бесконечных, но не имеющих никакой ценности точек зрения, так как самой системы ценности нет. Вместо неё — примат тотального плюрализма.

“Побольше света гласности!” — пишет Горбачёв. Гласность — топливо демократии. Особые реверансы отвешивает СМИ, которые в те годы в полной мере подхватили лозунг о гласности.

К этой гласности он призывает и во внешней политике. С наивной уверенностью он утверждает, что “никто никого сейчас обмануть не может”, поэтому и агитирует за открытую политику, без двойного дна, “тактических хитросплетений и словесных увёрток”. Реальность серьёзно откорректировала эти его установки, а иллюзорные мечты об открытой политике так и остались мечтами, причём, как оказалось, если уверовать в них, то мечты становятся крайне вредными. А Горбачёв, судя по всему, очень сильно сжился со своим архитектурным проектом нового мышления.

Эта оторванная от реальности, мягко говоря, наивность проявляется во всём, выявляет ужасающую близорукость. Так, даже с некоторым высокомерием он говорит о перспективах “немецкого единства”, что это не “реальполитик”, пустые иллюзии. Разве что в отдалённой перспективе, лет так через сто может что-то измениться. Но эти “сто лет” истекли уже 1990 году, а до этого было и разрушение Берлинской стены, и совершенно невыгодные для Союза договоренности, предшествовавшие объединению.

Или взять горбачёвские многостраничные напутствия социалистическому блоку. “Революционные перемены входят в большой международный социалистический дом”, — пишет автор “Перестройки”. Весь этот дом вскоре прекратил существование, теперь же страны, наполнявшие его, в ЕС и НАТО. Утопист перестаёт видеть реальность, воспринимать происходящие в ней процессы, он становится рабом своей картины мира, своих воздушных замков.

Горбачёв в книге-манифесте представляет себя в качестве революционного лидера. Он не просто утопист, он революционер-утопист. Основной его тезис: перестройка — это революция.

Причём революция не стихийная, а совершенно естественная, ведь “энергия революционных перемен” в стране копилась уже давно. Это “назревшая необходимость”.

“Потенциал перемен назревал не только в материальной сфере жизни, но и в общественном сознании”, — автор перестройки практически повторяет посыл всем памятной цоевской строчки про перемены, которых требуют сердца. Возможно, именно поэтому так востребована тогда была эта песня, которая во многом отформатировала наше восприятие Виктора Цоя. Хотя и пел он в ней совершенно о другом, но так получилось, что “перемены” — одно из ключевых слов и понятий в идеологической горбачёвской конструкции. Сейчас песню Цоя мы принимаем за очевидный протест, так уж сложилась практика её восприятия, но в контексте своего времени она могла мыслиться очень даже конъюнктурной. Хотя, ещё раз отметим, лидер группы “Кино” пел о другом.

Свою перестройку Горбачёв противопоставляет застою явлениям, “механизму торможения”, который, как он пишет, набрал силу в обществе. Все эти явления он объявляет причинами упадка и экономической стагнации, к которой приблизилась страна.

Гонка вооружений сменилась на перестроечную гонку. Ускорение, ломка — слова, вошедшие в обиход и часто используемые в горбачёвской книге.

Мало того, автор-реформатор пишет, что его перестройка означает “крутую ломку”. Говорит о реформаторском радикализме: “Нам сегодня нужны радикальные реформы для осуществления революционных преобразований”. И всё это для того, чтобы привести общество к “качественно новому состоянию”. Он пишет прямо: “Мы готовим массы к радикальным переменам”. В контексте знания последствий перестройки можно представить, какие перемены предполагались...

Спешка без чёткого целеполагания оправдывалась перспективой кризиса. Ускорение, но куда? В хаос грядущего стыдного десятилетия?..

Кстати, одной из примет кризиса он объявляет то, что “начало всё более проявляться отчуждение человека от всенародного достояния”. Что уж говорить о восприятии этих слов сейчас, когда само понятие “всенародное достояние” совсем ушло из обихода или используется для пиара и прочих декоративных целей...

“Только вперёд!” — вот его лозунг. Горбачёв настаивает, что сам социализм преисполнен революционным духом и динамикой, а значит, больше революционности, она естественна и вовсе не губительна для социализма.

Иногда создаётся впечатление, что перед нами полководец, который чертит стратегические планы на карте будущих боёв. Такова его реформаторская атака: “Разработав программу радикальной экономической реформы, мы тем самым создали развёрнутый фронт для наступления теперь уже по всем направлениям ускорения и углубления перестройки”. Или это мальчик на палочке верхом?..

Автор подспудно настаивает, что социализм — перманентная революция, без революционных встрясок и скачков он начинает стагнировать и катиться к кризису. Поэтому и перестройка естественна для страны, а вовсе это никакой не эксперимент. Горбачёв щедро проводит параллели с Лениным и с 1917 годом, хотя и замечает, что перестройку он не равняет с Октябрем, но при этом говорит о “новой революции”. Автор перестроечного манифеста пишет, что “нынешнюю революционную обстановку в стране” вполне заслуженно сравнивают “с обстановкой первых послеоктябрьских лет, со временем Великой Отечественной войны”. Сейчас-то мы понимаем, что сравнивать тут можно только по последствиям, к которым все эти события привели. Но тогда, в разгар перестройки, сравнивать её с годами гражданской или Великой Отечественной войны — как такое возможно? Брат пошёл на брата, на страну напал злейший враг? Или это банальная риторика, гиперболизация и преувеличение собственного значения?

Горбачёв дискутирует с мнением, что перестройка — это “революция сверху”. Эту очевидность он облепляет демагогией, лозунговостью и подводит к тому, что перед нами “одновременно революция “сверху” и “снизу””. Хотя и дала отмашку перестройке верхушка партии, но в ней были отражены “коренные перспективные интересы всех трудящихся”. То есть уже и верхи, и низы не хотят и не могут больше жить по-прежнему. Революционная ситуация налицо.

Социализм автор связывает не только с революционностью, но и с демократией. По его мнению, демократия — главнейшее свойство социализма. Как мы уже отметили выше, ею он заменил консерватизм, объявив его вне перестроечного закона. Перестройка как раз и призвана соединить социализм с демократией, поэтому “больше социализма, больше демократии”.

Какая цель всего, к чему автор планирует прийти? Он уходит от ответа на этот вопрос, который сам же себе и ставит: “Не в наших традициях заниматься пророчествами и пытаться предопределить все архитектурные элементы того общественного здания, которое мы возведём в процессе перестройки”. Оговаривается только, что впереди нас ждут “глубокое обновление” и “новые рубежи”. И на самом деле, как в русских сказках: иди туда — не знаю куда, но несись сломя голову, не думая ни о чём, что может кончиться плохо...

В итоге страна должна стать богаче и сильнее, а жизнь станет лучше, все же трудности на пути будут преодолены. Вообще на кон поставлено всё, и другой альтернативы нет (только “консервация застоя”). От перестройки зависят ни много ни мало судьбы мира. Соответственно, её архитектор — вершитель этих судеб.

По книге чувствуется, что Горбачёв примеряет к себе ленинские революционные лавры. Он видит себя великим реформатором и революционером.

Из соблюдения приличий напрямую не равняет себя с Лениным — создателем СССР, но о сошествии на себя ленинского духа непрозрачно намекает. Генсек также призывает “возродить живой дух ленинизма”. Ленин для него — особое прикрытие, форма, в которую он вкладывает собственное содержание, чтобы выдвигаемые идеи получили легитимность.

Все изменения мыслятся путём к созданию новой, качественно иной страны. Его подход сходен с реформаторством в религии: изначальная вера замутнена, искажена, ленинские заветы никто не помнит, поэтому необходимо вернуться к первоначальной чистоте и отторгнуть все искажения. Да и пыл, и азарт Горбачёва сродни не только революционному, но и религиозному. Он пишет *перестроечный завет*, который мыслится им глобальной формой *благой вести* для всего мира.

Ощущение личного мессианства? Почему бы и нет... Хотя по факту он ближе к ересиарху.

К чему вёл в своём перестроечном радикализме Горбачёв? К ленинскому социализму, как это он говорил? К нэпу, к капитализму? Думается, что нет. Для него итог был вторичен. В его восприятии революционер становится в процессе революции, а к чему она приведёт — не суть и важно.

Несколько раз в своём *катехизисе перестройки* он говорит о нереальности сценария возврата к капитализму: “Невозможно, даже если бы кто и захотел повернуть Советский Союз к капитализму”. И впрямь страна была антикапиталистическим образованием, чтобы повернуться к этому строю, нужно было разрушить Союз.

В заключение своей “Перестройки” Горбачёв пишет, что “книга не закончена”, что “дописывать её надлежит работой”. Сейчас мы отлично знаем продолжение. Но тогда в своём перестроечном радикализме он стал заложником, сам попал в ловушку инерционного движения под откос. А вместе с ним и страна. Прокрутил барабан и медленно жмёт на курок. Пошли уступки, сплошные уступки, чтобы хоть как-то зацепиться за утопическую реальность, но она уже рассыпалась на глазах.

А между тем страна уже напевала вместе с группой “Мираж”: “Оставить стоит старый дом”, “Люди проснутся завтра, а нас уже нет”. Расползалась миражная реальность осколками утопических построений.

ГЕОРГИЙ ЦАГОЛОВ

ЧЕЛОВЕК ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

К 200-летию со дня рождения Карла Маркса

Когда 14 марта 1883 года, не дожив несколько недель до 65 лет, Карл Маркс умер, его близкий друг Фридрих Энгельс заметил: “Человечество стало ниже на одну голову, и притом на самую значительную из всех, которыми оно в наше время обладало”. В речи на похоронах Маркса на Хайгейтском кладбище в Лондоне он же предрёк: “И имя его, и дело переживут века”. В то время такие оценки могли показаться завышенными. Но случилось нечто большее. Через сто лет чуть ли не половина населения Земли исповедовала марксизм.

История XX века по преимуществу определялась борьбой между сторонниками и противниками Маркса. Ни один человек не оказал на мир большего влияния. Одни превозносили его, по сути, превращая в нового Бога. Другие низвергали и проклинали, нарекая посланцем дьявола. Плеханов, Ленин, Троцкий, Сталин, Мао Цзэдун, Че Гевара и Кастро считали себя его наследниками и продолжателями. И хотя крах социализма в Советском Союзе и других странах нанёс серьёзный удар по позициям Маркса в мире, его идеи и сейчас господствуют в полуторамиллиардном Китае, Вьетнаме, на Кубе, в Северной Корее.

Работы Маркса кардинально изменили главные общественные науки — историю и философию, экономическую теорию и социологию. Одно из его политэкономических произведений — “Капитал” — стало непревзойдённым образцом научного творчества и глубины анализа. Маркс являлся также блистательным журналистом и публицистом, писал для многих журналов и газет, а некоторые из них редактировал. Вышедшее из-под его пера пламенное воззвание к народам “Манифест коммунистической партии” (созданное совместно с Энгельсом, когда им обоим не было и тридцати) переведено на сотню языков мира. Помимо Библии, ни одно иное произведение не получило такой известности. Велика и общественно-политическая деятельность Маркса, считавшего, что “философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его”. Он основал и долгое время направлял работу Первого Интернационала. После Иисуса Христа, пожалуй, никто не вызывал столь масштабного поклонения и в то же время не был так неправильно истолкован.

Что же нового внёс Маркс в мировое знание? Кем был? Что в марксизме остаётся ценным, а что устарело? Отвергла ли его Россия полностью и навсегда?

Открытия

До Маркса считалось, что Идеи и Разум правят миром. Он же пришёл к совершенно иному выводу и изменил взгляд на историю, дав ей материалистическое обоснование. В социальной жизни наиболее важна экономическая сфера, а связи, складывающиеся между людьми в производстве, определяют все остальные. Двигателем же развития человечества служит прогресс производительных сил. От уровня их развития зависят меняющиеся во времени производственные отношения, составляющие в совокупности экономический базис общества. Маркс открыл всеобщий закон соответствия производственных отношений уровню развития производительных сил. Вместе они образуют способ производства, который определяет надстройку общества, включающую политику, право, культуру, идеологию и соответствующие им учреждения.

Таким образом, стержень истории человечества, по Марксу, представляют последовательно сменяющиеся общественно-экономические системы. Вслед за первобытнообщинным строем приходят рабовладельческая, феодальная и капиталистическая формации. Теперь это настолько общепризнанная истина, что имя Маркса как её первооткрывателя чаще всего вообще не упоминается. Это же относится и ко многим экономическим законам.

Формационный подход не отрицает национальных и цивилизационных особенностей. Маркс неоднократно упоминал об азиатском строе, предшествовавшем рабовладельческому у древневосточных народов и зжившемся на господстве бюрократии при общественной собственности на землю и средства производства. В годы советской власти о нём избегали говорить, так как он напоминал бюрократический социализм.

На экономическом факультете МГУ, где в советское время я учился, курс капитализма преподавали знающие люди. Кафедру политической экономии долгие годы возглавлял мой отец, слывший в этой области корифеем. Те, кто слушал его блистательные лекции, до сих пор всегда с теплом и благодарностью вспоминают Николая Александровича. Как-то юнцом я спросил отца: «Можешь в двух словах передать содержание «Капитала»?» Последовал ответ: «Бей буржуев». Классовый характер этого произведения и в самом деле узловой, хотя и далеко не единственный аспект.

«Конечной целью моего сочинения, — пишет Маркс в его предисловии, — является открытие экономического закона движения современного общества», а оно «не твёрдый кристалл, а организм, способный к превращениям и находящийся в постоянном процессе превращения». Но как изучать социальный «организм»? «При анализе экономических форм, — поясняет учёный, — нельзя пользоваться ни микроскопом, ни химическими реактивами. То и другое должна заменить сила абстракции». Методология Маркса включает в себя движение от простого к сложному, от абстрактного к конкретному. Не случайны первые слова первой главы «Капитала»: «Богатство обществ, в которых господствует капиталистический способ производства, является «огромным скоплением товаров», а отдельный товар — его элементарной формой. Наше исследование начинается поэтому анализом товара».

Маркс подвергает скрупулёзному анализу «экономическую клеточку буржуазного общества» — товарную форму продукта труда, или форму стоимости товара. Труд в таких условиях весьма противоречив: с одной стороны, он конкретный, с другой — абстрактный. Первый создаёт определённую потребительскую стоимость, второй — стоимость товара. Сгустки абстрактного труда заключены в товаре и определяют количественные параметры обмена. Затем Маркс показывает, как обмен товаров привёл к рождению денег и как деньги при определённых общественных условиях превращаются в капитал — качественно новое их состояние — деньги, порождающие ещё большие деньги. А отсюда следует основной закон капитализма и теория прибавочной стоимости, раскрывающая сущность эксплуатации при капитализме.

В отличие от предыдущих, эта форма эксплуатации скрыта под покровом товарно-денежных отношений. Вроде никто никого не принуждает, и, продавая и покупая товары, все действуют на равных. Но это не так. На рынке есть особый товар — рабочая сила. Её стоимость определяется количеством благ, необходимых для существования работника, и меньше той, которую она может создать в процессе использования. И этот товар не может залёживаться. Его надо всё время продавать, так как жить без средств к существованию нельзя.

Капитализм должен умереть

Итак, капиталист оплачивает лишь часть труда рабочего, подчас не столь значительную. Наличие безработных позволяет предпринимательскому классу занижать зарплату и увеличивать собственную прибыль. Конкуренция капиталов между собой ведёт к их концентрации и централизации. Ожесточённая борьба за прибыль не знает границ. Маркс приводит часто цитируемые слова одного английского публициста о том, что при 100% прибыли капитал “попирает все человеческие законы”, а при 300% “нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы”. Как тут не вспомнить наши лихие 90-е и тот беспредел...

Но капитализм роет себе могилу. “Монополия капитала становится оковами того способа производства, который вырос при ней и под ней. Централизация средств производства и обобществление труда достигают такого пункта, когда они становятся несовместимыми с их капиталистической оболочкой. Она взрывается. Бьёт час капиталистической частной собственности”.

Многие мыслители прошлого мечтали о справедливости и гармоничном обществе, где все бы жили счастливо и в достатке. Томас Мор, Томмазо Кампанелла, Сен-Симон, Шарль Фурье, Роберт Оуэн, Сен-Жюст, Александр Герцен, Николай Чернышевский и другие писали на эти темы, предлагая те или иные проекты. Но их идеи оказывались утопическими, так как они не находили объективные и субъективные факторы достижения цели.

Маркс нашёл. Ещё в “Манифесте Коммунистической партии” содержится предупреждение: “Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма... Пусть господствующие классы содрогаются перед коммунистической революцией. Пролетариям нечего терять в ней, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир”. Эти узловые идеи пройдут через всю его жизнь. Но развёрнутое научное обоснование социализма дано в его фундаментальных политэкономических работах, потребовавших не только гениального ума, но и титанического труда.

По мере обострения основного противоречия капитализма возникает и субъективная сила — организованный рабочий класс, способный привести в соответствие форму производства его характеру. Парламентская демократия позволяет развиваться политическому сознанию пролетариата, необходимому для свершения революции. Придя к власти демократическим путём, большинство народа должно сохранить её благодаря “диктатуре пролетариата”, направленной на уничтожение прежнего репрессивного аппарата. Так открывается путь к обществу более высокого порядка, где “свободное развитие каждого будет условием свободного развития всех”. При этом сами революции — лишь повивальные бабки истории, облегчающие муки родов.

Маркс считал, что в странах, где нет ни демократии, ни развитого капитализма, как, например, в России, социалистическая революция не достигнет успеха, если одновременно с ней не разразится мировая революция. В предисловии ко второму русскому изданию “Манифеста Коммунистической партии” (1882) сказано: “Если русская революция послужит сигналом пролетарской революции на Западе, так что обе они дополняют друг друга, то современная русская общинная собственность на землю может явиться исходным пунктом коммунистического развития”.

Маленький тиран

Маркс родился 5 мая 1818 года в немецком городе Трире Рейнской провинции тогдашней Пруссии. Хотя “Капитал” именуют “библией рабочего класса”, его автор произошёл из зажиточной семьи еврейских буржуа. Отец — председатель коллегии адвокатов Трира Генрих (Гершель) Маркс, в роду которого немало раввинов, владелец виноградников в Мозеле, был приверженцем идей французских просветителей. Мать — голландская еврейка Генриетта Прессбург — также из семьи раввинов, хотя в ней встречались и торговцы. Её сестра — тётя К. Маркса — вышла замуж за Лиона Филиппса — банкира и предка основателя одноименной транснациональной корпорации. На формирование личности Маркса немалое влияние оказал его будущий тесть — барон Людвиг фон Вестфален, также сторонник идей Просвещения. Их семьи дружили.

Маркс был третьим ребёнком и первым сыном из восьмерых детей, преимущественно женского пола, — правда, не все они дожили до совершенно-

летия. В детстве он слыл непревзойдённым рассказчиком и тираном по отношению к сёстрам, которых заставлял сбежать с городского холма, сидя на них верхом, и есть слепленные им не всегда чистыми руками пирожки. Но они подчинялись — так хотелось послушать сочиняемые Карлом истории.

Сутки за хулиганство

Он отлично учился в гимназии, где проявлял незаурядные способности и стремление к знаниям в самых различных областях, запойно читал. В своём не по годам зрелом сочинении “Размышления юноши при выборе профессии” отмечал: “Если человек трудится только для себя, он может, пожалуй, стать знаменитым учёным, великим мудрецом, превосходным поэтом, но никогда не сможет стать истинно совершенным и великим человеком... Если мы избрали профессию, в рамках которой мы больше всего можем трудиться для человечества, то мы не согнёмся под её бременем... Мы испытаем не жалкую, ограниченную, эгоистическую радость, а наше счастье будет принадлежать миллионам, наши дела будут жить тогда тихой, но вечной действительной жизнью, а над нашим прахом прольются слёзы вечно благодарных людей... Опыт превозносит как самого счастливого того, кто принёс счастье наибольшему количеству людей”.

В 17 лет он по совету отца поступил на юридический факультет Боннского университета, где открыл для себя диалектика-идеалиста Гегеля, тогда безраздельно господствовавшего в немецкой философии. В свидетельстве об окончании первого курса вместе с похвалами академическим успехам, “отменной усидчивости и внимательности”, отмечалось, что как-то он был “заключён на сутки под стражу за хулиганство и пьянство в ночное время”. Узнав об этом, отец решил перевести его в Берлинский университет, где, как казалось, “было меньше внеаудиторных соблазнов”.

Доктор философии

Летом 1836 года во время летних каникул Карл обручился с дочерью барона Людвига фон Вестфалена по имени Женни — одной из наиболее богатых и красивых невест в Трире. Она была на четыре года старше него и знала его с пелёнок, так как их родители дружили. Через несколько лет они поженятся и проживут вместе до конца своих дней. У них появится семеро детей. Маркс всегда обсуждал с Женни свои идеи, прочитанные книги, рукописи. Она была его первой читательницей и единственным человеком, способным разбирать его корявый почерк. Прежде чем сдавать свои сочинения в набор, он обычно просил её переписать их. Хорошо зная чету родственница свидетельствовала: “Они вместе играли, когда были детьми, были помолвлены очень юными и оставались вместе в битве за жизнь. И какой битве! Долгие годы в нужде, постоянно подвергаясь подозрениям, наветам, окружённые ледяным безразличием. Пройдя через это, через горе и радость, они ни разу не дрогнули и оставались верны друг другу до самой смерти, которая их разлучила. Маркс всегда был влюблён в свою жену”.

В 1838 году отец Маркса в возрасте 57 лет умер от туберкулёза, а отношения с матерью как-то не сложились, и она не спешила с передачей положенного ему наследства. В Берлине Маркс продолжает увлекаться историей и философией, начинает критически относиться к Гегелю, подвергая сомнению его знаменитое кредо: “Всё действительное разумно, всё разумное действительно” — особенно его первую часть! — и предлагает “перевернуть его диалектику, чтобы поставить её с головы на ноги”. Он пишет стихи и приступает к работе над докторской диссертацией, которая давала бы ему право заниматься педагогической и научной работой. Тема — различия взглядов древнегреческих философов Демокрита и Эпикура.

В 23 года он становится доктором философии и участником так называемого “Профессорского клуба”, куда входят радикально настроенные младогегельянцы. Дискуссии в нём оказали глубокое влияние на мышление Маркса. Вскоре Маркс направляется в Бонн, где в университете преподавал его старший друг из того же клуба Бруно Бауэр, хлопотавший о месте и для него. Но за участие в антиправительственной демонстрации того отстранили от дел, и вместо университетской карьеры Маркс начинает сотрудничать с находящейся

в Кёльне “Рейнской газетой”, в чьей редакции находились его знакомые по Берлину. Здесь раскрылась его писательская ипостась. В письме о нём к другу хозяин газеты М. Гесс сообщает: “Доктор Маркс — так зовут моего кумира — ещё совсем молодой человек. Но именно он нанесёт последний удар средневековой религии и политике; глубочайшая философская серьёзность сочетается в нём с тончайшим остроумием; вообрази себе Руссо, Вольтера, Гольбаха, Лессинга, Гейне и Гегеля, соединёнными вместе в одном лице, — я говорю соединёнными, а не смешанными, — и это будет доктор Маркс”.

Диссидент

“Кумир” вскоре был назначен главным редактором издания. Под его руководством газета добилась больших успехов, число её подписчиков утроилось, многие стремились туда писать, в том числе и Фридрих Энгельс — интеллектual и сын фабриканта, с которым Маркс уже до этого пересекался в Берлине. Энгельс хорошо знал положение рабочего класса в Англии, как и Маркс, владел несколькими иностранными языками и также увлекался философией. Позже он напишет ставшие широко известными книги “Положение рабочего класса в Англии”, “Анти-Дюринг”, “Диалектика природы”. Их знакомство вскоре переросло в прочную дружбу.

Работая над одной из статей по правовым вопросам, Маркс обнаружил, что его познания в политической экономии весьма поверхностны, и решил восполнить их. Он освоил Франсуа Кенэ, который в своей “Экономической таблице” развил теорию деления общества на классы в зависимости от источников их доходов. Изучил Адама Смита и Давида Рикардо — классиков, положивших начало трудовой теории стоимости. Именно политэкономия станет основным поприщем приложения его сил, в ней он совершит научный переворот, ставший гранитным фундаментом нового революционного мировоззрения.

Иные наши соотечественники отчасти объясняют свой скепсис в отношении Маркса тем, что он “не любил русских”. Это не совсем так — ему не нравился монархический режим. В “Рейнской газете” от 4 января 1843 года Маркс назвал царскую Россию главной опорой европейских диктатур. Узнав о статье, Николай I немедленно потребовал у своего прусского союзника, чтобы тот получше “присматривал” за прессой. И король Фридрих Вильгельм IV тотчас же распорядился закрыть указанный печатный орган.

Оказавшись на вольных хлебах, Маркс ещё активнее выступает в различных изданиях, его взгляды становятся всё более радикальными. Он пишет: “Оружие критики не может, конечно заменить критики оружием, материальная сила должна быть опрокинута материальной силой... Теория становится материальной силой, как только она овладевает массами”. Вольнодумец становится для прусских властей головной болью. Они делают попытку подкупить мятежного публициста, предложив ему хлебную должность в официальных структурах, но неудачно. Почувствовав опасность ареста, диссидент осенью 1843 года принимает решение переехать во Францию.

Изгнанник

В Париже он знакомится с знаменитым социалистом Пьером Жозефом Пруденом, лидером анархистов из России Михаилом Бакуниным, поэтом Генрихом Гейне, другими революционерами и мыслителями, стекавшимися туда со всего мира. Участвует в издании “Немецко-французского ежегодника”, печатается в газете немецких эмигрантов “Форвертс”.

Как и прежде, больше всего его занимает глобальная теория общества, а главным локомотивом истории представляется ему классовый конфликт. Он продолжает изобличать власти Пруссии. Это не остаётся безнаказанным — они обращаются к королю Франции Луи Филиппу с требованием выслать из страны неугомонного критика абсолютизма. Марксу приходится переселиться в Брюссель, куда вскоре перебирается и Энгельс.

Здесь они излагают материалистическое понимание истории человечества — так появляется их совместный двухтомный философский труд “Немецкая идеология”, где даются такие трактовки общества будущего: “Мы называем коммунизмом действительное движение, которое уничтожит теперешнее состояние... Частная собственность на средства производства заменяется собственностью, принадлежащей ассоциированным индивидам, всему обществу”.

Вскоре друзья присоединились к организованному немецкими эмигрантами тайному “Союзу коммунистов”, для которого написали “Манифест коммунистической партии”, впервые опубликованный весной 1848 года. В это время Европу охватила волна революций, и они сочли возможным вернуться в Париж, а затем и в Германию, где стали выпускать “Новую рейнскую газету”. Но революции захлебнулись, и начались репрессии. В августе 1849 года Маркс вынужден был переехать в Лондон. Там он проведёт весь остаток своей жизни и создаст свои главные экономические произведения.

Стоик

Условия эмигрантской жизни были крайне тяжелы, жилищные условия временами являлись нестерпимыми. Маркс с семьёй существовал в основном за счёт финансовой поддержки Энгельса, небольших наследств от родственников, случайных заработков от написания статей в газеты, скудных гонораров за книги. В одном из писем с просьбой о денежной помощи Маркс пишет: “Жена больна. Дочь Женни больна. У меня нет денег ни на врача, ни на лекарства. В течение 8–10 дней семья питалась только хлебом и картофелем. Диета не слишком подходящая в условиях здешнего климата. Мы задолжали за квартиру. Счета булочника, зеленщика, молочника, торговца чаем, мясника — все не оплачено”. Как-то в условиях крайней нужды Маркс пытался продать что-то из семейного серебра, некогда принадлежавшего аристократическому роду его жены, но выглядел так, что полиция задержала его, заподозрив в воровстве. Женни пришлось вызывать мужа. Нищета была так велика, что от болезней в раннем возрасте умерло трое их детей.

Но Маркс не отступал от разработок своей экономической теории. Большую часть времени проводил в библиотеке Британского музея, где осваивал многие другие, в том числе естественные, науки и огромный фактический материал. В 1864 году Маркс организовал “Международную рабочую ассоциацию”, позднее переименованную в Первый Интернационал. Вначале организация включала в себя и анархистов, британских тред-юнионистов, французских социалистов, итальянских республиканцев. Позже возникли острые разногласия между Марксом и Михаилом Бакуниным о сути коммунистического общества и пути его построения. Полемизируя с Марксом и сторонниками революционной диктатуры, Бакунин заявлял: “Если взять самого пламенного революционера и дать ему абсолютную власть, то через год он будет хуже, чем сам царь”. Через некоторое время Бакунин и анархисты были изгнаны из организации. Тем не менее, в написанном после этого эссе “Мои отношения с Марксом” Бакунин не мог не признать: “Маркс — человек очень большого ума и учёный в самом широком и серьёзном смысле этого слова. Кроме того, Маркс пламенно предан делу пролетариата, которому он отдал всю свою жизнь”.

После разгрома Парижской коммуны (1871) и в условиях нарастающей реакции Первый Интернационал переехал в Нью-Йорк, а четыре года спустя был распущен. Просуществовавшая 72 дня Парижская коммуна была приписана Марксу, хотя он не был её организатором, более того, считал её преждевременной, хотя в то же время приветствовал “как зарю великой социальной революции, которая навсегда освободит человечество от классового общества”. Имя Маркса становится всё более известным и авторитетным. “Капитал” переводится на разные языки. С Марксом в переписку вступали революционные деятели многих стран, в том числе Вера Засулич из России. Большая часть написанного Марксом так и не была опубликована при его жизни. Второй и последующие тома “Капитала” изданы после его смерти благодаря Энгельсу, пережившему Маркса на 12 лет.

Непрестанный труд и переутомление вели к расстройству здоровья всего семейства. В конце 1881 года от рака печени умерла жена Женни. Позже от туберкулёза скончалась его старшая дочь Женнихен. Маркс тяжело пережил эти утраты. К тому времени и его силы были уже подорваны. Временами он не мог работать. В 1883 году наступил кризис, и в середине марта его не стало.

Судьбы оставшихся двух дочерей — Лауры и Элеоноры — не завидны. Лаура вышла замуж за известного революционного деятеля Поля Лафарга. В 1911 году, когда ей было 66, а ему 69 лет, оба решили, что дальнейшая жизнь обременительна, и покончили жизнь самоубийством. В связи с семейной драмой отравила себя и Элеонора.

Борода “сатаниста”

Критиковать Маркса и марксизм — любимое упражнение не только российских либералов. Недоброжелателей хватает повсюду. Из их рядов раздаётся мнение: участь детей Маркса — кара “за его деяния”. “Порой казалось, что Маркс одержим демонами, — пишет один из английских его биографов Роберт Пейн. — У него было дьявольское видение мира и дьявольская же злоба”. В книге его американского коллеги Ричарда Уармбрэнда “Был ли Карл Маркс сатанистом?” указывается на возможность связей Маркса с некой заговорной сектой, а в числе доказательств приводится “манера носить густую бороду”. Всё это, конечно, вздор...

Знавший Маркса русский литературовед и мемуарист П. В. Анненков вспоминал: “Маркс представлял из себя тип человека, сложенного из энергии воли и несокрушимого убеждения... Маркс произвёл на меня впечатление не только редкого умственного превосходства, но и значительной личности”.

Отвечая на вопрос шуточной анкеты, составленной его дочерьми, — “Ваше представление о счастье” — Маркс ответил: “Борьба”. Упомянутый Поль Лафарг заметил: “К коммунистическим убеждениям Маркс пришёл не путем сентиментальных размышлений, хотя он глубоко сочувствовал страданиям рабочего класса, а путём изучения истории и политической экономики”. На пороге своего пятидесятилетия Маркс пишет своему другу Зигфриду Мейеру: “Я смеюсь над так называемыми “практичными” людьми и их премудростью. Если хочешь быть скотом, можно, конечно, повернуться спиной к мукам человечества и заботиться о своей собственной шкуре. Но считал бы себя поистине *непрактичным*, если бы подох, не закончив полностью своей книги хотя бы только в рукописи”. Речь шла о “Капитале”. Так Маркс понимал пракτικότητα. И как бы тяжела, а может, и трагична ни была его личная жизнь, он всё же был счастливым человеком. Как сказал кто-то: он сделал всё, что мог, остальное — дело человечества.

И, как признавал он сам, ничто человеческое ему не было чуждо. У Маркса имелся внебрачный сын от горничной Хелен Дельмут. Чтобы избежать скандала, Энгельс забрал ребёнка, сказав, что он его отец, и устроил в какой-то семье, которая воспитала его.

Триумф и канонизация

Хотя имя Маркса получило широкую известность при жизни, но подлинный триумф пришёл позже. К Энгельсу потянулись многочисленные его почитатели, в том числе и из России. Основателем русского марксизма стал вынужденный эмигрировать в Европу Георгий Плеханов. Он перевёл на русский язык “Манифест Коммунистической партии” и некоторые другие работы Маркса и Энгельса.

Среди вызвавшихся помогать Энгельсу в работе над рукописями Маркса были немецкие социал-демократы Эдуард Бернштейн и Карл Каутский. Круг революционно настроенных марксистов непрерывно расширялся. В Германии выдвинулись Роза Люксембург и Карл Либкнехт, в России — Ленин, Мартов и Троцкий. Среди них начались трения и борьба. Одни упрекали других в искажении учения Маркса. Появились обвинительные ярлыки: “реформист”, “ревизионист”, “оппортунист”, “рenegат” и др. Ещё при жизни Маркс, узнав, как его интерпретируют представители французской рабочей партии, заявил: “Ясно одно, что сам я не марксист”.

Особо острая борьба между сторонниками учения Маркса разгорелась в России. На II съезде РСДРП в 1903 году произошёл раскол на большевиков и меньшевиков. Маркс исходил из того, что социалистическая революция может произойти в наиболее развитых странах капитала, когда производительные силы достигнут чрезвычайно высокого уровня. Маркс неоднократно выступал против “казарменного коммунизма”, против скороспелых революций, способных лишь повернуть вспять колесо истории. На это постоянно ссылались Плеханов и Мартов. Ленин же полагал, что вследствие неравномерного развития капитализма в эпоху империализма революция может иметь успех и в его наиболее слабом звене, каковым считал Россию.

Мировая война обострила ситуацию, что привело к падению монархии в Российской империи, а затем и к Октябрьской революции. Реализация

социалистического проекта в “слабом звене” сопровождалась жестокостями и нарушением элементарных свобод, никак не вписывающихся в идейный арсенал Маркса. Последовавшее засилье партийно-государственной бюрократии прикрывалось знаменем марксизма и необходимостью защиты интересов рабочего класса и трудящихся от внешних и внутренних угроз.

Идеология в Советском Союзе разрасталась и усиливалась. Цитаты из тиражированных произведений Маркса превратились в скрижали. В учебных заведениях марксизм заменил Закон Божий, став вероучением. Маркса канонизировали. Не случайно многие марксисты являлись детьми прежних служителей культа. Например, известного академика К. В. Островитянова (автора учебника по политэкономии) иногда за глаза называли “дьяконом” — его отец был сельским священником.

После второй мировой войны триумфальное шествие продолжилось в масштабах мировой социалистической системы. Марксизм стал привлекателен и на периферии. Там появились страны “социалистической ориентации”. Да и капиталистический Запад, сделав уступки трудящемуся люду и впитав в себя ряд элементов планового хозяйства для смягчения кризисов, заметно социализировался.

Кризис

Непродуманная перестройка бюрократического режима в нашей стране привела в 90-х годах прошлого века к краху СССР и распаду мирового социализма. Вслед за огульным отрицанием всего советского прошлого был перечёркнут и марксизм. Под прикрытием деидеологизации взошла культура и пропаганда криминального и олигархического капитализма. Марксистские дисциплины исчезли из школьных и вузовских программ, а на смену им пришли западные учебники с противоположными установками. Многие из тех, кто вчера с пеной у рта исповедовал марксизм-ленинизм, внезапно “прозрели” и стали уверять, что они и прежде в глубине души думали совершенно иначе. Поредели и ряды компартий за рубежом. Бывшие партийные бонзы стали утверждать, что корень зла лежит в порочности самих идей Маркса. На Западе же возвестили, что история заканчивается на капитализме.

Когда обнаружилось, что реставрировавшие капитализм страны ничего не выиграли, а кризисы на Западе обрели глобальный и особо разрушительный характер, Маркс вновь вызвал повышенное внимание. Так, в разгар мирового экономического краха в 2008 года “Капитал” в ряде стран переиздавался массовыми тиражами, не успевая удовлетворять растущий спрос.

Актуальность

Основные идеи Маркса не могут изжить себя или умереть. Они вечны, как и открытия Архимеда, Коперника, Галилея или Джордано Бруно. Под флагом марксизма продолжают править лидеры Китая, Вьетнама, Кубы и КНДР. В ходе недавних выборов в президенты РФ среди восьми кандидатов было трое коммунистов или тех, кто тесно связан с ними.

Главные идеи учения Маркса подтверждаются и сегодня. Глобальный капитал продолжает эксплуатировать мир. “Оранжевые” революции на Ближнем Востоке и в Северной Африке, события на Украине и в Сирии свидетельствуют об агрессивных и неокOLONиалистских устремлениях Запада, особенно его англо-саксонского звена, что ставит человечество под угрозу Апокалипсиса. При этом особому нажиму подвергается Россия. Вашингтону и Лондону не нравится стремление нашей страны к саморазвитию и отходу от прежнего курса, закреплявшего её в качестве сырьевого придатка и рынка сбыта.

В связи с наложенными на нас санкциями клевреты олигархов стараются вывести их из-под удара. Они утверждают, что миллиардеры, де, не должны нести урон за просчёты политики, а национализация допустима лишь при “справедливой компенсации”, но никак не через “экспроприацию”. Почему-то забывается, что состояния олигархов коренятся в “залоговых аукционах” 90-х годов и прочих “прихвационных” способах отъёма бывшей общенародной собственности СССР. Вот уже в который раз речь идёт о национализации убытков с прицелом на дальнейшую приватизацию прибылей. Санкции, таким образом, бьют по интересам народа, а олигархи, как обычно, получа-

ют помощь и поддержку от близкого им правительства. Идеи Маркса, стало быть, подкрепляются и неопровержимыми фактами современной российской действительности.

Что устарело?

Мимо Маркса не могут пройти ведущие идеологи Запада. Так, в середине прошлого века знаменитый австро-американский экономист Йозеф Шумпетер признал: “В своём диагнозе Маркс ошибался относительно того, каким способом произойдёт крушение капиталистического общества; но он был прав, предсказывая, что со временем оно состоится”. Другой великий американский мыслитель, Джон Кеннет Гэлбрейт, не раз повторял, что “социализм навязывается обстоятельствами”, а в совместной книге-диалоге с выдающимся русским экономистом С. М. Меншиковым заявил: “Откровенно говоря, я считаю Маркса слишком крупной фигурой, чтобы целиком отдавать её вам, социалистам и коммунистам”.

Но значит ли это, что в теориях Маркса ничего не устарело или не требует пересмотра? Нет, конечно.

При Марксе в развитых странах Запада доминировал капитализм свободной конкуренции. На рубеже XIX и XX веков он превратился в монополистический капитализм, внешним выражением чего стал империализм — эпоха войн и передела мира. Маркс подмечал: “Страна, промышленно более развитая, показывает менее развитой стране лишь картину её собственного будущего”.

Теперь же дело изменилось. Используя на ранних этапах протекционизм страны-лидеры запрещают практиковать его другим, тормозя их развитие. Страны Латинской Америки никогда не станут такими же развитыми, как североамериканские, так как северяне этого не допустят. По выражению южнокорейского экономиста Чхан Ха Джуна, они “отбрасывают лестницу”, по которой сами забрались наверх, и таким образом блокируют развитие большинства стран.

Время показало, что практическое претворение в жизнь идеи “диктатуры пролетариата” чревато диктатурой отдельных личностей, попранием демократии и тоталитаризмом. Кроме того, со временем наиболее передовой и многочисленной прослойкой общества становится не пролетариат, а интеллигенция. Развивающиеся производительные силы всё больше нуждаются в интеллектуальном труде. Мировая практика показывает возможность мирной эволюции капитализма в направлении смешанного общества с развитой системой социальной защиты.

Просматривается утопичность представления Маркса о коммунизме как полном антиподе капитализма. У Гегеля, которым Маркс так увлекался в молодости, сказано: “Не голое отрицание, не скептическое отрицание... характерно и существенно в диалектике, которая, несомненно, содержит в себе элементы отрицания и притом как важнейший свой элемент, — нет, а отрицание как момент связи, как момент развития, с удержанием положительного”. Из этого неизбежно вытекает, что при строительстве нового общества не следует отбрасывать всё положительное, что было создано прежде, в том числе при капитализме. Однако эта идея не была унаследована Марксом, прокламировавшим антикапиталистический характер следующей общественной формации и возмечавшим классовую борьбу. А отсюда следовал сомнительный девиз о “разрушении до основания” прежнего общества и построении “нового мира” с нуля.

Дух и пепел

Современные марксисты периодически собираются на международных конференциях, обмениваются мнениями и информацией о текущих событиях. Но достаточно ли ограничиваться этим? Маркс говорил, что он заложил лишь краеугольные камни научного знания, которое надо развивать в разных направлениях. А вот этого-то как раз и недостает. Если практика — критерий истины, то разве не ею надо руководствоваться в первую очередь? И чему надо поклоняться — пеплу или духу учителя? И разве достойные последователи какого-либо учения не обязаны пересматривать устаревшие и не соответствующие фактам жизни прежние взгляды?

Главный плацдарм марксизма теперь переместился на Восток. В Китае он остаётся официальной идеологией правящей КПК. Студенты изучают его в университетах. При них и Китайской академии наук имеются марксистские центры, ведущие соответствующие исследования. Начавшиеся в Поднебесной 40 лет назад реформы бюрократического социализма, в отличие от нашей “перестройки”, привели полуторамиллиардный народ к большим успехам и переменам. Нынешнее общественное устройство страны характеризуется её руководством и ведущими теоретиками “социализмом с китайской спецификой”. Безупречна ли эта формулировка?

В Китае, несомненно, нашли социальную модель, способствующую на-более быстрому развитию производительных сил и отвечающую коренным интересам подавляющего большинства её народа. Если такая модель и есть социализм, то определение верное. Но всё дело в том, что в традиционном понимании в КНР ныне присутствует плодотворный симбиоз социализма с капитализмом, давно уже называемый в общественной науке конвергенцией. В таком интегральном обществе дело не может обходиться без серьёзных противоречий, ибо под одной крышей одновременно действуют разные законы и регуляторы: плановые и рыночные, социалистические и капиталистические. И не поступаются ли истиной те, кто называет эту комбинацию социализмом (пусть даже с китайской спецификой)? С тактической и политической точек зрения такую позицию можно понять. Но теоретически она уязвима.

С прежних марксистско-ленинских позиций такое общество не может быть долговечным, так как в нём, казалось бы, заложены непримиримые противоречия. Но практика показывает, что это возможно. Именно такой умело поддерживаемый баланс приводит в Китае к оптимальным результатам на протяжении четырёх десятилетий. Так же обстоит дело и во Вьетнаме. Но из этого следуют весьма важные выводы.

Интегральное общество

Непреложные факты новейшей истории указывают на необходимость сочетания социалистических и капиталистических начал, принципов планового и рыночного хозяйствования. Умелая их комбинация приводит к решению четырёх наиболее важных задач развития общества: высоким темпам экономического роста, социальной справедливости, развитию личности или человеческого потенциала, повышению духовной свободы граждан. Такая конвергенция или интеграция двух противоположных начал и социальных систем даёт достаточно оснований для утверждения о свершающемся переходе человечества к новой интегральной формации.

Тезис о “вечности” или “естественности” капитализма столь же далёк от действительности, сколь мнение об “искусственности” или рукотворности социализма. Обладая рядом неоспоримых преимуществ, обе системы вполне “объективны” и имеют место в истории человечества не случайно. Однако обе они внутренне противоречивы, неустойчивы и требуют взаимодействия, дополнения и поддержки. Именно поэтому наиболее быстрорастущие и гармонично развивающиеся страны как на Востоке, так и на Западе (к примеру, скандинавские страны) приняли интегральную систему за основу их жизнеустройства.

Этот вывод особенно важен для нашей страны, оказавшейся в итоге ошибочно проведённых реформ в системе координат бюрократическо-олигархического капитализма. Именно интегральное общество должно служить ориентиром для смены курса социального развития и оптимальной экономической политики. Маркс был прав, указав на социалистическую тенденцию развития человечества. Вместе с тем, симбиоз лучших черт капитализма и социализма в настоящее время становится наиболее перспективной ветвью общественного развития. Интегральное общество приходит на смену и капитализму, и чисто социалистической практике. Такая коррекция формационного подхода Маркса важна и для выработки новой идеологии нашего государства.

В человеческой природе социальные начала сосуществуют с эгоизмом. Адам Смит полагал, что с его помощью и с помощью “невидимой руки” рынка в качестве регулятора общество движется к идеальному состоянию. Маркс сделал акцент на другую сторону — социальную справедливость — и поставил во главу угла классовый аспект. История показывает, что необходимо

находить баланс и компромисс между двумя противоречивыми, но реальными сторонами природы человека. Этому же должна отвечать задача поиска оптимальной модели общежития.

Человек тысячелетия

По данным опроса общественного мнения, проведённого *BBC* через интернет в конце 1999 года, Карл Маркс признан величайшим мыслителем минувшего тысячелетия. Он опередил Альберта Эйнштейна с теорией относительности, Исаака Ньютона с законом всемирного тяготения, Чарльза Дарвина с его идеями о происхождении видов и человека. По этим же опросам Леонардо да Винчи – первый художник, а Уильям Шекспир лидирует среди писателей тысячелетия. Поскольку в Марксе ум сочетался с необыкновенной совестью и самопожертвованием, его с полным правом можно назвать и **человеком тысячелетия**.

Изучающая учебную литературу и программы ведущих вузов в мире исследовательская организации при Колумбийском университете в Нью-Йорке *Open Syllabus Project* установила, что работы Маркса занимают третье место в университетах Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии. При этом по цитированию он занимает первое место. Как пишет английская “Гардиан”: “Невероятный факт нашего времени с его экономическими катастрофами – возрождение интереса к Марксу и марксистскому учению. Объём продаж шедевра политэкономии Маркса “Капитал” постоянно увеличивается... как и “Манифеста Коммунистической партии” и “К критике политической экономии”... Возрождение интереса к марксизму, особенно среди молодых людей, вызвано тем, что он даёт инструменты для анализа капитализма, и особенно – капиталистических кризисов. Для молодёжи марксизм – незапятнанное учение, они не связывают его с ГУЛагом”.

У нас же бывшее обожествление Маркса сменилось преданием его анафеме. Его имя полностью исчезло из учебных программ вузов и университетов, а идеи замалчиваются. Доморощенные либералы и стоящие за ними столпы капитала сделали всё возможное для этого. Но не пора ли, наконец, и нам вернуть **человека тысячелетия** на достойное его место?

“ЖЕЛАЮ ВАШЕМУ ДЕЛУ БЕССМЕРТИЯ”

Отшумел писательский съезд. Итоги его противоречивы и вызывают много вопросов. Эти вопросы сформулированы Станиславом Юрьевичем Куняевым в статье “Съезд “победителей”, опубликованной в мартовском номере нашего журнала. Отклики на неё приходят до сих пор, три письма мы публикуем в этом номере. Но не противостоянием в писательском сообществе живёт современная литература. Она живёт только любовью читателей. И всякий раз с большой благодарностью к друзьям, что не забывают наш журнал, мы составляем подборку писем. Через эти письма, искренние, полные добра и заботы, беспокойства о нашем литературном деле, до нас доходит голос народа, который вовсе не безмолвствует в нынешнюю нелёгкую эпоху, когда издавать журнал становится всё труднее и труднее. Тем более важны такие слова из писем, обращённых к нашему главному редактору: “Станислав Юрьевич, Вы с журналом “Наш современник” буквально вдохнули в меня вторую жизнь... На Ваш журнал всех родных и знакомых подпишу...”. И верится после этого, что наше дело не пропадёт, не прекратится, что оно бессмертно, раз так желают наши друзья и помощники — наши дорогие читатели.

НАСТОЯЩИЙ ПОЛКОВНИК

Размышления о съезде писателей

Мы ехали на съезд писателей России, как на праздник! Двадцать лет царит разобщённость и деление на писательские удельные кланы. У нас отбieraют остатки собственности. Рухнула хорошо отлаженная система книгоиздания и государственной поддержки творческих союзов. Надо что-то менять!

Помещения Центрального Дома литераторов на Большой Никитской утратили былой лоск, но сохранили ностальгическую притягательность. Вот, тяжело ступая, поднимается по ступенькам в окружении свиты **Александр Проханов**, бывший наставник в Литинституте. Вот без свиты, в одиночестве прошёл седобородый **Владимир Крупин**, проводивший семинар на Всесоюзном совещании молодых писателей в Дубултах, автор замечательной повести “Живая вода”. Увидел в холле **Владимира Личутина**, вспомнил его многократно повторявшиеся монологи о просвещённом православном национализме великого русского народа, подкреплённые множеством достоверных фактов. Писатели шли усталой вереницей, пожилые и очень пожилые, и редким проблемском мелькало среди них молодое лицо.

Напористо и бойко огласил программу съезда председатель собрания **Николай Иванов** в ранге сопредседателя Правления Союза писателей России. **Станислав Куняев** попытался возразить, что негоже председателю собрания быть одновременно и кандидатом на пост председателя правления. Но голос его утонул в обычном окрике из динамиков. Дальше стало ещё интереснее. К трибуне съезда раз за разом выходили писатели из Иванова, Ростова-на-Дону, Чеченской Республики и говорили о великом писателе Николае

Иванове, о его славных делах на посту сопредседателя вместе с Валерием Ганичевым. О достижениях Союза писателей России в деле воспитания молодёжи. Тут же вручили группе молодых литераторов членские билеты и даже позволили прочитать одно пафосное стихотворение со сцены. У некоторых на глазах выступили слёзы. И не мудрено. В большинстве региональных отделений средний возраст писателей 60–70 лет.

Как всегда, великолепно выступил **Александр Проханов**, расчленил глобальные проблемы России и увязал их с необходимостью перемен в писательском сообществе. Предложил кандидатам на пост председателя правления молодого писателя **Сергея Шаргунова**. Зал ответил невнятным ропотом: молод ещё.

Широко известный творческой интеллигенции советник президента России **Владимир Ильич Толстой** взялся убеждать зал, что Шаргунов не только хороший писатель и яркий полемист, но и человек отзывчивый на просьбы своих избирателей, что он много ездит по России и готов оказать помощь творческим союзам в регионах, что у него имеется своя программа.

— Да он вам, видимо, родственник? — крикнул кто-то развязно из зала.

К сцене пробился молодой человек в растянутом джемпере и в микрофон громко зачитал фрагмент, выдернутый, как комок грязи, из произведения Сергея Шаргунова. Отрывок, тщательно подобранный заранее.

Далее этот спектакль двигался по хорошо подготовленному сценарию.

Редактор газеты “Российский писатель” **Николай Дорошенко** хвалил своего прямого начальника Николая Иванова — это понятно. Он удивил своими недопустимо злыми нападками на писателя Сергея Шаргунова, словно у редактора отбирали последний кусок хлеба. И ещё долго, сойдя со сцены, Дорошенко не мог успокоиться, выкрикивал что-то грубое, злое, и огонь праведного гнева полыхал в его глазах.

Я вспомнил последний наш приезд с **Анатолием Егиным** в Союз писателей России из-за того, что два года пролежали без ответа оформленные по всем правилам заявления волгоградских писателей в приёмную комиссию. А **Николай Дорошенко** и иже с ним, в ранге секретарей Союза писателей России, учили нас под водочку жизни, укоряли, что мы не умеем ладить с губернатором. Говорили о грандиозных планах. При этом в кабинетах и в коридорах царил серое уныние, а в сортире на втором этаже, куда я зашёл помыть руки, не было даже туалетной бумаги, зато лежала стопка газет “Российский писатель”. О чём говорить после этого, если вся грандиозная помощь волгоградскому региональному отделению писателей выразилась в выдаче дюжины членских билетов! О книгоиздании, литературных премиях, материальной помощи за двадцать лет — ни слова, ни намёка. Зато много красивых слов и обещаний, как и на очередном 15-м Съезде союза писателей России, которые звучали со сцены в зале ЦДЛ.

Старейший писатель России **Исхак Машбаш**, побывавший на всех предыдущих съездах писателей, неожиданно бодро поднялся со стула в президиуме и сказал внушительно, как это умеют горцы, что будет голосовать за молодость, за Шаргунова. Казалось бы, вот наступает переломный момент...

Но нет. Председателю собрания Николаю Иванову вместе с другими членами правления удалось провалить открытое голосование за кандидатов. Более того, предупредили, что фамилии всех, кто голосует против, занесут в протокол. Рядом в кресле сидел писатель, только что ратовавший за молодого энергичного Шаргунова, но после слов председателя его поднятая рука с нелепо-красным мандатом дрогнула. Опустилась вниз. Как и десятки других рук.

Стою, пью чай в буфете, а напротив с набором продуктов писатель умиляется и хвалит Николая Иванова: чай бесплатно и даже бутерброд с красной рыбой. А ещё красивый пакет с логотипом и ручка, которая, правда, не пишет. Но это не важно, главное, на съезд пригласили.

— А зачем вы советнику президента по вопросам культуры выступать мешали?

— А чтоб не зазнавался! Привели какого-то сопляка сорокалетнего и хотят сделать председателем. Он думает, если праправнук Толстого, так ему всё можно. А я, может быть, праправнук Чингисхана.

— Так этот “сопьяк”, как вы говорите, Сергей Шаргунов, — депутат Государственной Думы, интересный писатель. Людям помогает.

— Да не верю я этим депутатам.

— Но и Владимира Личутина перебивали выкриками с мест, особенно женщины.

— Кто такой Личутин? Не читал, не знаю.

— А Станислава Куняева почему захопали, затопали?

— Так он либерал перекрашенный. Я ему в журнал поэму послал патристическую о сталинских пятилетках, а он её не напечатал.

“Лучше бы не выступать Станиславу Юрьевичу за избрание Сергея Шаргунова, — подумалось мне, — таких обиженных на журнал “Наш современник” тысячи”.

Мы ехали на съезд в Москву за собственные деньги. Мы ждали перемени. Я даже написал обращение к съезду о проблемах книгоиздания в России, особенно в регионах. Глупец. Никому это не нужно.

Николай Иванов, как настоящий полковник, блестяще подготовил и провёл операцию по захвату кресла председателя Правления Союза писателей России и доказал, что глупость человеческая неискоренима.

Амбиции победили разум. Компромиссам нет места. Разобщённость писательских союзов, Литфонда, региональных отделений после этого только усилится. Но, похоже, многим на это наплевать! Зато рулить и получать награды ближайшие двадцать лет будет он — настоящий полковник.

Александр ЦУКАНОВ
Председатель правления Волгоградской
региональной организации Союза писателей России

* * *

Дорогая редакция “Нашего современника”!

Решила адресовать это письмо любимому журналу, так как Станислав Юрьевич от наших писем действительно устал, поделиться наболевшим необходимо, а проблемы, которые я затрагиваю, касаются в том числе и ситуации, сложившейся вокруг С. Ю. Куняева во время съезда, так что с некоторыми добрыми словами обращаться лично к нему, действительно, некорректно.

То, что главного редактора “Нашего современника” Станислава Юрьевича Куняева не избрали делегатом и оскорбили на прошедшем съезде СП России, лично меня, как и многих писателей, потрясло до глубины души. Я не стану говорить о том, что творится в МСПС и литфондах, поскольку никогда не обращалась в эти структуры и ничего об их работе не знаю, а значит, и писать не имею права. Но вот автором “Нашего современника” я являюсь без малого два десятилетия. До того, как обратилась в журнал, в литературе я практически не существовала. А “Наш современник” дал мне глоток воздуха, окрылённость, веру в себя, возможность продолжать писать в невозможных условиях. И это могут сказать о себе сотни русских писателей. В редакции журнала я всегда сталкивалась с абсолютным писательским профессионализмом и предельной человеческой порядочностью. С меня всегда требовали только качество текста. Но уж качество требовали неукоснительно. А потому бездоказательные обвинения в адрес С. Ю. Куняева, брошенные ему в пылу предвыборной борьбы, вызывают возмущение: такое, да ещё в письменном виде, можно говорить только после постановления суда. А ведь эти обвинения были брошены человеку, которому восемьдесят пять лет! Ещё поразил меня съезд какой-то внелитературностью происходящего. Прекрасно понимаю, что буду говорить вещи тривиальные и общеизвестные, но всё же хочу попытаться посмотреть на происходящее с точки зрения великой русской литературы.

С. Ю. Куняев — главный редактор журнала, на котором с 1989 года — почти тридцать лет! — держится русская литература. Но как-то пугающе странно стали у нас называть “прошлыми заслугами” тридцатилетнее стояние за русскую литературу. Этак к “прошлым заслугам” мы отнесём и выбросим за ненадобностью Пушкина и Лермонтова, Толстого и Достоевского, Распутина и Кузнецова. И противопоставим им заслуги собственные. Нет, слава Богу, “Наш современник” — это вечная история великой русской литературы. И все, знающие законы, по которым живёт русская литература, не сомневаются в том, что за спиной попросившего слова Станислава Куняева встал на съезде “Бессмертный полк” авторов его журнала — Леонид Леонов, Валентин Распутин, Василий Белов, Владимир Солоухин, Олег Волков, Юрий Кузнецов, Николай Тряпкин,

Вадим Кожинов, Илья Глазунов, Игорь Шафаревич, Леонид Бородин и ещё многие и многие, сумевшие подняться до высот русской классики и перейти из временного в вечное: за спиной редактора любого издания всегда встаёт его “литературная рать”. У них могли быть разные мнения о конкретной ситуации. Но в том, что никакая предвыборная борьба не может являться оправданием такого поведения по отношению к С. Ю. Куняеву, они были бы единодушны. Вот только избрали ли бы их делегатами съезда? Я не знаю ответа на этот вопрос. Ведь Куняев на съезде — не делегат, Проханов — не делегат, Личутин — не делегат, Лихоносов — не делегат, Костров — не делегат и так далее — по большому и прекрасному писательскому списку. Когда на один из съездов писателей СССР не избрали Тряпкина, Кузнецов встал и отдал ему свой делегатский мандат. Может быть, так же стоило поступить и сейчас? Забыли избрать на съезд — извинились и отдали свои мандаты Куняеву, Проханову, Личутину, Лихоносову, Кострову, Палиевскому. Скажете — фантастика? Но вот Лев Котюков, как и Юрий Кузнецов, прошедший когда-то прекрасную писательскую школу в семинаре С. С. Наровчатова, отреагировал мгновенно — встал и отдал свой мандат Сергею Шаргунову, потому что точно знал, как в таких ситуациях должны поступать русские поэты.

Что творится в союзах писателей последние тридцать лет — писателей, как правило, не касается. Многие из нас в союзы писателей почти не ходят, потому что не нужны. Реально литература держится на периодических изданиях. Поэтому главные редакторы писательских журналов и газет должны были выступать на съезде обязательно. Но слова не дали не только С. Ю. Куняеву — слова не дали ни В. Г. Бондаренко, ни В. В. Артёмову, ни В. В. Хатюшину, ни М. А. Замшеву, ни другим главным редакторам. Да и были ли они делегатами съезда? А ведь выживают периодические издания с большим трудом, люди работают в них за копейки и дело своё делают с великой любовью!

Один из самых животрепещущих вопросов. По статистическим данным съезда, члены СП России — люди в основном немолодые. 65%, а точнее, примерно 75% членов СП России — пенсионеры: 20% — от 51 до 60 лет; 45% — от 61 до 75 лет; 20% старше 75 лет. Таким образом, около 75% процентов писателей — люди, лишённые писательского стажа и в большинстве своём живущие за чертой бедности, на очень маленькие пенсии, так как занятия творчеством, как правило, зарабатыванию денег и получению хороших зарплат и пенсий не способствуют. Голосовали на съезде за две конкретные кандидатуры. Но получилось, что отказ съезда от сотрудничества с властью оставил 75% процентов писателей в безнадёжной ситуации полуголодного существования, а зачастую — голодного умирания. Вопрос этот всё-таки надо решать. Писателям необходима государственная поддержка. Профессия “писатель”, которой сейчас юридически в России нет, должна быть узаконена. И на уровне союза писателей государственная поддержка и финансирование тоже необходимы — без этого выжить трудно, практически невозможно.

Мне очень понравилось опубликованное в четвёртом номере “Нашего современника” письмо Дианы Кан. Выводы, которые я сделала давно и независимо от неё, полностью сходятся с её выводами. У нас происходит вытеснение писателей членами СП, практически ничего не пишущими, а точнее, пишущими на низком уровне. Но Союз писателей — союз профессиональный, а писателем имеет право называться человек, который создаёт произведения на определённом, достаточно высоком уровне. То, что за время правления Ганичева СП был фактически разрушен путём приёма в него людей, не соответствующих профессиональным требованиям, знают все. Действует и другой фактор — как и в начале XX века, после подъёма и богатого цветения литературы пошёл спад. “Постреволюционный синдром” — массовое падение образованности и культурного уровня. Выкосили писателей, как и тогда, только косили по-другому. Но число писателей множится! В Смоленске примерно 70 человек в СП России и примерно 30 человек в Союзе российских писателей. 100 человек на не такой уж и большой город! Ситуация не просто внелитературная. Она неуправляемая и внелитературная до такой степени, что объяснить, повлиять, просветить и т. д. — нельзя. Писателя, который заговорит о литературе, нынешние члены СП в большинстве своём просто не поймут — слишком многого они не знают. Хотя настоящие и просто хорошие писатели в Смоленске есть, и все они нуждаются в помощи. Менять членские билеты и пересматривать результаты приёма в СП России надо. Но вот тут-то

и заработает главная “молотилка”. “Членов СП” в союзе большинство, так что это они будут исключать из СП настоящих писателей, а не наоборот. И ни имя, ни публикации, ни талант, ни признание, ни голосование за Н. Ф. Иванова тут не спасут — в неуправляемой и внелитературной ситуации гарантий нет вообще ни у кого. Мне кажется, что над этой проблемой стоит серьёзно подумать, иначе перемены, которые должны привести к лучшему, приведут к беде.

Но съезд прошёл. Я понимаю, что проводился он в очень тяжёлых условиях, и люди, готовившие его, в свою очередь, могут обвинить меня в слишком уж литературном понимании происходящего. Что ж, всем нам надо преодолеть боль, обиды, непонимание и как-то жить дальше. Как и большинство писателей, я надеюсь, что дела в СП России наладятся, и желаю всем нам не конфронтации, а взаимопонимания, мира и добра. Сейчас Н. Ф. Иванова ввели в состав Палаты попечителей премии Кирилла и Мефодия. Я поздравляю с этим всех нас, ибо это поддержка, доверие и ободрение Русской Православной Церкви всем русским писателям, входящим в состав СП России. В связи с этим мне хотелось бы напомнить слова, сказанные патриархом Кириллом на заседании Палаты попечителей Патриаршей литературной премии 4 мая 2012 года. Я бы поместила эти слова на плакат и повесила в вестибюле СП на Комсомольском — руководством ко всей нашей жизни: “Но настоящие писатели и настоящие поэты, которые оставили след в истории нашей литературы, всегда в той или иной мере шли против течения. Пророк не может идти по течению, иначе он превращается просто в лодочника, который гребёт в ту сторону, куда легче плыть. У пророка всегда должно присутствовать мужество, в том числе идти против течения, возвещая Божию правду. И если эта правда провозглашается через художественную литературу, то не меньше ответственности на том, кто несёт это слово своим ближним”. Это глубинная суть писательской природы — закон, который обязаны выполнять все мы. Поэтому хотелось бы пожелать всем нам, чтобы мы помнили об этом и с уважением относились друг к другу и к мнениям других людей, даже если они не совпадают с нашими. А ещё хотелось бы пожелать всем нам, чтобы мы помнили, что писатель — это не звания, не премии, не издания, не членство в писательском союзе, а ПРОИЗВЕДЕНИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ, и в своей писательской жизни исходили бы из этого. Вот тогда и будет у нас настоящий Союз писателей России — прекрасная и негибкая писательская вольница, где каждый во имя правды гребёт против течения, и никто не хочет быть простым лодочником.

Наталья ЕГОРОВА,
поэт, член СП России

РАЗЪЕЗД “ПОБЕДИТЕЛЕЙ”

Будучи на съезде писателей гостем, я задал вопрос кандидатам в председатели Союза: “Где деньги?!” Откуда возьмутся они для дальнейшего содержания оставшейся недвижимости Союза, да и на плачевные зарплаты тем, кто работает в этой “недвижимости”?

Николай Иванов пространно страдал о том, как их пытаются турнуть и хитростью, и нет из последнего имеющегося помещения. Сергей Шаргунов делово показал возможность найти эти деньги у государства и готов был постараться направить их на наше союзное дело.

Но это не помогло. Выбрали председателем Николая Иванова. Волгоградец, член Союза писателей Александр Лепешенко бывал в Челябинске, видел, как челябинский союз ютится в двух комнатках, оставшихся от золотых времён СССР. Но это не дало личного опыта челябинцам для дальнейшего, теперь уже очень жалкого существования, каковое они готовы терпеть, чего и Москве желают.

А вот у нас в Волгограде в девяностые и нулевые председателем был Владимир Овчинцев, он и во власти служил. Благодаря ему мы до сих пор живём в просторном помещении.

Василий СТРУЖ
г. Волгоград

“МЫ ПОСТАРАЕМСЯ ВЛОЖИТЬ ВСЮ СВОЮ ЛЮБОВЬ К НАШЕЙ РОДИНЕ...”

Здравствуйте, дорогой и уважаемый Станислав Юрьевич!

В канун Крещения Господня, 18 января, сидел перед телевизором и слушал новости. Диктор объявил, что с 18 января 1943 года началось снятие блокады Ленинграда! Дата! 75 лет назад! Начало Сталинградской битвы датируется семнадцатым июля 1942 года, но закрепилось в истории восемнадцатым. А ровно шесть месяцев спустя, 18 января 1943, начался прорыв блокады Ленинграда. Мистика? Нет, возмездие за попранную государственность, что случилось 18 июля 1918 года, когда расстреляли последнего русского императора и всю его семью. Закончилась блокада Ленинграда 27 января 1944 года, на 27-ю годовщину Февральской революции в России и падения монархии. И тут получается своеобразная мистика.

По телевидению показали надпись: **“БЛОКАДА”**, — на каком-то транспаранте. Слово было написано несколько раз, но вторая запись получилась с изломом, и читалось на транспаранте так: **“БЛОК АДА”**. Тут же подумалось: справедливо! Так и было — **Блок Ада**. И как-то само собой сложилось:

*Блокада, блокада, блокада!
Рубеж, оборона, осада —
Блок Ада, блок Ада, блок Ада!
Врагами всего Ленинграда...*

В электронной версии журнала “Наш современник” (рубрика “Слово читателя”) — материал: “*Вы строите дом с названием Россия*”, и в нём читаю письмо Галины Старковой из села Пыщуг Костромской области. В письме Галина привела пример весьма значимый, как во время войны колхозные крестьяне работали под девизом: “*Всё для фронта, всё для победы!*” — и приводит количество колхозов Пыщугского района на ту пору: “... было 65 (сейчас ни одного)...”! И ещё: приведён факт, свидетельствующий об уровне сознания детей той военной поры, учащихся первого класса Пыщугской средней школы, которые “активно начали сбор средств на постройку танка “Таня”. И фамилии: “Виноградова Вера, Сухарева Галя, Дрожников Володя, **Куняев Станислав**, Преображенский Володя...”

Я войны не знаю — родился после войны. Мой отец — Остап Семёнович, 1925 года рождения — ушёл на фронт в 1944 году после присоединения Северной Буковины к Советскому Союзу — к Украинской ССР. В первом бою под Ригой попал в плен, побывал в трёх концлагерях. При освобождении из плена был комиссован из-за непригодности к дальнейшей службе по состоянию здоровья, был инвалидом первой группы. В 1962 году его не стало.

Но я хорошо помню своё послевоенное голодное детство! Рук не хватало для восстановления разрушенного войной жизненного пространства. Это было на всей территории Советского Союза. Это было уже после войны, когда, несмотря на разруху войной экономики, цены к праздникам снижались!

А это уже из “Комментария главного редактора” к письму: “... эти скупые строки из пыщугской газеты 1942 года, которые написала наша учительница и классный руководитель Нонна Петровна Чечурова: “Учащиеся 1 класса Пыщугской средней школы по призыву учащихся других классов решили собрать на постройку самолёта “Пионер” по два рубля с каждого. Первыми в сбор денег включились те школьники, которые учатся на “хорошо” и “отлично”. Галя Сухарева, отец которой находится на фронте, внесла 10 рублей, Володя Червяков внёс 4 рубля и Володя Дрожников — 6 рублей. По 5 рублей принесли Станислав Куняев и Виноградова Вера. Их примеру последовали другие учащиеся. Всего собрано 43 рубля”.

На самолёт детям собрано сорок три рубля... Это и было основой той Великой Победы, за которую стоял весь народ от мала до велика, там, где “и поле широко, и небо высоко” (Ю. П. Кузнецов).

А это из обращения главного редактора журнала “Наш современник”: “... мы постараемся вложить... все свои способности, весь свой опыт, всю свою любовь к нашей Родине, о которой великий Пушкин, основатель журнала “Современник”, сказал: “Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог её дал” (№ 11, 2017).

Потому и отстояли большой ценой и Москву, и Сталинград с пленением целой вражеской армии, и Ленинград, несмотря на вражескую длительную осаду и жестоко свирепствовавший голод, уносящий жизни от мала до велика. А посему: “Живи и здравствуй, родина... Многая лета! В годы мира и в годы войны...”

От всей души желаю Вам тепла и чистой крещенской воды!

А. О. ШЕРНИК,
кандидат технических наук
г. Алматы, Казахстан

“Я СЧАСТЛИВ, ЧТО ЯВЛЯЮСЬ ВАШИМ СОВРЕМЕННОМ”

Многоуважаемый Станислав Юрьевич!

Примите мои сердечные поздравления с Вашим юбилеем. Ещё и ещё раз, мысленно пробегая по страницам Вашей талантливой книги “Жрецы и жертвы Холокоста”, всё больше и больше восхищаюсь Вашим бесстрашием и мужеством в критических ситуациях духовной брани. Как тут не вспомнить строки А. С. Пушкина из его “Песни о вещем Олеге”: “Волхвы не бояться могучих владык, // А княжеский дар им не нужен; Правдив и свободен их вещий язык // И с волей небесною дружен”. — Эти слова, по сути, звучат рефреном к летописи Вашей жизни.

Я счастлив, что являюсь Вашим современником, хожу в атаки вместе с поднимаемыми и духовно окормляемыми соратниками за Великороссию и Великих Россов! Господи! Умножь число счастливых и радостных дней русскому жрецу и воителю Станиславу! Не оставь его без щита, кольчуги и шлема ни на секунточку, сохрани и умножь его чад — вождей великороссов!

Желаю Вам, Станислав Юрьевич, много светлых дней, а Вашему делу — бессмертия.

С искренними чувствами и признательностью

Юрий Игнатьевич ШУРМАНОВ
д. Малая Будница-Пустынька
Невельского района Псковской области

“РАЗРЕШИТЕ ИСПОЛНИТЬ ВАШИ СТИХИ...”

Станислав Юрьевич, здравствуйте!

Пишет Вам читатель журнала “Наш современник”. Из первого номера за этот год узнал, что Вам исполнилось 85 лет! Разрешите и мне присоединиться к многочисленным поздравлениям. Разрешите пожелать Вам здоровья ума, души и тела.

Книга “Высшая воля”, высланная Вами на мой адрес, открыла мне глаза на историческое прошлое Советской России.

21 апреля ежегодно в России проводится библиотечный вечер. Нас ежегодно приглашают в Пономарёвский Дом культуры, в читальный зал, где собираются читатели-книголюбцы разных возрастов.

Работницы библиотеки узнали, что я перекладываю на музыку и исполнение под гитару стихи русских поэтов, хотя сам я не русский по национальности, а волжско-уральский татарин, можно сказать, абorigен этих мест. Я помню, что мои предки происходили из Булгарского государства.

Музыкального образования у меня нет, научила играть на гитаре одна бабушка ещё в 1972 году, в Узбекской ССР, в зоне освоения голодных земель в Сырдарьинской степи. Бабушка одинокая, вероятно, из числа высланных, как и мой отец, участник Великой Отечественной войны, высланный из Башкирской АССР ещё в 1930 году вместе с его отцом.

Помня об авторском праве, прошу Вас разрешить исполнение Ваших стихов об Арбате, о солдате в церкви и других.

С уважением,
Табриз Шамилович АГЛЯМОВ
с. Пономарёвка Пономарёвского района Оренбургской области

“НА ВАШ ЖУРНАЛ ВСЕХ РОДНЫХ И ЗНАКОМЫХ ПОДПИШУ”

Дорогой Станислав Юрьевич!

Огромное спасибо за письмо, написанное Вашей рукой! Очень признательна и хотела бы поместить его в рамку и повесить на стенку. Так и сделаю. Пусть все: и дети, и внуки — читают и учатся благородству. Как Вы ещё нашли время собственноручно написать мне письмо!

Станислав Юрьевич, я бы никогда не посмела просить Вас помочь написать рассказ или повесть моему дорогому другу Звездову Станиславу Александровичу, члену экипажа подводной лодки Маринеско. Речь идёт, прежде всего, о возможной встрече в рамках Вашего журнала (творческий вечер или что-то подобное), где бы мы могли послушать Вас, пообщаться. Станислав Александрович, кстати, встречался в молодости с Вами на Камчатке, где он работал геологом. А также он хотел найти публикацию в журнале о Маринеско. Кто писал?

Несколько слов о Станиславе Александровиче. 23 февраля ему исполнилось 90 лет, но он очень деятельный и обязательный человек, у него отличная память. Вот как он рассказывает о Великой Отечественной войне: “На фронт сначала ушёл отец, потом мама. Я же закончил мореходку, и в 17 лет меня взяли на подлодку С-13 гидроакустиком. Наша семья с трёх сторон была фашистов. Я воевал на Балтийском море. Домой вернулись все”.

Станислав Юрьевич! Ещё хочу поздравить всех нас с тем, что у нас в стране появился настоящий большой писатель — Михаил Тарковский. Я тут две недели лежала в больнице и читала в “Нашем современнике” повесть М. Тарковского “Полёт совы” в № 8 за 2016 год. Такой язык, такие образы!

Станислав Юрьевич, Вы с журналом “Наш современник” буквально вдохнули в меня вторую жизнь, это в мои годы необыкновенно!

Ещё раз спасибо за письмо, прошу, если будет проходить какая-то встреча с Вами, чтобы сообщили мне. Мы со Станиславом Александровичем приедем. Вот это будет праздник для нас! На Ваш журнал всех родных и знакомых подпишу. У меня их не меньше десяти.

До свиданья.

Александра Дмитриевна СУХОВА
г. Москва

ЧТО СКАЗАЛИ БЫ УШЕДШИЕ УКРАИНСКИЕ ПИСАТЕЛИ?

Уважаемая редакция!

Пишу вам накануне Всемирного дня книги и авторских прав, что отмечается 23 апреля. Перед очередными весенними ремонтными работами в квартире решил навести порядок в своей библиотеке. За последние годы собралось столько книг, находящихся в беспорядочном состоянии, что потребуется не один день для их сортировки на стеллажах.

Большую помощь в пополнении домашнего книгохранилища оказал городской буккроссинг (свободный обмен книг в библиотеках). Какие только ценные издания не приносят туда горожане! Видно, что многие поколения собирали как подписные книги, так и макулатурные однотомники. Но, видимо, дедушки и бабушки, а затем и родители ушли из жизни, оставив своим наследникам то самое дорогое, что ценилось в их жизни, а нынешним хозяевам их квартир это духовное богатство не понадобилось. Компьютер и интернет заменили чтение книг и подписку на периодику. А ведь стоимость печатной продукции в тогдашние времена была немаленькая. К тому же, для того, чтобы приобрести то или иное сочинение советского классика, необходимо было, как минимум, сдать 20 кг макулатуры, на талон в книжном магазине с “нагрузкой” взять ненужную тебе печатную продукцию, которая порой в 1,5–2 раза превышала своей стоимостью нужный товар.

Ценю все книги. Но особенно мне дороги советские издания 50-х — начала 90-х годов прошлого века. Их не стыдно брать в руки. Там не найдёшь пошлости, вульгарности, матерщины, отсутствия художественного вкуса. Хотя и говорят, что тогда существовала цензура (не возражаю), но это был своего

рода заслон, который не давал читателю, особенно подрастающему поколению, “наслаждаться” убийствами, драками, сексуальными извращениями...

У нас существовала одна из лучших редакторских школ мира. А сейчас — посмотрите на “грамотность” некоторых книг современных авторов. Не то что редакторы, а даже корректоры уже не принимают участия в выпуске книжной продукции! Экономят на всём.

Отдельно несколько полок, наряду с шахтёрской тематикой, занимают произведения современных украинских писателей. Многие из них стали классиками братского народа, оставили яркую страницу в истории советской литературы. В 70-е годы я часто бывал на творческих вечерах в украинском Доме литераторов. Со многими писателями встречался, вёл переписку, писал отзывы на их произведения, подготавливал статьи к их юбилейным датам. У меня хранится несколько папок переписки с Дмитрием Белоусом, Анатолием Димаровым, Олексой Ющенко, Натальей Околитенко, Даниилом Кулиняком, Евгением Васильченко, Иосифом Дудкой и другими. Когда некоторые мои украинские коллеги по перу ушли из жизни, я продолжал переписку с их вдовами, детьми и обмен книгами. В настоящее время работаю над книгой воспоминаний о деятелях литературы и искусства. В ней обязательно будут страницы, посвящённые и моим незабываемым землякам, которые оставили добрый след в моей памяти.

Бережно снимаю с полки пятитомное собрание сочинений лауреата Ленинской и Государственной премий Михаила Стельмаха. Просматриваю перечень опубликованных произведений. Это знаменитые его романы “Большая родня”, “Кровь людская — не водица”, “Хлеб и соль”, “Четыре брода”, а также повести “Гуси-лебеди летят...” и “Щедрый вечер”.

Это дорогие для меня книги. По некоторым его произведениям писал не только пересказы, но и сочинения в выпускном десятом классе Волковской средней школы, что на Слобожанщине.

Как и у Михайло Стельмаха, у большинства авторов, чьи книги хранятся в моей домашней библиотеке, главной темой была война 1941–1945 годов и послевоенная жизнь украинской деревни.

По несколько раз перечитаны произведения Олеся Гончара, Петра Панча, Василия Земляка, Василия Козаченко, Василия Кучера, Вадима Собка, Ивана Цюпы, Павла Загребельного, Александра Сизоненко, Павла Автомонова, Юрия Збанацкого, Леонида Первомайского и других. Подавляющее большинство их книг посвящено мужеству и героизму советских воинов в годы Великой Отечественной войны. Переводы на русский язык издавались огромными тиражами. Творчество многих моих земляков было известно далеко за пределами Советского Союза.

То поколение украинских писателей гордилось тем, что жили в огромной и братской стране. На встречах в читательских аудиториях литераторы — участники Великой Отечественной войны — рассказывали о своём вкладе в разгром немецко-фашистских захватчиков.

А что ныне? Прошло много времени. Наверное, в Украине уже не осталось живых писателей-фронтовиков. Думаю, что они не могли бы поверить в то, что ныне происходит в бывшей братской Украине, где власть захватили бандеровцы. Они ездят по стране, обманывают население, внушая всякую ересь о “российской угрозе”.

После развала СССР прошло достаточно времени, но читатели так и не увидели новых произведений украинских писателей. Возможно, в новой Украине что-то издаётся, но, “благодаря” бандеровцам, мы не имеем возможности об этом узнать. Писателям Украины закрыт доступ к своим российским коллегам. Мне только известно одно произведение последнего времени, переведённое на русский язык. Это роман... “Полевые исследования украинского секса” Оксаны Забужко. Что тут скажешь...

Мне кажется, что в ближайшие десятилетия вряд ли будут переизданы произведения как вышеназванных писателей, так и сотен других украинских мастеров культуры, честно и объективно создававших литературный процесс в стране. Смотрю на полку их произведений и радуюсь, что у нас **была великая украинская литература**, которая занимала почётное место в многонациональной советской культуре. Смотрю и одновременно грущу, что такое уже не повторится. С уходом этих писателей исчезла целая эпоха. Что бы сказали

они, увидев происходящее в Украине? Думаю, не одобрили бы порошковскую политику травли братского народа, притеснения русской культуры, запрета на общение на родных языках национальным меньшинствам.

С уважением,
Николай НИЧИК,
член Союза писателей России
г. Новокузнецк Кемеровской области

“КОГДА БЫЛА ЕДИНАЯ СТРАНА...”

Уважаемый работники редакции журнала “Наш современник”!

Благодарна вам за вашу работу. Крепкого вам здоровья, творческих успехов и благополучия! Я в течение многих лет являюсь читательницей “Нашего современника”. Для меня он духовная и душевная пища. С интересом прочитала все материалы первого номера за этот год. Многие из них перечитывала, переосмысливала, вникала в суть. С глубоким интересом читаю продолжение труда С. Ю. Куняева “Дневник третьего тысячелетия”. Очень благодарна писателю. Дай Бог ему сил, здоровья, новых произведений, которые нам нужны. Они помогают многое понять, оценить самих себя, выработать правильные ориентиры.

Взволновала и побудила меня высказаться статья А. Тарасова “Поэт пошёл за хлебом”, насыщенная глубокими переживаниями и наблюдениями. Читала её с болью, перечитывала с горечью и сожалением.

Я родилась в Ашхабаде, большую часть жизни прожила там, работала в академическом издательстве, уехала в Россию в 1994 году. Многие фамилии людей, упоминаемые автором, до сих пор хранятся в моей памяти, ведь я их видела, читала их статьи, стихи в газетах “Комсомолец Туркменистана”, “Туркменская искра”, журналах. Скорблю по поводу трагической гибели поэта Вадима Зубарева. Статья А. Тарасова для меня — это картина из прошлого и настоящего моей прежней родины, которую хочу посетить и бесплодно обивая пороги консульства.

Передайте автору статьи, если это возможно, слова благодарности.

Галина Петровна КРИВОРОТОВА
Московская область, пос. Горки

“НАМ НУЖНА РУССКАЯ ЗАЩИТА”

Уважаемая редакция!

Проблемы, связанные с воспитанием, кажутся мне важнейшими для развития нашей страны. Об этом я и хочу поговорить в своём письме.

Наверно, не будет большой ошибкой предположить, что решение важных общественных, даже общегосударственных проблем потребует соответствующего формирования личности, **воспитания человека**, человека нравственного и, соответственно, переоценки некоторых прежних “перестроечных” мировоззренческих установок в сфере образования.

Любой здравомыслящий гражданин России, особенно педагог, учитель, должен постоянно держать в поле зрения вопросы воспитания и не может не реагировать на те обвальные процессы в практической (а отчасти и теоретической) педагогике, которые мы имеем на данный момент.

К сожалению, именно к такому заключению приводит наблюдаемая сейчас общая картина российской педагогической культуры и культуры вообще: **развал системы образования, запустение воспитания; бесконечные новации в высшей и средней школах с реверансами в сторону Запада; вестернизация культуры; вседозволенность, упор на “права” в ущерб обязанностям; культ потребительства, наживы и секса; пьянство и наркомания; распад семьи, стирание чувства матери, ответственности отца; ложь о рынке, о “капитализме” в России и многое другое.**

Небольшой характерный пример. В конце 2004 года кронштадтской “Морской газете” удалось получить интервью у “главного приватизатора” А. Чубайса.

Суть его “гениальных” высказываний состояла в том, что люди просто не поняли, какое благо дала им его команда, сделав выбор между “бандитским коммунизмом” и “бандитским капитализмом” (!) в пользу последнего. А на вопрос корреспондента, как это соотносится с русским менталитетом и, в частности, с мировоззрением Ф. М. Достоевского, Чубайс заявил: **“Я испытываю почти физическую ненависть к этому человеку. Он, безусловно, гений, но его представление о русских как об избранном, святом народе, его культ страдания и тот ложный выбор, который он предлагает, вызывают у меня желание разорвать его на куски”**. Ну, в общем, по смыслу почти точное повторение известной фразы идеолога нацизма Геббельса: **“Когда я слышу слово “культура”, я хватаюсь за пистолет”**.

Понятно, что в этих словах содержится гораздо больше информации, чем просто сведения о литературных предпочтениях субъекта, в этом ответе — идеология и самохарактеристика современных российских (а точнее — космополитических) олигархов: *нравственный выбор Достоевского им не нравится, сами же они охотно выбирают нужную им форму бандитизма*. Подобный феномен “чубайсов” — это продукт воспитания и самовоспитания такой вот новой генерации функционеров, и с этим фактом приходится считаться. Ведь процесс формирования личности идёт постоянно, и нам нельзя быть просто статистами, важно исследовать, **кто и что** воспитывает, **кого** воспитывает, **какого знака** это воспитание, и на твёрдой духовно-научной базе дать свои рекомендации и другим, и для самим себе.

Многие современные книги, публикации, средства массовой информации старательно навязывают нам лживые матрицы сознания, например, такие: *мы долго были иждивенцами, а надо самим крутиться; рынок решит все проблемы; свобода любой ценой; права прежде всего; общечеловеческие ценности превыше всего* и другая подобная болтология. Конечно, такую “музыку” заказывает тот, кто платит, то есть **имеет деньги и стоит у власти — высокопоставленные иждивенцы, живущие на всём готовом**. А время сейчас такое, что власть обслуживает, в основном, либерально-демократическую, воровскую и вообще криминальную капиталократию, прикрываясь лишь на словах и только в период выборной кампании якобы заботами о народе. Постоянно наблюдается трагический разлад между словами и делами. Причина проста, о ней ещё в середине XX века говорил И. А. Ильин: “Если бы надо было выразить и закрепить одним словом сущность современной мировой смуты, то я произнёс бы слово *продажность*. Чем больше эта смута укрепляется и укореняется, тем более люди отвыкают от служения и тем чаще и беззастенчивее они помышляют о добыче”.

Такое положение не может не оказывать сильного влияния на формирование нравственного чувства людей, особенно молодых. И они, действительно, вырастают в координатах лжи, потребительства, жёсткого соперничества и культового примитива, сводящегося, в основном, к удобствам и комфорту, — достаточно лишь вспомнить манеры и сленг так называемых “новых русских”. Потребительство всегда сопряжено с жадой богатств и влияния (власти) — любой нравственной ценой. Соперничество, конкуренция порождают жестокость и бездушие; насилие и несправедливость становятся нормой жизни современного индивида. Жизненные удобства и комфорт сводятся к чрезмерному и изощрённому удовлетворению простейших естественных потребностей. Таким образом, возникает **устойчивая система антивоспитания**, нравственного одичания, бездуховности. А это значит, что в среде так называемой “элиты” зреет раковая опухоль самоуничтожения, потому что накопленные и наворованные деньги, материальные богатства и удобства несут в себе страшный заряд антинравственности, который непременно сработает (и уже срабатывает!) в них самих, в их детях и внуках.

Но если бы процесс самоуничтожения замыкался только на криминальной “элите” и не пускал дальше зловещих ростков! Гораздо хуже то, что порок заразителен, и мнимое благоденствие “богатых” служит мощным разлагающим примером и развращающим фактором для остальных. Кому-то из этих остальных удаётся перескочить в разряд “богатых” под фанфары лживого самооправдания-клише: **“первичное накопление капитала всегда преступно”**; большинство же терпит крах, копя раздражение, злобу и зависть. Основная причина бегства многих наших современников в царство алкогольных и наркотических иллюзий — это размытость нравственных ориентиров, духовная опустошённость, потеря смысла жизни.

Богатый криминалитет относительно устойчив, он не так прост и наивен, его обслуживают и свои интеллектуалы, и свои идеологи. Нередко имеет место и коррупционное сращивание криминалитета с властными структурами.

С одной стороны, и это известно, олигархи могут прикрываться и благотворительностью, и жертвованиями. Например, некоторые из них открывают клиники, строят церкви, жертвуют на приюты. Но ведь “церковь не в брёвнах, а в рёбрах”, и никакие “отмывания” нечистых денег не покроют страшный нравственный вред несправедливого богатства и духовного убожества.

С другой стороны, в этой среде тоже действуют своеобразные “моральные” законы, подобные неписаным правилам уголовной зоны. Эти так называемые “правила игры” достаточно жёсткие, они направлены на самоподдержание системы “элитного” криминалитета методами насилия, примера и подкупа. В дополнение к этим методам идеологи и СМИ денежной “элиты” имеют в своём распоряжении широкий ассортимент информационного оружия и технологий управления сознанием, навязывания нужного мнения.

Для правильной расстановки акцентов в деле воспитания нам нужна сильная духовно-информационная защита — **Русская защита**. А для этого нам необходимо ориентироваться в современных российских (точнее, в большинстве — антироссийских) информационных потоках. Анализ их психологического воздействия позволяет выделить такие разрушающие факторы влияния на сознание человека, как **эффект полуправды**, когда ложь смешивается с правдой; **эффект “множественности” правды**, выхватывания частичной, конъюнктурной информации: обычно людей интересует правда приятная, правда выгодная, правда удобная, но не **истинная правда**; **эффект умолчания и смещения акцентов**, преднамеренные искажения, когда ненужные сведения подчёркиваются, а нужные уходят в тень, замалчиваются или подаются в неверном свете, в лживой окраске (например, не **Великая Победа**, а “окончание войны”; не бандиты и убийцы, а “боевики” и “повстанцы”) и множество других “эффектов”, размывающих наше сознание и память.

Социальный эффект антивоспитания имеют и другие стороны жизни, в частности, проблемы экономики. В государственном секторе при этом процветает безответственность и коррупция, а в частном — конструктивное чувство хозяина сменяется эгоистическим и статичным чувством владельца, производство сворачивается, спекуляция процветает. И в обоих случаях застой, беззакония и воровство портят не только администраторов, но и самих работников, лишая их смысла работы, творческого применения сил, унижая человеческое достоинство и, в конечном счёте, разрушая их нравственное отношение к труду и коллективу.

В таких условиях в народе чаще всего срабатывает психологический механизм воспоминания, сравнения и сопоставления с недавним прошлым, и многим людям, особенно старшего поколения, кажется идеальным то, что было на их памяти при социалистическом строе в существовавшем тогда Советском Союзе. Действительно, вспоминается много хорошего и стабильного, но при этом затушёвываются недостатки и отрицательные стороны тогдашней жизни, память идеализирует прошлое, и кажется, что достаточно вернуться к прежней системе коммунистических ценностей — и все проблемы современности будут решены. Но при этом упускается из вида, что многие болезни настоящего происходят именно из того прошлого.

Другая часть людей с удовольствием слушает, как либерально-демократические глашатаи призывают к западному образу жизни и соответствующим “общечеловеческим” ценностям, сводящимся в итоге к денежному эквиваленту, погоне за комфортом и ровной слежке всех за всеми.

Некоторые даже мечтают к возврату в древние языческие времена и к ведическому культу верований. По их мнению, именно тогда существовала целостная система знаний о природе и человеке. Однако надо всё же трезво заметить, что в таких мнениях преобладает романтическое, неглубокое отношение к язычеству, потому что серьёзные историко-этнографические исследования говорят совсем о другом. Например, по отношению к членам чужих общин древние не ведали, как правило, вообще никаких моральных императивов, потому что иноплеменник однозначно воспринимался как враг и зачастую просто... съедался. Конечно, человеческое сострадание находило себе место и в языческой среде, но духовный тип дохристианского общества не предполагал какой-либо нравственной связи между представителями различных культурно-гражданских объединений. Нормами языческой эпохи в случае войны

предписывалось и практиковалось полное уничтожение побеждённого народа или изгнание его со своей земли и обращение в рабство. Древние люди вели войны не только против вооружённых сил противника, но против всего народа, его богов, храмов, священных мест и сельскохозяйственных угодий.

Кроме того, и это очень важно, основным в идеологии язычества является признание существующих на равных доброго и злого начал, и этот постулат часто служит оправданию зла, признанию его “авторитета”, неизбежности и даже привлекательности некоторых его форм.

Однако стоит вспомнить, что примеры высочайшей сознательности, благородства, подвижничества, жертвенности, чувства долга и ответственности известны с глубокой древности до наших дней и **никак не зависят от социально-экономического строя и его идеологической надстройки.**

“Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя” — это сказано ещё в рабовладельческую пору.

Святые Александр Невский, Сергей Радонежский и Дмитрий Донской своими подвигами, мудростью и героизмом украшали и просвещали феодальную Русь.

И в капиталистической России известны случаи массового героизма, хотя бы при обороне Севастополя в Крымскую войну, Порт-Артура в Японскую, в Цусимском сражении, при Брусилловском прорыве, взятии Эрзерума, обороне крепости Осовец и многие другие.

Социалистическая страница истории страны также хранит множество примеров беззаветной любви к Родине, героизма и в бою, и в труде.

И сквозь все эпохи золотой нитью проходит череда великих русских святых. Всё это говорит о том, что моральные ценности непреходящи и не зависят от той или иной общественно-экономической формации. Следовательно, **и процесс воспитания и образования также развёртывается в метаисторическом плане**, хотя и на конкретном историческом фоне, поэтому систему нравственных ценностей нам следует искать не в каком-то определённом социально-экономическом строе, а в национально-духовной традиции России, основа которой, как известно, — Православие, приятно это кому-то или неприятно. **Православие — это тысячелетнее верование большинства населения России.** Митрополит Иоанн (Снычёв) писал, что “патриоты”, клянущиеся в любви к России-матушке и одновременно отвергающие Православие, любят какую-то другую страну, которую они сами себе выдумали, удобную лишь для их спекулятивных идеологических построений.

Разумеется, основы Православия реализуются, воплощаются в реальной жизни и в конкретных условиях, как и сам Спаситель пришёл в этот мир в том облике и с теми словами, которые были естественны и понятны окружающим. Так же и те люди, которые берут на себя тяжкий крест современного воспитания, должны православным духом напитать всё то положительное, что дала нам история родной земли, здесь необходим **духовный синтез.**

Например, из нашей языческой древности можно взять то, что не противоречит христианству, например, общинно-родовую близость, неразрывность с природой, трепетное отношение к среде обитания — земле, воздуху и воде, — доверие им и сыновнюю заботу.

Из православной Древней Руси необходимо позаимствовать рациональное сочетание государственной и церковной властей, соборность, верность Родине и Православию и благоговейное отношение к святыням и традициям, осознание частной собственности как долга, ответственности и жертвенности имущего перед неимущими.

Из самодержавной имперской страницы России необходимо реанимировать прекрасные качества ответственности миропомazanного властителя, верноподданничества и благонамеренности народа (прекрасные забытые слова, ошельмованные богоборцами!). А имперский характер власти давно пора перестать примитивно считать, в духе большевизма, “захватническим” и “тоталитарным”. История говорит о том, что монархизм в России на деле был самодостаточным и суверенным чувством старшего брата по отношению ко всем национальностям, хозяйским патронатом, а не угнетением. Весь же гнёт в некоторых национальных окраинах исходил, по большей части, не из центра, а от зарвавшихся местных богатеев и ростовщиков, особенно ярко это проявлялось на юге России, в западных областях и в Средней Азии.

Точно так же и из недавнего социалистического периода полезно вспомнить и оживить многое положительное: здравую нравственную доминанту кол-

лективизма; обострённое чувство справедливости; равенство перед законом, соблюдаемым всеми без исключения; ответственность и творчество в труде; коллективизм в решении вопросов самоуправления; заботу государства о благе народа, конкретно выраженную в охране детства и материнства, бесплатном здравоохранении, образовании, жилье; разумный акцент на производстве, а не потреблении; государственную собственность на все важнейшие добывающие и обрабатывающие производства, на недра, землю и транспорт; уважение к защитникам Отечества и ветеранам и достойное их содержание.

Большая часть учёных, особенно в последнее время, с тревогой говорит о будущем человеческой цивилизации в категориях “выживания”. Православная традиция во все времена предпочитала говорить о **спасении**. Значит, перед угрозой нравственной и экологической катастрофы позиции честной науки и Православия необходимо сближаются. Почему именно Православия? Потому что **Православие есть чистое, неповрежденное христианство**, именно оно внесло совершенно новое, духовно-личностное измерение в самосознание человеческого существа. Религия Богочеловека открыла миру возможность не только духовного, но и телесного соединения человеческой природы с Божеством через Святое Причастие в настоящем и через Воскресение в будущем.

Великое дело воспитания начинается, конечно, в семье. Именно в семье как в школе благочестия формируется и крепнет правильное отношение к ближним, а значит, и к своему народу, к обществу в целом. Живая преемственность поколений, начинаясь в семье, обретает своё продолжение в любви к предкам и Отечеству, в чувстве сопричастности к родной истории. Поэтому столь опасно разрушение традиционных связей родителей с детьми, чему, к сожалению, во многом способствует уклад жизни современного общества. Приращение социальной значимости материнства и отцовства сравнительно с успехами мужчин и женщин в профессиональной области приводит к тому, что дети начинают восприниматься как ненужная обуза, и это, конечно, работает на отчуждение и антагонизм между поколениями. Вопиющей бедой современного общества стало **сиротство при живых родителях** — свидетельство глубокого нездоровья общества.

Многоканальная пропаганда порока наносит особенный вред неокрепшим душам детей и юношества. В книгах, фильмах, СМИ и даже в некоторых образовательных программах подросткам зачастую внушают такое представление, например, об отношениях полов, которое крайне унижительно для человеческого достоинства, поскольку в нём нет места для понятия целомудрия, супружеской верности и самоотверженной любви. Интимные отношения мужчины и женщины не только обнажаются и выставляются напоказ, оскорбляя естественное чувство стыдливости, но и представляются как акт чисто похотливого удовлетворения, никак не связанный с глубокой внутренней сущностью и какими-либо нравственными обязательствами. И стократно преступнее показ всевозможных извращений.

Феномен современной государственной средней школы также заслуживает пристального внимания, потому что нынешнее её состояние часто вынуждает сказать: **это предприятие по порче современной молодёжи**. Формальные требования дисциплины и выполнения учебного плана при ущербной нравственности оборачиваются страшным разлагающим влиянием, взращиванием лживости, приспособленчества и цинизма. Система ценностей современного школьного подростка коренным образом отличается от идеалов молодёжи 60-х годов. Сейчас котируются “крутость”, цинизм, жестокость, ёрнический юмор, наличие денег, способность подчеркнуто наплевать на моральные нормы. К сожалению, часто эти веяния идут не только из семьи и с улицы, но и от самой новой генерации преподавателей — вчерашних студентов, воспитанных в таких же координатах. Недавний пример: в одном классе домашнее задание выполнила только одна ученица (остальные проигнорировали), и учительница заметила ей, что она — “трудоголик, и ей будет трудно “по жизни” (!).

Ныне для обеспечения нормальной человеческой жизни как никогда необходимо возвращение к утраченной связи научного знания с религиозными духовными и нравственными ценностями.

Итак, роль воспитания — решающая. Основа воспитания — духовно-нравственная. Формы воспитания — самые разнообразные, адекватные воздействиям информационных потоков и опирающиеся на богатейший русский педагогический опыт.

Писатель К. Б. Раш профессиональным педагогом не являлся, но его подход к воспитанию современного мальчика — будущего воина, защитника Отечества, — заслуживает внимания и распространения. История и патриотизм, мужество и достоинство, самоограничение и самовоспитание, постоянная занятость делом — вот основы формирования будущего мужчины, гражданина своей страны, воина и главы семьи. К. Раш обоснованно считал, что военное дело и особенно морская подготовка — прекрасные инструменты работы с подростками. При этом мальчики приучаются к труду, коллективизму, взаимовыручке и ответственности.

Профессор Свято-Тихоновского богословского университета Б. А. Филиппов утверждает (и доказывает это практически), что прекрасным воспитательным воздействием для любого контингента подростковой молодёжи обладают походы и путешествия. В походах, как и в бою, сразу видно, кто чего стоит («Парня в горы тяни, рискни...» В. Высоцкий). Человек проверяется на дело, на ответственность, с него быстро слетает показное, манерное. И в то же время уйти, убежать нельзя — опозоришься, проявишь себя слабоком. А с другой стороны, и не хочется уходить, потому что интересно, необычно, познавательно, красиво, наконец. Разумеется, душой похода должен быть опытный педагог.

Петербургский учёный доктор педагогических наук РГПУ И. Ф. Гончаров много сил отдаёт созданию Русской школы, положив в основу её становления воспитание учащихся на национальных святынях Руси и России, не исключая и период истории Советского Союза.

Вспоминая советское прошлое, неплохо было бы и заново переосмыслить богатый опыт педагогической системы А. С. Макаренко, системы воспитания в коллективе и в труде. Потому что, как это ни печально, современный контингент воспитуемых приближается к тем колонистам и беспризорникам, с которыми он имел дело. Но не просто революционно-трудовое перевоспитание следует позаимствовать у Макаренко, а прежде всего — любовь к своему призванию, любовь к детям и доверие им с опорой на всё лучшее, что осталось в их раненых душах.

Подводя краткие итоги, отметим следующее: воспитание и вообще **образование надо строить на духовно-нравственной основе**, восходя, как в иконе, от образа воспитуемого к Первообразу, по которому и создан человек; **воспитание — процесс непрерывный**, он идёт в метаисторическом плане, но на конкретном историческом фоне, и там, где не успеваем мы, успешно действует идеологический враг; плодотворное **воспитание невозможно без любви воспитателя к Богу, к своему делу, к своим подопечным, к своей Родине.**

Никита Иванович ПОЗДНЯКОВ,
кандидат технических наук,
почётный работник науки, преподаватель ВМПИ
г. Санкт-Петербург

САМИМ УПРАВЛЯТЬ СВОИМ ДОМОМ И СТРАНОЙ!

Уважаемая редакция!

Моё письмо — это, так сказать, «крик души», впрочем, понятный каждому жителю «постперестроечной», как принято сейчас говорить, России. Это тема ЖКХ... Или, лучше сказать, тема организованных преступных группировок, которые называются ЖКХ и которые вместо того, чтобы содержать в порядке хозяйство наших домов, безбожно грабят нас, жителей этих домов.

Посудите сами: около семидесяти процентов населения имеет зарплату около двадцати — двадцати пяти тысяч рублей в месяц, пенсионеры получают гораздо меньше, и все эти люди ведут довольно скромный образ жизни на грани бедности. Я, проживая в городе Владимире, имел хорошую работу, приличный заработок, и вопрос коммунальных платежей меня совершенно не интересовал. Но в 2012 году, оставив прибыльную работу и находясь в длительном отпуске, я впервые обратил пристальное внимание на оплату коммунальных услуг. Моё внимание привлекла статья расходов под названием «за техническое обслуживание здания», то есть, проще говоря, на ремонт. Ежемесячно оплачиваемая сумма по этой статье на тот момент была около

пятисот рублей и составляла примерно половину платы за отопление. И тут я впервые задумался: **“Ведь все мы вместе, жильцы этого дома, круглогородично платим довольно значительные деньги на ремонт, а где ремонт?”** И я обратился к старшему по дому: “Володь, мы все платим хорошую сумму на обслуживание здания”. Он меня перебивает и говорит: “Я даже знаю сколько — 130 тысяч рублей в год”. Особенность дома, в котором я жил, была в том, что он одноподъездный. Один подъезд, пять этажей, на каждом этаже — три маленьких квартиры: посередине — однокомнатная, по бокам — двухкомнатные, такая неординарная одноподъездная хрущёвка из пятнадцати квартир. И благодаря именно этой особенности каждый из жильцов этого дома мог видеть, как и когда проводились ремонтные работы. Точнее, наблюдать их отсутствие. За все пять лет моего проживания в этом доме был один раз сделан косметический ремонт подъезда, положены две латки на крышу, после чего крыша также продолжала течь, как и текла, в подвале заменён вентиль и кусок трубы, когда эту трубу от старости прорвало, и мы пережили маленький подвальный потоп. То есть всего было сделано работ не более чем тысяч на пятьдесят. А за пять лет мы перечислили управляющей компании 650 тысяч! Вопрос: **“Куда девались остальные 600 тысяч?”** Куда девались, думаю, всем понятно...

Но вот если бы, подумал я, этими деньгами мы могли распорядиться сами, то что полезного можно было бы сделать по обустройству и ремонту нашего дома? Во-первых, заменить все четыре старых окна в подъезде на новые пластиковые с откосами, подоконниками и москитными сетками. Для того, чтобы узнать их стоимость (40 тысяч), я сходил в ближайший оконный центр, во-вторых, полный ремонт плоской покрытой битумом крыши (200 тысяч), ремонт подвала с заменой всех труб и вентиля (200 тысяч), ремонт подъезда с заменой перилл, приборов освещения и декорированием стен и потолков (100 тысяч), ремонт входа, козырька над входом, установка новой лавочки (60 тысяч). То есть **за 600 тысяч практически полный капитальный ремонт**. Если ещё за пять лет собрать такую же сумму, то можно было бы оштукатурить и покрасить внешние стены. Итого за десять лет можно было бы из нашей обшарпанной уродины сделать конфетку. Но дело в том, что все жители города Владимира на тот момент **отчисляли деньги на ремонт своих домов уже на протяжении 14 лет**. Я могу ошибиться только на один год. Первая платёжка за техническое обслуживание здания пришла то ли в 1998-м, то ли в 1999 году. Я этот момент хорошо запомнил, поскольку, когда впервые увидел данную статью расхода, пошёл в домоуправление и спросил: “Что это за новости?” И мне объяснили, что теперь все мы, жильцы, являемся собственниками не только своих квартир, но и всего здания, и сами должны содержать его. С этого момента я проживал в трёх районах этого города и везде исправно платил данный платёж. То есть **за 14 лет все старые дома в этом населённом пункте должны были бы стать как новые, но этого не случилось, потому, что 90% этих денег были украдены у нас работниками коммунальных служб**.

Если, дорогой читатель, вы думаете, что такая печальная история произошла только во Владимире, так нет. Я бывал в Рязани, Ярославле, Нижнем Новгороде, Воронеже, Курске и Екатеринбурге. Везде удручающая картина старых обшарпанных зданий говорит сама за себя. Кстати, с 2012 года прошло уже 6 лет, и жители моего бывшего дома за это время **перечислили в управляющую компанию на ремонт очередные 780 тысяч рублей, которые, я абсолютно уверен, также благополучно украдены**. И этот старый дом, как и все старые дома в России, медленно, но верно продолжает своё движение от ветхого состояния к аварийному. **В нашей стране в принципе не должно быть ветхих и уж тем более аварийных домов, поскольку за последние двадцать лет россияне перечислили на содержание своих домов столько средств, что хватило бы на несколько капитальных ремонтов**. Но если вы обойдёте все города нашей необъятной Родины, то, думаю, не найдёте ни одного старого дома, где деньги, выделенные гражданами на ремонт, в полном объёме были бы использованы по назначению.

Каким же образом ЖКХ нас грабит? Очень просто. Я уже написал, что в нашем доме был один раз сделан косметический ремонт. Это целиком и полностью была моя заслуга. Чтобы осуществить эту мечту, мне пришлось дойти до заместителя главы администрации города по вопросам ЖКХ. После того, как ремонт был сделан, я совершенно случайно узнал, что он обошёлся в 65 тысяч рублей. Что-то уж больно дороговато, подумал я, учитывая, что

средняя зарплата на тот момент по городу Владимиру была тысяч 15–20, а работу по покраске стен подъезда и побелке потолков можно было сделать двум рабочим за один день. И тогда я подошёл к мастеру ЖКХ и спросил: “Сколько нужно краски, чтобы покрасить хрущёвочный подъезд?” Она: “Это стандартная цифра – 27 кг”. Я отправился в магазин, узнал, сколько стоит краска, прибавил к этой сумме стоимость кистей, валиков, малярной ленты и меловой побелки. Получилось 4 тысячи. Затем позвонил строителям, узнал сколько стоит покрасить один квадратный метр стены и пошпикать меловой побелкой один квадратный метр потолка. Обмерил площадь покрашенной и побеленной поверхностей нашего подъезда. В результате стоимость работ составила около 10 тысяч рублей. Итак, подводим итог: если бы я решил произвести ремонт подъезда на свои деньги, то он обошёлся бы мне в **14 тысяч**, причём качественный, под моим контролем, а ЖКХ нам сделало отвратительный ремонт за **65 тысяч**, взятые, естественно, из отчисляемых нами ежегодных 130 тысяч для технического обслуживания.

Этот факт говорит, в первую очередь, об отношении хищников ЖКХ к жителям. Цель этих организаций **не принести нам пользу, а содрать с нас семь шкур**. И в этом они преуспевают, вся энергия головного мозга этих людей направлена, главным образом, в этом направлении. В изобретательности по выдумыванию новых видов платежей и решению домовых проблем без ущерба для себя их творческая мысль не уступает инженерной. Например, чтобы не тратиться на замену вечно текущих труб в подвалах старых домов, установили за наш счёт дорожные общедомовые счётчики и высчитывают стоимость текущей воды из нашего кармана. А желание заработать за счёт нас настолько велико, что несколько лет назад, когда коммунальные платежи вдруг начали расти, как на дрожжах, и в некоторых случаях стали достигать астрономических размеров, так что об этом стали сообщать в новостях центральных телевизионных каналов, то самому президенту и правительству пришлось брать под контроль эту ситуацию, чтобы умерить жадность этих кровопийц.

Во-вторых, способ воровства такой же, как с госзаказами и госзакупками. То, что можно сделать или купить за одну цену, делается или покупается в пятьдесят раз дороже. Но в отличие от воров государственных средств, которые рискуют своей свободой, руководству ЖКХ опасаться нечего, потому что их воровство называется безобидным словом “приписки”, и все дела, связанные с этим, рассматриваются в судах в административном порядке. **Максимум, чем они расплачиваются за это преступление, – возвращение украденных денег**. Но для того, чтобы их вернуть, нам нужно испытать все прелести судебной волокиты. Вот поэтому грабёж населения происходит нагло и с таким размахом на территории всей страны. Тот ремонт, которого я добился, дойдя до высшего руководства ЖКХ, случай редкий, потому что деньги, отчисляемые нами на ремонтные работы, представители ЖКХ уже заранее считают своими и расстаются с ними только в самом крайнем случае, **когда произвести ремонт приказывает высшее руководство, не ниже, например, чем сам президент России, или происходит авария, затапливая подвал**. А воруют, главным образом, просто оформляя на бумаге несуществующие ремонты.

По этому поводу возникают вопросы к нашим законодателям: **“А нельзя ли было уже давным-давно издать закон, согласно которому деньгами, отчисляемыми гражданами на ремонт своих домов, распоряжались бы сами жильцы?”** Второй вопрос: **“Почему за последние 5 лет пенсии в России выросли на 10 процентов, а коммунальные платежи – на 200?”** Ведь проблема с ЖКХ остро стоит уже лет десять. Неужели нельзя было за всё это время обсудить эту ситуацию и законодательно ограничить волчий аппетит этих бандитско-жилищных группировок? Но все вопросы, задаваемые нашей законодательной власти, – это глас вопиющего в пустыне. **Где же эта власть? Формально она существует, но реальной пользы для народа никакой**. Чтобы не быть голословным, приведу ещё два примера её поразительного бездействия. В начале девяностых годов в нашу страну стали завозить собак бойцовых пород. Согласно статистике, каждый день кто-то страдает от нападения такой собаки. Сейчас на дворе 2018 год. Прошло 28 лет, а закона нет. Кстати, можно завести у себя дома крокодила, кобру, леопарда. А можно 100 собак и кошек, и пусть соседи задыхаются от ароматов ваших питомцев. Где закон о животных, господа депутаты? Второй пример. Сколько нам терпеть эту вакханалию с пьянством и лихачеством на дорогах? Каждый день, согласно

статистике, в авариях гибнет 70 человек, и примерно столько же калечится. И именно из-за этих двух видов нарушений наибольшее количество пострадавших. Почему наказание за эти преступления неадекватно мягкие? Кто-то, наверное, скажет, что ужесточение наказания не решает проблему. И они правы, но только с одной стороны. Наказания не меняют мировоззрение преступника. Сколько их ни ужесточай, преступников меньше не станет, и ситуация в стране в целом не изменится. Для того чтобы её улучшить, нужно изменить взгляд людей на мир, повысить уровень сознания, а это достигается только духовным просвещением и воспитанием. Но с другой стороны, законы и органы правопорядка необходимы. Убери их – и центробежные силы разорвут страну. **Чем справедливее законы, тем устойчивее корабль государства.** Поэтому я не за ужесточение и не за смягчение наказаний, а за их адекватность. Наказание должно быть справедливым и соответствовать тяжести проступка. Когда это именно так, тогда есть и положительный результат. Подкреплю это утверждение конкретным примером. Многие, наверное, помнят то время, когда водителя, не уступившего дорогу пешеходу, переходящему дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, штрафовали на 100 рублей. И я прекрасно помню, что можно было хоть целый день простоять у пешеходного перехода – никто дорогу не уступит. Наказание было просто смешным, и, соответственно, практически никто не выполнял это требование Правил дорожного движения, но как только оно стало адекватным, когда установили штраф за это нарушение 1000 рублей, всё изменилось, как по мановению волшебной палочки, и откуда появилось столько вежливости у владельцев транспортных средств? Введите с завтрашнего дня европейскую ответственность за лихачество и пьянство на наших дорогах, и количество нарушителей сократится в разы, потому что большинство людей разумно, и справедливые наказания являются для большинства сдерживающим фактором. Поэтому справедливые законы жизненно необходимы любому обществу, как воздух.

Я мог бы привести ещё достаточно много примеров бездействия нашей законодательной власти. Да вы и сами, дорогой читатель, если задумаетесь над какой-нибудь проблемой в нашем обществе, то первое, во что вы тут же упрётесь, будет отсутствие своевременных законов в данном вопросе. И кто-то, возможно, спросит: “Почему законодательная власть бездействует?” **Потому что в нашей Думе достаточно много людей, которые не должны там находиться, но пролезли туда из-за несовершенства выборной системы не для того, чтобы приносить пользу обществу, а из корыстных побуждений.** Например, бизнесмены в законе (богатые предприниматели с депутатскими мандатами), которые приобрели мандаты, чтобы крышевать ими свой бизнес, а заодно бизнес своих родственников, друзей, знакомых, да и всех, кто хорошо заплатит. Кстати, небезызвестный Вороненков – бывший депутат Госдумы, убитый в Киеве, – яркий представитель этой части “народных избранников”. **Какое им дело до чаяний народа, когда их Бог – деньги? Им они и служат.**

Есть также в Думе знаменитые певцы, певицы, актёры, актрисы, спортсмены, космонавты и много ещё кто есть, **нет только людей, которые по 8 часов ежедневно работают...**

Отсюда и нулевой результат деятельности всей Думы. Я прекрасно понимаю, что все эти знаменитые личности находятся в высшем законодательном органе нашей страны для придания ему респектабельности, авторитета, но **нам, простым гражданам, нужны не респектабельность, а справедливые и своевременные законы.**

Ещё в далёком 2005 году одна моя знакомая учительница русского языка, несмотря на большую загруженность в школе и наличие маленького ребёнка, умудрилась создать в своём доме первый во Владимире, да, наверное, во всей России **домовой комитет, который разорвал отношения с ЖКХ и заключил договоры с водоканалом, энергетической, тепловой, газовой кампаниями напрямую – без посредников.** Об этом она написала статью, которая была опубликована в местной газете, где не общими словами, а конкретными цифрами доказала, насколько лучше и выгоднее гражданам управлять своими домами самостоятельно. Да и всей нашей страной!

Владимир Николаевич ВАСИЛЬЦОВ
г. Владимир

ДМИТРИЙ УРНОВ

ЛИТЕРАТУРА КАК ЖИЗНЬ

*Из воспоминаний**

1. После лекции об Анне Ахматовой

Ахматова опубликовала лирические стихи, искренние и стилистически отточенные. Наиболее популярным юмористом являлся Михаил Зощенко, верный сторонник советского строя.

Эрнест Симмонс. Современная русская литература. Издательство Корнельского университета, 1944.

14-го августа 1946 года ЦК Коммунистической Партии в своём Постановлении сурово осудил журналы “Звезда” и “Ленинград” за публикацию произведений Зощенко и Ахматовой.

В зеркале советской литературы. Наблюдения за советским обществом. Под ред. и с предисловием Эрнеста Симмонса. Нью-Йорк: Издательство Колумбийского университета, 1953.

В 1992–1993 учебном году вёл я два курса в университете под Вашингтоном. Из Американско-Российского фонда культурного сотрудничества ко мне обратились с просьбой прочесть общедоступную лекцию об Анне Ахматовой. Ахматовские чтения устраивала Библиотека Конгресса, руководил ими Иосиф Бродский, занимавший при библиотеке место Поэта Лауреата, но туда нас не приглашали. Филиал чтений организовало посольство Швейцарии, там я и выступил.

* Главы из книги, которая готовится к выходу в Издательстве им. Сабашниковых. Дмитрий Михайлович Урнов (родился в 1936 году) — литературовед, в 1958–1988 годах — сотрудник Института мировой литературы им. М. Горького, в 1988–1991 годах — главный редактор журнала “Вопросы литературы”, в 1978–1991 годах координировал проекты по литературоведению в рамках Двусторонней комиссии гуманитарных наук АН СССР и Всеамериканского совета ученых обществ, в настоящее время является консультантом Американско-Российского фонда культурного сотрудничества.

Пока готовил лекцию, вспоминал слова Симмонса: “Сами же делаете из них мучеников”. Ведущий русист-советолог, основатель Русского института при Колумбийском университете (где в своё время стажировался А. Н. Яковлев), имел в виду политические преследования писателей, что, по его мнению, не оставляло нашим противникам другого выбора, кроме как затевать антисоветские кампании в защиту свободы творчества. Припомнил я многое из того, что позволяло понять механику нашего самосокрушения, о чём когда-то читал в спецхране, а теперь всё находилось под рукой. Подготовка лекции об Ахматовой и её судьбе заставила меня в который раз поразмыслить о ситуации “Поэт и Царь”. Кто окажется способным в самом деле исследовать ахматовский эпизод, ставший *локус классикус*, образцовым случаем, упомянутым чуть ли не в каждой летописи развала советского режима, тот проникнет в сердцевину наших поражений.

Находчивый публикатор, изучивший по архивам эпизод в то время, когда я был главным редактором “Вопросов литературы”, установил, что дело было не в Ахматовой, а в... авиации, точнее, авиационной промышленности, и даже столь важная отрасль служила лишь поводом в конфликте, имевшем к самолётам такое же отношение, как и к стихам¹. Тогда же стимул для размышлений дал мне американский разносторонний литератор Гаррисон Солсбери. Мы с ним сопредседательствовали на последней встрече советских и американских писателей, он подарил мне свою книгу о Ленинградской блокаде, несколько страниц в книге отведено Постановлению 1946 года².

Связи у Солсбери в наших литературных кругах были давние и обширные: многоопытный американский журналист во время Отечественной войны вёл репортажи из Одессы, в 1949–1954 годах был аккредитован в Москве, знал всех, кого нужно было знать: сужу по именам тех, кому он просил меня передать привет и просьбы, в первую очередь, Константину Симонову. Солсбери был из числа наших сочувственных противников, о чём говорит его небольшая книга “Россия” (1965), которая на общем фоне советологии выглядит прорусской. Непосредственное знание нашей страны сказывается в его романе “Врата ада”. Явление не крупное, всё же роман не изляпан соком развесистой клюквы. Под своими именами в книге фигурируют Андропов, Брежнев, Громыко, Суслов, Хрущёв, и это не карикатуры. Александр Солженицын выведен под именем “Андрей Соколов”, журнал “Новый мир” назван “Новой жизнью”, но ничего не выдуманно.

Разбирая Постановление 1946 года, в принятии которого инициативную роль играл Жданов, Солсбери опирался на публикации, близкие к первоисточникам. То была, как обычно у советологов, версия советских влиятельных лиц, близких к высшим руководящим кругам, и тем виднее в этой версии пробы и недоговоренности, однако они есть в книге не потому, что автор был недостаточно осведомлён. Солсбери излагал историю директивного Постановления так, как следовало излагать в соответствии с настроениями наших свободомыслящих, другой точки зрения как бы не существовало. Общая идея сводится к диктату, подавляющему свободу творчества. Разве этого не было? Было, но были обстоятельства, которые в эту версию не укладываются.

В нашей стране, по словам Солсбери, в послевоенные годы в борьбе за политическую власть начался “новый цикл”, а до литераторов, подобно толчкам от далёкого землетрясения, докатились последствия очередной схватки на самом верху. “Оружие Жданова, — продолжает Солсбери, — обычно порождало в двух направлениях”. Одно — политические соперники, другое — “влиятельные лица в искусстве и культуре”. “Механизм манипулирования людьми по двум направлениям был очень сложен”, — подчёркивает Солсбери. Он не отвлекается на подробное описание того, как механизм действовал, но из его изложения ясно: удар по ленинградским журналам и писателям пришёл рикошетом по ленинградским руководителям и по их покровителям, ждановским супостатам в Кремле. Причём, если в Кремле, согласно Солсбери, существовала “отвратительная сфера сталинской политики”, то, судя по его же описанию, “влиятельные лица в искусстве и литературе” составляли круг мирно сосуществующих.

О чём Солсбери не написал и о чём, очевидно, писать считалось ненужным: в творческой среде шла своя борьба — за власть в литературе. В борьбе не на стороне тех, кто подвергся критике сверху, участвовали заметные ленинградцы, скажем, Александр Григорьевич Дементьев и Фёдор Абрамов.

“Он едва ли не первым нанёс удар по сталинской лживой литературе о деревне”, — пишет ленинградский литератор Владимир Адмони, которому Фёдор Абрамов стал известен в конце 50-х годов³. Адмони не знал, что писатель, который нанёс удар по “сталинской лживой литературе о деревне”, выступал как преподаватель ЛГУ в духе сталинской литературной политики. И крестьянская трилогия Фёдора Абрамова оказалась издана не без борьбы. “Что деревня! Деревня значения не имеет”, — в разговоре с моим отцом* сказал руководитель центрального издательства. Свой рассказ об этом разговоре отец повторял, не в силах поверить, что слышал сказанное решающим, кого печатать и кого не печатать.

Литературовед Александр Григорьевич Дементьев, выступавший против “самых талантливых” (выражение Солсбери) и перешедший позднее в стан либеральных сил, стал с перемещением из Ленинграда в Москву сотрудником Института мировой литературы. Мы с ним числились в разных отделах, но заседали нередко вместе. Ленинградских разгромных “подвигов” ему не припоминали, хотя было известно, что он вёл себя в ту пору не самым мирным образом. В биографии Дементьева его критическая деятельность, проходившая в Ленинграде, не упоминается, лишь говорится, что он “переехал в Москву”. Переехал не без ленинградской драматической интермедии, на протяжении которой и при его участии развёртывалась кампания, направленная против талантливых писателей и увенчавшаяся неудовольствием со стороны властей в отношении тех же талантливых. В столице Дементьев продолжал служить, принимал посильное участие в разгромах. В Ленинграде по ходу кампании против журналов “Звезда” и “Ленинград” Александр Григорьевич громил космополитов, в Москве — националистов из журнала “Молодая гвардия”, в ИМЛИ разослал ярую правдоискательцу Галину Белую (1931–2004).

С Галей мы единомышленниками не были, и моё сочувствие ей беспристрастно. Александр Григорьевич придирался к Белой, вопрошая, зачем она пишет ветвисто-иносказательно вместо того, чтобы выражаться напрямую. Что спрашивать, когда прямо написать невозможно? Александр Григорьевич требовал от Белой признания, что она — *против*, чуть ли не диссидентка. Нас всех, сотрудников ИМЛИ, в те поры вызывали в академическое издательство и требовали, чтобы мы сами убрали из наших работ *неконтролируемый подтекст*: подразумеваемый и недопустимый смысл высказанного. Саморазоблачиться Галине Белой предлагал практический руководитель печатного флага свободолюбия: Дементьев являлся зам. главного редактора в журнале “Новый мир”.

Рассуждая о неудовольствии наших властей по отношению к писателям, забывают застрельщиков “Невского побоища”. Ведь ни одна идеологическая операция у нас не начиналась без артиллерийской подготовки. Информация запрашивалась сверху — подавалась снизу. Мой сокорытник со школьных лет, экономист и романист Николай Шмелёв рассказывал, как его справка по экономике пылилась “наверху”, пока его предложения не сочли своевременными, и закрытая справка стала статьёй в “Новом мире”, ошеломившей призывом оздоровить безработицей нашу экономику.

Сотрудникам ИМЛИ, в том числе и мне, приходилось составлять справки, которые уходили туда же, наверх, куда в своё время поступила информация с именами Зощенко и Ахматовой. На какой бы верх справки ни уходили, это единственный жанр, в пределах которого, касаясь неприкасаемых проблем, можно было высказаться начистоту. Справки давали возможность, называя вещи своими именами, описать и определить литературное явление, а там — как хотят. Уже с началом перестройки просили ответить: признавать ли существование у нас цензуры или не признавать? Мою справку не только приняли, но через пару дней позвонили и сказали: читайте газеты! В интервью Горбачёва зарубежной прессе содержалась раскавыченная выдержка из моего реферата. Лидер перестройки признал, что, мол, цензуруем, что там говорить. А велика ли была тайна? Отвечал я на вопрос, поставленный примерно так:

* Михаил Васильевич Урнов (1909–1994) — литературовед, переводчик, редактор. Сын сельского учителя, он, не имея возможности изучить кризис сельской России, пережитый обширной крестьянской семьёй Урновых, изучал творчество Томаса Гарди, который в серии романов запечатлел кризис сельской Англии. В конце 1940-х годов исключён из Компартии и снят с работы в Издательстве иностранной литературы “за утрату политической бдительности”. В пору десталинизации обвинение признано необоснованным.

“У нас ведь есть цензура, не правда ли?” Скрывать наличие у нас орвеллианского Правдопроизводственного ведомства было невозможно. Монографии опубликованы, в основном, в США, со всеми подробностями о том, как мы цензуруем, и некоторые детали для своей “закрытой” справки я почерпнул из этих известных всему учёному миру изданий.

Отвечал я и на вопрос, не порнография ли переведённый на Западе, а у нас тогда ещё не опубликованный роман Виктора Ерофеева “Русская красавица”. И я написал: это картина нашего внутреннего разложения. Начальство покачало головой, мне было сказано в тоне упрёка: “Написал бы порнография – можно бы автора арестовать”. Невозможно было написать по той же причине, по которой некогда судья Вулси не осудил скандальный роман Джеймса Джойса “Улисс”. Повествование Джойса со всевозможными человеческими отправлениями (что приняли за порнографию) преследует серьёзную цель – такой приговор вынес Вулси. И роман “Русская красавица” не был порнографией, секс и мат служили серьёзной цели. Центральный персонаж – потаскуха, обслуживающая партийный верх и преступный низ, символизировала срез советского общества. Стилистические средства и повествовательные приёмы использованы в “Русской красавице” умело и уместно. Скажем, заборное уравнение из трех неизвестных XYZ, приведённое на страницах романа в общепонятном изложении, обрело значение символическое. Жаль, в зарубежном издании автор вычеркнул выразительный кусок. У красавицы есть подруга, тоже потаскуха, она, попав на Запад, оказалась невысокого мнения о тамошнем сексе, о чём сообщила в письме. Эту едва ли не лучшую страницу в романе автор снял в переводе, очевидно, чтобы не обижать Запад⁴.

Всё зависело от того, кто составлял такие бумаги и что там наверху хотели в них прочесть. Кого для примера проработать? Спрашивают – отвечай. И если кто-то был кому-то по личным мотивам негоден, почему не воспользоваться случаем? В накалённой страстями обстановке кто-то и подбросил имя Ахматовой, вычитав в работах Виктора Максимовича Жирмунского и Бориса Михайловича Эйхенбаума отзывы о ней с употреблением слова “блудница”. Сверху могли справку вернуть, да ещё и наказать за такие, с позволения сказать, изыскания, но, видно, нашли, что годится.

Если нам нужен ответ на вопрос, а не очередной самообман, необходимо добраться до изначальных науськиваний. Кто хотел досадить Ахматовой или Зощенко, кто подкинул выдержки из старой рецензии на её стихи? Называть имена необязательно. Решили же ирландцы не упоминать виновников междоусобной бойни 1969 года, однако выяснили, что кровопролитие было делом подстрекателей. Не надо называть имён, но не надо и на власть сваливать. Представлять дело так, будто всеильный Жданов читал: “Я бежала, перил не касаясь”, – и скрежетал в ярости зубами: “Ну, я этой б... покажу!” – означает подходить к вопросу без учёта тогдашних условий, когда поступила наверх информация о лирике Анны Ахматовой, а также сатире Михаила Зощенко в ответ на задание выяснить, не подгнило ли что-нибудь в нашем коммунистическом королевстве, поскольку есть мнение, что пора кому-то всыпать. Как же, говорят, давно пора! Почитайте, что пишут чрезмерно тонкие лирики и слишком острые сатирики! Кому было нужно, тот и навёл. Кто? Пока ответить можно лишь в общем виде, типологически.

Кто завидовал ахматовской славе, кто считал, что значение Ахматовой завышено? Писатель Дмитрий Жуков, мой приятель, играл на бильярде с поэтом, который приписал себе ахматовские строки. Жуков рассказывал, что поэт *просто по забывчивости* принял стихи Ахматовой за свои: разница показалась ему незаметной. Кому-то из составлявших справку, возможно, претил ахматовская склонность, о которой знали, но публично не говорили. Отец поразился, когда его давний знакомый, Л. З. Копелев, живший интересами литературной среды, сказал ему об этом. Приезжая в Москву, Ахматова останавливалась в Замоскворечье, пять минут ходу от нашего дома. И вот как-то вечером отец вышел пройтись и встретил Льва Зиновьевича. “Ты откуда? – От королевы! – ??? – У нас одна королева – Анна Андреевна”. И, слово за словом, выяснилось, что королева нашей поэзии – “Сафо с Лесбоса”. Склонность Ахматовой, караемая по советским законам, считалась преступной и наказывалась, а у кого-то не считалась и не наказывалась. За одни и те же грехи преследовали и не преследовали. “Бросьте вашу бздительность!” – говорил академик Леонтович во всеуслышанье в пору борьбы за бдительность,

в издательстве иностранной литературы он курировал научную редакцию. И ничего — не трогали, а заведующего редакцией художественной литературы, моего отца, тронули за утрату той же “бздительности”. Власти были непоследовательны? Властям подсказали, кого тронуть, и я знаю тех, кто подсказал. Мне хотелось бы думать, что Сталину пришла в голову мысль снять с ответственной должности моего отца. Нет, того хотел сотрудник, находившийся в кабинете рядом, по тому же коридору. Сотрудника, приходя на работу к отцу, я видел. У него был повреждён глаз, и казался он одноглазым, но мне, мальчишке, было не разглядеть горевший у него в здоровом глазу огонь зависти.

Кто-то из переживших блокаду не прощал Ахматовой эвакуации, и даже не ей, а тем из её неумеренных поклонников, которые чересчур превозносили написанное ею во время войны трогательное, но краткое и несколько книжное стихотворение. Нашли “мужество”! Так могли думать раздражённые ахматовским “мужеством” издавека. Твори Ахматова те же стихи, за которые её проработали, твори — и только, она и не попала бы под удар, но её возвели в Королевы поэзии, то было делом рук непосредственного окружения, превознесению Ахматовой и воспротивились.

А Зощенко за что пострадал? Читая представленный материал о травле Ахматовой и Зощенко, я посоветовал публикатору выяснить, кого, в свою очередь, травил “затравленный”. “Кого же мог травить тишайший Михаил Михайлович?” — спрашивает дотошный изыскатель. Для кого тишайший, а кому ненавистный — был секретарём правления Ленинградского отделения Союза писателей, поддерживал “своих”, а кого не поддерживал, те и отомстили.

* * *

Даже если Берлин и чувствовал отвращение к многосложному обману, который сам же описал, то своих чувств он не выдал.

Ф. С. Сондерс. Холодная война в культуре. ЦРУ и мир искусств. Нью-Йорк: Издательство “Нью-Пресс”, 1999.

Немало написано о предыстории ленинградского разгрома, а началось, как известно, с визита к Ахматовой атташе британского посольства. Он же философ, который будет удостоен высокого сословного звания сэра Исая Берлин. Однако оттенки и обстоятельства дипломатического демарша высвечены с недостаточной яркостью и даже вовсе не отмечены, написанное до сих пор об ахматовском инциденте, по-моему, не имеет отношения к смыслу совершившегося. Последний, попавший в поле моего зрения, пример — биография Берлина, автор — американско-канадский поэт с русской фамилией, Михаил Игнатьев, для него казус *Ахматова-Берлин* — “история любви”⁵. Спросил я русского по происхождению американского историка, что он думает о походе Берлина, и получил ответ: “Сэр Исайя поступил неосторожно”. И необдуманно?

Общепринятая версия такова: интересующийся русской поэзией английский дипломат и преданный поэзии наш литературовед посетили поэтессу. Но дипломат-философ по должности был едва ли не в штатском, а наш литературовед проявил смелость неправдоподобную. Был или не был и он в штатском, но без санкции подобный шаг мог совершить только безумец. Берлин спутника не назвал. “К Ахматовой Берлина привёл Наум Яковлевич Берковский”, — слышал я в Институте мировой литературы. Берковского я встречал, он не производил впечатления человека неуравновешенного. Теперь считается, что спутником Берлина был Владимир Николаевич Орлов. С ним я знаком не был, но от Сергея Небольсина, который работал над архивом Александра Блока, слышал, что Владимир Николаевич не по указке цензуры, а самовольно, проводя групповую политику, делал купюры в записных книжках поэта.

Кто бы ни был спутник Берлина, пострадал ли он? Сэр Исайя подчёркивает — нет⁶. Ходил ли наш литературовед в штатском? Пока выясняют, бросим на ситуацию ретроспективный взгляд: послевоенный, послеблокадный Ленинград, иностранец и советский гражданин пришли в гости к советской гражданке,

засиделись далеко за полночь. Затем произошло ещё нечто, только упоминаемое, а иногда и не упомянутое в описаниях исторического визита. Вдруг под утро со двора раздался крик на иностранном языке. Вспоминая о визите Берлина и его последствиях, не обращали специального внимания на пьяного иностранца, кричавшего под окнами Ахматовой, хотя Берлин назвал его — сын Черчилля. Неосторожным назвал ночной визит Берлина мой американский собеседник-историк. Было ли хулиганство Черчилля-фиса необдуманной выходкой? Если Черчилль-младший стал разыскивать своего атташе по ночному Ленинграду, то как же он догадался, где в три часа ночи в чужом городе находится его служивый соотечественник? Берлин этого не объясняет, уподобляя Рэндольфа Черчилля “подвыпившему студенту”: дескать, загулял молодой человек. Однако биограф сына нашего бывшего союзника освещает поведение правительственного отпрыска иначе. Вёл себя Рэндольф во время поездки в Советский Союз нагло-развязно, нарочито-оскорбительно, и то был пролог к выступлению Черчилля-старшего: в горячей войне свою роль русские союзники выполнили и начинается с ними, как с противниками, холодная, идеологическая война⁷.

Было или нет ночное явление сюрпризом для Берлина, вопль оказался неожиданностью для русского свидетеля. Как только раздался крик, пишет Берлин, его спутник замер. Ещё бы! И объяснять не нужно, даже если участие нашего литературоведа в посещении Ахматовой являлось санкционированным.

Вместо пережевывания Постановления сообщили бы факты. Рассказали бы народу, как было, не больше того, что изложил в своих мемуарах Берлин: пришли, побеседовали, ночная беседа затянулась далеко за полночь и оказалась прервана криком пьяного иностранца... Как отозвался бы едва оживший Ленинград и вся изуродованная войной страна? Спросил я в ИМЛИ сотрудницу, изучавшую творчество Ахматовой. В ответ — молчание, в глазах — растерянность. Не показалось бы проработочное Постановление похвалой по сравнению со всенародным осуждением?

* * *

Берлин чувствовал себя, как дома, в среде русской интеллигенции девятнадцатого века и на лекциях говорил о них в настоящем времени, придавая своим суждениям оттенок светских сплетен.

Engerman D. C. Know your enemy: The rise and fall of the America's Soviet experts. N. Y.: Oxford university press, 2009. XII, 459 p.: ill. Опубликовано в сборнике: Труды по руссиеведению / Редкол.: И. И. Глебова (гл. ред.) и др. М.: 2012. Вып. 4. С. 401—409.

Зато с точки зрения британского атташе, поход к Ахматовой удался на славу. Берлин тут же сообщил о своём успехе в Форин Оффис. “Я писал, — говорит он, однако, не цитируя, а реферируя самого себя, — что каковы бы ни были причины, врождённая ли неиспорченность вкуса или же насильственное отторжение пошлятины и дешёвки в литературе, каковые могли бы испортить этот вкус, но факт остаётся фактом, что в наше время, возможно, ни в одной другой стране классическая и современная поэзия не расходится в таких количествах и не читается с такой жадностью, как в Советском Союзе, и это обстоятельство не может не являться побудительным стимулом как для критиков, так и для поэтов. Далее я писал, что созданная силой указанных обстоятельств читательская среда способна вызвать лишь зависть у западных прозаиков, поэтов и драматургов. И если бы силой некоего чуда политический контроль сверху оказался ослаблен и была предоставлена большая свобода творческого выражения, то не было бы причин, в силу ко-

торых в обществе, столь ценящем творческую активность, в стране, столь желающей воспринять как можно больше, столь юной и столь легко поддающейся очарованию всем, что кажется неведомым и даже истинным, и сверх того, в обществе, одарённом энергией, способном сорвать любые повязки с глаз, отвергнуть глупости, преступления и несчастья, способные погубить менее богатую культуру, великолепное истинно-творческое искусство не могло бы не быть вновь вызвано к жизни; что контраст между жадным интересом ко всему, что содержит какие-то признаки жизнеспособности по сравнению с мертвящей продукцией, производимой официально-одобренными писателями и композиторами, есть, возможно, самая поразительная черта советской культуры наших дней⁸.

Суждения Берлина, согласитесь, трогательны, особенно в сравнении с политическим хулиганством Черчилля-младшего. Атташе-философ проявляет заботу о расцвете у нас искусства и литературы, докладывая по службе, что возможности на нашей почве безграничны. Если творческие силы пробиваются из-под гнёта, что же будет с приходом свободы? А ни в чём, кроме роста наших творческих сил, не были заинтересованы наши бывшие союзники, они мечтали увидеть Россию могучей и процветающей, о чём и сейчас мечтают.

Составленную им бумагу Берлин не приводит целиком и даже не цитирует, но указывает шифр, по которому в дипломатических архивах важный документ можно найти, чтобы убедиться, насколько пересказ соответствует букве самого документа. Исследователи этого ещё не сделали. Не сделал даже Роман Тименчик, автор фундаментальных трудов об Ахматовой. По Тименчику, вокруг Ахматовой с одной (советской) стороны крутились соглядатаи, а с другой (зарубежной) окружали её любители поэзии. Так, рецензируя книгу Михаила Игнатьева, в своём эссе ситуацию описал и Дэвид Брукс: поэзия и любовь с одной стороны, полицейские меры — с другой⁹. Но Ахматову (сообщает Тименчик) Берлин не только посетил, он опубликовал её стихи в международном журнале, который он курировал. Думал ли куратор, зачем после политического скандала, вызванного его посещением Ахматовой, он печатает её стихи? Или так просто, из чистой любви и без малейшей задней мысли тиснул по неосторожности?

Было бы важно посмотреть, что же у Берлина в досье сказано, что выражено словами и что осталось между строк, всего лишь подразумевается, но само собой следует из сказанного. На мой взгляд, там должна следовать рекомендация: после инцидента с Ахматовой учесть роль литературы в СССР.

* * *

Как указал сэр Исайя Берлин...

В зеркале советской литературы.
Под ред. Эрнеста Симмонса.

Благодаря усилиям советологов, на Западе поняли, о чём когда-то говорил князь Кропоткин: оказать сопротивление идеологическому промыванию мозгов другого средства, кроме художественных образов, у русской публики нет. Поэты выражают образами то, что прямо сказать нельзя. И стали зарубежные эксперты в наше образное мышление пристально всматриваться, выискивая, что сказывается в образах даже маловысокохудожественных, если употребить выражение Зощенко. А наши власти тоже проявляли большое внимание к образному языку. Провозгласил же Евтушенко: «Поэт в России — больше, чем поэт». Больше или меньше, чем поэт, а всё же умами владеет, за ним нужен глаз да глаз. И чтобы даже окольным путём, метафорически не проговаривались поэты чересчур, за ними присматривали литературные операторы на все случаи, как Александр Григорьевич Дементьев.

Высокообразованному зарубежному любителю поэзии трудно было такого внимания не заметить. Оставалось лишь проверить: а что, если советскому поэту оказать фавор извне, последует ли болезненная реакция на высшем уровне? Проверили, посетив Ахматову, — получилось. Сэр Исайя экспериментально подтвердил важнейшее открытие советологии и на деле своим неосторожным визитом показал, какую огромную роль в нашей стране играет литература, насколько у нас даже большой поэт ещё больше, чем поэт. Надо бы

этому феномену дать имя его открывшего — “эффект Берлина”. С тех пор тот же трюк будет удаваться безотказно, как поворот рукоятки хорошо отлаженного механизма: внимание Запада — неудовольствие советских властей. Снова и снова, похоже на менуэт, исполняемый заводными фигурками, и у каждой — своя заученная роль.

Если я увижусь с профессором Симмонсом на том свете, а ждать встречи осталось недолго, то на его вопрос о производстве мучеников я ему дам ответ, сложившийся у меня с тех пор, как мы с ним беседовали на эту жгучую тему: мученики у нас делались как по заказу, автоматически, в силу действия механизма, пущенного в ход, оставалось подбрасывать горячий материал, и возгорался костёр, поглощавший ещё одного мученика или мученицу, а вокруг костра ходил по свету хоровод, защищая или оплакивая жертву произвола и насилия.

* * *

...Шли телеграммы зарубежных издательств из Лондона, Парижа, Стокгольма, Токио. Всем хотелось получить права на роман “Тайшет 303”.

Из романа Гаррисона Солсберри “Врата ада”. Нью-Йорк: Издательство “Рэндом Хаус”, 1975.

От общих знакомых я узнал, что Берлин хотел бы ознакомиться с моим выступлением об Ахматовой в швейцарском посольстве. До него, видно, дошли сведения неполные и противоречивые. Присутствовала на лекции сотрудница Библиотеки Конгресса, изложенная мной точка зрения — “Что без страданий жизнь поэта!” — ей показалась “типично русской” и неубедительной. Мне было замечено: “А как же Элизабет Браунинг?” Но Элизабет Браунинг ведь тоже страдала, однако её страдания ограничены частной сферой, на её долю не выпадало ничего подобного, что довелось испытать Ахматовой, не создала Элизабет Браунинг, обладая искусством версификации, и стихов, сделавших русскую поэтессу всемирно известной мученицей.

Пришедшие меня послушать американцы жаловались, будто я говорил чересчур громко, и у них, привыкших к полутонам, заболели барабанные перепонки, тем более, что слышали они не совсем то, что желали услышать. Читая лекцию, я высказал свои соображения о визите Берлина к Ахматовой. “Так говорить о Берлине может лишь объятый бериевской шпиономанией”, — сказал мне пришедший на мою лекцию университетский профессор. А Берлин, естественно, мог полагать, что в любом суждении о судьбе Ахматовой не окажется пропущен связанный с ним ленинградский эпизод, и, конечно же, не ошибался.

Жил Берлин в Оксфорде. Несмотря на возданные ему официальные почести, академическая среда его не принимала. Учёные сморчки, оторванные от современности! Консерваторы! Зато вокруг него сложилась своя клика, с его почитателем мы работали в университете, с ним я и послал в Англию свой текст. Пока дождался я оказии, миновало два-три года, но, мне казалось, чуть ли не на другой день открываю газету: скончался Исайя Берлин! Был ли я недостаточно или чересчур отзывчив?

II Дело о Джойсе

Время, оставшееся с нами.

Сборник студенческих воспоминаний.

Как у нас звучит имя Джеймса Джойса теперь, не представляю. Наше поколение не читало его романа “Улисс”, а если о Джойсе говорили, то осторожно и даже с опаской: один из запретных плодов. Пока судья Вулси не реабилитировал книгу в 1934 году, нелегально вышедший в 1923 году “Улисс” оставался не

допущен к читателю и на Западе. В середине тридцатых годов и у нас начали печатать перевод романа. Взялись за эту работу молодые переводчики, которых называли “кашкинцами” по имени их старшего, Ивана Кашкина. Печатали в “Интернациональной литературе” по главам и, прежде чем печатание прекратилось, успели поместить примерно треть всего текста. У моего отца хранились старые комплекты журнала, и мне удалось хотя бы частично прочесть роман.

Такое творение, как “Улисс”, можно назвать *тур-де-форсом* (*tour de force*, франц.) — дерзновенным посягательством на решение задачи чрезвычайной сложности. Эпическое повествование Джойс втиснул в один день, из многоликой толпы персонажей сосредоточился только на трёх, воспроизвёл работу их сознания от размышлений о “Гамлете” до заботы о пищеварении и прочих потребностях человеческого организма (что и скандализировало читателей). Роман Джойса — грандиозная и сложная конструкция, подобие Вавилонской башни, вместилища всех языков. В романной постройке использованы всевозможные стили и повествовательные приёмы — и поток сознания, и летописная хроникальность. Всё происходит как бы на фоне мифов, богов и героев, показывая, с чего началось и куда пришло — к полнейшей дегероизации. Нашей критикой “Улисс” был расценен как историософия фашизма, перевод “Улисса” прекратили печатать, Джойса упоминали как нечто нам чуждое.

Высказаться о Джойсе я попробовал на четвёртом курсе филологического факультета МГУ в 1957 году на семинаре профессора В. В. И. Начитанностью в английской литературе В. В. удивила даже Чарльза Сноу. Было чему у неё поучиться, и я считал себя её учеником, однако В. В. пожаловалась декану и завкафедрой, профессору Самарину Роману Михайловичу, когда я, по её мнению, преувеличил влияние Джойса на Грэма Грина, о котором у неё в семинаре писал курсовую. Самарин меня вызвал: “Улисса” прочитали?” Читал ли я Джойса? Ведь чуть ли не каждый зарубежный писатель видит в нём образец! “Ну, идите, — говорит Роман, — а то старушка всполошилась”. Лет десять спустя свидетели столкновения бывшие мои сокурсники, совместно со “старушкой”, которая помолодела душой, принялись защищать от меня Джойса.

Во времена борьбы за Джойса, которого не допускали, я был им одержим настолько, что был уверен: прорыв. В то время, когда было написано: *тупик*. Это — в автобиографии Пристли, где он рассуждает об “Улиссе” и говорит *cul-de-sac*. Не заглянув во французский словарь, я понёс свой перевод в редакцию, там мне поверили, так и напечатали: *прорыв*. Посыпались возмущённые письма знающих читателей. Но всё равно нераскаянный, я верил (и верю), что Джойс совершил-таки прорыв. Хемингуэй, принимавший участие в издании “Улисса”, сказал: “*Вся жизнь, без изъятий и умолчаний, стала предметом литературы*”. Поколение Хемингуэя, ровесники XX века, успели испытать ограничения на себе, их захватил предшествующий век викторианства, когда книга не должна была вызывать краску стыда на щеках молоденькой девушки. Какой том у пушкинской Татьяны Лариной дремал в тайнике под подушкой? Роман предыдущего, осьмнадцатого столетия, а девятнадцатый век уже был полон ханжескими запретами. Положим, благодаря запретам необычайно развилась повествовательная техника, изощрившаяся в обход запретов, но многих сторон жизни всё же нельзя было коснуться, поэтому “Улисс” и знаменовал прорыв.

“Прочти же, что о Джойсе писал Олдингтон!” — советовал мне отец, имея в виду известного английского писателя, с которым у него была переписка. Уговорил я отца в его очередное письмо Олдингтону вставить для убедительности мнение коллективное: “Мой сын и его друзья убеждены в значении Джойса”. Олдингтон ответил: “Ваш сын и его друзья правы...” Дальше я уже не читал, размахивая письмом, словно эскалибуром — мечом короля Артура.

Когда Джойс по мере относительных послаблений в защите уже не нуждался, пришлось восстать против него и его влияния: “Улисс”, в самом деле, тупик. Понял я, что имел в виду Пристли. А Литвинова Айви Вальтеровна, вдова наркома и соплеменница Джойса, мне рассказала, как она пожаловалась ему: “Вашу книгу трудно читать!” — и получила ответ: “Писать было трудно”.

В зарубежной критике, я видел, довод писать нелегко взят на вооружение поклонниками Джойса: читая, потрудитесь заодно с писателем. Уравнение “трудно писать — трудно читать” оказалось принято и возвеличено, как если бы зрителям в цирке предложили ходить по проволоке, чтобы оценить искусство канатоходца.

В романе Джойса попадаются изумительные эпизоды, и нетрудно установить, что романа от начала и до конца не прочли даже литературные авторитеты, судили по эпизодам, однако читателей запугивали, требуя от них восхищения тем, *чего в тексте не было*, — увлекательным повествованием. Первый акт запугивания — появившаяся, как только роман был издан, статья Т. С. Элиота. Считавшийся *литературным диктатором* Элиот утверждал: от чтения “Улисса” он получил не что иное, как удовольствие. Прочёл ли он роман, неизвестно, зато Великий Том (так называли Элиота) объяснил, как эту трудную для чтения книгу *понимать*. Своего понимания Элиот не изложил, он обычно в своих критических высказываниях как бы распоряжался, давая указания, как следует думать, не затрудняя себя доказательствами, почему, собственно, *так следует?* Рассуждая об “Улиссе”, Элиот настаивал на *понимании*. Будто искушенные читатели чего-то не понимали! Если не понимали, то лишь одного: зачем писать так, чтобы трудно было читать? Понимать можно и нужно любой текст, однако чтение увлекательной художественной литературы рождает понимание особое. Чтение увлекает читателя до забвения самого себя, а уж затем, одумавшись, читатель, если захочет, может и подумать над тем, что же он, читая, проглотил, не раздумывая. Элиот предложил *понимать* “Улисса”, как бы разгадывая ребус: вместо удовольствия от чтения удовлетвориться *пониманием значения*. Элиотовское понимание было принято за норму, требование труда от читателя стало обязательным. Если автор не добился увлекательности, даже признавая это недостатком, его тут же оправдывали: “Бывают недостатки лучше иных достоинств”.

В студенческие годы я не прочёл всего “Улисса”, читал кусками, вчитываясь в эпизоды, эти страницы потрясли меня. Удивительный словесный рисунок, Джойс делал изумительные по выразительности наброски психических состояний. “Моё детство склонилось рядом со мной” или “Она поцеловала меня... Меня... Неужели и теперь это — я?...” Читал, перечитывал — сердце замирало. Умри литература — лучше уже не напишут!

Каким талантом действительно одарён Джойс, даёт представление его короткий рассказ “После гонок”. В рассказе — семь страниц, и вроде бы не происходит ровно ничего. Молодые люди после автогонок провели бессонную ночь и встретили восход солнца, только и всего, а на читателя дохнуло утренней свежестью и молодостью.

Казалось, если бы Джойс, при его способности запечатлеть движение мысли и чувства, оказался наделён ещё и дарованием повествователя, то литература достигла бы предела. Но писатель, способный создать поразительный эпизод, был лишён способности повествовать. Страницами — озарения, в целом — мертво и потому неудобочитаемо.

В этом убеждении меня укрепило чтение книги Квини Ливис “Литература и читающая публика”. Квини Ливис говорила о радикальном разобщении новейших читательских вкусов: если прежде все читающие зачитывались “Приключениями Робинзона Крузо” и “Посмертными записками Пиквикского клуба”, то в 1920-х годах одни называли шедевром “Улисса”, другие были захвачены романом Аниты Лоос “Джентльмены предпочитают блондинок”. Тогда я ещё не читал романа Аниты Лоос и понял противопоставление так: истинная литература и поделка. Когда же “Джентльмены предпочитают блондинок” я прочёл, оказалось, что это совсем не поделка: умно, умело и занимательно. Если бы у Джойса было повествовательное дарование Аниты Лоос... Однако у рисовальщика — не рассказчика! — такого дарования не было, Джойс в самоутверждении упорствовал, доказывая себе, что он силен в том, в чём не силен, и это Джойсу удалось при сочувственной поддержке читающей публики.

Так началось и так продолжалось. Была произведена переоценка литературных величин, из настоящего и прошлого стали избирать образцы “трудной” прозы и “трудной” поэзии. Некогда поставленное на второстепенное место выдвинулось вперёд. То и другое существовало всегда, разумелось само собой: были и есть значительные (по содержанию) авторы, которые умны, серьёзны, умелы, но, увы, бездарны. Однако эта иерархия постепенно перестраивалась: достоинства усматривались в том, что не считалось достоинством. “Все жанры хороши, кроме скучного”, — говорил Вольтер. Вопреки вольтеровской поговорке, скучное объявили занимательным, *если его понять*. Находили достоинства, каких и не было: “умеет рассказывать”, *когда именно этого и не умеет*. Литературный парадокс нашего времени: небольшие писатели

талантливы, большие — бездарны соразмерно с задачами, которые берутся решать, они ставят и пытаются решить серьёзные проблемы, но их решения неудачны творчески.

Проблема мне представлялась необычайно злободневной: то и дело критический пересмотр сводился к оправданию неудачи. Поставленный в западной литературе на первое место в ряду важнейших произведений XX века, “Улисс” служил образцом тому, что производилось в дальнейшем с помощью романа Джойса “в качестве повивальной бабки” (о чём и писал Олдингтон). Неудобочитаемость стала признаком содержательности и мастерства. Писатели тянут, как Джойс, рассудочную словесную вязь, выстраивают мертворождённые конструкции, а критики находят себе занятие, анализируя плетение словес и замысловатые построения.

“Писать, чтобы читали!” — девиз Диккенса, та же цель, какими бы средствами ни достигалась, должна преследоваться и другими писателями. Если же читателям передоверяется “дописывать” то, чего сам автор не написал, значит, требовать от читателя усилий не по чину. Можно и нужно новаторствовать, делая всё по-другому, но — делая! Рассказывайте по-своему, но рассказывайте, новаторское произведение должно в преображённом виде содержать традиционные составные повествования, делая непонятное понятным, скуку — занимательной. Если же непонятное так и остаётся непонятным (что признаётся истолкователями неудобочитаемого), а скука остаётся скучна, тогда это не искусство, а какой-то другой род деятельности.

Мой тезис о неудобочитаемости наиболее значительной современной литературы частично приняла Ирина Роднянская, но возразила: “Это и есть литература”¹⁰. “Разве трудночитаемое не прочитано и даже не перечитано?” — спрашивали мои оппоненты. Вопрос: кем? Необычайно разросшейся специализированной аудиторией. Исчисляемая десятками и даже сотнями тысяч, эта аудитория количественно почти неотличима от читающей публики. Ежегодная конференция Ассоциации современной словесности (MLA) собирает до 10 000 (десяти тысяч) участников, в Америке свыше полутора тысяч университетов, в каждом — кафедра словесности, и каждый студент должен приобрести книгу, указанную в списке обязательного чтения. Написанный под влиянием “Улисса” постмодернистский роман Томаса Пинчона “Радуга земного притяжения” включён в учебные программы, хотя непонятность романа признана даже апологетами Пинчона. Так и сказано: да, непонятно, однако всё равно предлагается понимать и восхищаться. Читал я ранние и вполне понятные произведения Томаса Пинчона: заурядно. В крупнейшие современные писатели Пинчон выбился по другой шкале, как выбивались в гении художники-авангардисты скромных традиционных способностей. Между тем размножившийся “наш брат” литературовед, он же преподаватель, внушает студентам необходимость потрудиться. Я же присоединяюсь к тем, кто спрос на “труднодоступную” литературу считает потреблением навязываемым, подобно любым товарам в обществе потребления. Когда первичная битва в борьбе за Джойса была выиграна, я повёл борьбу против Джойса. Собственно, я всего лишь подписался под приговором, который ещё в молодости Джойс услышал от старого ирландского поэта: “Нет у тебя достаточно хаоса в душе, чтобы создать целый мир”. Населить “целый мир под переплётом”, как он того хотел, Джойс не смог. Присоединившись к этому мнению, я очутился в хвосте очереди, где когда-то стоял одним из первых: от меня взялись защищать Джойса те, кто некогда за сочувственный к нему интерес критиковали меня же.

* * *

Пикассо уже имеет тысячи, а я ещё не получил ничего.

Джеймс Джойс.

Оказались мы с моей бывшей наставницей в конфликте, когда оба сменили вехи. В то время вместо покойного Самарина заведующим кафедрой зарубежной литературы стал Леонид Григорьевич Андреев. Он пригласил меня прочитать спецкурс “Соотношение теории и практики творчества, критики и литературы”.

Новейшее теоретизирование есть оправдание бездарности — таков был мой тезис. Говорить я собирался о том, что происходило на Западе, где торжествовала Критика с большой буквы, подмявшая под себя литературу и превратившая литературу в сырьё для критической промышленности, а литература подстраивалась под критерии Критики. Тезисы обсуждались на кафедре. “Такие лекции принесут нашим студентам вред”, — сказала В. В., некогда объявившая меня безумцем, едва я заговорил о Джойсе. Андреев не дрогнул, курс я прочитал — в его присутствии. Леонид Григорьевич нашёл время посещать мои лекции, чтобы не дать распространиться ложным слухам.

* * *

Джойс, Джеймс (1882–1941) — английский писатель. Представитель реакционной литературной школы.

Большая советская энциклопедия. М.: Государственное научное издательство “Большая советская энциклопедия”, 2-е изд., 1952. Т. 14. С. 231.

В России на “Улисса” обратили внимание, как только роман появился в полулегальном парижском издании, в двадцатых годах. Тогда же в нашей печати были опубликованы переводы отрывков. За этим стоял Евгений Замятин — доискалась Екатерина Гениева, будущий директор Библиотеки иностранной литературы. В 30-х годах печатание перевода “Улисса” прервалось, потому что роман был сочтён...

Причина похоронена под спудом кривотолков. Если бы не услышал я от отца о реальной причине, то вместе со всеми думал бы, как и до сих пор думают некоторые, будто печатать у нас перевод романа прекратили, потому что “Улисс” есть некий неприемлемый -изм. Да, -изм, но не модернизм, как принято думать. Мой отец знал обстановку, сложившуюся в нашей литературной среде вокруг Джойса, переводы отца появлялись в те же годы там же, в “Интернациональной литературе”, где бригада переводчиков под водительством Ивана Кашкина переводила и печатала “Улисса” с “продолжением”. Печата-ла-печатала, и вдруг продолжения не последовало — арестовали одного из переводчиков, Игоря Романовича.

Уже в 80-х годах наследник “Интерлита”, журнал “Иностранная литература” решил напечатать роман в новом переводе безвременно скончавшегося Виктора Хинкиса, довершённом Сергеем Ожеговым, и на совещании в редакции я сказал об известной мне со слов отца причине, по которой печатание романа в своё время прекратилось: *роман был сочтен антисемитским*. Принимавший участие в редакционном совещании по “Улисс” Вячеслав Всеволодович Иванов мне возразил: “Уж если говорить об антисемитизме, то у Джойса есть эпизод с антисемитами”. Однако публикации у нас “Улисса” помешал не эпизод, речь шла не о юдофобах, изображённых Джойсом по-флорентински, методом отстранения: объективно-выразительно. Из трёх основных персонажей романа важнейшими являются два: преподаватель истории, мятущая поэтическая душа, ирландец Стивен Дедалус, и обыватель, скромный служащий рекламной фирмы, еврей Леопольд Блум. “Почему же еврей поставлен в центр современного псевдозпоса?” — с таким вопросом к Джойсу обращались читатели-современники. Вопрос понятен: тогда читали “Улисса” так, как сказано в Большой советской энциклопедии, где — знаменательно! — выделен только Блум: “В главном произведении [Джойса] — огромном романе “Улисс” — представлен один день из жизни рядового дублинца. Изображение извращенной психики мещанина, циничное копание в его грязных чувствах подчинены реакционной цели — показать человека антисоциальным и аморальным”.

“А мне Блум видится очень милым”, — возразила мне молодая американка, преподаватель литературы, для которой “Улисс” стал историей, и в дымке лет острота проблемы — реальный или кажущийся антисемитизм романа — стала незаметной. А преподавательница, дипломированный специалист, которой думалось, что Леопольд Блум просто симпатичен, не собиралась в проблему всматриваться, она, подозреваю, цитировала без кавычек книгу книг о Джойсе,

его биографию, написанную Ричардом Элманом, евреем. У Элмана сказано: Джойс хотел изобразить “милого еврея”¹¹.

Сказано справедливо, но изобразить нечто “милое” после Флобера, чистанного Джойсом и оказавшего на него влияние, не означает умилиться. Джойс не юдофоб, он — флоберист. “Простое сердце” Флобера — образец повествовательной объективности: привязанность к попугаю, конечно, трогательна, но при ближайшем рассмотрении оказывается вот что: такая пламенная любовь “простых сердец” — чувство почти животное. Джойс, присматриваясь к Леопольду Блуму, передавая всевозможные оттенки его поведения и облика, предлагал читателям сделать выводы, а читатели — не простаки, читали так, как написано, изобразительно-объективно: “милый еврей” — средний человек. Но почему же выставлен мировой посредственностью не Том Смит или Джон Браун, а Лёва Блум?!

Рекламный агент в “Улиссе”, конечно, не зловещий иудей, укрыватель краденого из “Приключений Оливера Твиста”, но действительно, по авторскому замыслу, тот самый, оказавшийся результатом мировой истории мещанин. Джойс не хотел сказать, как Достоевский, будто “наступает царство жидов”, однако массовое измелъчение свёл к еврею. Если перевести замысел “Улисса” на язык консервативной историософии, а Джойс был в ней начитан, то в романе ставился тот же вопрос, что ставили со времён Вальтера Скотта и дальше через Карлайла, Джона Стюарта Милля к Герцену, Константину Леонтьеву и, наконец, к Александру Кожеву, который в российской обработке вывез на Запад гегелевскую идею “конца истории”. Вопрос, который все они ставили: что же выходит? Великие люди бросали жребий и пересекали Рубикон, переходили Альпы, одерживали грандиозные победы, терпели героические поражения, ценой большой крови совершали эпохальные перевороты, и всё ради благополучия обывательской заурядности? Стоило ли ценой огромных жертв творить грандиозные дела, чтобы некий Блум благодетельствовал и, как картинно изображено в “Улиссе”, с аппетитом кушал за завтраком, “употребляя в пищу внутренние органы животных и птиц”?

К чему пришёл мир — в этом суть продуманного, старательно выстроенного, пусть мертворождённого, повествования. “Грядёт всякий и каждый”, рассуждая о “Гамлете”, пускает слюну, подглядывая на пляже за девочками, не просто ест, а, выражаясь по-культурному, “употребляет в пищу”. Однако теперь, объявив “Улисса” “романом века”, эту новейшую “Войну мышей и лягушек” толкуют шиворот-навыворот: “Улисс”, оказывается, не иерокомический, а героический эпос. В похоронном тексте прочли гимн человечности. Джойс, по его словам, собирался дать своим истолкователям работу надолго, однако в пределах своего замысла. “Улисс” — последнее слово литературы, сказанное мучеником творчества, не обладавшим гением для воплощения замысла, но восполнившим его нехватку посильной сознательностью ради того, чтобы изобразить плачевный *итог истории*. Этот сверхсознательно подведённый автором “Улисса” пессимистический итог перетолковали на свой лад как залог светлого будущего.

У меня на глазах поучительное зрелище развернулось у дверей публичной библиотеки университетского города Беркли. Там учредили прекрасную традицию: возле библиотеки на улице добровольцы вызываются и через микрофон читают отрывки из классики, а прохожие останавливаются и слушают. Как-то иду и слышу: “Улисса” читают. Но как? Джойс был предельно сознательным, нынешние читатели, похоже, не сознавали, что же они читают. Читали заключительные страницы романа, внутренний монолог третьего важного лица в романе — супруги “милого еврея”, ирландки Молли-Мэрион. Человеческая самка, как характеризовал её Мирский, существует на уровне инстинктов, наставляя мужу рога. Таковы библейских времён Адам и Ева в конце истории: он — воплощение пошлости, обыватель, запомнивший несколько учёных слов, смысл которых понимает не до конца, она — обыкновенная похотливая баба, сейчас бы сказали, сексуально озабоченная. Но любители художественного слова не чувствовали иронии, исповедь пусть не потаскухи, но всё же особы *непримерного поведения*, читали, будто прощальное обращение Джорджа Вашингтона к войскам.

Подобно моей собеседнице, постаравшейся не понять, почему “милый еврей” Джойса беспокоил и просто возмутил современников, чтецы, возможно, были тоже знакомы с биографической книгой Элмана и следовали его

толкованию внутреннего монолога неверной супруги, а толкование являлось перетолкованием, сглаживало смысловые углы. Готовность добровольной давалки, говорящей “ДА” (sic!) каждому желающему посягнуть на её невинность, биограф Джойса решил истолковать как манифест человекоутверждения и предвестие будущего.

У Джойса нет никакого будущего, кроме измельчания, омассовления и вульгаризации. Ничего иного автор “Улисса” в современном мире не видел и на будущее не предсказывал. Но книга Элмана — тоже своего рода тур-де-форс, обширнейший источник сведений — в то же время решает принципиальные проблемы хорошо известным нам способом — уходом от вопроса и неназыванием вещей своими именами. Где у Джойса представлена пошлость, там биограф видел человечность. А читатели-современники, понимая, что в “Улиссе” всё неспроста, спрашивали у автора романа, зачем в массовидной толпе, им обозначенной, на первом плане поставлен еврей? Тревога отвечала духу времени: вскоре начнётся решение “еврейского вопроса”. Вот почему понимающие современники, чувствуя, что в воздухе пахнет грозой, были смущены “милым евреем”, поставленным в средоточие современной гоббсовской схватки. Джойс, им казалось, — это один из умов, изощрённых и незаурядных, однако обессилевших в поисках решений насущных проблем эпохи и склонных за решением обратиться к патриархальной идее порядка в духе почвеннического фундаментализма, принявшего в XX веке форму национал-социализма. В “Интернациональной литературе” появилась статья Миллер-Будницкой, она с пониманием определила “философию истории и культуры Джойса” как безысходно-пессимистическую, неприемлемую для непоклонников Шпенглера. Но определить значило обвинить. Роман прикрыли. Романовича арестовали.

Стало быть, печатанье “Улисса” у нас прервалось, потому что арестовали одного из переводчиков? Не потому, а после... Назвать перевод причиной ареста или арестом объяснить остановку перевода отец не решался. Не могла поставить эти два события в связь и переводчица Елена Сергеевна Романова, тоже печатавшаяся в “Интерлите”, мало того, её подпись как ответственного работника Иностранной комиссии Союза писателей стояла под адресованным Джойсу рекомендательным письмом для Вишневского, который ехал в Париж и собирался посетить автора “Улисса”. Знала Е. С. закулисы литературной жизни, погибшего знала, но лишь вздохнула: “Бедный Романович!”

“Его ведь арестовали из-за Джойса”, — вдова Романовича доверилась Екатерине Гениевой. Что значит “из-за”? Если в самом деле из-за Джойса как Джойса, почему же арестовали одного, когда переводили коллективно? Если же беднягу переводчика арестовали за индивидуальную, связанную с Джойсом провинность, то какую? На этот вопрос Гениевой доискаться ответа не удалось.

Иосиф Бродский, мне кажется, поторопился считать самоочевидной причину ещё одной трагической истории тех же дней — арест и гибель переводчиков антологии английской поэзии¹². И казус с “Улиссом” надо выяснять, конкретизируя: кто и что решил, кто заклеил и кто запретил. С тех пор Джойс и “Улисс” стали у нас табу. Антисемитизм как причину не называли. Не называли, возможно, те же люди, что, вслух рассуждая о причинах запрета, под сурдинку объявляли запрет “Улисса” актом закручивания гаек. Они же говорили о том, что Джойс играет на руку фашизму. Говорили о реакционности в целом, хотя вернее было бы сказать о консерватизме: Джойс не был реакционером, его пропагандист Элиот — был. В нашей теории и практике от этого разграничения отказались, вычеркнув из нашего культурного обихода крупнейших мыслителей консервативного толка, а таковыми они были со времён Платона. Разобраться надо, кто вычёркивал. По моему убеждению, проверенному на практике, часто, очень-очень часто вычёркивали, а затем возмущались вычёркиванием не другие, а те же, одни и те же приспособленцы, они приспособлялись то к тому, то к этому, лишь бы оставаться на плаву и наверху.

Чем дальше, тем всё больше ярлыки, навешиваемые на роман Джойса, как обычно у нас бывало с ярлыками, имели всё меньше отношения к объекту, на который ярлыки навешивались. Если “Улисс” — модернизм (конечно!), то чем же негоден модернизм? На словах — реакционность, на самом же деле модернисты считались антисемитами, тот же Джойс. Каждый, кто выражал

своё мнение о запутанной проблеме, изъяснялся не прямо, проясняя одну сторону, не прояснял другой, причём по разным причинам: то ли потому, что Джойс — антисемит (что в 30-х годах вызвало настороженность в отношении к роману), то ли потому, что он — еврей (по этой “причине” Госкомиздат вычеркнул имя Джойса из престижной серии “Литературные памятники”). Тем-нили те, кто слышал, что нечитанный Джойс — модернист, модернизм нам не годится, поэтому с Джойсом надо бы, само собой, бороться, но, с другой стороны, раз он запрещён, значит, замечателен и, при сочувствии запрещён-ному, следует проташить Джойса как реалиста, разумеется, особого, *совре-менного* реалиста.

* * *

Всеволод Вишневский... оказался силь-но уязвлён атакой Мирского и нанёс ответный удар, решительно возра-жая против отрицательного отноше-ния к Джойсу.

Н. Корнгуэлл. Джойс и Россия.
Санкт-Петербург: Издательство
“Академический проект”,
1998.

В нашей стране спор 30-х годов о Джойсе между Дмитрием Святополк-Мирским и Всеволодом Вишневским завершился, как завершались у нас все споры теоретические, — практическими оргмерами, и участник дискуссии стал жертвой репрессий. Однако поражение потерпел не тот, кто, согласно нашей логике вещей, должен был потерпеть поражение, не защитник — противник Джойса попал под удар: погиб критик Джойса-модерниста. Схватка с парадоксальным исходом занимала меня со студенческих лет и продолжала занимать, когда стал я работать в ИМЛИ, тем более, что мой отец знал Дми-трия Петровича Мирского.

В отличие от моего времени, в 30-е годы модернизма не боялись. Мир-ский с Вишневским модернизм называли модернизмом, они спорили о Джой-се, об одном и том же, не то что у каждого был свой Джойс, им так не виде-лось и не думалось, они видели и знали, что это за явление, у них не было разногласий в определениях, не было разногласий и в оценках. Из одинако-вых определений и оценок они делали разные выводы. Джойс — модернист, модернизм — исторический пессимизм и философский агностицизм, с этим ни один из них не спорил. Но может ли советский писатель почерпнуть из фи-лософии исторического пессимизма нечто для себя полезное? Если верить в то, что мы строим новый мир, за которым — сияющее будущее, зачем же поддаваться страхам, что наступает вселенская ночь и мир объемлет беспро-светный ужас? А Джойс был в том уверен. Спорили об отношении к очевидно неприемлемой для нас идее, но, против обычного у нас порядка, оказался поверженным не Вишневский, съездивший к Джойсу на поклон и услышавший от него вопрос, зачем же советский писатель напросился к нему, если в Со-ветском Союзе “Улисс” запрещён? Слухи небеспочвенные, но преувеличен-ные. Переубедивший Джойса и переспоривший Мирского, Вишневский вер-нулся энтузиастом джойсизма, он говорил, что у Джойса следует учиться. А пострадал Мирский, который утверждал, что советским писателям *Джойс не нужен*. Как же это получилось?

Спросил я Веру Александровну Гучкову-Трейл, собиравшуюся выйти за Мирского замуж. Её ответ — это, по-моему, ключ к тайнам нашей литератур-ной истории, один из ключей, что вручила мне судьба, вроде железнодорож-ной стрелки, открывающей путь переводом состава на другую линию.

“Вы думаете, Диму интересовала литература?” — вместо ответа на мой вопрос задала вопрос Вера Александровна. Простите, что же ещё могло ин-тересовать того, кто только и занимался тем, что писал о литературе? Не сло-вами я это выразил — недоумённым взглядом. Взглядами мы обменивались, рассматривая портрет Мирского на фронтисписе наконец-то вышедшего сборника его статей. Привёз я книгу в Кембридж, где жила В. А., приехали мы туда с нашими преподавателями английского языка учить англичан русскому

и познакомились с Верой Александровной. Отдавая Гучковой книгу её несостоявшегося жениха, я ожидал, что она растрогается, а Вера Александровна усмехнулась, и услышал я от неё слова, что явились для меня откровением, обнажающим нелитературную подоплёку наших литературных дискуссий.

В наскоро написанных историях советской критики до сих пор пишут: того-то взяли за фрейдиизм, этого — за поток сознания и вообще за модернизм. А от Веры Александровны вместо модернизма я услышал... Никто бы не узнал, в чём заключалась суть спора о Джойсе, не поговори со мной обладательница достоверного знания о причине гибели её жениха. “Дима хотел власти”, — твёрдо, без иронии произнесла Вера Александровна. *Willie zur Macht* — нищезанятая воля к власти — была бы наследственно-естественна для сына Председателя Государственного Совета, но литератор...

Не в литературе заключалась суть спора двух литераторов. Перед публикой на подмостках разыгрывалась полемика о модернизме, “нужен ли Джойс нам или не нужен”, а за кулисами шла битва, имевшая к данному предмету такое же отношение, какое сценические сукна имеют к лесу или озеру. Борьба велась за литературную власть, и в этой борьбе Вишневский взял верх. Если “Дима” хотел власти, то у “Севы” желание оказалось, очевидно, сильнее. “Сева” о “Диме” говорил и писал: “Князь охамел”. А в дневниках у него есть угроза Мирскому: “Получит по рукам”. Ни “левых”, ни “правых” там не было. Нам легко это себе представить: не было их и в спорах о демократии, пока шла перестройка, были готовые и неготовые перестроиться, то есть приступить к захвату государственного добра.

Так и в борьбе за литературную власть были кто посильнее и кто послабее, и кто-то оказался сильнее, понятно, не в истолковании “Улисса”. Центр схватки находился не там, где, читая зубодробительные статьи, я его искал и многие до сих пор ищут. Когда вышла книга об интересе к Джойсу в России, я в порядке переписки познакомился с автором, Нилом Корнуэллом, и пытался завести разговор о том, почему, по его мнению, когда Джойс у нас перестали печатать, удар обрушился на того, кто отнёсся к Джойсу отрицательно. Автор книги о российской рецепции Джойса, искавший в сочувствии Джойсу протест против догматизма, уходил от вопроса, а потом ушёл на пенсию, и наша переписка прервалась. Есть и другие авторы, которые по-прежнему ищут причины критической смертоносной схватки вокруг Джойса (и не только Джойса), разграничивая левых и правых, передовых и отсталых, преследуемых и преследователей. Ищут и не находят того, что ищут. Не там и не то ищут!

Вот и английский биограф Мирского недоумевает, зачем Мирский писал об Олдингтоне, когда о нём будто бы “не знали даже англичане”¹³. Мирский писал об Олдингтоне, когда (по свидетельству Сноу) тот, автор “Смерти героя”, являлся одним из самых известных английских писателей. Как мог биограф Мирского допустить подобный недосмотр? Так ведь другой английский исследователь, изучавший восприятие Джойса в России, уклонился от попыток установить, почему советскому противнику Джойса дорого обошлась критика Джойса. Американской преподавательнице в романе Джойса показался просто милым персонаж, который вызвал возмущение у множества читателей-современников Джойса. Наш поэт, ставший и американским поэтом, считал излишним говорить, почему подверглись репрессиям составители антологии современной английской поэзии. За данность принимаются версии, о которых будто бы “излишне говорить”, а мне кажется, говорить ещё и не начинали.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См. Денис Бабиченко. Жданов, Маленков и дело ленинградских журналов. Вопросы литературы, 1993, № 3. С. 201–214.

² Гаррисон Е. Солсбери. 900 дней. Блокада Ленинграда. Перевод Регины Тодд. New York: Harper, 1969. С. 854–863.

³ Владимир Адмони. Северная смуглость. К 70-летию Фёдора Александровича Абрамова. — “Искусство Ленинграда”, № 2, 1990. С. 30.

⁴ Какие времена ни возьми, государственное разложение начиналось с разгула

плоти, социальные перевороты находили выразительное литературное отражение в эротике. “Опасные связи” — назревающая Великая Французская революция. Перед падением Российской империи — Арцыбашев и арцыбашевщина. “Русская красавица” — развал СССР. Уровень дарований различен, но, надо признать, всё это поучительно, какую из книг ни возьми. Ещё до “Русской красавицы”, когда кандидатура Виктора Ерофеева рассматривалась на Приёмной комиссии Союза писателей, я его поддержал. Принять Виктора приняли, но приём задержали: за рубежом оказался выпущен составленный им альманах “Метрополь”. Из этого родилась легенда, будто Ерофеева не приняли. Нет, отложили.

⁵ См. The New York Times, May 2, 2014. P. A23.

⁶ Isaiah Berlin, Anna Akhmatova: A Memoir — in: *The Complete Poems of Anna Akhmatova*, Ed. Roberta Reeder, Somerville, Zephyr Press, 1990, vol. II. P. 27.

⁷ См. Brian Roberts, *Randolph. A Study of Churchill's Son*. London: Hamish Hamilton, 1984. P. 288–290.

⁸ Isaiah Berlin. *Op. cit.* P. 43–44.

⁹ David Brooks. *The Road to Character*. New York: Random House, 2015. P. 168–169.

¹⁰ И. Б. Роднянская. Движение литературы. Москва: Языки славянских литератур, 2006. Т. I. С. 441–442. Роднянская полемизировала с моей статьёй “Трудные разговоры о “трудной” литературе”, опубликованной в “Литературной газете” (1968) и вошедшей в мой сборник “Пристрастия и принципы” (1991).

¹¹ Richard Ellman. James Joyce, New York: Oxford University Press, 1959. PP. 537, 722, 749–750.

¹² Говоря о своем любимом английском поэте Уистене Хью Одене (которого зоилы называют “худшим из всех знаменитых поэтов”), Бродский вспоминает, как он впервые прочёл переводы из Одена в антологии “Английская современная поэзия от Браунинга до наших дней”. “Нашими”, — продолжает Бродский, — были дни 1937 года, когда этот том был издан. Нет нужды говорить, что почти все его переводчики вместе с редактором М. Гутнером вскоре после этого были арестованы и многие из них погибли” (Иосиф Бродский. Письмо Горацию. Москва: Наш Дом, 1998. С. LX). По-моему, напротив, есть нужда говорить о репрессиях, обрушившихся на тех, кто принял участие в антологии: одна из вроде бы ясных ситуаций, которые на самом деле вовсе не ясны. Редактором-составителем антологии Бродский называет Гутнера, очевидно, не зная о том, что я слышал от отца: Михаил Гутнер — подставное лицо, составил антологию Д. М. Святополк-Мирский. С его арестом на титул поставили Гутнера, однако это не защитило антологию от губительных последствий. За что же в самом деле покарали переводчиков вместе с псевдосоставителем? Пока могу указать лишь на один факт: в антологию включены поэты, известные своим антисемитизмом, в том числе, боготворимые Бродским — Оден, тогда ещё не перешедший от анти- к филосемитизму, и стойкий антисемит Элиот, который сделался идолом Бродского, который свою Нобелевскую речь произнёс, развивая мысль Элиота об ответственности поэта перед языком (Элиот развивал Валери). Мимолётность моих встреч с Бродским не даёт мне оснований строить догадки о его выборе достойных подражания поэтов, но не вижу у него заинтересованности выяснить, кто кого преследовал и почему.

¹³ G. S. Smith, D. S. Mirsky: *A Russian-English Life*. New York: Oxford University Press, 2000.

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

“МЫ САМИ — МУЗЫКА И БОЛЬ...”

В продолжение разговора, начатого статьёй Алексея Вульфов (‘‘Наш современник’’, № 5) мы публикуем статью Сергея Куняева, размышления о поэтах Сергея Агальцова и статью замечательного теоретика из Донецка Владимира Фёдорова, возможно, несколько сложную для восприятия.

Владимир Фёдоров — ученик и последователь Михаила Бахтина, теоретик литературы, автор прогремевшей в своё время книги ‘‘О поэтической реальности’’, чрезвычайно высоко оцененной Вадимом Кожинным. Ныне, под обстрелами украинских нацистов, он продолжает своё кровное дело — размышляет о природе поэтического творчества, о природе русского слова. И это настоящий подвиг современного русского интеллигента.

Алексей Вульфов (‘‘В восторгах умиления’’, ‘‘НС’’ №5) изложил чрезвычайно горькие и, увы, имеющие под собой немало жизненных оснований соображения о состоянии современной поэзии. Выводы его, прямо скажем, безрадостны.

‘‘Страшно даже не то, что лирики нет, — страшно, что повода для неё всё меньше. Старение старой красоты не досадно — досадно, что новая, молодая красота на смену не приходит. Раньше устареет Тредиаковский — придёт Пушкин, Лермонтов; потом придёт Некрасов, А. Толстой, Фет, Тютчев; потом Есенин, Блок, наконец — Рубцов... А теперь что?.. Поэзия, рождённая современным социумом, так называемыми отношениями, особенно в столично-либеральном духе, не только мало возможна, но и, даже появившись, по своим последствиям скорее потенциально вредна. Тут задумаешься: надо ли ей, такой, вообще появляться?..’’

Вообще-то говоря, речь идёт здесь не о поэзии, а, в лучшем случае, о стиходелании. И странным кажется представление о том, что Некрасов, А. Толстой, Фет и Тютчев могли прийти на смену Пушкину и Лермонтову. Классика не сменяема и не отменяема. И Алексей Вульфов это прекрасно понимает.

Другое дело, что он ставит важнейший вопрос о соотношении жизни и поэзии в современности. ‘‘Всё хорошее... — пишет А. Вульфов, — так или иначе, оказалось в некой резервации, но не в ‘‘потоке культуры’’...’’ И, на первый взгляд, он абсолютно прав.

Впрочем, обо всём этом ещё в конце 1980-х писал Юрий Кузнецов:

*Не дом — машина для жилья.
Уходит мать-сыра земля
Сырцом на все четыре стороны.*

*Поля покрыл железный хлам,
И заросла дорога в храм,
Ржа разъедает сердце родины.
Сплошь городская старина
Влачит чужие имена.
Искусства нет — одни новации.
Обезголосел быт отцов.
Молчите, Тряпкин и Рубцов,
Поэты русской резервации.*

Тогда, действительно, создавалось впечатление ухода подлинной русской культуры в резервацию, что подтвердилось всем течением 1990-х годов. Это был единый поток не жизни, отвергавший подлинное искусство и отвергнутый им. Притом, что подлинная поэзия — высокая и трагическая — никуда не уходила. Пример Николая Тряпкина и Юрия Кузнецова (и не только их) о том свидетельствует.

Ныне же мы имеем в реальности разные жизненные потоки, практически не пересекающиеся, по сути, между собой. Столично-либеральная жизнь не имеет отношения к жизни русской провинции. Да и в самой столице, и в самой провинции разнообразие и разнонаправленность этих потоков очевидна.

То же и в поэзии. Приводимые А. Вульфовым цитаты показательны для определённого сегмента, существующего в общем литературном пространстве. Подобное по своей маргинальной природе никогда не могло претендовать на заполнение этого пространства, какую бы рекламу в определённые периоды этой словесной грязи ни создавали.

Не так давно на одном совещании молодых литераторов мне довелось ознакомиться с несколькими подборками стихотворений не столь безобразных, но, по сути, однотипных с цитируемыми в статье А. Вульфома. При этом одна поэтесса на полном серьёзе стала защищать своё стихосочинительство типичным “аргументом”: “Такова жизнь... Как вижу, так и пишу”. Мне пришлось напомнить ей мысль Льва Николаевича Толстого, что так называемое реальное изображение жизненных безобразий есть самая большая ложь в искусстве, ибо не из них состоит жизнь... При этом я увидел согласие с собой в глазах абсолютного большинства собравшихся.

Что касается так называемой “патриотической современной поэзии”, о которой пишет А. Вульфов, то мне периодически приходится читать в отделе поэзии журнала стихи, состоящие из “восклицаний, идейности и злободневности”, но где поэзии днём с огнём не сыщешь. Сплошь и рядом приходится встречаться с явлением, точно отмеченным автором статьи “В восторгах умиления”: “...За внешним пафосом даже в случае искренности переживаний поэта единообразие мысли нередко сочетается с плохо скрываемым неверием в собственные слова”. Об этом ещё в 1968 году (!) писал Вадим Кожин: “...Сейчас даже в лучших стихах замечаешь постоянные оглядки и прислушивания — к самому себе, к вероятному мнению собратьев по стиху, к критике. Или даже прямое заигрывание с читателем, стремление увлечь, заинтересовать, поразить его чем-либо, что не принадлежит поэзии в собственном смысле слова. Читаешь иные стихи и так и хочется спросить словами одной вологодской частушки: “Что ж ты ёжишься, корёжишься?...” Об этом же в то же время писал и Анатолий Передерев в статье “Мир поэта”: “...В стихах не оказывается ни “героев”, ни самого поэта, остаётся одна “точка зрения”, не обеспеченная лирической правдой... Чувствуя, что в своих стихах они живут какой-то не личной жизнью, что пишут они, не открывая свой духовный мир, а словно выполняя какое-то “общественное поручение”, некоторые поэты изо всех сил стараются доказать, что они есть, что они не только стараются что-то “выразить” и “отразить”, но и существуют ещё сами по себе... Устраивают “сенсации” пикантно-лирического или дерзко-политического характера. Усиленно демонстрируют свои “неповторимые” формальные признаки...”

Подобное существовало всегда, и течение времени ничего здесь не изменило. Поэтому графоманам нужно оставить графоманово и сосредоточиться на подлинной поэзии, существующей, вопреки всему, и в нынешнюю эпоху.

Обратиться к поэзии, ценность которой, как писал Кожин, — “в подлинности, в живой правде того творческого поведения, которое... дышит в каждой... строке”.

* * *

Прочтя статью “В восторгах умиления” иной читатель может сделать поверхностный и совершенно неверный вывод, что, согласно утверждению автора, “хорошие, красивые стихи”, пишущиеся и в наше время, “лишь исключения, подтверждающие правило”. То есть “правило” тусовочной грязи. Поэтому я обращаюсь к серьёзным, на мой взгляд, поэтическим книгам, изданным в России за последние 5 лет.

Последняя известная мне книга Владимира Шемшученко “За три минуты до рассвета” вышла в 2012 году в Санкт-Петербурге и представляет собой совсем небольшое по объёму “избранное” — чуть более 100 страниц. Зная достаточно хорошо творчество поэта, я мог бы представить себе книжку гораздо более внушительную, но, читая, не мог не оценить строгости и точности отбора.

Ключевой для книги цикл — “Степное”, и главное в нём — срединное стихотворение:

*И послышится топот коней,
и запахнет овчиной прогорклый,
И гортанная речь заклоочет,
и в степи разгорятся костры...
И проснёшься в холодном поту
на кушетке под книжною полкой,
И поймёшь, что твои сновиденья
осязаемы и остры.*

*О, как прав был строптивый поэт —
Кузнецов Юрий свет Поликарпыч,
Говоря мне: “На памяти пишешь...”
(или был он с похмелья не прав?)
Хоть до крови губу закуси —
никуда от себя не ускачешь,
Если разум твой крепко настоян
на взыскующей памяти трав.*

.....
*Вспомни горечь во рту
и дурманный запах ямшана,
И вдохни полной грудью щемящий
синеватый дымок кизняка,
И сорви беззащитный тюльпан,
что раскрылся, как свежая рана,
На вселенском пути каравана,
уводящего вдаль облака...*

Память — определяющая субстанция в творческом мире Шемшученко. Вся фактура жизни, природных и бытовых примет Казахстана, где когда-то “человекособаки” убивали его “у всех на глазах”, воплощена в стихах, писавшихся на протяжении всего творческого пути, стихах, выдержанных в холодно-гневной интонации человека, ничего не забывшего и, оттолкнувшись от личной трагедии, вышедшего на фундаментальные обобщения о судьбе уничтоженного государства.

*Разорвали империю в клочья границы.
Разжирели каганы на скорби людской.
Там, где царствует ворон — зловещая птица, —
Золотистые дыни сочатся тоской.*

*Южный ветер хохочет в трубе водосточной,
По-разбойничьи свищет и рвёт провода...
Всё назойливей запахи кухни восточной,
Но немногие знают — так пахнет беда.*

Пахнувший бедой красочный восточный пейзаж (ведь не забыть ни тоску золотистых дынь, ни беззащитный тюльпан, раскрывшийся “как свежая рана”, ни “ожившие краски рассвета”, что “ладонью стирает узбек с напряженной щеки”) — словесная живопись Шемшученко здесь сродни холстам русских художников, писавших Переднюю и Среднюю Азию во второй половине XX века, сменяется чёрно-белой графикой Петербурга, где восточное горькое прошлое предстаёт уже в совершенно иных картинах:

*Ну, и выпал денёк, с ветерком, до костей пробирает,
Гололёдец такой, ну, совсем, как у Данте в аду...
Я всем мозгом спинным понимаю: меня забывает
Полусонный вагон, убывающий в Караганду.*

*Он забудет меня, одиноко ржавая на свалке,
Как забыли меня все, кому я тепло раздал...
Здесь, в несломленном городе,
Люди блокадной закалки
Отогрели меня, когда жить уже не было сил.*

*Смейтесь, братья мои!
Нам ли нынче стонать и сутулиться!
Смейтесь, сёстры мои! Вы затмили достойнейших жён!
Посмотрите в окно... Кто метёт и скребёт наши улицы?
Это дети оравших до времени: “Русские вон!”*

“Ах, ты, память моя! Я прощаю, а ты не прощаешь!” И непрощающая память — она же! — рождает веру в то, что “имперский дух не истребим в народе”. Даром, что та же память не в силах отпустить навсегда врезавшуюся в неё Караганду, о которой Шемшученко написал когда-то одно из самых сильных и самых страшных своих стихотворений. И не захочешь, а запомнишь его пронзительный финал:

*На сожжённую степь, на холодный рассвет
Дует северный ветер — гонец непогоды,
На дымящие трубы нанизаны годы...
В этом городе улицы в храм не приводят.
Да и храмов самих в этом городе нет.*

Это — прошлое, навечно оставшееся в настоящем и соседствующее с картинами современного Питера, с ощущением новой жизни, длящейся уже не одно десятилетие, с выходом на иные регистры, дающие осознание всё большего совершенства созданного и того, что ещё не создано поэтическим словом.

*Я ломаю строку, между тьмой разрываюсь и светом.
Мне вовек не избыть возвышающей душу мечты,
Что никто на земле не дерзнёт прозываться поэтом,
Не постигнув величья дарованной нам красоты.*

Это чувство “дарованной нам красоты” рождает эмоцию, несчастую у Шемшученко, когда строка хлещет, что называется, наотмашь: “Свисти, не смолкай, соловьиная сволочь, сбивай с беззащитной черёмухи цвет!” В этой “соловьиной сволочи” сказался весь несказанный восторг перед той природной музыкой, которую не в силах воплотить человек, лишь приближаясь к ней в самых своих совершенных творениях. А когда эмоциональный порыв спадает, остаётся лишь порадоваться тому, что “хорошо, что нас не забывает нетающий словесный русский снег”... Кстати, об окружающей жизни.

Ещё сколько лет назад поэт ответил на нынешние сетования Алексея Вульфо-ва — “какова жизнь — такова поэзия” — стихотворением из трёх пятистиший, афористичных в своей сжатости и словесной точности:

*Полякам грезится Катень.
Евреям — призрак Холокоста.
А русских, взгляд куда ни кинь,
Англосаксонская латынь
Толкает в сторону погоста.*

*Мне говорят: “Смирись, поэт”, —
Точнее: “Эк тебя заносит...”
Я огрызаюсь им в ответ:
“Вам до меня и дела нет!”
А за окном такая осень!*

*А за окном такая жизнь,
Что впору изойти стихами!
А по-иному всё сложись,
Тогда хоть под трамвай ложись,
Себя узнав в грядущем Хаме.*

“Мы толпились в дверях, разменяли таланты на речи. Из прихожей в Поэзию так и не вышел никто...” Это строчки из цикла “Поэты”, цикла жёсткого и однозначного в выводах. Притом, что на иных стихотворениях Шемшученко достаточно заметна поэтическая печать Глеба Горбовского, можно определённо сказать: автор нескольких книг, среди которых и “За три минуты до рассвета...”, давно вышел в Поэзию. И не затерялся в ней.

* * *

История взаимоотношений с журналом поэта Марины Струковой знакома читателю “Нашего современника”. Ещё в “Напутственном слове” к её первой книжке “Солнце войны” Вадим Кожинов, отмечая её “незаурядную поэтическую силу”, подчёркивая, что “истинный дар Марины Струковой позволил ей как бы влить в свой ещё такой молодой голос голоса дедов и прадедов, — в конечном счёте, голос России”, — остановился на главном: “...”Кому больше дано, с того и больше спросится”. И в будущем молодая энергия должна претвориться в зрелое, более взвешенное и более конкретно воплощающее образ и смысл бытия поэтическое слово... А зрелость возможна лишь на пути упорного творческого труда и, более того, “творческого поведения”... которое определяет не только собственно литературную, но и повседневную жизнь истинного поэта”... Через несколько лет уже Станислав Куняев в предисловии к новой книжке Струковой, отдав должное её боевому духу, воплощённому в возмужавшем и окрепшем стихе, и уловив мотивы, выводящие поэта за пределы человеческой любви и понимания, писал: “А ты, Марина, не спеши. Остановись. Оглянись во гневе”... Но, похоже, Марина внимала уже только себе самой.

Её “творческое поведение” привело к захлёбывающемуся восхвалению украинских нацистов — после столь же захлёбывающихся гимнов русским националистам. В результате после “Открытого письма Марине Струковой”, написанного главным редактором, прервались её отношения с журналом, который вывел поэтессу в большую литературу.

Прошло время. И вот передо мной новая книга Струковой — “Грозовая чаща”, сборник стихов прошлого года издания без каких-либо выходных данных, но с послесловием “О предках тамбовских и рязанских”, что во многом дополняет образ автора, встающий на стихотворных страницах.

Дополняет — и во многом противоречит ему.

Марина Струкова вспоминает о своих предках, подчёркивая их православную религиозность. Она пишет о двоюродной бабушке Елене, которая “жила монахиней в миру”, о святом источнике в селе Дубовом: “Люди уверяли

друг друга, что заглянувший в колодец увидит икону, но каждый — свою: кому-то является образ Богородицы Казанской, а кому-то — Владимирской, кому-то — Иисус Христос, а кому-то — Сергей Радонежский...” И особо останавливается она на обстановке, в которой выросла на Тамбовщине:

“В самой большой комнате находился иконостас. Там были иконы самого разного времени, письма и происхождения. Современные — на холсте, древние — на дереве, журнальная репродукция с кающейся Магдалиной. Крошечные и большие образа висели над треугольным столом, на котором теснились прутья высохшей вербы, пучки свечей. У стола внизу крепилась полка, где лежали массивные тома “Жития святых”, а на полу под ними стояли банки со святой водой от разных праздников... Библия — толстый том с гравюрами Доре — была прочитана мною в детстве несколько раз и воспринималась как историческая книга... Мне было десять лет, когда попросила бабушку научить меня церковно-славянскому... Бабушка говорила, что после всех событий, описанных у Иоанна Богослова, однажды в небе появится огромный крест, это и будет началом Страшного суда...”

“Православная Россия жила параллельно советской, а потом перестроечной России”, — совершенно справедливо пишет Марина Струкова. Но в её собственных стихах, — чем дальше, тем явственнее, — обнаруживал себя мир, параллельный и советской, и перестроечной, и православной России.

*Видишь? — Отброшена маска. Веришь? Не имидж — судьба.
Рядом шальную развязку подстерегает толпа:
“Это писатель Мисима, он заигрался в войну”...
Разуму невыносима низость предавших страну.
Труссы, бойцов презирая, ждут заземляющей лжи.
Если ушли самураи, значит, пришли торгашки!*

Этим стихотворением — “Юкио Мисима” — открывается книга “Грозовая чаша”, и можно было бы, учитывая его программность и соответствующую неизбежную декларативность, отнести всё это на счёт “восточно-экзотического” ориентира, коим стал для Струковой японский радикал и эстет, один из лучших писателей второй половины XX столетия, неоднократно кандидат на Нобелевскую премию (так её и не получивший)... Но суть в том, что этот же мотив — “самурай contra торгаш” — по сути был для Марины ключевым во всей её поэзии. И приобрёл резко индивидуальный окрас в пределах русской тематики.

*Россия, Россия, ты мой потолок
и стены казённой избышки,
где каменным блоком становится Блок
и Пушкин — названием пушки.*

*Зато здесь и Солнце, и Месяц, и грош,
и пряник, и кнут, и причастье.
Наш космос привычен и этим хорош,
знакомое зло вроде счастья.*

На трагедийном контрасте Струкова выстраивает многие свои стихи, и этот контраст, в самом деле, несёт в себе мощную энергетику образа и интонации, которая и захватывает, и притягивает... Но мир, “где каменным блоком становится Блок и Пушкин — названием пушки”, представляется всё же обуженным, многое теряющим из своего природного и духовного богатства. Тут же вспоминается её предыдущее: “Наша классика — Пушкин и АКМ. Мало для решения всех проблем. Но, пожалуй, и этого хватит здесь, чтоб немного сбить мировую спесь...” При всей боевой отчётливости и прямолинейности Пушкин тогда не превращался в “название АКМ”.

Но гораздо важнее другое. В поэзии Струковой полноправный голос обрела не православная, а именно языческая стихия.

*Не к вам, а к вашей крови возношу
свою мольбу, к победной древней воле.
Я в вас могучих пращуров бужу,
привыкших к ратной и разбойной доле.*

“Покоятся все лучшие России на кладбище героев и богов...”, “Воюют герои и боги за слабые души земли, горят золотые дороги в шальной межпланетной пыли...” “Герои и боги” отчётливо взывают к античной мифологии, впрочем, у Струковой реально прочерчено и обращение к временам дохристианской Руси. Но не случайна же в её книге и “Ирландская сказка”, герой которой зажился в гостях у “девы сна” на три дня – три сотни земных лет, а вернувшись домой “распался прахом в пустоте”, встретившись со стариками, что несли надгробную плиту на его могилу. Не случайны и стихи, на которых слишком очевидна печать Юрия Кузнецова:

*Немногим высокая тайна известна,
Рассеяна светом во мгле:
За милую Родину, звёздную бездну
Сражаемся мы на земле.*

*Распахнуты окна в России широко,
Туда, где ни края, ни дна.
Мятежное Солнце — горящее око,
Куда ни помотришь — война.*

Но Струкова осталась на той точке, от которой ушёл Кузнецов в своей поздней поэзии. И думается, совершенно органично вписаны в книгу “Грозовая чаша” её ранние стихи, которые сразу ввели её в первый ряд русской молодой поэзии: “Если завтра война...”, “Возлюби своего врага...”, “Я выхожу из-под контроля...” “Ухожу. Может, и вернусь в этот дом...” Стихи, исполненные молодой, яростной, жгучей энергии и бескомпромиссности, переходящей определённую грань в сознании и душе обычного человека. Стихи, своим порывом напоминающие реплики красногвардейского патруля из “Двенадцати” Блока.

*Если завтра война, мы поплачем о милом,
перекрестим дымящийся дол.
Проведём бэтээры по отчим могилам,
чтоб могилы никто не нашёл.*

.....
*Наш распахнутый мир будет светел и страшен,
голос крови сильнее, чем закон.
Заминируем каждую пядь этих пашен,
динамит — под оклады икон.*

И словно в продолжение этого мотива – строки из уже более поздних стихотворений, но исполненные того же убийственного смысла: “Больной озлобленной Державой, среди обугленных камней смотри, как Русь идёт за славой! Смотри, как Смерть идёт за ней!”, “Вызверись, Русь, исполинским медведем! Мы им ответим, с размахом ответим, ну, а потом шкуру бурю сбросим и у побитых прощенья попросим...” То, что убитые уже не ответят на эту “просьбу о прощенье”, не имеет значения. Потому что “мир снова очнётся жестоким и юным и примет немногих из нас”. Потому что “мы вызываем память-пламень, чтоб вновь сражались Бог и Зверь”... И Бог в её стихах – не берегущий и не любящий (“Но не знаю, захочет ли Бог беречь уходящую на восход”, “И никто ничего не скажет, даже Мать и опасный Бог...”), но языческое божество, требующее новых и новых жертв.

Такой поэт, как Марина Струкова, должен был появиться в 1990-х годах, во время разрушительного катаклизма, второго в русской истории XX столетия. Второй раз в этом веке царство, разделённое в себе, не устояло. И из разрывов и разломов полезла inferнальная, дьявольская сила, вылезли гоголевские *свинные рыла*, и “подпольные” нелюди Достоевского, возомнившие себя солью земли. Стихи Марины стали естественным и достойным ответом всей этой нечисти, но языческий заряд их был столь же естественен, сколь и разрушителен.

Конечно, русская природа и здесь взяла своё. И в это время всеобщего сокрушения и распада глаз поэта ловит и запечатлевает удивительные картины природной гармонии, разлитой в мире.

*Речные острова в белейшей повилке,
серебряной листве, туманном ободке.
Преломлены лучей рассыпанные блики
в мерцающую дрожь росы на ивняке.*

.....
*Вот ветра повели лесостепью
заговорицкий шёпот и свист,
посбивали петляющей плетью
вырезной изузоренный лист,*

*заплели пожелтевшие травы,
словно сети, по гнёздам грибниц.
Проводили, как русскую славу,
в дальний край опечаленных птиц.*

Давно не появлялись в печати новые стихи Марины Струковой. Хотелось бы их прочесть. И хотелось бы думать, что наступившая пауза, естественная для поэта (а не для стиходелателя), послужит возникновению новых нот в её поэтическом мире.

* * *

“В поэзии мне всегда хотелось проникнуть в неведомые глубины — будь то глубины сознания, духа, вселенной, соединить несоединимое — Христа и устремлённость России в космос, жизнь русской провинции и задымленного мегаполиса, заглянуть в тайники человеческой души и подслушать мысли цветка, — пишет Наталья Егорова в предисловии к книге избранных стихотворений “Русской провинции свет”, вышедшей в Смоленске в издательстве “Свиток”. — Для меня весь мир — живой, весь — мыслящий. Провести границы между живым и неживым, разумным и неразумным мне никогда не удавалось”.

Вот на этом взаимопроникновении земного и небесного, человеческого и природного и развивалась, и совершенствовалась поэзия Натальи Егоровой. И название книги — “Русской провинции свет” — соединяет в себе земное начало в образе русской провинции и свет Фаворский, которым наполнен мир сей провинции — центра русской и мировой истории.

*Черны чугулки, и старинные живы ухваты,
И угли в золе полыхают, как звёзды в ночи.
Ты крестишь порог и гостей приглашаешь у хату,
И ставишь картоху в остывшем горшке на печи.*

.....
*Ты многое помнишь о веке жестоком и грубом.
Твой парус серел, и была тебе смерть нипочём.
Но сжег твои всходы литвинин по имени Ругор
И жар разбросал в твоей печке тяжёлым мечом.*

*Ты дровы бросала, ни бед, ни годов не считая.
Но вилы взяла и ушла в партизаны родня.
Под свисты шрапнели ты выпекла хлеб для Барклая,
А пленный французик дрожал и дрожал у огня.*

*Пришла немчура — старой бабой, от горя горбатой,
Кричала: “Уйди!” — и внучка заслоняла собой.
Корову убили. Сожгли твою вечную хату.
Осталась лишь печка с дымящею гневно трубой.*

.....
*Ты чёрные руки положишь на белую скатерть.
Кто был здесь в гостях — позавяжешь на память узлы.
Разлочишь картоху — великая вечная Матерь,
Вся в чёрных морщинах чернее земли и золы.*

*Зарю над деревней твоей повернуло на полночь,
И звёзды над Касплей на волок идут посолонь.
Ты смотришь во мрак и, беззубая, шамкаешь: “Помню!”
И в старой печи поднимается Вечный огонь.*

В своё время Николай Клюев сделал русскую избу средоточием Вселенной, чашей земных и космических энергий. То, что пишет Наталья Егорова, не имеет параллелей в современной поэзии. Во всяком случае, мне неизвестна более подобная смелость и точная в своём словесном воплощении размашистость поэтического жеста, когда в естественном взаимопритяжении в её стихотворном пространстве обретают новую жизнь разнородные эпохи, где Вечный огонь в печи — закономерный и в то же время поразительный в своей неожиданности финал многослойной и многозвучной исторической симфонии, сотворённой на узком пространстве — пятачке — возле избяного очага. К этому надо было прийти, нащупать, обрести свой путь. Обретался он долго и непросто, но последовательно и целеустремлённо.

Взгляд Натальи Егоровой проникает ещё дальше — в дохристианскую эпоху, обретающую новую жизнь на наших глазах.

*Заревёт ли медведь, зазвонит ли рассвет,
Тронет душу неведомый сон —
Здесь великие реки выходят на свет
Из берложьего зева времён.*

.....
*От Днепровских ворот в молодом сосняке
Пеплы войн на долины летят.
Треплет русые волосы в березняке,
Узнавающе щурится взгляд.*

.....
*Мы пришли из России и канули в Русь,
След оставив и песнь на земле.
Всё пройдёт и исчезнет, но я не боюсь
Раствориться в светающей мгле.*

Эта “светающая мгла” сама по себе говорит о мире, одухотворённом Божьим дыханием, и здесь принципиальное, если угодно, сущностное отличие поэзии Натальи Егоровой от поэзии Марины Струковой. Если у Струковой языческая стихия выступает в своей свирепой самости, то Егорову и её героев дохристианской эпохи в их кровавых противостояниях осеняет свет Божьей благодати, о смысле которого они ещё не имеют никакого представления.

*Умчались по санному следу
Отец твой убитый и брат.
Тыходишь в преданье, Рогнеда,
В кровавой рубахе до пят.*

.....
*И теменью смотрит светлица
В твою волконравную ночь.
Ты мужу бросаешь: “Убийца!” —
И просишь родного — помочь.*

.....
*Знать что-то, что злее гордыни,
С рождения тлело в крови —
Ведь сердце от ужаса стынет,
А губы поют о любви.*

*Гори же сильней, Горислава!
Ведь в имени горьком твоём
Повенчаны горе со славой
Сжигающим в пепел огнём.*

*Повенчаны слёзы и звёзды,
И в чёрной пучине — ладья,
И воздух — сухой и морозный,
И свет — из глубин бытия.*

И я не могу не вспомнить здесь одно из моих любимых стихотворений Егоровой, которое печаталось в “Нашем современнике” под названием “Русиния”, но утратило заголовок в её книге.

*О русской Трое плачет Пенелопа.
Белей берёсты — свет на римских лицах.
О чём молчишь, надменная Европа?
Открыла пасть этрусская волчица.*

*Вы гнали нас — и с наших копий ели,
Но роет землю нищий археолог.
Поёт дельфин в славянской колыбели,
Что путь вражды, как сон Елены, долог.*

*А русский витязь держит солнце битвы.
От тибрских скал до жерла критской ночи.
Семь тысяч лет прибой шумит молитву:
— Русиния, чарующая очи!*

*Семь тысяч лет мы сыты русским горем
В бинтах изгнания, в нищих лазаретах.
Плач Ярославны над Эгейским морем...
Ты, медсестрица, спой Днепру об этом.*

Под пером другого стихотворца, обуреваемого жадой смешения временных пластов, но воспринимającego их в качестве “заманчивого антуража”, подобные стихи отдавали бы, в лучшем случае, нестерпимой фальшью. У Егоровой нет даже намёка на “антураж” — здесь прожита каждая строка, каждая реалья, причём прожита в полноте своей исторической и современной бытийности. И сама по себе молящая и зовущая интонация отзывается плачем Ярославны и другими древними плачами, обретшими новую жизнь в русской классике XIX и XX столетия.

Это труднейший путь — идти к органической связи эпох и порождённых ими духовных энергий, и не один поэт потерпел жестокую неудачу на этом пути. Далеко не всегда творческая удача сопровождает и поиски Натальи Егоровой, не единожды я замечал в разбираемой мной книге стихотворения, где недовершенная мысль очевидно не обретает необходимого словесно-музыкального воплощения. Может быть, следовало автору более строго подойти к отбору стихов и составу книги, и будь сборник немного потоньше, он воспринимался бы ещё более целостно. Но я сейчас говорю о безусловных достоинствах поэта, чьё творчество на протяжении многих лет практически не замечалось отечественной критикой. И ещё одно стихотворение, о котором нельзя не упомянуть и которое, я считаю, достойно войти (наравне с другими лучшими стихами поэта) в самую строго отобранную антологию русской поэзии начала XX века, — “Гжатск”.

*Летел Гагарин в небе над страной.
Жила в прибрежном яворе звезда.
У кладбища за Гжатью под луною
Цвела зеленоватая вода.*

*А в церкви, уцелевшей от разрухи,
Качая из могильных корабли,
О Боге пели древние старухи
И раскрывали Небо для Земли.*

*Мы, дети, затаясь в речных ракитах,
Желали знать не ведомое нам:
Как в звёздах свечек гроб плывёт открытый
И, словно космос, дышит светом храм?*

*Но в голосах, дрожащих перед Богом,
Такая вера была током слёз,
Что смерть ушла. И в дальнюю дорогу
Живую взял почившую Христос.*

“Мы утратили нечто первостепенно важное и фундаментальное, — пишет Наталья Егорова в предисловии, — тот строй души, породивший особый строй русского стиха, который, подчас независимо от воли поэта и вразрез со сказанным, самим своим глубинным, неразрушимым христианским духом — любовью, гармонией, чистотой, архитектоникой, звуком — свидетельствовал о том, что человек создан по образу Божьему”.

Горькие, беспощадные слова, и в то же время те слова, что опровергаются самой поэзией Егоровой в её высших проявлениях, к которым я, безусловно, отношу стихотворения, посвящённые памяти Светланы Кузнецовой и Николая Тряпкина, а также не вошедшие в книгу “Русской провинции свет” и опубликованные позднее на страницах нашего журнала её стихи, печатавшиеся в последние три года. В первую очередь, такие, как “Александр Невский”, “В коричневых платьицах выше колена...”, “Святой Егорий”.

* * *

Когда я читаю книгу Николая Коновского “В отблеске горнем”, вышедшую в Москве в 2015 году, вспоминаю классическое стихотворение Евгения Боратынского:

*Всё мысль да мысль! Художник бедный слова!
О жрец её! Тебе забвенья нет;
Всё тут да тут и человек, и свет,
И смерть, и жизнь, и правда без покрова!*

И в стихах Коновского превалирует именно мысль. Он поэт сдержанно думающий, сосредоточенный, стих его графически точен, выверен и нетороплив, он сам по себе побуждает к спокойному созерцанию и неторопливому размышлению.

*О бедность и скудость — суровая правда земли! —
И гул затаённый, едва различимый вдали
Соснового бора!
А всё-таки стоит, пусть даже мучительно — жить,
Когда в отдалённом безмолвии чайка кружит
Да блещут озёра...*

*И время само замедляет стремительный ход
Под кровом, где медленно-медленно-медленно служба плывёт
Дыханьем надмирным,
Где ветры поклоны за стенами истоиво бьют,
И кроткие сёстры хваленье Творцу воздают
Распевом старинным...*

И сосновый бор, и старинный распев лишь оттеняют здесь картину, сосредоточенную в самом поэтическом слове, в ритме, исполненном и размеренности, и затаённой тревоги, которая закладывается строкой: “А всё-таки стоит, пусть даже мучительно — жить...” И эта жажда жизни превалирует в спокойных, по видимости, строках, когда красота земного мира, от которого тянется незримая вертикаль в мир горний, сама по себе служит спасением от ужасов земной жизни.

*Что́ так безумствует, над головою пророчит
Сшибка невидимых, зло восстающих громад!..
После бессонной, томлением стиснутой ночи
Выйду в мой белый, пургою завьюженный сад:*

*Мир непостижнее, сердце ожившее выше,
В грудах брильянтовых — токи живого огня!..
Сад поднебесный до ветки надломленной вижу!
Сад наднебесный — до помысла видит меня!*

И каждое явление жизни, запечатлённое точным и выверенным глазом, Коновской стремится уложить в течение мысли о человеческой судьбе, о мироздании, о Боге... Для него органичен ритмический белый стих, сам по себе предполагающий неторопливое — хотя и напряжённое — раздумье. И, мне думается, среди лучших стихотворений книги “В отблеске горнем” есть смысл выделить несколько “белых” стихотворений: “Литературный вечер”, “Молитва”, “Когда умер Хозяин...”, “Понимание”, “...Вновь я посетил...” (прямая отсылка к Пушкину лишь высвечивает абсолютно личностный смысл этого стихотворения), “Слово”, “Воспоминание”, “Лётчик-истребитель”...

Книга подразделяется на семь разделов — “Милость”, “Келья”, “Неизбежность”, “Сосны шумят”, “Из окружения!”, “Возвращение”, “Ангел мой” — и чрезвычайно разнообразна по тематике и мотивам. Но особое внимание, естественно, привлекают первые два раздела, в которых сосредоточены стихотворения, навеянные православной литургией и проповедями святых отцов, а также переложения псалмов Давида. Прямо скажем, я считаю, что никакое поэтическое переложение здесь не в состоянии достичь глубины смысла и огненности пафоса оригинала, хотя прекрасно понимаю внутреннюю необходимость обращения поэта к духоносным первоисточникам. Другое дело, что подобные стихотворения составляют почти всё содержание новой книги Коновского “Келья” — и здесь явно виден определённый период в его творчестве, когда собственная лира настраивается на музыку высших сфер, когда слова Антония Великого, аввы Макария Великого, аввы Силуана, аввы Даниила Скитского, святителя Тихона Воронежского, преподобного Иосифа Оптинского звучат в каждой молекуле человеческого существа поэта, а он перекладывает смысл услышанного на свой поэтический язык, извлекая новые ноты для своей поэтической симфонии. Что впереди? Будем ждать новых книг.

* * *

После “тихих”, внутренне напряжённых и раздумчивых стихотворений Николая Коновского откроем книжку поэта более молодого поколения (генерации 1980-х годов) — Олега Малинина. И окажемся среди мирового шума, в центре битвы цивилизаций, в огне... Книга называется “Песня о сдаче Славянска”. Вышла в Санкт-Петербурге (“Алетейя”, 2017).

Что же напоминает само название? Конечно, “Песню о гибели казачьего войска” Павла Васильева. И с первых строк невооружённым глазом видишь это неистребимое васильевское клеймо.

*Я слышу, я вижу над городом рано,
Над Чкаловским, росчерком злого пера,
Орлиные стаи клинок ятагана
Вонзают в широкое небо, и пьяно
Шевелятся листья лесные с утра.
А в Черноголовке кусты зацвели!
Я вышел на улицу ветреным утром.
Над городом сумрак хрустел, а вдали,
Гудя и срываясь от белой земли,
Огромные птицы с хрипением лютым
Показывались...*

Это стихотворение называется “Парад Победы”. Это о том параде, на котором шествовали и натовские солдаты. Шествовали с видом победителей — по приглашению отечественной власти! И после упоминания о них следуют строки, словно удар кремня о кресало, — искры почти забытого огня брызжут вокруг, и ноты долго не вспоминавшегося обретают жгуче современное звучание:

*Но что ж... Ничего, что прицелы подсобиты,
Но нам приручать пулемёт не впервой.
И если потребуются — головой
Мы жертвовать будем и рушить граниты,
И падать, и снова вставать над землёй!
.....
И каждую пулю назад возвращая,
Мы цинику НАТО накажем: поверь,
Мы, разинцы, мининцы, потчует чаем
Свинцовым и горьким кнутом привлекаем —
Так было и будет вовеки теперь.*

Многое в стихах Малинина напоминает о ранней советской поэзии 1920–1930-х годов, и, поистине, нужно было пережить новый катаклизм, оказаться посреди нового мирового разлома, чтобы воскресить эти жгучие, исполненные яростной энергетикой ноты, чтобы они воспринимались ныне не как цветы из засушенного гербария, чтобы сочились свежей кровью, источали современные токи.

И не удивительно, что поводом и наставником стал здесь для Олега Малинина яростный и неуправляемый, гениальный и бесшабашный Павел Васильев.

По канве его “Августа” исполнен малининский “Сентябрь”, по его же лекалу, во многом с усвоением его плотной образной системы, написана “Старая песня южных славян”. С оглядкой на этого удивительного поэта (но не в подражание ему!) пишутся стихи о Сербии и Египте — двух сакральных точках новейшего вселенского взрыва. Даже пейзаж египетский напоминает поэту пейзаж Отечества — и его кровавые реалии, остающиеся в подсознании.

*Так внемлет Сахара ударам венозным,
Всё громче и громче
Звуча у виска.
И сонно течёт, словно кровь из берёзы,
С камнями в разливе встречаясь, река.*

Ключевые стихотворения первого раздела книги “Напевы Степана Разина” — “Хоругвеносцы СССР” и “Ополченец страны”. С редчайшей в наши дни (не имеющей в отечественной поэзии аналогов) и в то же время с совершенно естественной дерзостью воскрешено религиозное начало, давшее мощнейший импульс революции, приведшей к образованию Союза Советских Социалистических Республик (нельзя же не вспомнить здесь Слово Христово: “Не мир я вам принёс, но меч!”), и протянута нервущаяся нить из прошлого в окровавленное настоящее.

*Во Львове последней Украины сын
Пройдётся по гробу Бандеры с парадом.
И вялому цинику вопреки,
Расчехлены гаубицы к бою —
За Русь погибали большевики,
А за Новороссию, брат, — мы с тобою...*

Стоит лишь добавить, что к “Ополченцу страны” предпослан эпиграф — слова Александра Блока, которые самое время напомнить: “Большевизм есть вечное свойство русской души, а отнюдь не фракция в русской социал-демократии”.

Поэма “Песня о сдаче Славянска”, составляющая весь второй раздел книги, написана, как можно извлечь из содержания, по горячим следам убийства людей в Одессе и отступления русских отрядов из Славянска и Краматорска.

По существу, о самом Славянске в поэме нет ни слова. Она разбита по голосам героев, взявших в руки оружие для защиты своего образа жизни, своего мира, своего бытия. Инструментально она сознательно даже в своём ритмическом разнообразии, настроена, как я уже сказал, на васьильевскую "Песню о гибели казачьего войска". И один из героев её — Федька Палый — словно перешёл на донбасскую землю со страниц "Соляного бунта".

*Я опалый Федька Палый.
Не с того ль в опале я,
Что, как листик запоздалый,
Пал, где Русская Земля.
.....
Словно листик запоздалый,
Там в опале остаюсь —
Я опалый — Федька Палый, —
Где страна Россия — Русь.*

Однако самые сильные страницы поэмы не те, где Малинин стремится впрямую копировать Васильева, а те, где, отталкиваясь от него, пишет характеры нынешних защитников земли русской на востоке Украины через их голоса — голоса людей, ещё не вступивших в сражение, но уже готовых к любым поворотам судьбы и ощущающих за собой долгий, многовековой путь казачьих поколений, обживших и поливавших потом и кровью родную землю, с которой не сойдут их потомки, и в голоса которых автор вливает свой собственный голос.

*Это камень холодный. Не лава.
Только мёртвая тишь, не гульба...
Добываем себе по праву
Пот на чаше высокого лба.
С кучерявыми облаками
Мы по возрасту далеки.
Жалко, молодость оболгали
Заунывные старики.
Для меня она — летней ночью
По ранжиру в огне слова!
Я родился под песни рабочих —
Кирки, гвозди, лопаты и прочее —
Ради мирного естества!
Для меня она — освобождённый
От рекламных растяжек проспект.
Октябрьский значок и Будённый,
"Уважение" вместо "респект".
.....
Труд возвысил нас духом нищим,
Лень и злоба которым чужды!..
...Не люблю я предателей..
Ищем
Нашей молодости следы.*

Точка отталкивания у Малинина крепкая и надёжная, но здесь таится серьёзная опасность. Васильев со своей мощнейшей энергетикой способен подмять под себя любого, посмеявшегося сориентироваться на его словесные и живописные открытия. И молодому поэту необходимо найти в себе силы высвободиться из-под его прямого влияния, чтобы суметь переплавить в своём горниле усвоенное у старшего собрата и двигаться дальше уверенным и властным шагом по избранному пути.

* * *

Много лет назад, ещё в конце 60-х годов прошлого столетия Вадим Кожинов дал исчерпывающую характеристику главного качества художника.

“Настоящий... художник стремится в своём произведении дать, по слову Есенина, “самую жизнь”. Что это значит? В реальной жизни каждый человек не просто совершает те или иные поступки; в реальной жизни каждый из нас связан с бытием своего народа и, далее, человечества. В самом, казалось бы, незначительном проявлении нашей чисто “личной” жизни отражается, присутствует это громадное целое — общее состояние современного мира. И художественное произведение будет как бы “самой жизнью” лишь в том случае, если в него войдёт это целое”.

И когда я читаю тонкую, проникновенную, “чистую” лирику Елизаветы Мартыновой в её книге “Воздух дороги” (Саратов, 2017), я ощущаю это “громадное целое”, вошедшее в стихотворное пространство с кажущейся скупостью эмоций, но с сильнейшим чувством, выраженным строго и тщательно отобранными словами.

*До крови ранит, но не рвётся нить,
И я не прекращаю вас любить,
Ушедших ни на миг не оставляю.
И снится мне окраина небес
И светлый сад, и тёмно-синий лес,
И дом, в котором ждут и умирают —*

*И снова ждут. И жизнь течёт сама,
И нету в ней ни горя, ни ума,
Легка-легка, как будто птичья стая.
А я во сне летаю тяжело
И разбиваю тёмное стекло
Меж адом жизни и небесным раем.*

*Там живы все. И мама, и друзья,
И бабушка, и те, кого нельзя
Увидеть, но забыть их невозможно.
Сиянье душ и отблески планет,
Их навсегда неутолимый свет —
И снег, летящий в мир неосторожно.*

У неё свой мир окраины, окраины, не единожды воплощённой в стихах многих поэтов. Мартынова нашла для него личную, неповторимую интонацию. В её стихах этот мир живёт своей внутренней незримой, тревожной, затаённой жизнью, обнаруживающей себя лишь в отдельных мгновениях стихотворного полотна, скорее, за строкой, чем в самой строке.

*Косматые ветры играют огнями окраин,
Но ветры и сами — игра им неведомых сил.
И ночь распрямляется, всей чернотой догорая,
И падает в небо размахом обугленных крыл.*

*Светлеют листва и домов невысокие стены,
И чуть приглушённый свет уличного фонаря.
Как жили мы долго и как расставались мгновенно —
Об этом окраина помнит и знает заря.*

*И пение птиц, и сияние облачной пены,
И воздуха тонкого сумрачно-грустная медь —
Всё это о нас говорит, и всё это нетленно,
Круженье, движение жизни сильнее, чем смерть.*

И обнажённым, открытым, драматичным письмом воплощён этот мир в стихотворении, которое так и называется “Окраина”. Сразу вспоминается хрестоматийное стихотворение Анатолия Передреева с тем же названием, стихотворение, вызывающее и любовь, и жалость, и затаённую тревогу: “Как будто бы под сенью этих вишен, под каждым этим низким потолком ты собиралась

только выжить, выжить, а жить потом ты думала, потом...” У Мартыновой краски несравнимо резче, и это уже не тревожное раздумье, но почти приговор.

*Окраина, старая рана,
Старухи и малые дети,
Звезда, что горит неустанно, —
И память, которая светит.*

*Утрата, ещё раз — утрата,
Разлука — и снова разлука.
Жизнь — вежа, горящая дата,
Луч света над горнею мукой.*

*О чём сожалеть? Всё бывалось.
О чём говорить? Всё известно.
Здесь детство похоже на старость
И старость похожа на детство.*

*Здесь звёзды сияют упрямо,
А сердце — светло и тревожно.
Окраина — старая рана,
Которой зажить невозможно.*

Удивительна ёмкость последних двух строк: окраина — незаживающая рана — и место, где уже невозможно зажить заново. Незаживающая рана памяти — светлой памяти! — и в то же время бесконечный круг разлук и утрат, безостановочность жизни, конец которой ощутим, ибо нынешняя окраина уже слишком мало напоминает окраину передреевскую, пытавшуюся выжить, продлить себе жизнь.

У Елизаветы Мартыновой поэтические приоритеты очевидны: интонации Владимира Соколова, Анатолия Передреева, Николая Рубцова отчётливо слышатся в иных её стихах. Мир русской провинции в её поэзии менее размашист и эмоционален, чем у Натальи Егоровой, но более, я бы сказал, классически вычерчен. Такие стихотворения, как “Дождь в липовом саду”, “Давным-давно душа заледенела...”, “Весь вечер пели соловьи...”, “В седой степи туманный огонёк...”, хочется перечитывать неторопливо и вдумчиво, внимая каждой ноте, воплощённой в стихотворной строке. И не откажу себе в удовольствии привести несколько строк ещё из одного стихотворения, “затерявшегося” в середине сборника, но, на мой взгляд, во многом ключевого для всей книги.

*Весна: сирени и свирели
Невидных, серых соловьёв.
Мы выжили. Мы постарели.
Нам музыка важнее слов.*

*Не нужно ничего иного,
Когда душа твоя жива,
Она сама к себе сурова,
Своим звучанием права.*

*Ведь в облаке, в тумане вёсен,
В цветочной пене голубой
Мы ничего себе не просим,
Мы сами — музыка и боль.*

Здесь всё гораздо драматичнее, чем в том же стихотворении Владимира Соколова: “Спасибо, музыка, за то, что ты единственное чудо, что ты душа, а не причуда, что для кого-то ты ничто...”, которое, конечно же, нашло здесь свой отзвук. Но у Мартыновой музыка и боль — одно, и сосредоточено в одном человеке, и эта музыка-боль уже не нуждается в благодарности и не взыскует её.

Последняя по времени книга стихов Карины Сейдаметовой вышла в Самаре в 2011 году. За год до того состоялась её первая публикация на страницах “Нашего современника”, а в следующем году поэтесса была удостоена премии имени Юрия Кузнецова.

Прошло 6 лет — и за это время развитие и совершенствование Сейдаметовой как поэта поражало глаз. Я наблюдал этот процесс вблизи — Карина в течение нескольких лет была участницей семинара “Нашего современника” в Липках. И год от года невозможно было не заметить её человеческое и творческое созревание. Это не значит, что развитие шло по нарастающей прямой линии. Напротив, её творческий мир так быстро обогащался, что перо, в иных ситуациях, “не поспевало” за этим обогащением. Новые мотивы далеко не всегда находили адекватное и точное воплощение в стихотворных строках. Но сам процесс был, безусловно, благотворен.

“...Поэт, как и всякий человек, — писал Вадим Кожин в книге “Как пишут стихи”, — формируется естественно и органически. Настоящий поэт — это, прежде всего, глубокий и самобытный человек... Рождение поэта совпадает по времени с рождением человека не как физического явления, а в целостном смысле слова”.

Это рождение поэта, синхронное с рождением человека в целостном смысле слова, творится в лучших стихотворениях Сейдаметовой, публиковавшихся в последние три-четыре года и ныне вошедших в её готовящуюся к печати книгу “Вольница”. Безусловно, богатство её стихотворной инструментальной — от разлива русской песни до разговорной речи с чётким, рубленным ритмом, как в стихотворении “Нрав мой — клинок стальной. А ты думал — шёлк?..”, печатавшемся на наших страницах чуть более года назад:

*Жжётся привольностью диких горючих степей
Волжский напев мой — спелых ночей горячей.
Всходят ковыльные звёзды, пьянят за погляд,
Песни мои о тебе по-степняцки звучат.
Сердце казачье светает поить-полонить —
Зря ты распутывал нежности шёлкову нить.*

Широта поэтического жеста, ощущение своевольного простора, рельефность фактуры — вот что отличает многие стихи Сейдаметовой. Стих её “плотнее” и “мускулистее”, чем у многих и многих достаточно способных стихотворцев современности. Волевой размах и устремлённость вдаль также резко выделяют её среди массового поэтического “малокровия”. Достаточно прочесть хотя бы стихотворение “Ночной перекрёсток похож на распытье...” (кстати, опубликованное в сборнике “Соборный свет”, то есть написанное ещё в “ранний” период):

*Российские вехи — кресты да овраги.
Но в каждой былинке — державная статья,
В ветрах — отголоски имперской отваги,
Эпичность в дожде, что античной под статью.*

*Так нам ли тужить окаянною грустью,
Веками смирять огнепальный свой пыл?
Здесь реки стремятся к желанному устью,
Какой бы разор на Руси ни царил.*

В поэзии Сейдаметовой ярко выражено евразийское начало, обусловленное родовыми корнями. Этот мотив обрёл не просто отчётливое — декларативное выражение в одном из её “программных” стихотворений “То тюркская, то скифская царица...” И “программность” его лишь концентрирует энергию в последних строках, когда заключительный образ — словно финальный аккорд горячего русско-азиатского мотива.

*Наследье предков — роковая мета!..
Не потому ль характер мой суров?
В нём царствует татарин Сейдаметов
И властвует казак Пономарёв.*

*Правители судьбы моей строптивой,
Два рода — кочевой и боевой, —
Кресало и кремень, а я — огниво
Фамильной жгучей связи родовой...*

Нечто “васильевское” слышится временами в её стихах. Но это “васильевское” не обнажено, не выявлено, как единственный ориентир, и не придавливают, лишая подчас собственного голоса (как это случается у Олега Малинина). Разнообразны поэтические истоки Сейдаметовой — видны следы и внимательного чтения Николая Тряпкина и Юрия Кузнецова, и влияние плодотворного общения с Дианой Кан и Евгением Семичевым... Чтение классиков не может полностью заменить животворного обмена поэтической энергией с современниками.

Неизбычно русская нота звучит в “северных стихах” Карины, в первую очередь, в “Сейдозере”. Завороженность северным пейзажем подчас сбивает логическое течение мысли, и тогда в стихи начинает проникать словесная невнятица, начинаются формальные сбои, которые идут именно от “недосовершенствования замысла”. Но эта нота, инструментованная со временем более уверенной рукой, обретает полновесное звучание в позднейших подборках. Одно из таких стихотворений хочется привести отдельно: вроде бы много об этом было написано, но насколько же лично прожито и поэтически оправдана здесь каждая строка...

*Столичного гуляку не проймёт:
И в глиняном кувшине с молоком
Он видит просто молоко; а мёд
Не разделяет с рыночным лотком...*

*Но солнце теплотой лучей-ресниц
С цветка перелетает на цветок,
И прячет шмель в соцветьях медуниц
Пыльцую запылённый хоботок...*

*Душа Руси — небесная изба.
Не растеряй исконный свой уклад.
Не на авось надеемся — на лад,
От городской хандры нас всех избавь,
Охранная небесная изба...*

Миф, сказ, песня... Всё это растворено в стихах Карины Сейдаметовой, настраивает её музыкальную волну, сообщает новые и новые вызовы. Создаётся впечатление, что поэт накануне серьёзного свершения, может быть, создания серьёзной исторической поэмы или цикла стихотворений, вяжущих историю и современность в один русский узел уже на более высоком уровне проникновения и в исторические перипетии, и в современные реалии.

* * *

Семь книг, семь поэтов разных поколений, появившихся на свет во второй половине XX столетия, совершенно не похожих друг на друга и — родственных друг другу по истовому отношению к русской поэтической традиции, русскому народному и классическому слову. Их не коснулась порча, казалось, полностью вышедшая отечественную поэзию в 90-е, когда наплевательское отношение к традиции (рассматриваемой лишь как эпигонство), расхристанность и необязательность точности мыслеформы, “бродскизмы”, считающиеся “вышим шиком”, стали чем-то “обязательным” для поэта (по уверению критиков, переставших быть собственно критиками, ставшими авторами газетных таблоидов). Поэты, о которых я пишу, сохранили главное: осознание

Слова, которое “было у Бога и было Бог”. И это обеспечило их жизнь в поэзии, независимо от разного рода дурных продувных поветрий чёрного дня трагического рубежа тысячелетий.

“Подлинное стихотворение, — писал уже не единожды упоминавшийся Вадим Кожин, — живёт не неким изображённым в нём событием... и не мыслью и чувством автора, но своим собственным — сотворённым, поэтическим — событием, которое и могло состояться именно и только в нём одном”.

И это, некогда сказанное, имеет прямое отношение к каждому из семи поэтов, представленных в настоящей статье.

Р. С. Знаю, что тексты приведённых здесь стихотворений по объёму превышают собственно авторский текст. Но этому есть естественное объяснение.

В своё время Кожин мог в статье о поэзии обойтись практически без цитат, ибо книги поэтов, о которых он говорил, выходили в свет десятитысячными тиражами и были доступны любому читателю поэзии. Ныне тиражи стихотворных книжек, особенно выходящих в провинции, не превышают иной раз 500 экземпляров (а то и меньше!), и мне представляется необходимым дать сами стихи поэтов в их лучших образцах, сопроводив их лишь необходимыми комментариями.

Было две антологии, на мой взгляд, образцовые по отбору поэтов: сборник “Страницы современной лирики”, составленный В. Кожинным из стихотворений лучших поэтов его поколения, вышедший пятидесяти тысячным тиражом, и сборник “Любимые дети державы”, составленный Ларисой Барановой-Гонченко и представлявший уже поэтов поколения конца 1940–1950-х годов, вышедший в 2002 году тиражом тысячным. Полагаю, что назвал поэтов, стихи которых могут составить основу для новой антологии, своей ценностью не уступающей названным.

Поэтому не разделяю пессимистический настрой Алексея Вульфо́ва. Есть на Руси поэты, сопротивляющиеся нежити, утверждающие красоту жизни, смысл бытия своим поэтическим словом. И будет так, пока будет жива Россия.

СЕРГЕЙ АГАЛЬЦОВ

ЗАМЕТКИ ЧИТАТЕЛЯ СТИХОВ

Излишне говорить, что всякое истинное стихотворение — это не простой набор слов, эпитетов, сравнений и метафор. Оно единый мир, цельный и хрупкий художественный организм, излучающий поэтическую энергию и создающий вокруг себя невидимое эмоциональное поле, которое властно притягивает, притягивает нас к себе, когда мы читаем стихотворение, вникая в сокровенную суть его, в многообразные оттенки чувств и изгибы мыслей. И чем сильнее эмоциональное поле стихотворения, тем сильнее и воздействие его на нас, читателей, и наоборот.

Сила же эмоционального поля находится в прямой зависимости от накала чувств поэта в момент создания стихотворения, с одной стороны, и адекватности их воплощения в художественном слове — с другой.

Безусловно, большую роль играет и эмоциональный настрой читателя. Если он совпадает с душевным порывом автора в минуты создания стихотворения, то и впечатление, производимое поэтическими строками, многократно усиливается.

* * *

Поэтов часто спрашивают: “Почему вы пишете стихи?” Чего только не приходилось слышать в ответ на этот наивный вопрос читателей!

Но вот прочёл как-то в воспоминаниях о поэте ответ Н. Рубцова: “А что мне остаётся делать?” — и понял вдруг, что всё ранее читанное и слышанное — от лукавого и не искренне.

А у Рубцова так это искренне и так внутренне перекликается с есенинскими стихами:

*Осужден я на каторге чувств
Вертеж жернова поэм.*

Что это? Обречённость на творческие муки?

* * *

Читаешь стихи Николая Рубцова — словно пьёшь свежую, целительную, вкусную родниковую воду. А примешься за стихи других, даже самых известных

поэтов-современников — такое, почти физическое, ощущение, как будто хлорированной воды из-под крана напился. Безвкусно! Пресно.

Рубцов, на мой, взгляд, — самая чистая, самая светлая струя в многошумном и мутно-пенном потоке современной поэзии.

* * *

Однажды прочитал воспоминания ныне одного из популярнейших поэтов о его встречах с Борисом Пастернаком. Во время одной из них мэтр посоветовал ему никогда не предсказывать в стихах собственную смерть: сила поэтического слова такова, что написанное непременно сбудется.

Но спустя несколько лет в очередном сборнике шумный и модный поэт не послушался-таки пастернаковского поэта:

*Жизнь, ты бьёшь меня под вздох,
а не уложить.
До семидесяти трёх
собираюсь жить.*

Среди поэтов не так уж и много долгожителей. Судьба многих, как известно, сложилась крайне трагически: Пушкин погиб в 37, Лермонтов и Веневитинов совсем молодыми, рано умер Кольцов, Блока не стало в 40 лет, Маяковского — в 36, Есенина — в 36, Рубцова — когда ему было чуть более тридцати.

Одним словом, “тёмен жребий русского поэта”, и “неисповедимый рок”, говоря словами Волошина, часто пресекает жизненный и творческий путь поэтов в самом расцвете сил и таланта.

Пикантность этого рассказа заключается в том, что популярный поэт, жизнь которого не слишком уж осложнена драматическими поворотами, наученный горьким и трагическим опытом славных предшественников, хоть и отважился на пророчество, повёл себя крайне, в высшей степени осторожно, отмерив себе жизненный срок в 73 года.

Что тут скажешь? Жить-то хотелось.

* * *

Скажите плохому токарю, что он плохой токарь, плохому слесарю — что он плохой слесарь, никуда не годному инженеру — что он неважный специалист (продолжать этот ряд можно сколько угодно долго), — конечно, они обидятся на вас, но долго зла держать в душе, уверяю вас, не будут.

А попробуйте подобное бросить в лицо человеку, пишущему стихи, — станете врагом на всю жизнь, для вас, как для матёрого преступного убийцы, срока давности существовать не будет.

Поэт И. Л., в общем-то, хороший, порядочный человек, к моему несказанному удивлению, однажды просто с наслаждением рассказал, как он “зарубил” отданную ему на рецензирование рукопись поэта Ю. П. за то, что почти тридцать лет назад в студенческой юности тот назвал его графоманом. При этом рассказал И. Л. об этом с таким пафосом, что невооружённым глазом видно было: вся кровь его тогда взывала к отмщению.

“Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно”...

* * *

Чем подлинный поэт отличается от стихотворца, пусть даже и виртуозного версификатора?

Оба они могут глубоко и сильно чувствовать, но выразить себя и свои чувства ярко и неповторимо, всколыхнув душу читателя, дано лишь поэту. Стихотворец на это не способен, несмотря подчас на все его версификационные ухищрения.

* * *

В издательстве “Современник”, где я работал, готовили к выходу в свет стихи адыгейского поэта Н. Переводили их на русский язык Ю. К. и Т. Р. Первый, как всегда, выполнил переводы блестяще. В общем-то, удались они и переводчице, чисто по-женски. Однако каждый из них перевёл адыгейца на русский настолько по-своему, что Н. предстал на страницах книги раздвоенным, цельного и законченного, завершённого представления о нём всё же не получилось. Перед читателями были как бы два разных поэта. Может быть, и впрямь

*В одну телегу впрячь не можно
Коня и трепетную лань?*

* * *

Несколько лет в мои издательские обязанности входило редактирование стихотворных сборников поэтов Северного Кавказа.

Переводили кавказцев русские поэты и поэты еврейского происхождения. Причём недостатки были очень своеобразны.

Русские переводчики иногда так перепрут стихи горцев на язык родных осин, что хоть святых выноси.

Переводчики евреи, отличавшиеся усыпляющей гладкописью, выдавали пассажи, ставившие редактора в тупик. Вроде смысл пассажи и ясен, но выражен как-то не по-русски. Не по-русски — и всё тут! Всей душой это чувствуешь. Но нет, не существует таких правил в грамматике русского языка, которые помогли бы объясниться с переводчиком. Не созданы. Что тут можно сказать?

Надо жить в стихии русской речи, русского языка, всем существом чувствовать его, быть его любящим сыном, а не равнодушным и безразличным к нему пасынком.

* * *

В чём секрет удивительной музыкальности, неповторимой мелодичности стихотворений Сергея Есенина?

Попробую высказать свою, возможно, спорную точку зрения, хотя отдаю себе отчёт в том, что ею, конечно же, не исчерпывается объяснение музыкального феномена поэзии Есенина.

В русском языке существуют так называемые сонорные согласные — Л, М, Н, Р, — которые, наряду с гласными, и придают нашей речи звуковую красоту. Стоит ли говорить, какое значение они имеют, какую роль играют в искусстве стихосложения! Благодаря им стихи обретают полноту звучания, мелодичную стройность, музыкальную плавность и певучесть.

Однако не музыкальностью же единой живы стихи? К. Бальмонт, к примеру, добивался просто поразительной мелодичности стиха. Но она имела нередко самодовлеющее, самоценное значение, становилась самоцелью, демонстрируя лишь незаурядное, виртуозное владение словом. Это своего рода стихотворные экзерсисы.

Иное дело — Есенин. Использование сонорных, инструментовка, мелодика, музыка его стиха не менее, если не более, поразительны. Но он никогда не приносит в жертву им содержательную наполненность, другие атрибуты и аксессуары стихотворения. Всё живёт в неразрывном единстве, поразительной цельности и редкостной органичности.

*Не жалею, не зову, не плачу,
Всё пройдёт, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.*

Тут мало говорить о высочайшего уровня мастерстве. Тут — искра Божья!..

* * *

Бывает так: ничем не примечательные стихи, положенные на музыку, обретают мелодические крылья и становятся неплохой песней, их поют.

Но случается и такое: из прекрасных, песенных слов в музыкальном обрамлении хорошей песни не получается. Особенно не везёт в последнее время Есенину и Рубцову. Кажется, только уж очень ленивые композиторы не обращаются к их творчеству, а песен и романсов, достойных их высокого дара, мало.

И порой думаешь: а нужно ли перелаживать стихотворения самых песенных русских поэтов на музыку? Ведь многие из стихотворений сами по себе законченные музыкальные произведения, и музыка часто ничего им не добавляет. Проходит время, и мелодия, сочинённая композитором, отпадает, как шелуха. Да и можно ли музыку переложить на музыку?

* * *

Есть у Николая Рубцова два лирических стихотворения, замечательных по тончайшему мелодически-интонационному рисунку: “Высокий дуб. Глубокая вода...” и “Размытый путь. Кривые тополя...”. Чудная интонация этих первых строк получает в последующих стихах своё музыкальное развитие и достойное мелодическое завершение.

Но интонация эта — не открытие Рубцова (что никоим образом, конечно, не снижает музыкальных достоинств стихотворения), а счастливое благоприобретение. Найдена она Яковом Полонским:

Глухая степь — дорога далека...

Симптоматично, что, поражающая своей удивительной мелодичностью, завораживающая интонация эта была подхвачена именно Рубцовым — поэтом, как и Полонский, с абсолютным музыкальным слухом.

* * *

Некрасов... Его стихотворение “Рыцарь на час” в некоторых местах великолепно по словесной живописи, тонкой звукописи.

Отражающийся на стене церкви одинокий крест, тень поднимающегося на колокольню старика-звонаря — всё это исполнено величия, силы и гармонично вписываются в общую печальную тональность стихотворения.

* * *

*Ах, и сам я в чаше звонкой
Увидал вчера в тумане:
Рыжий месяц жеребёнком
Запрягался в наши сани.*

Мой отец, страстный любитель поэзии Есенина, рассказывал, что, когда он в первый раз прочитал эти строки, вспомнилось ему деревенское детство... Зима... Вечер. Маленький мальчик, выбегает он на двор, посреди которого стоят крестьянские сани, и останавливается, как заворожённый. С ясного морозного неба светит яркий молодой месяц, его лучи падают прямо на оглобли саней, и кажется, через мгновение месяц поплывёт по небу, и следом за ним заскользят, скрипя полозьями по снегу, сани. Отец всегда восхищался необычной правдой есенинской образности, открывая для меня поэзию русского гения, нашего земляка.

Когда я рассказал это в ЦДЛ, где проходил вечер, посвящённый Сергею Есенину, поэту Анатолию Передреву, тот воскликнул:

— Вот твой отец — настоящий есенинец! А что ты можешь услышать на вечере? Пустые, трескучие, казённые слова... Давай посидим вдвоём, поговорим, выпьем за Есенина... Я тоже есенинец, — с гордостью закончил он.

* * *

Когда молодые, начинающие авторы вольно или невольно используют в своих стихах ритмы, интонации, мотивы, образы темы классической и современной поэзии, их часто упрекают за это. А как быть с самими классиками и с известными поэтами, когда они используют в своём творчестве найденные до них ритмические узоры, размеры, интонационные ходы, строки, словосочетания? Примеров можно привести множество.

* * *

Выхожу один я на дорогу...
(Лермонтов)

Вот бреду я вдоль большой дороги...
(Тютчев)

Выхожу я в путь, открытый взорам...
(Блок)

Ни огня, ни чёрной хаты...
(Пушкин)

Сырая ночь — ни хаты, ни огня...
(Полонский)

*Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть...*
(Лермонтов)

*Я полон дум о юности весёлой,
Но ничего в прошедшем мне не жаль.*
(Есенин)

*Печальная берёза
У моего окна,
И прихоть мороза
Разубрана она.*
(Фет)

*Белая берёза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.*
(Есенин)

Пушай она поплачет...
Ей ничего не значит...
(Лермонтов)

*Пусть она услышит, пусть она поплачет,
Ей чужая юность ничего не значит.*
(Есенин)

*Ничего для тебя я не значу!
Уходи! Не гляди, что я плачу!*
(Рубцов)

*На меня нацелилась груша да черёмуха.
Силою рассыпчатой бьёт меня без промаха.*
(Мандельштам)

Он “позаимствовал” у Есенина и размер, и интонационную рифму.
Вспомните есенинское:

*Пейте, пойте в юности, бейте в жизнь без промаха,
Всё равно любимая отцветёт черёмухой.*

Гораздо реже используют (но всё же используют!) поэты целые строки из стихотворений своих предшественников.

Как весел грохот летних бурь...
(Тютчев)

*Не пугай меня грозою:
Весел грохот летних бурь...*
(Бунин)

Звезда покатила на запад...
(Фет)

И звезда на запад покатила...
(Кузнецов)

*...Воздух светел...
Как тишь тиха! Засну, любя
Весь Божий мир... Но крикнул петел!
Иль я отрёкся от себя?*
(Случевский)

*Гляжу без чаянья, без думы,
Пух тростниковый теребя...
Мои ли ночи не угрюмы?
Иль я отрёкся от себя?*
(Лапшин)

*Мелькали спины, тёмные от пота,
Метали люди сено на воза.
Гребли, несли, спорилась работа.
В полях темнело. Близилась гроза.*
(Твардовский)

В полях сверкало. Близилась гроза.
(Рубцов)

*Давно душа блуждать устала
В былой любви, в былом хмелю...*
(Рубцов)

*Душа давно блуждать устала
В тех временах...*
(Передерев)

*О жизнь! Я вновь её люблю
И ею вновь любим взаимно...
Природы друг, я в ней ловлю
Все звуки жизненного гимна.*
(Жемчужников)

Тут случай вообще из ряда вон выходящий. К. Ваншенкин “позаимствовал” у Алексея Жемчужникова, автора знаменитых “Осенних журавлей”, для своей песни “Я люблю тебя, жизнь...” вместе с запоминающейся рифмой “гимна — взаимно” и идею, естественно, изменив размер своего текста. Не изменить — это было бы слишком!..

Почему же столь часты в поэзии реминисценции? Ответы могут быть самыми разными. Один известный поэт высказался очень оригинально: “Если я вижу, что не могу, не в силах выразить чувств сильнее и ярче, то беру строки и образы у других...”

* * *

“Покоя сердце просит...” (Пушкин), “Я ищу свободы и покоя!..” (Лермонтов), “А я устал — покой давно мне нужен. // Но нет его...” (Полонский)... Поэты XIX века, за исключением, может быть, Полонского, чьё творчество в определённой степени является связующим звеном между поэтами XIX и XX веков, знавшие, что “на свете счастья нет”, всё же тешили себя надеждой, что “есть покой” (Пушкин), просили, искали его.

Поэты XX столетия начисто лишены подобных иллюзий: “Покой нам только снится...”, “Покоя — нет...” (Блок). Мятающийся Есенин вообще признавался: “Не искал я... покоя”. Не от горькой ли, выстраданной уверенности, что его нет? А Георгий Иванов называл покой “неосуществимой мечтой”:

*Миллионеру — снится нищета.
Оборванцу — золото рекой.
Мне моя последняя мечта,
Неосуществимая — покой.*

И только значительно позже неожиданно у Рубцова встречаем:

*Светлый покой опустился с небес
И посетил мою душу.*

Но оттого ли в атмосфере всеобщего шума, суеты, смятения, присущей нашему времени, ему, поэту, в редкие минуты покоя, посещавшие его, удалось создать свою неповторимую лирику, в лучших образцах приближающуюся к длинным достижениям русской лирической поэзии и сопоставимую с ними?

* * *

У хороших стихов, как у доброго вина, есть свой неповторимый букет. По нему мы безошибочно узнаём поэта: Пушкин, Тютчев, Фет, Есенин...

Есть в современной русской поэзии два имени: Николай Рубцов и Юрий Кузнецов. Поэты, которым часто и много подражают. Но, несмотря на различный стихотворный рёзлив, букет, марка поэтического вина угадываются незамедлительно: Николай Рубцов, Юрий Кузнецов.

Сопоставимы ли они с классиками? На мой взгляд — да.

* * *

Не соглашались: не раз, увы, слышал, что Рубцов пишет поэтическими штампами.

Действительно, он активно использовал (а может быть, возражал) в своей поэтической практике лексику и приёмы классиков XIX–XX веков, далеко и не очень отстоящих от него по времени: Тютчева, Фета, Блока, Есенина.

Но он сумел вдохнуть в используемые им слова и приёмы новую жизнь. И оттого они воспринимаются как его собственные, только что открытые и найденные, а каждое стихотворение — как живой организм.

Поэтому можно уверенно говорить, что у Рубцова свой словарь, свои художественные средства, свой поэтический инструментарий, по которому он сразу узнаваем.

* * *

Наши классики могли потрясающе тонко и точно передавать в стихе пограничные состояния, амбивалентность, двойственность лирического переживания.

Мне грустно и легко: печаль моя светла...

(Пушкин)

С души, как бремя, скатится,

Сомненье далеко —

И верится, и плачется,

И так легко, легко.

(Лермонтов)

Ель рукавом мне тропинку завесила.

Ветер. В лесу одному

Шумно, и жутко, и грустно, и весело —

Я ничего не пойму.

(Фет)

Примеры можно множить. Добавим сюда “тоску весёлую” Есенина, например. Умел передавать двойственность охватившего душу чувства и наш современник Николай Рубцов:

За мною захлопнулась дверца,

И было всю ночь напролёт

Так жутко и радостно сердцу,

Что все мы несёмся вперёд.

Или:

И стало угрюмо, угрюмо

И как-то спокойно душе.

Это умение – один из признаков истинно глубокого и органичного, я бы сказал, утончённого таланта.

* * *

Увидел со второго этажа, с балкона, “женщину в белом” – воспитательницу детского сада. Она гуляла с детьми по двору между деревьев и проникновенно, чисто пела песню Рубцова “В горнице моей светло...”

Спустя несколько дней молодые рабочие, прокладывавшие траншею прямо перед нашим домом, после рабочего дня уселись на брёвнах и под баян опять же запели Рубцова: “Я буду долго гнать велосипед...” Что это? Рубцов – народный поэт? Для меня – несомненно.

* * *

Евтушенко как-то заявил, что Фет весь проходит мимо. В самом деле, Фет – воплощение музыки и живописи в слове – прошёл мимо Евтушенко. Стихи последнего совершенно лишены музыкальности и живописности – этих необходимейших атрибутов подлинной поэзии, что свидетельствует об ущербности, болезненной неполноценности творчества Евтушенко.

* * *

“Лирическая деятельность, — писал Фет, — ... требует крайне противоположных качеств, как, например, безумной, слепой отваги и величайшей осторожности (тончайшего чувства меры)”.

Сам Фет, в высшей мере обладая этими качествами, органичное сочетание их находил в поэзии Тютчева.

А современные поэты? Сверхпопулярный Вознесенский, безусловно, обладает “безумной слепой отвагой”. Чего стоит его строка:

Розы чёрные коровьего навоза...

Или:

Сколько звёзд? Как микробов в воздухе.

Но, увы, “тончайшим чувством меры” здесь не то что не пахнет, даже не вее.

* * *

Павел Васильев, как никто другой после Некрасова, сумел со свойственным ему буйством красок воссоздать в своём творчестве “тип величавой славянки”. С какой живописной силой передаёт он восторг заворожённой природы перед величаво шествующей красавицей Натальей!

*Так идёт, что ветви зеленеют,
Так идёт, что соловьи чумают,
Та идёт, что облака стоят,
Так идёт, пшеничная от света,
Больше всех любовью разогрета,
В солнце вся от макушки до пят.*

Поэт любил повторять: “Есенин свои образы по ягодке собирал, а мне нужно, чтоб сразу горсть”. Трудно более метко обозначить своеобразие его изобразительной манеры. Васильев любил Есенина, называл его “князем русской песни”. Соглашаясь на роль преемника и продолжателя есенинских традиций в поэзии, он ревностно отстаивал самостоятельную значимость своего творческого пути и не желал пребывать в положении статичного последователя поэтической системы Сергея Есенина.

Слово Павла Васильева зримо, осязаемо на ощупь и обоняемо на запах, многоцветно и красочно.

*Вёсны возвращаются!
Весенний
Сад цветёт —
В нём правит тишина.
Над багровым заревом сирени,
На сто вёрст отбрасывая тени,
Пьяно закачается луна —
Русая, широкая, косая,
Тихой ночи бабья голова...*

Всего бесспорнее в нём — удивительная цельность именно русской природы.

* * *

Сводила меня судьба с двумя людьми, которые уверовали в то, что уготовано им на земле, подобно лермонтовскому Печорину, предназначение великое. Самомнение их было решительно ни на чём не основано, и, рассуждая

о своей миссии сверхчеловеков, являли они собой ущербно-пародийные типы. Смешно? Впрочем, у создателя Печорина есть строки:

*Всё это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно...*

Когда одному из них, возомнившему себя — ни больше ни меньше, — как гениальным художником, я говорил о таинственных переключках между пантеистическими стихами Рубцова и пейзажами Левитана, то горе-художник смотрел на меня, “как в афишу коза”.

Подлинный художник не может не увидеть, не может не почувствовать этих переключек.

* * *

В Союзе писателей известный публицист рассказывал о жителях одного то ли сибирского, то ли дальневосточного селения, часто подвергавшегося набедам всесокрушающей водной стихии. Однако жители с упорным постоянством продолжали селиться на прежнем месте, каждый раз заново обустраивать жилища и хозяйство.

— Зачем? — недоумевал литератор. — Перебрались бы в другое, безопасное место — на другой, высокий берег.

Ответ ему мог бы дать А. С. Пушкин:

*Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.*

*На них основано от века,
По воле Бога самого,
Самостоянье человека —
Залог величия его.*

* * *

Работая в московском издательстве “Современник” в редакции переводов, я часто задумывался: какому переводу отдавать предпочтение — точному, с соблюдением по возможности всех особенностей оригинала, или свободному, вольному. И так и не мог дать самому себе ответа. Сравните, какой перевод стихотворения Гёте “Ночная песнь странника” лучше — точный, как говорят, перевод И. Анненского или вольный — М. Лермонтова?

*Над высью горной
Тишь.
В листве, уж чёрной,
Не ощутишь
Ни дуновенья.
В чаще затих полёт...
О подожди!.. Мгновенье —
Тишь и тебя... возьмёт.
(Анненский)*

*Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листья...
Подожди немного,
Отдохнёшь и ты.
(Лермонтов)*

Впрочем, “Горные вершины” уже давно стали классикой русской поэзии. Или ещё пример — переводы стихотворения Гейне “Сосна стоит одиноко”. Один сделан метрически близко к подлиннику Тютчевым:

*На севере мрачном, на дикой скале
Кедр одинокий под снегом белеет,
И сладко заснул он в инистой мгле,
И сон его вьюга лелеет.*

*Про юную пальму всё снится ему,
Что в дальних пределах Востока,
Под пламенным небом, на знойном холму
Стоит и цветёт, одинока...*

Второй перевод осуществлён вольно — Лермонтовым:

*На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна.
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
Одета, как ризой, она.*

*И снится ей всё, что в пустыне далёкой,
В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна на утёсе горячем
Прекрасная пальма растёт.*

Какому же переводу отдать предпочтение? И тут следует отметить, что “На севере диком стоит одиноко” — давно факт поэзии русской.

* * *

В чём различие между такими замечательными поэтами русской природы, как И. Бунин, с одной стороны, и С. Есенин — с другой?

Бунин, необыкновенно тонко замечая малейшие изменения и движения жизни природы, всё же фиксирует их в поэтическом слове несколько отстранённо, смотрит на природу как бы со стороны. Отсюда — некоторая холодноватость описаний природы у него. Впрочем, гениальная.

Есенин полностью слит с природой, живёт в ней. Отсюда — необычайные лиризм и проникновенность поэтических пейзажей Есенина. И тоже гениальные. Но так ли и у Рубцова?

Примеров тому читатель может найти в их стихотворениях множество. К ним я его и отсылаю.

ВЛАДИМИР ФЁДОРОВ
(Донецк)

В НАЧАЛЕ БЫЛ ПОЭТ

Основная мысль нашей статьи состоит в следующем: поэт – не субъект творческой деятельности, результатом которой является литературное произведение, а субъект творческого бытия. Кажется, мы ломимся в открытую дверь: чтобы быть субъектом деятельности, нужно существовать, быть субъектом существования. Уточняем: творческое, или поэтическое, бытие – другое бытие, чем жизненное существование; поэт – другой субъект, чем жизненное – животное – существо.

Появляется естественный вопрос: в чём цель жизненного существования? И ответ на него представляется более или менее ясным. Но в чём цель поэтического бытия? Это проблема. Ответ на этот вопрос и является целью статьи, предлагаемой вниманию читателей журнала “Наш современник”.

Существование поэта как отдельного от жизненного существа субъекта не является очевидным, и нам придётся аргументировать это утверждение. Сошлёмся на факт, указанный в книге немецкого эстетика и искусствоведа Бр. Христиансена “Философия искусства”. Автор пишет, что в пространстве перед человеком нет художественного произведения, а есть лишь внешнее произведение – высеченная глыба мрамора, раскрашенное полотно и проч. Зададим вопрос: о чём свидетельствует этот факт? О том, что пространственно-временная сфера ограничена в своём онтологическом ресурсе: она может осуществить далеко не всё, что всё же осуществляется человеком.

Далее следует вопрос: в чём причина этой ограниченности? Мы полагаем, что она заключается в типе организации (структуры) пространственно-временной действительности. Пространственно-временная сфера осуществляет субъектов непосредственно телесного существования какой угодно степени сложности – от косно-материальной величины до жизненного организма. Будучи субъектом непосредственно телесного существования, эта величина (в том числе и жизненное существо) является однопланной, и тип её организации следует определить как тектонический.

Наряду с многочисленными субъектами непосредственно телесного существования есть единственный субъект опосредствованного бытия. Этим субъектом является человек. Человек – субъект, способный воображать. Воображённый предмет существует не просто внутри воображающего – он существует в особой действительности, которая в относительно развитом виде обозначается термином “сюжетная действительность”. Сюжетная действительность в организации человека представляет собой отдельный план. Таким образом, человек есть двупланное существо, тип организации которого

определяется как архитектурный. Поскольку пространственно-временная сфера организована тектонически, она не может осуществить человека как архитектурно организованный субъект. Тем не менее, человек осуществляет своё бытие, из чего следует, что пространственно-временная сфера не является единственной бытийной сферой.

Далее возникает вопрос: что позволяет человеку осуществлять акт воображения? На этот вопрос мы отвечаем так: человек — субъект внетелесного бытия, вследствие чего он не может осуществлять себя и своё бытие прямо и непосредственно, но не может и не осуществлять его, а потому осуществляет его опосредованно — через непосредственно существующий субъект телесного бытия (сюжетный персонаж). Акт воображения, таким, образом, оказывается, в известной степени, принудительным: человек постоянно пребывает в непрямом состоянии. Мы фиксируем только намеренно осуществляемые акты воображения, но человек постоянно находится в превращённом состоянии, следовательно, постоянно осуществляет акты воображения. Наиболее явными из произвольно совершаемых актов воображения являются сны. Персонажи, которых мы видим во сне, суть те, в которых вообразил себя человек, а те ситуации, в которых они оказываются, являются проекцией той ситуации, которая в данный момент является актуальной для человека.

Мы приходим к выводу, что человек — не животное (голая обезьяна), одарённое разумом, а целое человека, составляющие которого суть жизненное существо (человеком само по себе не являющееся) и собственно человек. Собственно человек — субъект внетелесного бытия. Это бытие осуществляется в двух формах: языковой (обыкновенный случай) и словесной (от Слова, бывшего в Начале — случай исключительный). Собственно человек, как и жизненное существо, бывает одарён бытийной энергией в разной степени. Собственно человеком является поэт — субъект бытия, словесного по типу и превращённого по способу осуществления.

Итак, поэт — это собственно человек в самой сильной своей бытийной позиции. Именно к нему и следует обращать один из вечных вопросов: какова цель человеческого бытия? Какова цель субъекта животного существования — другой составляющей целого человека — понятно: он, во-первых, осуществляет свою жизнь, во-вторых, продолжает её в потомстве. Какова цель собственно человека? Прежде чем отвечать на этот вопрос, рассмотрим организацию собственно человека, поскольку она должна быть способна эту цель осуществить. Организацию собственно человека предпочтительно описывать не как инвентаризацию отдельных её компонентов, а описывая событие осуществления (формирования) этой организации.

Собственно человек, будучи субъектом внежизненного бытия, вынужден осуществлять это бытие непрямой способом — через посредство субъекта телесного существования — жизненного преимущественно. Рассмотрим ситуацию воображения более детально, чем это делалось до сих пор. Обращаем внимание на то, что собственно человек воображает телесную величину не “из ничего”, а “из себя”: он себя во-ображает в субъекта непосредственно телесного существования. Это обстоятельство вносит весьма существенный корректив в традиционное представление о воображении.

Если субъект воображения воображает себя, то он разделяется на того, кто воображает, и того, кого он воображает. Это разделение внутреннее: ясно, что воображающий не делится на двух субъектов, один из которых — воображающий, а другой — воображаемый. Но это вовсе не означает, что разделение является условным: напротив, оно и является фундаментальным, потому что всё дальнейшее — только его оформление.

Следующее движение субъекта воображения — акт отрешения воображаемого от воображающего; воображаемое в своём отрешённом состоянии и является той величиной, в которую во-образил себя субъект воображения. Воображённое (Онегин как субъект жизненного — сюжетного — существования) есть, с одной стороны, собственно Онегин, с другой — Пушкин-воображаемый в его актуально отрешённом состоянии. “С одной стороны” означает, что в жизненно-прагматической — сюжетной — действительности; “с другой стороны” — в сфере бытия Пушкина-автора. Сюжетная действительность не только отрешает (отчуждает) воображаемого от воображающего, но и изолирует его: сюжетная действительность “держит” Пушкина-воображаемого в качестве

Онегина, и в этой действительности он есть “Онегин” — субъект жизненного существования. Это, конечно, нельзя понимать в том смысле, что произошло некоторое преобразование: был Пушкин-воображаемый — стал Онегин как сюжетный персонаж.

Мы приходим к выводу: сюжетная действительность осуществляет не только бытийную функцию, являясь сферой жизненного существования для персонажей, но исполняет довольно коварную роль по отношению к автору: так, Онегин убеждён, что он вообще есть тот, кто он есть в своей жизненной действительности, тогда как “на самом деле” он есть Пушкин-воображаемый в своём отрешённом и изолированном состоянии.

Пушкин-воображающий осуществляет себя и своё бытие в качестве внутренней формы Онегина-сюжетного персонажа, что означает: Онегин в своей внутренней форме есть Пушкин-автор. “Внутренняя форма” — понятие, значение которого трудно переопределить: оно выводит сюжетного персонажа из пространства и времени к последнему целому, которым является автор. Внешняя форма — пространственно-временная сфера — соотносит персонажей как жизненно актуальных существ, то есть как соперников и конкурентов; в своей внутренней форме они есть единый субъект — автор. Автор, однако, есть собственно человек в своём недолжном — непрямом, опосредованном — состоянии. Жизненная сфера удерживает Онегина как жизненного персонажа в себе, внутренняя форма делает его причастным к целому.

Следующий вопрос может показаться несколько искусственным, хотя он фиксирует весьма важный момент. Мы говорили, что сюжетный персонаж есть тот, кто своим существованием совершает авторское бытие: Онегин своим жизненным существованием осуществляет бытие Пушкина-автора — как его внутренняя форма. В связи с этим и возникает наш вопрос: является ли сюжетный персонаж формой, которая онтологически корректно осуществляет поэтическое — превращённо-словесное — бытие автора? Мы отвечаем на этот вопрос отрицательно: не является. Причина: сюжетный персонаж — субъект односторонне положительного — жизненного — существования, вследствие чего он и не может осуществить словесное по типу бытия автора. Положительная односторонность восполняется отрицательной односторонностью: у сюжетного персонажа появляется отрицательный двойник — субъект смертного существования.

Разумеется, автор вовсе не озабочен тем, чтобы превратить себя в субъект отрицательного (антижизненного) существования: словесная форма, превращаясь в телесные формы, чтобы сохранить себя, производит антиномическую форму, но ему приходится с этим считаться. Элементарный пример: отрицательный персонаж появляется не потому, что “так в жизни” — для этого есть внутреннее основание. Словесная форма, превращаясь, учреждает две односторонние формы — жизненную и смертную. Поэт в качестве внутренней формы односторонне положительного — жизненного — существования определяется как “бог”, относительно односторонне отрицательного — смертного — существования как “дьявол”. Онтологический план восполняется ценностным: “бог” — абсолютное добро, “дьявол” — абсолютное зло. “Бог” и “дьявол” как бытийные и ценностные односторонности, составляющие организации поэта, есть “объективные” следствия его превращённого — поэтического, творческого — состояния, однако это именно организация, а не простая “раздробленность” поэта. Эта организация позволяет ему, с одной стороны, сохранить своё бытийное единство, а с другой — затрудняет достижение своей цели — преодоление превращённости (закреплённое его организацией) и достижение должного, то есть непосредственного, непревращённого состояния. Поэт как субъект словесного по типу бытия осуществляется как единая внутренняя форма “бога” и “дьявола”. В ценностной перспективе внутренняя форма добра и зла есть любовь. Добро и зло — абсолютно непримиримые односторонние ценности — в своей внутренней форме являются одной ценностью — любовью. Проблема поэта не в том, чтобы победила какая-то односторонность (желательно добро), но в том, чтобы преодолеть односторонность, чтобы “победила” любовь. Обман райского змия состоял не в том, что Адам и Ева будут знать добро и зло, а в том, что они, вкусив плод от древа познания добра и зла, разделят любовь на две противоположные односторонние ценности — добро и зло.

В известном смысле поэт повторяет исходную ситуацию: любовь как исконное содержание словесной формы есть содержание бытия поэта, но она

“заключена” в нём; ему нужно ею овладеть, а чтобы ею овладеть, нужно её освободить из её заключения, то есть разделить на добро и зло. Овладеть любовью теперь можно, только сделав её содержанием бытия Адама и Евы. Событие бытия Слова есть переход любви от “древа познания” в “Адама и Еву” (тоже являющихся односторонностями), но во всё время свершения этого события любовь существует как добро и зло в различных своих конфигурациях. Всё событие бытия человечества в “сокращённом виде” представлено в событии бытия поэта.

Обращаем внимание на две характерные особенности поэтического бытия. Во-первых, это “одинокое” бытие; поэт — как царь — “живёт один”; во-вторых, он осуществляет всё событие своего бытия. То, что человечество осуществляет за многие тысячи поколений, поэт осуществляет один — от исходной ситуации (когда становится поэтом) и до завершающей (когда он, “выпрямляясь”, перестаёт быть поэтом).

В заключение нашей краткой статьи скажем, что событие бытия поэта не может быть исследовано наукой. Научному исследованию подлежит субъект непосредственного существования. Субъектами непосредственного существования являются телесные — пространственно-временные — величины. Поэт как субъект превращённого бытия и должен быть исследован опосредствованно — через исследование непосредственно совершающегося события жизненного существования. Формой исследования события поэтического бытия, корректной по отношению к своему “предмету”, является филология. На опосредованность формы филологического знания обратил внимание М. М. Бахтин в своих ранних работах.

РУССКИЙ БУНТ И ХРИСТИАНСКАЯ СОВЕСТЬ

А. С. ПУШКИН

Юноша! Скромно пируй, и шумную Вакхову влагу
С трезвой струею воды, с мудрой беседой мешай.

А в 1830 году в неопубликованном при жизни стихотворении “В начале жизни школу помню я...” он попробовал подняться над кумирами своей юности, взглянув на их статуи по-христиански: как на “двух бесов изображения”:

277

*Один (Дельфийский идол) лик молодой —
Был гневен, полон гордости ужасной,
И весь дышал он силой неземной.
Другой женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеал —
Волшебный демон — лживый, но прекрасный.*

Эта слабая попытка демонизации Аполлона и Диониса (а не Венеры, как ошибочно утверждали некоторые филологи-комментаторы)³, конечно, не отменяла тех управляющих человеком космических сил, которые скрывались за ликами древних языческих богов, и не означала полного разрыва поэта с политеизмом, как бы этого ни хотел некогда С. Л. Франк. И нет ничего удивительного в том, что в своей характеристике “духовного содержания поэзии и мысли Пушкина” новообращенный философ-перекрест упустил из виду его последние творения, не сказав ни слова об “Истории Пугачева” и “Капитанской дочке” — этом *романе-предостережении*, заключающем в себе некое бесценное для потомков **прорицание** и, кроме того, оригинальное прочтение новозаветной “вести о благе” — той самой идеи *абсолютной свободы*, которая, по словам Г. Гегеля, была привнесена в мир христианством, явилась в виде пробудившегося, осознавшего самое себя духа, воплощенного Логоса, в форме непреклонного и всегда рискованного для личности *воления свободы*⁴, не сопоставимого по своему радикализму с плоским буржуазным либерализмом. На пушкинское понимание широчайшего диапазона свободы, все еще остающегося *terra incognita* для либералов, обращал внимание Б. П. Вышеславцев: “Свобода может переходить в произвол, в своеволие страстей, в разбойничью “вольницу”, в народный бунт, “бессмысленный и беспощадный”, и, наконец, в тиранию. Тиран отнимает всю свободу у всех и присваивает ее исключительно себе”⁵. Вот почему в пушкинской поэме отец Земфиры гонит из табора приобщившегося к “бытию цыганскому” гордого, *тиранического человека* Алеко:

*Ты не рожден для дикой доли,
Ты для себя лишь хочешь воли...*

Замечательно, что Пушкин не ограничился изображением тех способов переживания и осуществления идеи свободы как глубочайшей сущности человеческого духа, которые были ему практически известны, испытаны на деле в общении с авторитарным отцом, с друзьями и недругами, а также — в противостоянии давлению имперской власти. Его интересовал весь спектр возможностей актуализации свободы, не выявленный к тому времени даже хорошо известным ему немецким глубокомыслием в лице Гете, Канта, Фихте или Шопенгауэра⁶. Видно, тут западная метафизика столкнулась с какой-то в самом деле непознаваемой *вещью-в-себе*, так что прав был Гегель, когда утверждал в “Философии духа”: “В общем ни об одной идее нельзя сказать, что она столь неопределенна, многозначна, подвержена величайшим недоразумениям, как об идее свободы, и ни об одной из них не говорят с меньшим осознанием ее сути”⁷. Что касается Пушкина, то он, не ввязываясь в распри западных метафизиков и отечественных *любомудров*, шел к пониманию феномена прочувствованной им “тайной свободы” своею дорогой. То был путь поэтизирующего мышления, нацеленного на воодушевляющую народ на новые свершения мифологизацию исторического прошлого. Но, как известно, нет мифа без героев, сотворивших тот жизненный мир, в котором мы живем и который защищаем. Пушкин вполне осознанно искал таких героев и нашел-таки их в “темных архивах истории”, а также — среди своих современников.

Поистине нужно быть слепым, чтобы не увидеть уже в первой поэме поэта его тяготение к солнечно-аполлонической, гиперборейской традиции — той опоясавшей Древо мировой жизни “золотой цепи”⁸, о которой читаем в первых же строках “Руслана и Людмилы”, к которой так или иначе причастны упоминаемые в поэме *вещий Баян* и обладающий сакральным знанием старец, знаток “науки дивной”. Осознанное “жреческое” **служение аполлоническому началу**, порождающему и “нас возвышающий обман” большого

искусства, и радость примиряющих с жизнью сновидений выводило поэта на уровень мифотворчества, насыщая его произведения мощными символами — шифрами *Трансценденции*, до конца так и не разгаданными пребывающими в *экзистенциальной слепоте* филологами. Особенно же последний роман Пушкина — роман-завещание — ждет расшифровки, взывая к новым интерпретациям его эзотерического подтекста изнутри забытой в наш *Темный век* солнечной традиции. Не поэтому ли его автору *позволено остаться с нами навеки?*

Основная **дихотомия мифопоэтического мышления** Пушкина отражала его расположенность между двумя полюсами духовной жизни человечества — религией “Куша библейского” (=Эфиопии), связанной с культом дионисийского упоения неодухотворенной жизнью с присущей ей безжалостной логикой судьбы, и индо-иранской религией “свободно творящего духа”⁹, предполагающей аполлоническое поклонение прекрасной, сознающей самое себя, героической индивидуальности. Исходя из этой изначальной, двойной открытости поэта “преданьям старины глубокой”, легче понять феномен “всемирной отзывчивости” Пушкина, подмеченный Ф. М. Достоевским, но неверно им истолкованный: дело не в особой сверхчувствительности поэта к культурному своеобразию чужеземных наций, а в укорененности его духовно-психической конституции в сфере всеобщей первобытной религиозности, в его магнетической связи¹⁰ с “великим явлением всемирного сознания”¹¹ — с *пневматосферой*, средоточием вселенской памяти, сокровищницей первосмыслов и *коллективных сновидений* человечества. Пушкин был обречен на заклятие с рождения, поскольку родился пневматиком в России, где люди духовные до власти не допускаются и подлежат преследованию со стороны гедонистически ориентированной *психократии*. Именно подпитывавшая его напрямую пневматосфера обусловила универсальную ценность религиозно-философского содержания его творчества, ставшего выражением великого русского синтеза “преданий старины глубокой”, синтеза, казалось бы, несовместимых, исключающих друг друга верований в **непреодолимость судьбы** и **неискоренимость человеческой свободы**. По-русски жизнеутверждающим этот синтез оказался благодаря нашему особому, чуждому Западу пониманию смерти, связанному с феноменом русского фатализма¹², столь восхищавшим Фридриха Ницше.

Важнейшим (если не центральным) элементом усвоенного юным Пушкиным священного знания было понимание антропоморфной *тайны времени*, в принципе, достижимое для человека как существа конечного, либо признающего всевластие *госпожи Смерти* и способного под страхом уничтожения отказать от своей самости, потерять честь, превратиться в раба¹³, в говорящее орудие жизненно чуждой ему идеологии, либо готового в рискованном действовании отстоять богоданную свободу и одержать “победу над смертью”, сохранив верность своей самости, своему нравственному долгу, призыванию и присяге и, таким образом, в той или иной форме стяжать бессмертие. Поверив еще в юности в зловещее предвидение ворожеи мадам Кирхгоф, с изумительной точностью предсказавшей ему раннюю славу, будущее кумира для соотечественников, две ссылки (на юг и на север) и гибель на тридцать седьмом году жизни от “белой лошади, белой головы или белого человека”, Пушкин оставался всю свою недолгую, как кажется, жизнь отчаянно-бесстрашным дуэлянтом, приняв участие в четырех поединках, и при этом спокойно делал свое *Великое Дело* перед лицом неминуемой насильственной смерти. Готовясь к дуэли с “картежным вором” Ф. И. Толстым (Американцем), сажая пули из пистолета Лепаж в звезду над воротами в Тригорском, он успокаивал друзей: этот, мол, не опасен; меня убьет белокурый. Разъясняя предсказание знаменитой немки-гадальщицы, его близкий “друг и благодетель” Сергей Соболевский высказал мысль о том, что и от масонства поэт “отстранился” якобы из-за того, что основатель иллюминатства Адам Вейсгаупт (Weisshaupt) и есть “белая голова” (Weisskopf), из чего следует, что за убийством Пушкина мог стоять соответствующий Орден, карающий отщепенцев, представленный в России, в частности, и фесслеровской Ложей Полярной звезды в “проклятом Петербурге”¹⁴. В таком случае в предсказании немецкой “угадчицы на кофе” странным образом обнаруживался сценарий заговора на случай возможных уклонений поэта от исполнения предназначенной ему братьями-товарищами роли и отказа от “возобновления активности”, направленной на разрушение монархии и Церкви в России.

Расхождение поэта с иллюминатами-просветителями проявилось уже в трагедии “Борис Годунов” и позднее в полемике с надзирателем ложи Астрей и ложи Соединенных друзей Чаадаевым, возражая которому, Пушкин утверждал, что историческая **миссия России** – **в спасении христианской цивилизации**, единство которой заключается не в папе (как думал Чаадаев), а в “идее Христа, которую мы находим также в протестантизме”¹⁵. Масоны, как хорошо известно, надзирали за подрастающим **божественным ребенком** едва ли не с рождения, сопровождая “грациозного гения”¹⁶ и на юге, и на севере, интегрировав его в мае 1821 года в состав кишиневской ложи “Овидий”, из-за которой в 1824 году, по предположению Пушкина, император Александр I закрыл все другие масонские ложи. Масоны же, видимо, спланировали и убийство поэта в 1836 году, когда самым радикальным из них (иллюминатам)¹⁷ стало ясно, что тот окончательно вышел из-под “строгого наблюдения”, превратившись в чрезвычайное и “единственное явление русского духа” (Н. В. Гоголь), а граф Бенкендорф (член ложи “Соединенные друзья”, в которой состоял и изумивший Пушкина своим интеллектом П. И. Пестель) в нарушение указания императора Николая I об обеспечении безопасности поэта-историографа не помешал исполнению масонского приговора Пушкину. Предчувствуя близость неминуемой катастрофы, В. А. Жуковский умолял своего младшего друга оставить ребячество, отказаться от импульсивности и чрезмерной открытости в поведении, не понимая, что тот не мог изменить своей Самости и прятать свою подлинную природу **божественного ребенка** под той или иной личиной, под маской придворного поэта, царедворца, официального историографа и т. п., особенно же после того, как осознал в северной “ссылке” собственную миссию *пророка в своем отечестве*¹⁸.

И все же “дивная судьба” до поры до времени хранила нашего национального гения, даруя ему бесценные возможности общения с носителями древней, светоносной традиции *внецерковного мистицизма*¹⁹, свободной от инфицирующей русское сознание масонской идеологии Просвещения. Первым передаточным звеном этого благодатного ведения была, без сомнения, Арина Родионовна Яковлева, повседневное общение с которой Пушкин возобновил в 1824 году в Михайловском, ставшем для него “местом очищения” и обретения подлинной, “тайной свободы”, полной независимости социально неангажированного, ясновидящего духа, прозревающего в глубь веков, извлекающего из бездны “коллективного бессознательного”, из памяти “африканской крови”²⁰ архетипические образы и потрясающие по своей религиозно-мистической значимости идеи. Заметим, между прочим, что тут уж никакая засаленная масонами “звезда пленительного счастья” не смогла помешать окончательному историософскому прозрению поэта, нашедшему свое неожиданное для кураторов выражение в трагедии “Борис Годунов”. Обеспокоенные братья-товарищи направили в Михайловское одного из заговорщиков – будущего декабриста Ивана Пущина, и тот с сожалением констатировал факт упрямой аполитичности Пушкина, отбросившего вместе с западной метафизикой и проистекавший из нее политический радикализм пестелевско-рылеевского типа. Стало ясно, что поэт навсегда отказался от плодов франкмасонского Просвещения, которое есть тьма, “томление сумрачного духа” (по удачному выражению Г. Гегеля)²¹. Не менее важно и то, что незадолго до своей гибели Пушкин успел приобщить к “несметным сокровищам русского духа” Н. В. Гоголя, потрясая до основания его “хохлацкую душу”, и передал какие-то существенные элементы открывшейся ему “науки дивной” казаку Луганскому – В. И. Далю²², сопровождавшему его в поездках по местам ратной славы пугачевцев под Оренбургом, а также – московским славянофилам, усвоившим пушкинское благоговейное отношение к “вещному языку” наших предков, ко всяким крестьянским пословицам и приговорам, которые поэт “весьма примечательно знал”²³. Благодаря этому “Златая Цепь Небесной Премудрости”, защищавшая Древо славяно-русской жизни от смертоносных ветров Запада, не была оборвана выстрелом “заносчивого француза” – выроodka-педераста Дантеса²⁴, став на полтора столетия тайным оберегом великой русской литературы, а собрание сочинений Пушкина оказалось для России надежным заслоном от *слепающей мглы* западного Просвещения, от подрывных “инноваций” в области образования, проводимых адептами провальной вестернизации России.

Восстание пророка

В 1825 году *Святогорский монастырь*, где Пушкин нашел своего духовного наставника — игумена Иону²⁵, стал местом внутреннего преображения поэта в провидца. Здесь русский мыслящий дух в лице Пушкина, сбросив с себя пелену чужеродных идейных наслоений, впервые явился во всем своем аутентичном блеске и блаженной чистоте ясновидения. Возможно, многолетнее общение с умнейшими людьми России — Н. М. Карамзиными и П. Я. Чаадаевым — отчасти способствовало обращению поэта к тематике Смуты, концентрации его мысленного взора на *явлении самозванца*²⁶ — бесстрашного авантюриста, владевшего знанием “тайны времени”, когда в одном мгновении — этом “атоме вечности” — сливаются в *высшем синтезе жизни* три элемента мироздания — *воля, случай, судьба*, описанные восхищавшим Пушкина “бессмертным флорентинцем” Николо Макиавелли²⁷. Усвоив отчасти точку зрения летописца, Карамзин все же видел в самозванце преимущественно “орудие ляхов и папистов”²⁸. Необычный акцент в пушкинском изображении Лжедмитрия I состоял в том, что отнюдь не бесшабашное своеволие *врагоугодника*, “сосуда дьявольского”²⁹, “бесстыдного самозванца” представлялось ему главной движущей силой авантюры: в дерзких действиях *бедного черноризца*, замутивших Русь, просматривалась воля Провидения, низвергавшая с вершины властной пирамиды *первых* и возводившая на нее *последних* — иногда и вопреки их собственным предположениям и ожиданиям. Тот же ход мысли, как увидим далее, получил свое впечатляющее художественно-образное выражение и в последнем романе Пушкина о самозванце Пугачеве, действовавшем не менее решительно и не без оглядки на Гришку Отрепьева. Но прежде чем продолжить реконструкцию логики историософского мышления поэта, скажем о главном открытии Пушкина периода создания трагедии “Борис Годунов”, о “литературном подвиге”, поднявшем его — *раба божьего Александра*³⁰ — на недосягаемый для масонизированных интеллектуалов уровень понимания мировой истории, сделавшем его неуязвимым для *бесов* нашего доморощенного либерализма. Речь о новом толковании феномена *чистой совести*, которое присутствует в пушкинской трагедии и которое (предположительно) возникло в сознании поэта в период работы в библиотеке Святогорского монастыря, в минуты общения с его настоятелем — игуменом Ионой (прототипом летописца Пимена в трагедии “Борис Годунов”).

Онтологическая глубина этической концепции автора трагедии до сих пор остается скрытой от интерпретаторов, склонных к упрощающе-рассудочному сведению ее философского содержания к известной позиции морализирующего сознания, увековеченной Иммануилом Кантом: поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе; в этом, мол, и состоит “золотое правило христианства”, выполняя которое будешь счастлив, то есть пройдешь жизнь и без креста, и без Голгофы. Нарушишь же — пеняй на себя: не уйдешь от Божьего суда, как не ушли от него Борис Годунов, самозванцы Лжедмитрий I и Пугачев. Не эта ли вороватая простота импортированной в Россию немецкой метафизики вызывала неприятие у Пушкина? Знакомство с произведениями кантовского “схематизирующего рассудка” и пропагандистский пыл его приятеля Алексея Вульфа, смущавшего обольщаемых им барышень ссылками на Канта и Фихте, не сбили его с толку, не помешали идти “дорогою свободной” — *куда ведет свободный ум*. И с Кантом, отождествившим совесть с “практическим разумом”, рациональным расчетом, ему было не по пути. **Совесть** в пушкинском понимании — не формально-рассудочная инстанция, нормирующая человеческое поведение, не “сознание морального закона”³¹, а живое **восприятие конкретных велений Бога**, “глаголов вечной жизни”, вторгающихся в повседневность, вырывающих *избранных*, услышавших божий зов, из состояния бессмысленного прозябания в мире сем. Об этом — стихотворение “Пророк” (1826), в котором поэт превзошел в своей импровизации смысловую глубину вдохновившей его шестой главы Книги Пророка Исаии. Помимо психологически достоверного описания моментальной мистической трансформации подавленной человеческой психики мы видим в этом пушкинском шедевре феноменологически точную характеристику гения с присущей ему мощью сверхчувственного восприятия, поднимающей его над *суею* *сует* телесно-вещного бытия в срединном мире, позволяющей ему проникнуть (пусть не без помощи Серафима)

и в ангельский, горный мир первосмыслов, и в нижний мир, населенный всяческими “гадами”. Таким образом, все уровни бытийной иерархии, расположенные на *Мировой оси* и связанные “златой цепью” сакрального знания, оказываются доступными *мысленному взору* гения, прошедшего через **очищающий огонь мгновенного просветления**. В результате пережитого Пушкиным в Святогорье внутреннего преображения он обрел статус “центральной монады” своего времени, стал подлинно “божественным существом”, “владыкой вечности”, “пророком миллионов лет” (используем терминологию его архетипического предшественника — ясновидящего северо-африканского Гора), выражением “солнца правды вечной”³², “Великим Светилом” духовной жизни России, воплощением ее “необъятной Сути”. Замечательно то, что ни цензурная и околоцензурная возня, устроенная его “тайными доброжелателями” в связи с появлением трагедии “Борис Годунов”, ни корректирующие автора пожелания императора Николая I не смогли затмить установленную Пушкиным в его произведении истину: **власть, действующая в России вопреки велениям христианской совести, богопротивна и как таковая — рано или поздно — сама уничтожает себя**. Так было в феврале 1917 года и в августе 1991-го, так будет и в недалеком будущем, если властвующая псевдозлита, пустившая страну на поток и разграбление, не опомнится и не вернет народу отнятое у него.

Формула русской истории

В черновом наброске статьи по случаю публикации второго тома “Истории русского народа” (1830 г.) Николая Полевого Пушкин отмечал, что “Россия никогда ничего не имела общего с остальной Европою; что история ее требует другой мысли, другой формулы...”³³ Очевидно, он не обнаружил таковой ни в сочинениях Карамзина, ни в “Философических письмах” Чаадаева, хотя и не скрывал своего восхищения перед интеллектуальной силой и писательской одаренностью названных мыслителей. Ни тот, ни другой не обратили внимание на важнейший, все еще остававшийся *неизвестным* элемент истинной формулы — тот самый *икс*, о котором после Пушкина заговорил Лев Толстой: на *русский дух* как всеопределяющий фактор нашего победоносного шествия в мировой истории. А без определения специфической двойственности и утопической направленности этого “духа народа” вряд ли формула русской истории может быть найдена. И тут не обойтись без того, что Достоевский называл “фантастическим реализмом” — без этого литературного выражения всегда готового к рискованным импровизациям русского духа, который, несмотря на своё миролюбие и плутовскую приземлённость, рвётся за пределы мирского бытия, требуя чего-то большего, и как таковой является *трансцендирующим к Трансцендентному*. Из этой духовной предрасположенности русских и проистекает наша страсть к утопии и губительному прожектёрству, любовь к смертельно опасным пробам и экспериментам, стремление *несбывшееся — воплотить*.

Нужно заметить, что Пушкин при всем своем настороженном отношении к западной метафизике не игнорировал некоторые ее достижения. Так, например, Вольтер в период обращения поэта к историософской проблематике служил для него вдохновляющим примером, поскольку “первый пошел по новой дороге — и внес светильник философии в темные архивы истории”³⁴. Благодаря этому последовательность случайных, на первый взгляд, событий представляла в совершенно новом свете: как выражение какой-то исторической неизбежности или, более того, как обнаружение “неясных замыслов Провидения”, о чем поэт не раз заводил разговор со своим лучшим другом Чаадаевым. Так или иначе к 1830 году Пушкин уже довольно-таки четко формулировал свою историософскую позицию: “не говорите: *иначе нельзя было быть*. Коли было бы это правда, то историк был бы астроном и события жизни человечества были бы предсказаны в календарях, как и затмения солнечные. Но провидение не алгебра. Ум человеческий, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик, он видит общий ход вещей и может выводить из оного глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно ему предвидеть случая — мощного, мгновенного орудия провидения”³⁵. **Непредвиденный случай** представлялся Пушкину чудесным совпадением человеческого произвола и воли Божьей, совпадением, превращающим даже

слабосильного, но догадливого индивида в орудие Промысла. Такова была историческая случайность явления самозванца, описанная Карамзиным и психологически верно реконструированная Пушкиным в трагедии “Борис Годунов”. Похожую роль случай сыграл и в “одном из любопытнейших эпизодов царствования Великой Екатерины”³⁶, связанном с самовыдвижением Емельяна Пугачева в качестве вожака взбунтовавшегося яицкого казачества и примкнувшего к нему крестьянства в 1773-1774 гг. Но еще за тринадцать лет до того, как Пушкин сосредоточил свое внимание на этой исторической фигуре, он уже “любовался нашими казаками” во время двухмесячного пребывания на Кавказе в 1820 году. “Вечно верхом; вечно готовы драться; в вечной предосторожности!”³⁷ — писал он с восторгом брату Льву. В самом деле: жизнь “в тени опасности” переживается с особой остротой. В ком, как не в казаке — этом *вольном человеке*, видящем в воле дар духовный и высшее благо, — наша жизнь как бытие-к-смерти, бытие-на-границе с Ничто приоткрывает свою пьянящую, неподвластную социальному контролю, дионисическую сущность, подтверждая мысль о том, что человек — это бунт, отвержение данности, отрицание всего, что навязано ему природой и социумом? Считая Степана Разина “единственным поэтическим лицом русской истории”, Пушкин, видимо, уже предчувствовал скорую встречу с главным своим героем, воплощением **мятежного, ушедшего в Раскол русского духа**, поэтому и просил брата в октябре 1824 года прислать в Михайловское “Жизнь Емельки Пугачева”³⁸, а в декабре 1826 года сообщил М. Н. Волконской о своем намерении “написать сочинение о Пугачеве”³⁹. Когда и где произошла эта странная встреча с новоявленным самозванцем — в 1832 году в Эрмитаже, где Пушкин рылся в библиотеке Вольтера, или позднее в вещем сне, как и у Петруши Гринёва? Так или иначе, важно одно: именно в Пугачеве Пушкин нашел и своего “вожаго” в блуждающем *искании истины*, и “самозванного отца”, заговорившего с ним о “самом важном”, как верно заметила Марина Цветаева⁴⁰. И вот поэт, обретя зоркость легендарного египетского Гора, заговорил о Пугачеве в “Капитанской дочке” по-новому: как *мститель за своего отца*, заведомо обреченного на казнь, подобно древнему Озирису-Дионису. Видно, не одна *египетская ночь* с одним и тем же навязчивым сновидением, заключающим в себе “нечто пророческое”, питала эзотерический подтекст последнего мифопоэтического сказания Пушкина.

Странное сцепление обстоятельств и суровая мощь судьбы

“Я думал некогда написать исторический роман, относящийся ко временам Пугачева, но, нашед множество материалов, я оставил вымысел и написал “Историю Пугачевщины”⁴¹, — сообщал Пушкин в письме 6 декабря 1833 года опекавшему его по высочайшему повелению А. Х. Бенкендорфу. В действительности мысль о романе не была им отброшена, но лишь вызрела в ходе изучения архивных материалов и общения с очевидцами сего “смутного времени”, ради чего Пушкин и предпринял осенью 1833 года поездку в Оренбург, Казань и Симбирск. В, казалось бы, позитивистски беспристрастном описании фактической стороны пугачевского бунта поэт не мог воздержаться от оценочных суждений, которые, само собой разумеется, не выводили его за пределы узко-сословного, дворянского сознания. “Ход происшествий” связывался с заговором *шайки мятежных казаков*, умело использовавших “надежную пружину” самозванства для возмущения *черни* и предложивших сыграть роль императора Петра III “неизвестному бродяге”, “прошлецу дерзкому и решительному”, готовому повести против правительственной власти взбунтовавшуюся *сволочь*. Такое описание крестьянской войны вполне устраивало императора Николая I, видевшего в Пушкине своего будущего официального историографа и несколько усыпленного его демонстративной лояльностью. “История Пугачева” была “пропущена”, ее издание — профинансировано и осуществлено в одной из типографий иллюмината М. М. Сперанского. Поразительно, что **эффект усыпления** оказался далекодействующим, и когда через три года Пушкин представил на высочайшее рассмотрение роман “Капитанская дочка”, скрывавший под невинным названием идеализацию⁴² и апологию Пугачева, поднявшего народ против “многой неправды”, император не заметил крамолы и пропустил книгу в печать без

комментариев. Избранный Пушкиным жанр “семейственных записок” служилого дворянина, венчающийся излюбленной толкователями сентенцией о русском бунте — *бессмысленном и беспощадном*, окончательно запутал проницательных читателей. Автора произвели в монархисты и консерваторы, не разглядев в нем пророка грядущей русской “революции снизу”.

Обманчивая простота сюжета последнего пушкинского романа не могла скрыть серьезного намерения автора, упорно продвигавшегося к разгадке тайны русского духа и соответственно — к расшифровке *тайнописи* отечественной истории. То, что у Пушкина подлинная суть дела совсем не в “капитанской дочке” и ее защитнике Петруше Гриневе, свидетеле кажущейся бессмыслицы русского бунта, почувствовала уже Марина Цветаева. И в экстазе своего необычного прочтения назвала Машу дурой, неосознанно приняв точку зрения одного из пушкинских персонажей — бессовестного Швабрина, не разглядев в ней Марию — “вековечную невесту” русского мальчика, подростка, вступившего на тяжкий путь *русского познания Бога*, обретающего искомое *абсолютное знание* в “божественном браке” с Величавой Вечной женой в момент смертельно опасного соприкосновения с дионисийской стихией народного мятежа, в ходе испытания огнем гражданской войны и захлестнувшей страну волной *коллективной первобытной кровожадности*. **Бог — буран — бунт.** Такова мистическая триада русской жизни, продуманная Пушкиным в его последнем произведении. Ее сокровенный смысл раскрывается в романе в ходе изображения роста и трансформации припоминающего сознания рассказчика — Петруши Гринева. Поначалу вырвавшийся на волю недоросль следует в общении с преданным ему Савельичем стереотипам сословно-классового, дворянского сознания: “Я твой господин, а ты мой слуга”. Но врожденная стыдливость, эта закваска христианской нравственности, быстро приводит его к признанию собственной вины перед “упрямым стариком” и раскаянию. Подчиняясь велениям своей “неспокойной совести”, он перестраивает традиционные отношения господства — подчинения на основе чувства духовного родства, сообразно принципу братства, оказываясь, таким образом, под защитой невидимого Бога в рискованных ситуациях, когда трижды его спасителем становится Пугачев, не забывший о проявленной Гриневым человечности и отблагодаривший его за это сполна. Откуда бы ни исходила угроза жизни и благополучию совестливого подростка (буран, бунт или предатель Швабрин), именно Пугачев так или иначе каждый раз оказывается его спасителем и благодетелем, исполнителем “неясных замыслов Провидения”. Их, по-видимости, случайная встреча во мгле, в “мутном кружении метели” была знаком явного предначертания — малопонятной для обоих, но остро чувствуемой ими связи через Трансцендентное, опознаваемое в утопии духовного братства, в словах Христа о Царстве Божьем, которое внутри нас есть. Через Пугачёва заблудшим “Господь помог”. Выходит, через него же Бог посылает и благословение (Гриневу и Маше), и проклятие — всем живущим вопреки христианской совести, нарушающим “правила человеколюбия”⁴³. Провиденциальный смысл случайной встречи с вожатым приоткрывается Гриневу очень быстро в “неясных видениях первосония” о благословляющем его “страшном мужике” Пугачеве. Отметим, между прочим, что в своем итоговом произведении Пушкин использовал весь запас эзотерических знаний, почерпнутых им из “преданий старины глубокой”, в том числе и каббалистическую логику изображения роста самосознания героя, встречающего в “снежной пустыне” будущего царя-самозванца, изумляющегося его *мудрости и разуму*, испытывающегося на себе его *милость*, становящегося свидетелем его *правосудия*, любящегося его богатырской *красотой*, признающего его *победу и славу* и, таким образом, обретающего достаточное *основание* для обретения знания о персонифицированной в этом герое “неведомой силе” русского духа, действующего сообразно принципу *мстящей справедливости* и вместе с тем способного к проявлению великодушия и милосердия. И Пугачев в седьмой главе романа — в красном кафтане, верхом на белом коне — это уже не вор и разбойник, не “кровопийца”, а орудие Промысла, бич Божий для обижающего народ, нерусского по духу правящего слоя, **предвестник грядущего красного царя**, “русского бога” истории, и последовавшие затем “дружеские путешествия” Гринева с ним — знаки *возможной экзистенции*, позволяющей каждому из них подняться в благожелательном *бытии-друг-к-другу* над самим собой до равенства в Боге. Это — проблески невиданной доселе духовно-психической консолидации нации, вырывающейся из болезненной разорванности, из распада на властвующих и

подвластных. Тут-то русский дух и приоткрывает свои “несметные сокровища” — как языковая **действительность подлинной коммуникации**, как “столкновение сознаний”, испытывающих “внешнее воздействие” безмолвствующего Бога и захваченных совместным разгадыванием *тайны времени*, сокрытой в переживании сверхценного мгновения, сопоставимого с длительностью всего нашего бренного мира (об этом пересказанная Пугачевым Гриневу сказка старой калмычки об орле и вороне). Об этом же напоминает Гриневу за минуту до обезглавливания Пугачев, увидев его в толпе на Болотной площади и кивнув ему головой: *экзистенция не знает смерти*. И в самом деле, казнь “посаженного отца” Гринева не привела к *обрыву коммуникации*⁴⁴ с ним, что подтверждают семейственные записки Гринева, в которых мы находим возобновление прерванного общения с Пугачёвым. В попытке как-то осмыслить опыт своей “странной дружбы” с Пугачевым он пишет: “Я чувствовал в себе великую перемену...” Речь об *опыте сознания*, равнозначном религиозному обращению: “Неожиданные происшествия, имевшие влияние на всю мою жизнь, дали вдруг моей душе сильное и благое потрясение”⁴⁵. Такое же потрясение, вызванное откровением непреодолимой мощи судьбы, явленной и в русском буране, и в русском бунте, и в спасающем души от раствления священном браке переживаем всякий раз, перечитывая Пушкина, и мы.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Франк С. Л. Этюды о Пушкине. М., 1999. С. 15.

² Nitzsche F. Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik. Frankfurt am Mein, 1987. S. 35. После святогорского взлета на вершину сознающего самого себя русского духа (“Я знаю дух народа моего...”), конечно же, были у поэта и срывы — “падения” с барышнями из села Тригорского, с Анной Керн, Александриной Гончаровой (Азинькой) и др. Об этом см.: Губер П. К. Донжуанский список Пушкина. М., 1990. Пушкин и 113 женщин поэта. Все любовные связи великого повесы. М., 2014. Пушкину было хорошо известно об “играх Вакха и Киприды” в российских масонских ложах (см.: Серков А. И. Русское масонство. 1731—2000 гг. Энциклопедический словарь. М., 2001. С. 674—675).

³ Пушкин А. С. ПСС в 10-ти т. Изд. 4-е. Т. 3. Л., 1977. С. 457; Пушкинская энциклопедия. Произведения. Вып. 1. СПб., 2009. С. 217.

⁴ Hegel G. W. F. Phänomenologie des Geistes. Nach dem Texte der Originalausgabe. Berlin, 1975. S. 414-415; Hegel G. W. F. Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften. III. Frankfurt am Main, 2012. S. 301-302.

⁵ Вышеславцев Б. П. Этика преображенного эроса. М., 1994. С. 165.

⁶ С идеями гигантов германского идеализма Пушкин познакомился в библиотеке П. А. Осиповой в Тригорском в 1824—1825 гг. Там же он испытал вдохновляющее воздействие Премудрости царя Соломона.

⁷ G. W. F. Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften. III. S. 301.

⁸ “Златая Цепь Небесной Премудрости Гомеровой” (Логинов М. Н. Новиков и московские мартинисты. М., 1867. С. 49-50) была известна автору поэмы “Руслан и Людмила”. О “солнечном эгоизме” Пушкина см.: Библиотека великих писателей. Пушкин. Под ред. Венгерова С. А. СПб., 1908. С. 503—528.

⁹ Хомяков А. С. Соч. в двух томах. Т. 1. М., 1994. С. 200. Иран, — утверждал Хомяков, — основал свое верование на “предании о свободе и на внутреннем сознании её” (Там же. С. 199).

¹⁰ Пушкин верил в распропагандированный Францем Месмером и его последователями магнетизм.

¹¹ Чаадаев П. Я. Философское и публицистическое наследие. М., 2008. С. 122.

¹² Об этом см.: Водолагин Александр. Прирожденный метафизик. Философская проза М. Ю. Лермонтова// Наш современник, 2015, № 10.

¹³ Об этом стихотворение “Анчар”/ “Дерево яда” (1828). *Госпожа Смерть* может явить себя и в облике продающей себя на одну ночь египетской царицы, и в образе черной змеи, выползающей из-под “мертвой главы” любимого коня князя в “Песне о вещем Олеге” (1822).

¹⁴ Пушкин А. С. ПСС в 10-ти т. Изд. 4-е. Т. 10. Л., 1979. С. “Что делают Полярные господа?...” — интересовался Пушкин в письме брату Льву в ноябре 1824 года (Там же. С. 87).

¹⁵ Там же. С. 688, 659.

- ¹⁶ Чаадаев П. Я. Философское и публицистическое наследие. С. 177.
- ¹⁷ Иллюминатом был, между прочим, издатель "Истории Пугачева" М. М. Сперанский, в котором декабристы видели председателя будущего республиканского правительства.
- ¹⁸ "Я пророк в своем отечестве..." — признавался Пушкин в письме П. А. Вяземскому.
- ¹⁹ Зеньковский В. В. История русской философии. Т. I. PARIS, 1989. С. 82.
- ²⁰ "Помилуй! Что за дьявольская память!.." — восхищался друг Пушкина Денис Давыдов.
- ²¹ Hegel G. W. F. *Phänomenologie des Geistes*. S. 407.
- ²² В. И. Даль вспоминал слова Пушкина, сказанные им о первой книге этого собирателя Духа — "Русских сказках" (1832): "А что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей! Что за золото! А не дается в руки, нет!" (цит. по кн.: Матвиевская Г. П., Зубова И. К. Владимир Иванович Даль. 1801–1872. М., 2002. С. 28). В. И. Даль рассказывал о том, как *побратался* с умирающим Пушкиным — "за сутки до смерти его, уже не для здешнего мира".
- ²³ Вересаев В. В. Пушкин в жизни. М., 2017. С. 243.
- ²⁴ Выполнив свою *темную миссию* в России, Дантес, пользуясь масонским прикрытием, легко избежал смертной казни через повешение, к которой был приговорен военным судом в России как инициатор дуэли с Пушкиным, и сделал блестящую карьеру во Франции, став членом Национального собрания, сенатором, кавалером ордена Почетного легиона и командором Ордена 14 августа 1868 года. Дожив до "бодрой старости", этот гад умер в 83 года (по сообщению его внука Луи Метмана). О связях Дантеса с графом К. Нессельроде, одним из инициаторов травли Пушкина в последний год его жизни, см.: Щеголев П. Е. Злой рок Пушкина: Он, Дантес и Гончарова. М., 2012.
- ²⁵ Иона (по святым) — голубь, т. е. символ нисходящего на пророка Святого Духа.
- ²⁶ Карамзин Н. М. История государства российского. Т. XI. СПб., 1892. С. 75–84; Водолагин А. В. Явление самозванца. //Ориентиры, 1991, № 2; Водолагин А. В., Болдырев А. И., Иванов А. В. Четвертая печать. Эскизы к феноменологии русского духа. Тверь, 1993. С. 11–20.
- ²⁷ Пушкин А. С. ПСС в 10-ти т. Изд. 4-е. Т. 8. Л., 1978. С. 64. Подробнее о принципе Н. Макиавелли см. в кн.: Водолагин А. В. Метафизика воли. Волюнтаристическая традиция в истории западной философии. СПб. — М., 2012. С. 169.
- ²⁸ Карамзин Н. М. История государства российского. Т. XI. С. 137.
- ²⁹ Там же. С. 75.
- ³⁰ Пушкин А. С. ПСС в 10-ти т. Изд. 4-е. Т. 10. Л., 1979. С. 120.
- ³¹ Kant I. *Kritik der praktischen Vernunft. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*. Frankfurt am Main, 1974. S. 251.
- ³² Пушкин А. С. Т. 5. С. 251. На языке Гегеля: поэту удалось "установить к Богу как к Духу свое абсолютное отношение" (Hegel G. W. F. *Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften*. III. S. 302).
- ³³ Пушкин А. С. Т. 7. С. 100.
- ³⁴ Там же. Т. 10. С. 76.
- ³⁵ Там же. Т. 7. С. 100.
- ³⁶ Там же. Т. 10. С. 336.
- ³⁷ Там же. С. 17.
- ³⁸ Там же. С. 84, 86.
- ³⁹ Вересаев В. В. Пушкин в жизни. С. 286.
- ⁴⁰ Цветаева М. И. Проза. М., 1989. С. 541.
- ⁴¹ Пушкин А. С. Т. 10. С. 357.
- ⁴² Идеализация — главная функция аполлонически ориентированного, творческого духа.
- ⁴³ Пушкин А. С. Т. 6. С. 301.
- ⁴⁴ Jaspers K. *Philosophie. II. Existenzerhellung*. Berlin. Heidelberg. New York, 1973. S. 2, 81–91. Тамбовский мятеж — новая пугачёвщина, реакция крестьянства на политику геноцида, проводимую в стране троцкистами, ненадолго оседлавшими движение *красных* и не подозревавшими при этом о том, что явление *красного царя* близко. О **"советской пугачёвщине"** см.: Куняев Ст. Ю., Куняев С. С. Сергей Есенин. 8-е изд. М., 2017. С. 206–248.
- ⁴⁵ Пушкин А. С. Т. 6. С. 304, 294.

ВАСИЛИЙ ЧИРИКОВ

член совета Пушкинского музея

ПУШКИН ПИШЕТ МАТЬ

Мы рождены для вдохновенья...

А. С. Пушкин

В этом году исполняется 195 лет этой картине. Поэт, находящийся в южной ссылке, трудился над второй главой “Евгения Онегина”. И над своей родословной — родословной Ганнибалов.

И вот какой шедевр его пера рисовальщика мы находим в его черновиках. Если первую главу Александр посвятил своему родному брату Льву, то очередную, как видим, матери — его поэтическая лира звучит на материнский лад! (архив “ПД”, № 834, л. 36 об.).



Светокопия любезно прислана по ходатайству “Союза журналистов России” (Грязева З. Я.) в адрес музея А. С. Пушкина села Новая Усмань.

*Она любила Ричардсона
Не потому, чтобы прочла,
Не потому, чтоб Грандисона
Она Ловласу предпочла...*

Это заревые строки о героине романа. Кто из нас не помнит пушкинского начала о Татьяне, когда поэт “впервые именем таким // Страницы нежные романа...” решил освятить!

Так вот и мы впервые после полувекового поиска Образа матери в картинной галерее сына решаемся произнести, что здесь Творец изваял Надежду Ганнибал (Н. О. Пушкину!).

На рукописи сего “Александрийского столпа” — Она, которой “...рано нравились романы, // Они ей заменяли всё...”

Да! Пушкин, трудясь над строками романа, конечно, зрел вокруг толпящихся на юге дев, но как без мысли о матери остаться?!

Она, прекрасная креолка с трудною судьбою, в поэзии грешного сына места так и не нашла — так утверждали исследователи до нас.

Надежда Ганнибал... Уж книжки многие о детстве её написаны, но вот в лик Божественный ни одному из авторов не удалось взглянуть — её узнать.

*Она в горелки не играла,
Ей скучен был и звонкий смех,
И шум их ветреных утех...*

А вот напев желанный сына ещё за два года до картины сей: стихи Чаадаеву (1821):

*В стране, где я забыл тревоги прежних лет <...>
Для сердца новую вкушаю тишину.
В уединении мойвоенравный гений
Познал и тихий труд, и жажду размышлений.
...Ищу вознаградить в объятиях свободы
Мятежной младостью утраченные годы
И в просвещении стать с веком наравне.
Богини мира, вновь явились музы мне
И независимым досугом улыбнулись;
...Старинный звук меня обрадовал — и вновь
Пою мои мечты, природу и любовь,*

*И дружбу верную, и милые предметы,
Пленявшие меня в младенческие леты,
В те дни, когда, ещё не знаемый никем,
Не зная ни забот, ни цели, ни систем,
Я пеньем оглашал приют забав и лени
И царскосельские хранительные сени.*

Конечно, это ОНА, не отходившая от сына и вошедшая в наше узнавание.

Сын создал стихи-выгравировку собственной десницею; пером Ума и Сердца: подписав “Н. Г.” на Её груди! Видите!

А если всё, очерченное пушкинским пером, со вниманием пристрастным рассмотрите донизу рисунка да бретельку не скинете с левого плеча красавицы, то расшифруете дальнейшее. Вот и “О” (чуть наклонённая). Ясно поймёте: О<сиповна>! А из “Н” и П<ушкина> проявляется без проявителя фотодела.

О, Мадонна, подарившая миру поэтического Христа! О, сын, всегда помнящий о Матери. С неё начинается Родина!

P. S. А мы счастливы, что впервые вводим в научный оборот пушкинистики ещё один рисунок Пушкина опознанным образом.